

Jan Erik Vold
RUTH MAIERS DAGBOK
En jødisk flykting i Norge

Ян Эрик Волл
ДНЕВНИКИ РУТ МАЙЕР
Беженка-еврейка в Норвегии

Перевод с норвежского Н. Федоровой

В оформлении обложки использована акварель Рут Майер «Кладбище у церкви», сентябрь 1942 г. Эта акварель с дарственной надписью «Гунвор от Рут» висела над рабочим столом Гунвор Хофму до конца ее жизни.

This translation has been published with the financial support of NORLA

*Norwegian edition published by Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo
Published by agreement with Hagen Agency, Oslo and Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo*

В 1938 г. восемнадцатилетняя уроженка Вены Рут Майер бежала от преследований нацистов в Норвегию. Здесь она училась в гимназии и художественной школе, сочиняла рассказы, подружилась с будущей известной норвежской поэтессой Гунвор Хофму. До самых последних дней перед депортацией в Освенцим в ноябре 1942 года Рут вела дневник, который начала еще в двенадцатилетнем возрасте. Ее записи, рисунки и письма, а также фотографии из семейного архива составляют основу этой книги. Дневники Рут Майер – важный исторический документ, который стал доступен норвежским читателям только в 2007 г., в издании, подготовленном поэтом и литературоведом Яном Эриком Воллом.

© Gyldendal Norsk Forlag AS, 2007
© Н.Н. Федорова, перевод, 2010
© Мосты культуры/Гешарим, 2011

ISBN 978–5–93273–322–5

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одна из многих

7

I

Восемнадцатилетие в «хрустальную ночь»

ВЕНСКИЕ ДНЕВНИКИ

1933–1938

Школьница Рут 17

Мама, ты забыла меня? 39

Мысли приходят и уходят 59

«Дневник калеки» 71

Последняя осень на родине 99

II

1940-й звучит так... жутко

ПИСЬМА К СЕСТРЕ В АНГЛИЮ

1939–1940

Беженка в Норвегии 131

Мечта об Америке 149

Летние каникулы 165

В норвежской гимназии 183

Тысяча девятьсот сороковой 201

III

Война

НОРВЕЖСКИЕ ДНЕВНИКИ

1940–1942

В оккупированной стране	220
Немцы занимают Париж	237
Знакомство с Гунвор	255
В больнице	269
Долгие вечера	299
В путь-дорогу	321
В Трённелаг и обратно	335
Натурщица	355
Во власти весны	373
Собственное жильё	383

ЭПИЛОГ

...Исчезнувшая

396

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одна из многих

Рут Майер – беженка из Австрии, в Норвегию она приехала перед войной и прожила здесь четыре года, вплоть до устроенной в Осло поздней осенью 1942 года большой облавы на евреев, когда была арестована и вместе с пятьюстами другими евреями депортирована на борту транспорта «Донау». Родилась она в Вене 10 ноября 1920 года и погибла в Освенциме 1 декабря 1942-го.

Дневники она вела всю жизнь. Первые известные нам записи сделаны, когда ей было двенадцать лет. Заметки последней тетради обрываются через два дня после ее двадцатидвухлетия. За период 1933–1942 годов сохранилось восемь дневников – плюс полсотни писем, – которые по дням, неделям, месяцам содержат записи пытливой и образованной молодой девушки с разносторонними художественными интересами. Гунвор Хофму¹ хранила эти записки более пятидесяти лет.

Из тысячи ста страниц дневников и трехсот страниц писем сложилась история жизни – четырехсотстраничная книга, получившая название «Дневник Рут Майер». С подзаголовком «Беженка-еврейка в Норвегии».

Восемнадцатилетней гимназисткой Рут Майер в конце января 1939 года приехала из Германского рейха в Норвегию, жила в городке Лиллестрём, в 1940 году закончила гимназию, через женский Трудовой фронт обзавелась норвежскими друзьями – среди них была и будущая поэтесса Гунвор Хофму, – вместе с которыми два года ездила по стране, выполняя разного рода работы. В сентябре 1942 года она переехала в Осло и начала вечерами заниматься в Художественно-ремесленном училище, одновременно зарабатывая на жизнь росписью сувениров.

После нее остались дневники, письма, литературные тексты и множество акварелей и рисунков. А еще добрые воспоминания у тех, кто пережил ее, некоторые из этих людей живы до сих пор. Рут Майер наложила отпечаток на поэзию Гунвор Хофму с самого дебюта (хотя имя ее не названо):

Вот так в дождливый вечер
чувствуешь: это она,
еврейка-подруга, убитая
и сожженная
вместе с тысячами других.

¹ Хофму Гунвор (1921–1995) – норвежская поэтесса, подруга Рут Майер. – *Здесь и далее прим. перев.*

Мы знаем о последнем пути Рут Майер: по прибытии в Освенцим сто восемьдесят восемь женщин, сорок два ребенка и сто шестнадцать нетрудоспособных мужчин, привезенных на «Донау», были незамедлительно отправлены в газовую камеру. Тела сожгли в чистом поле. Индивидуальных свидетельств о смерти на этих триста сорок шесть человек нет.

В Осло имя Рут Майер увековечено на памятном монументе евреям – жертвам войны, воздвигнутом на Восточном кладбище, и на мемориальной доске в Художественно-ремесленном училище, среди погибших учащихся. В Вене ее имя выбито на надгробии родителей на Дёблингском кладбище.

*

Несколько слов о семье: Рут Майер росла в Вене, в спокойной и обеспеченной буржуазной семье – с родителями и сестрой Юдит, моложе ее на полтора года. Майеры принадлежали к числу ассимилированных евреев, давно обосновавшихся в австрийской столице. Людвиг Майер занимал высокое положение в австрийском почтовом ведомстве, был генеральным секретарем Международного объединения работников почты, телеграфа и телефона, имел степень доктора философии, владел девятью языками. Рут была очень привязана к отцу, тогда как отношение к матери, Ирме, нельзя назвать однозначным. Отец умер от рожистого воспаления, когда Рут было тринадцать. «Защитником» семьи стал брат отца, Роберт, директор банка в чехословацком Брно. Брат матери, Оскар, стопроцентный московский коммунист, – второй из незаурядных родственников Рут.

Детство у Рут и Юдит было счастливое, они много раз выезжали за границу – в Югославию, Италию, Швейцарию, Францию, Венгрию, а чаще всего в Моравию, то бишь тогдашнюю Чехословакию, где в деревушке Зарошице когда-то родился их отец. Каждое лето они проводили там несколько недель. Светлые годы кончились, когда в марте 1938 года Гитлер аннексировал Австрию. Еврейское население Вены – около двухсот тысяч человек, – до тех пор составлявшее часть солидного среднего класса, превратилось в изгоев общества и закоренелых врагов государства. Из современной квартиры семье Майер пришлось перебраться в гетто. И в обычные школы еврейские дети более не допускались. Враждебные выпады на улицах, разграбление магазинов, антиеврейские лозунги были в порядке вещей. Аресты, убийства. Кульминацией стала так называемая «хрустальная ночь»², совпавшая по времени с восемнадцатилетием Рут.

В годы войны два брата и четыре сестры Людвига Майера погибли в концлагерях, как и брат матери. Рут и Юдит Майер входили по отцу в чис-

² «Хрустальная ночь» – ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., когда по Германии прокатились кровопролитные еврейские погромы.

ло тринадцати двоюродных братьев и сестер, из которых уцелели только пятеро. Один из них – философ Штефан Кёрнер (1913–2000), ученик Витгенштейна и специалист по Канту. Юдит, сестра Рут, в декабре 1938 года уехала в Англию, куда в ближайшие полгода перебрались также мать Ирма и бабушка Анна.

До прихода нацистов Рут хорошо чувствовала себя в школе и среди друзей. Обладая ярко выраженным актерским талантом, играла главные роли в ежегодных школьных спектаклях, любила ходить в театр. С математикой она не очень ладила, зато сочинения писала прекрасно. Самые ранние дневниковые записи сделаны в обычной школьной тетради. В дальнейшем тетради более дорогие и толстые.

*

Учитывая количество сохранившихся тетрадей, приходишь к мысли, что Рут Майер вела дневник постоянно. Существующие пробелы, скорее всего, связаны с тем, что некоторые тетради потерялись. В ряде случаев записи прямо отсылают к утраченным текстам. Если пронумеровать дошедшие до нас дневники, получается следующая картина:

- тетрадь 1: май 1933 – октябрь 1934 г.;
- тетрадь 2: ноябрь 1935 – октябрь 1936 г.;
- тетрадь 3: ноябрь 1936 – апрель 1937 г.;
- тетрадь 4: апрель 1937 – июль 1937 г.;
- тетрадь 5: сентябрь 1937 – декабрь 1937 г.;
- тетрадь 6: сентябрь 1938 – декабрь 1938 г.;
- тетрадь 7: апрель 1940 – июль 1940 г.;
- тетрадь 8: январь 1941 – ноябрь 1942 г.

Что касается самого большого пробела – первых пятнадцати месяцев жизни Рут Майер в Норвегии, – то нам повезло, поскольку сохранились ее письма к сестре Юдит, которая жила тогда в английском Брайтоне. Вторжение немцев в Норвегию 9 апреля 1940 года заблокировало регулярную переписку, так что позднее Юдит получила очень мало писем. Однако к тому времени мы снова располагаем записками Рут, начинающимися 10 апреля и продолжающимися примерно до середины лета.

Последняя толстая тетрадь – «Дневник Рут Майер, 1941–1942» – насчитывает триста пятьдесят рукописных страниц, она самая большая и самая важная. Записи из этой тетради цитировала Гунвор Хофму в своей статье «Рут Майер», опубликованной в литературном журнале «Виндуэт» (№ 2/1948). И выдержками главным образом отсюда она весной 1953 года

пыталась убедить своих издателей выпустить в виде книги подборку дневниковых записей Рут Майер. Предложение отклонили, мотивируя отказ тем, что материал носит слишком частный характер. Новых попыток поэтесса не предпринимала, решила, что скорбь по убитой еврейке-подруге должна остаться ее личным достоянием. А это явилось одной из причин, приведших к психическому дисбалансу, – лишь через двадцать два года Гунвор Хофму вышла из психиатрических лечебниц.

Приведенная выше цитата из дебютного сборника (1946) Хофму взята из стихотворения «Встреча», которое заканчивается знаменитыми строками: «Warum sollen wir nicht leiden / wenn so viel Leid ist?»³ Из послевоенного письма Гунвор Хофму к сестре Рут мы знаем, что эта немецкая фраза целиком заимствована из письма, которое Рут сумела тайком переправить Гунвор с «Донау». Рут пишет, что оставляет Гунвор все, что та захочет сохранить из ее вещей.

Вот что писала Хофму о значении Майер в дискуссии с издательством по поводу публикации дневников:

Я могу лишь коснуться того, что Рут Майер значила для меня, хотя знала ее «все-го» два года, с 1940-го... С детства меня горячо занимали преследования евреев в Германии, впрочем, «занимали» не то слово, я была чуть ли не одержима их человеческим унижением, вообще нацизмом... И только когда я на добровольном трудовом фронте познакомилась с Рут – мне было тогда девятнадцать, – все, с чем я годами боролась, выплеснулось наружу. В начале было вот что: беженка-еврейка, жертва той подлости, которую я много лет ненавидела, не умея пальцем пошевелить, чтобы помочь. И оказалось, что она была как бы духовной параллелью, душой-близнецом, хотя выросли мы в совершенно разном окружении и детства наши были диаметрально противоположны.

«Души-близнецы – и один близнец умер». Много в стихах и в событиях жизни Гунвор Хофму, в том числе ее способность к самоисцелению, можно соотнести с появлением Рут Майер и ее исчезновением. Заключительные строки одного из стихотворений – «Той, что была» – гласят:

Вот отчего сторожкая тоска
и мир, что прочь бежит
среди опаленных будней,
которым я не покорюсь.
Во всех вещах вокруг –
твои глаза и губы.

³ Почему мы не должны страдать, когда вокруг столько страдания? (нем.)

Я часто будто слепну,
но *ты* – мой миг прозренья.

*

Трехчастная хронологическая композиция книги возникла сама собой:

- I. Венские дневники, разделенные на пять глав, 1933–1938 гг.
- II. Письма сестре в Англию, разделенные на пять глав, 1939–1940 гг.
- III. Норвежские дневники, разделенные на десять глав, 1941–1942 гг.

Всем двадцати главам предпосланы краткие биографическо-тематические вступления, чтобы сориентировать читателя, в каких обстоятельствах находился тогда автор. Все цитаты и реплики подкреплены источниками. Завершается книга эпилогом, следующим за последними сутками Рут Майер в Норвегии.

Венские материалы группируются согласно дневниковым тетрадам, лишь первая глава охватывает первую и вторую тетради дневника. Там приведены на пробу выдержки из самых ранних записей, а не полный текст. Остальные четыре главы соответствуют дневниковым записям третьей, четвертой, пятой и шестой тетрадей, где опять-таки имеют место стяжки и сокращения.

Письма в Англию публикуются с рядом довольно больших опущений. В книгу включены только письма к Юдит, хотя Рут порой посылала весточки матери и бабушке. Правда, есть несколько исключений. Части текста, однозначно относящиеся к личной жизни сестры, большей частью опущены. Как и пассажи о родственниках и друзьях, изгнанных из Вены. То же касается и рассуждений Рут о будущем, коль скоро они повторяют написанное ранее. Манера изложения в письмах близка к устной речи, стилистика не слишком строгая. Хотя текст подвергается стяжкам, непринужденный тон намеренно сохранен.

Норвежские записи воспроизводятся с максимальной полнотой. Сюда же включены без малого полсотни коротких лирических текстов, главным образом в форме стихотворений в прозе. Они даны курсивом и помещены там, куда относятся хронологически. Рут сама занесла их в дневник, но есть и чистовые варианты на отдельных листках.

В книге помещены иллюстрации, привязанные к дневниковым записям и расположенные на соответствующих страницах. Это и фотографии, и рисунки, и вырезки из газет, и видовые открытки, а также документы и разрозненные материалы из других источников. Кроме того, воспроизведены несколько акварелей Рут Майер и факсимиле ее дневниковых за-

писей разных лет. Одна из акварелей – в цвете – помещена на обороте суперобложки.

*

Дневники Рут Майер были обнаружены в архиве Гунвор Хофму после смерти поэтессы в 1995 году. А что они публикуются книгой только сейчас, связано с тем, что прежде надлежало осуществить другие издания: «Собрание стихотворений» Хофму (1996), «Посмертные стихи» (1997) и «Я не забыла никого» (1998), куда включены несколько цветных акварелей Рут Майер. А также сборник «Песнопевница тьмы. Книга о Гунвор Хофму» (2000), во многом аналогичный данной книге «Дневники Рут Майер. Беженка-еврейка в Норвегии».

Нижеподписавшийся сделал подборку текстов, перевел их на норвежский, подготовил для издания, снабдил 20 глав заголовками и введениями, а также осуществил подбор иллюстраций. Литературные произведения, цитируемые в дневниках, назову ниже лишь выборочно.

Немецкоязычная литература, упоминаемая Рут Майер, помимо классических текстов Гёте и Шиллера, Новалиса и Гейне, это «Переписка Гёте с ребенком» (1835) Беттины фон Арним, «Смерть Дантона» (1835) Георга Бюхнера, «Талисман» (1840) Иоганна Нестроя, новелла Томаса Манна «Разочарование» (1896) и его же роман «Волшебная гора» (1924), драма Герхарта Гауптмана «Потонувший колокол» (1897), романы Якоба Вассермана «Евреи из Цирндорфа» (1897), «Человек с гусями» (1915) и «Этцель Андергаст» (1931), диалоги Артура Шницлера из пьесы «Хоровод» (1903) и др. А также «ответ» Гитлеру Ирены Харранд в ее публикации «Его борьба» (1935) и «Разговоры с Гитлером» Германа Раушнинга (1940).

*

Многих нужно поблагодарить за то, что после стольких лет эта книга все же увидела свет.

Прежде всего назову Юдит Сушицки, сестру Рут, живущую в Англии. С нею я находился в постоянном контакте, с тех пор как 15 мая 1997 года отправил ей первое письмо, а через полтора месяца встретился лично. Она бережно сохранила все письма Рут и прочую переписку с Норвегией. Многие сведения о Рут и ее семье получены благодаря беседам и переписке с Юдит. Один из ранних дневников Рут опять-таки обнаружился в Манчестере. Юдит и ее муж Ханс Сушицки на протяжении десяти лет незримо стимулировали издание и работу над книгой. Дневники Рут Майер, папки,

письма, акварели, рисунки, фотоальбомы и другая документация теперь будут переданы в ословский Центр Холокоста.

Хочу также поблагодарить двух племянников Гунвор Хофму – Тура Гуттормсена и Уле Гуттормсена († 2005) – и ее кузину Ингер Хофму. Бесценную помощь оказал военный историк Кристиан Оттосен († 2006), которому удалось через свое лондонское контактное лицо, Дэвида Лейна, разыскать адрес сестры Рут Майер.

Сердечное спасибо и Вальтеру Баумгартнеру из Грайфсвальдского университета, руководителю Института скандинавистики, за содействие в подготовке книги. Не могу не выразить признательность секретарю института, Кароле Бидерштедт, которая переписала на машинке несколько дневников и все письма Рут Майер, и студенткам-скандинависткам Карен Дворацек и Беате Брус, которые сделали первичный перевод на норвежский писем, а также двух ранних дневников. Спасибо Сабине Рихтер, перепечатавшей на машинке норвежские дневники Рут Майер, и Оливеру Мейстаду, который отредактировал перевод оригинальных текстов.

Среди помощников нельзя не назвать и Карен Волсгор Енсен и Лив Видт, единственных ныне живущих подруг Рут Майер и Гунвор Хофму. Нана Моум и Марри Микалсен рассказали о Рут Майер в день облавы 26 ноября 1942 года. Эдла Ньюгор служила прислугой в лиллестрёмской семье. Турид Стрём – дочь хозяев. Ян Стрём и Нина Стрём, живущие в Стокгольме, – ее дети. Стейн Опъярдсмуэн из Уллеволской больницы и Кари Бёэ из Государственного архива помогли разыскать документы. Трюгве Ланге Нильсен, Фернанда Смит и Юхан Фредрик Таулов учились с Рут в одном классе Фрогнерской школы. Поделились своими воспоминаниями также Нильс Мессель, Мартин Наг, Эйнар Редергор, Гури Скугген, Эспен Сёбюэ, Тур Сёрхейм, Гро Варден, Бьёрн Вестли. Всем большое спасибо.

*

Рут Майер, вечный жид. Вечная беженка. Вечная интеллектуалка. Вечная артистическая душа. Вечный андрогин. Вечный аутсайдер.

Сильная и бездомная. Одна из многих.

Ян Эрик Волл

Июнь 2007 г.



Из шести венских дневников 5 были найдены в бумагах Гунвор Хофму. Один из дневников, относящийся к осени 1937 г., сохранила сестра Рут Майер

I

Восемнадцатилетие в «хрустальную ночь»

ВЕНСКИЕ ДНЕВНИКИ

1933–1938



Школьница Рут. Из семейного альбома

Школьница Рут

1933–1936

Начальная глава состоит из текстов двух самых ранних дневников Рут Майер, какими мы располагаем: май 1933 – октябрь 1934 года и ноябрь 1935 – октябрь 1936 года. Промежуточные записи утрачены. Первый дневник начинается, когда Рут двенадцать лет, и заканчивается, когда ей почти четырнадцать. Следующий начинается, когда ей только-только исполнилось пятнадцать. В это время она посещает венскую школу.

Первый дневник – обычная школьная тетрадь форматом в четвертушку листа (17 x 21 см), где недостает начальных страниц. Первая полная запись – от 13 мая 1933 года: «Сегодня нам раздали контрольные по французскому. Я получила 2⁴. С Кэте и Фрици было очень весело. Сейчас иду к Вулкану. У Вулкана было здорово. Мы качались на качелях, играли в мяч, и Вулкан показала нам котят. Прелесть». (Вулкан – одна из подружек.)

Весь остаток месяца занимают будничные заметки девочки-школьницы: она совершает пробежки в парке, ходит на экскурсии в лес, учится играть на фортепиано, играет в полицейских и воров, ест вишни, собирает марки, веселится с подружками. В школе у Рут наилучшие успехи по истории и естествознанию (сплошь «единицы»), наихудшие – в математике («тройки»), по всем остальным предметам – «двойки»: «Мама очень довольна, если не считать «двойки» по поведению».

Первые особенные записи датированы 2 июля 1933 года – обещанная каникулярная поездка не состоялась: «Мы все-таки не поехали в Вахау⁵. Я так разозлилась, что готова кричать и рвать все на мелкие клочки, я злюсь, злюсь, злюсь, злюсь, злюсь, злюсь и еще раз злюсь. Злюсь. Злюсь... потому что нельзя поехать в Обернхольц, злюсь, так жутко злюсь, что могла бы... злюууусссс! Реветь готова от злости и гнева. Была в саду и так злилась, что чуть не лопнула от злости. Просто взбесилась».

Записи второй половины июля сделаны в Зарошице, моравской деревушке, где прошло детство отца; каждое лето семья выезжала туда на отдых. Дети собирают яйца кур-несушек, носят воду из колодца, сидят с дедушкой под акацией. Рут спит в гамаке. В дождливую погоду они играют в карты. Некоторые записи сделаны руническими буквами. «Это мой секретный язык» (14 июля 1933 г.).

⁴ Соответствует нашей «четверке».

⁵ Вахау – долина Дуная между Мельком и Кремсом: живописный ландшафт, сады, виноградники, многочисленные сохранившиеся монастыри и руины крепостей, старинные городки.

Позднее тем летом они отдыхают на родине, в Австрии. В Пибургере купаются в Пибургерзее, в Кютаи ярко сияет альпийское солнце: «Папка спалил ноги. Ночевали в Дортмундском приюте».

В сентябре семья вернулась в Вену, но осенью в дневнике записей мало. 29 октября отмечено: «Приехали дядя Роберт и тетя Аранка. Тетя Аранка подарила нам по большущей конфете».

28 декабря 1933 года отец, Людвиг Майер, неожиданно умирает от рожистого воспаления, после непродолжительной болезни.

Первая запись после смерти отца сделана во вторник 13 февраля 1934 года: «Социал-демократическая партия распущена. (Две недели назад у нас появился новый дядя)». И на следующий день: «Дома будет обыск. Я ужасно боюсь».

Зимой и весной 1934-го записи в дневнике довольно короткие – о лыжных курсах в горах, о вывихе ноги, о тревоге перед экзаменом по математике. Рут так боится грабителей, что, когда стучат в дверь, прячется в сундуке. В субботу 21 июня запись такова: «Случилось самое скверное: 3 «А» нашел в школе мой дневник и прочел. Какая низость! Теперь они меня дразнят! Прекратите!»

Летом 1934-го они снова в Зарошице, записей в дневнике немного. Последняя довольно пространная сделана осенью, уже по возвращении в столицу. Она воспроизводится полностью. Телесное изменение, томление, становление – вот что занимает девочку, которой скоро исполнится четырнадцать.



С 1929 г. семья проживает на Хоккегассе, 2, 4-й этаж, в этом доме конструктивистского стиля выше этажом расположена контора отца. Людвиг Майер (1882–1933) и его жена Ирма, урожденная Гроссман (1895–1964), поженились в 1919-м. Детей у них двое: Рут (р. 1920) и Юдит (р. 1922)

ВТОРНИК 16 ОКТЯБРЯ 1934 г., ВЕНА

Прошло!!! Как я рада! Вчера застала маму за шитьем, она шила маленькие штанишки и сказала мне: «Это штанишки для месячных. Чтобы обошлось без особых сюрпризов». Сегодня меня *очень* хвалили за сочинение («Впечатления от каникул»). Фройляйн Пани сказала, что оно поэтичное и т. д. Я чувствую себя весьма польщенной. Мне бы ужасно хотелось стать писательницей или актрисой, но только не заниматься профессией, где нельзя сделаться великим. Похоже, у меня мания величия. Перед зеркалом я постоянно строю гримасы. Сотни раз я думала, что непременно что-нибудь напишу и т. д.

Мы с Кэте много говорим об этих вещах (о сексуальных). Впрочем, с гомосексуализмом давно покончено. Тетя Ада мне все замечательно разъяснила. Человек, сильно разочарованный в любви (когда двое друг другу не подходят), вступает тогда в сексуальные отношения с представителем своего же пола. А как ужасно было, когда я ходила и думала об этом. Смотрела в энциклопедии. Спрашивала мамочку, но она сказала, что я все равно не пойму. Слава Богу, теперь это позади. Да, если не имеешь проблем, так создаешь их сам!

И другое было ужасно. Когда я просыпалась среди ночи и от страха едва могла пошевелиться. Думала, у меня мания преследования.

Ух-х!

P.S. Неделю назад я отыскала в энциклопедии статью *Эмбрион*, было интересно. Pourquoi Maman ne dit pas moi ces choses?⁶ Я часто думаю о других детях, у которых нет такой мамочки, и папочки, и тети Ады. Они же станут совсем... не знаю какими. Как подумаешь, что говорят уличные мальчишки! А Герда, что она рассказывает! И когда не понимаешь, что любовь – это нечто огромное и святое! Ведь тогда только приходишь в смятение и думаешь, что все люди злые. Но раз они способны любить друг друга, то не могут быть плохими. Главное, я вычитала вот что: мир не зол, ведь будь он зол, возник бы вопрос: откуда в мир приходит добро? Очень хочется стать знаменитой. Я не желаю просто скатиться с края, как винтик от механизма. Люди исчезают. Я буду жить! И оставляю после себя кое-что, документ, подтверждающий, что я жила. Большой, замечательный труд. Часто, лежа в постели, я воображаю, как помогаю людям, обнимаю весь мир и все хорошо. Так здорово!!!

Когда напишешь в дневнике, все кажется так легко. И на дневник смотришь как на друга. У меня и в мыслях нет, что он только бумага. Всего-навсего бумага.

⁶ Почему мамочка не говорит мне о таких вещах? (фр.)



Рисунок тушью «Зарошице», лето 1936 г.

Второй дневник – тетрадь большего формата (19 x 25 см), в твердом красном переплете, состоящая из 140 полностью исписанных страниц. В ней есть рисунки и несколько акварелей. Первая запись, сделанная в среду 13 ноября 1935 года, начинается так: «Я очень недовольна собой, что-то просится наружу, не знаю что именно. Хочу писать. Пьесы для театра, о том, что я пережила сама».

Честолобивые замыслы и плотские желания возникают в заметках на протяжении всей осени.

«Мне хочется написать роман. Ужасно хочется. У дяди Руди я говорила с социал-демократами и коммунистами. Он произвел на меня сильное впечатление! Но я все равно в сомнениях насчет того, что лучше» (20 ноября 1935 г.).

«Мне нездоровится. Я так рада. Все время думаю о том, что теперь могу рожать детей, теперь в жизни есть цель. Я ужасно рада» (30 ноября 1935 г.).

«Поеду в Россию к дяде Оскару! И буду работать. Только работать. Писать о разных детях или вести дневник. Роман».

Ниже следует выборка записей за 1936 год. Во время учебного года Рут находится в Вене, летние каникулы проводит в Чехословакии – в Зарошице, Розентале и Брно. Записи, сделанные в конце лета в Венгрии, опущены.

КОНЕЦ ЯНВАРЯ 1936 г., ВЕНА

Я очень несчастна. Не знаю почему, иной раз думаю, что ничего из меня не выйдет. Признаваться себе в этом неохота. Но так оно и есть! Мне нелегко написать это. Я совершенно уверена, что стану театральной актрисой. Но в другом, в том, чтобы стать писательницей, а об этом я в глубине души мечтаю, я вовсе не уверена. Если бы прочитать книгу, где мысли такие же, как мои, наверно, мне было бы не так плохо. Я бы думала, что у меня есть единомышленник. У одного развлекательного автора я нашла ту же мысль. Но плохо сформулированную. Иногда, читая стихи или скверный роман, я замечая хорошую мысль, которую автору хочется сообщить читателю, но он не умеет ее выразить. На меня порой нисходит вдохновение, я пишу и сама не знаю, что же именно! Я просто-напросто люблю Лиззи Кантор! Это преувеличение! Сегодня ночью мне приснилось, что она поцеловала меня. Любовь вызывает у меня любопытство. И все же что-то такое просится из меня наружу! Может, когда-нибудь я напишу роман, хотя мне лучше удаются короткие зарисовки. Мысли! Но сплошь глупости!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ФЕВРАЛЯ 1936 г., ВЕНА

Я снова уверена в победе! В школе мы ставим спектакль, и почти весь текст написала я одна. Снискала похвалу.

ПЯТНИЦА 7 ФЕВРАЛЯ 1936 г., ВЕНА

Странная штука – любовь! И все с нею связанное. Не только любовь между мужчиной и женщиной, но и любовь между девочками! Я одинока, но горжусь – горжусь своим одиночеством! Мне бы хотелось иметь хорошую подругу, но раз ее нет, я утешаюсь гордостью. Я бы с удовольствием подружилась с Розой Шалль или с Лиззи Кантор. Меня переполняют мысли – о любви и других вещах, которые рвутся на волю. Сегодня По плакала, ужасно – сперва задрожали губы, потом глаза стали совсем мокрые (мы спрашивали у нее, что случилось), и мне было ужасно жаль ее.

Я жажду любви, жажду мальчиков. Мне нравится ходить в школу танцев, последнее время все существование вертелось вокруг ревности. Я ревную Лори, когда она и Вайсбергер держатся за руки. Ревную Марион, когда вижу, что ей симпатична Герти. Ревную Лиззи и Анни, а все потому, что сама одинока. Попробую отучиться от этой ревности. Она жутко противная. Буду писать рассказы о дружбах.

СРЕДА 12 ФЕВРАЛЯ 1936 г., ВЕНА

С рассказами о дружбах ничего не вышло, может, в другой раз. Ночью мне снился папа. Я прижималась к его груди, а он сказал: «Не плачь!» Папу я вижу во сне часто. Однажды мы сидели под березами. В другой раз он был в полном отчаянии, стучал зубами, и я сказала: «Папа! Ты всегда говорил нам, что надо быть храбрыми и не плакать, теперь я должна сказать тебе то же самое». Однажды я погладила его по плечу. А как-то раз он лежал в постели, и все пришли и брали маму за руку, а я сказала: «Зачем вы так делаете?» Я ужасно рада, когда вижу папу во сне. Я отыскала что-то наподобие его дневника. Там записано много такого, о чем я размышляю. И стихи. Надо их переписать. Папу я никогда не забуду. Он всегда со мной. Я часто думаю, что во мне, наверно, есть что-то хорошее, ведь у меня такой папа.

Еще я часто думаю, что, раз папа снится мне каждую ночь, значит, ночь, когда он со мной, это у него день, а мой день – ночь, когда он спит. Может, он видит все, что я делаю!

Я ужасно влюблена в Лиззи.

СУББОТА 22 ФЕВРАЛЯ 1936 г., ВЕНА

Сейчас мне так много хочется написать, но, к сожалению, уже вечер. Только что у меня была Бланка. По поводу рукописи для школьного концерта. Но, не считая пяти слов, я все сделала *в одиночку*. Здорово.

Я уже не так влюблена в Лиззи.

С Гретль мы спорили о коммунизме и социал-демократии. Я защищала социал-демократию, но в глубине души я там, с коммунистами.

Сегодня к нам в школу приходил индеец, точь-в-точь такой, каким я представляю себе индийца. Слегка небритый и очень смуглый. Глаза у него были ужасно красивые, и он рассказывал про Индию и носил тюрбан. Потом он писал на доске по-персидски и по-индийски и сказал фразу по-индийски (и по-персидски тоже), звучало ужасно красиво, как музыка. Он сказал: «Индия – самая прекрасная страна на свете, она как сад, а индийцы – как поющие соловьи». (Поэтическая фраза.) Он был очень красивый. Я *жутко* радуюсь школе танцев (хотя это не сочетается с другими моими серьезными принципами – или все ж таки!). Мне жутко нравится общаться с мальчиками, вернее, с одним мальчиком, который мне жутко симпатичен.

А теперь, увы, надо идти спать.

ЧЕТВЕРГ 27 ФЕВРАЛЯ 1936 г., ВЕНА

Ходила в кино. Настроение замечательное. Что-то готовится. Завтра приезжает дядя Руди. Я его люблю. И тоскую по тирании (пассивно). Никогда не чувствовала такой уверенности в себе. Читаю «Этцель Андергаст». Замечательная и сильная книга. Хочется написать про Этцеля Андергаста побольше. Буду изучать медицину. По дороге домой валяла дурака, *ужасно* здорово. Дита получила от мамы затрещину. Мама – два разных человека. Одна – мамуля, облагороженная папой, другая нет.

Всем существом я стремлюсь к кому-нибудь, кто будет мною руководить. К сожалению, сейчас пора заканчивать.

ВТОРНИК 3 МАРТА 1936 г., ВЕНА

Напишу несколько строк, прежде чем идти спать. Теперь мне хочется иметь другую подругу: Герти Вайсбергер. Она ужасно хорошая. Мы вдвоем (а позднее и Лори) выдавали себя в магазине за англичанок и спрашивали лак для ногтей, и парфюмерию, и вечернее платье у мужского портного. Все с английским акцентом. И как можно скорее (дело было во время урока гимнастики, мы его прогуляли). Зашли еще в музыкальный магазин, якобы нам надо починить скрипку. Владелец – довольно молодой человек. Сказал, что тоже немного знает английский, и был ужасно любезен. Потом мы зашли в магазин грампластинок, и в какую-то школу (!), и в Народную оперу за париками, в одной парикмахерской нам даже показали несколько париков, но мы, понятно, сказали, что они слишком страшные. Было очень здорово. Увы, пора в постель. Потом обязательно напишу еще. Доброй ночи!

СУББОТА 14 МАРТА 1936 г., ВЕНА

Завтра иду в Бургтеатр на «Ажеца» Гольдони. С Германом Тимигом⁷. После «Короля Лира» я восхищаюсь им как... у меня нет слов. Я с ума схожу по нем. Часто я о нем мечтаю. Мне хочется (вот глупость) поцеловать его белые руки. Шута он играл бесподобно. Несколько раз я мысленно сочиняла письма, адресованные ему.

⁷ Тимиг Герман (1890–1982) – австрийский театральный актер, с 1934 г. играл в Бургтеатре.

СРЕДА 25 МАРТА 1936 г., ВЕНА

Уже целую неделю хожу в новую школу. По-моему, школа симпатичная. Только мне там ужасно одиноко. Подруг нет. Ничегошеньки! Временами хоть плачь. И потому меня тянет ко многим. К Лиззи! Она умная, некрасивая, но глаза в глубине горят. Мне кажется, она тоже одинока. Многие девочки ходят вместе с ней. На меня она не обратила внимания, а мне бы так хотелось открыть ей сердце и спросить совета, Господи, как все ужасно.

Говорим об императоре.

Р у т : Тебе хочется иметь императора?

К у р т и : Еще бы! Тогда я смогу увидеть, как он ходит, и у него золотая карета, полная цветов.

Говорим о «Тысяче и одной ночи».

Р у т : А царица оказалась неверна царю.

К у р т и : Что означает «неверна»?

Р у т : Эта женщина больше любила не царя, а другого.

К у р т и : Почему? Ведь царь лучше?

Говорим о пропавшем без вести самолете.

Р у т : Самолет так и не нашли.

К у р т и : Как же так, разве нельзя сделать морю рентген?

Говорим о войне.

Р у т : Много-много людей погибает, а это плохо.

К у р т и : Почему? Мой папа и мой дядя тоже были на войне, и ничего не случилось.

Опять о войне.

К у р т и : А что, если начинают другие?

И снова о войне.

Р у т : Многие становятся калеками.

К у р т и : Зато не умирают.

СУББОТА 28 МАРТА 1936 г., ВЕНА

Сегодня я опозорилась на репетиции. Интересно, как будет во время представления.

СУББОТА 4 АПРЕЛЯ 1936 г., ВЕНА

Спектакль состоялся! Было чудесно. Я в главной роли. Мне бурно аплодировали. Поздравляли. Впрочем, расскажу по порядку.

Сперва я не нервничала. Но после перерыва начался мандраж. Мы гримировались. Я была ужасно стильная, в черном парике и в шлеме. Занавес поднялся. А когда я заколола себя кинжалом, публика засмеялась! Бурные аплодисменты. Марта Лифшульц бросала на сцену фиалки (которые мы заранее ей дали). Несколько цветков не долетели, Сакс и Райхель подобрали их и бросили нам. Фишер сказала: «Майер – денди, но классный!» Потом я вышла. Все меня поздравляли, и на радостях я поцеловала Фрицци. Нелли сказала: «Ты замечательно играла, и за это тебе поцелуй!» Я была так счастлива! Фройляйн Сакс подошла и чуть ли не погладила меня по плечу... Герти ревновала, потому что все поздравляли меня. Мне было ее жалко.

Сейчас, думая об этом, я считаю, что все было *ужасно* красиво, но по сравнению с Великим так мелко. Хотя это ведь, пожалуй, только первый шаг. В один прекрасный день все снова обступят меня и будут восклицать: «Ты играла великолепно. Поздравляем». Фройляйн Сакс станет бросать нам цветы!.. Может статься, будет так! А теперь о другом! Сестра Лори – Марион – ужасно жеманная и глупая, раньше она была симпатичнее. Но все равно милая. Вчера на перемене в тысячный раз сказала: «Ты получишь затрещину!», и тогда я сказала: «Знаешь что, Марион, так не говорят... а если тебе позарез надо это сказать, не нуди!» Тогда она меня обняла. (Марион обожает Герти, но я не ревную!)

Ужасно люблю фройляйн Сакс! По-моему, это самая чудесная любовь, я восхищаюсь ею! Она часто обижала меня. Ну и ладно! Знаю, она меня любит. И потом, я списывала в школе, *немножечко* соврала и под конец сказала, что потеряла тетрадку, хотя на самом деле забыла ее! Как она рассердилась! Сказала, что переоценила меня и это ей обидно. Может, она переоценила меня, а может, нет? Но ведь факт тот, что присутствие другого человека, который ждет от тебя больше, чем ты сам, стимулирует тебя, бросает тебе вызов, и порой ты достигаешь больших результатов. (Тут как с Этцелем Андргастом.)

Только что здесь был Ханс, он симпатичный парень. Ужасный лентяй. Увлеченный математикой. (!) Немного занимается со мной (бесплатно, разумеется). И кругозор его простирается ненамного дальше математики. Тем не менее он милый. (Я никогда не смогла бы полюбить такого человека.) Возможно, я ему чуточку нравлюсь. Возможно. Но только как подходящий объект для специалиста по математике. Вторая его страсть – лыжи. После пасхальных каникул надо заняться с ним английским. (Вилли у меня больше не занимается.)

Дневник ведут два типа людей. Одни делают это действительно из внутренней потребности. Другие – с тайной надеждой, что однажды дневник найдет неведомая муза и он произведет сенсацию как яркий образец уж не знаю каких девичьих и деликатных чувств. (Иногда я принадлежу к первым, иногда – к последним.)

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 АПРЕЛЯ 1936 г., ВЕНА

Я слегка влюблена. В Ханса. Смешно. Однако правда. Может, потому, что он первый мальчик, с которым у меня чуть более близкие отношения. А может, я просто воображаю себе, что влюблена. Знаю только, что, когда думаю о нем, мне становится немножко веселее! Он милый. Мы разговариваем. Но не более того. Он снял очки и сделался такой... бледный, маленький и обнаженный. Мне хочется, чтобы он пришел ко мне и заплакал. Хочется приласкать его. (Я пишу эти строки вовсе не с горящими от эмоций щеками, все связанное с Хансом трезво и рассудочно.) Он в меня не влюблен, ни капельки. (Я вообще не могу представить его влюбленным, для этого он *слишком* рассудочен.) Во мне (если не считать математики) он видит человека, с которым в лучшем случае хорошо поговорить. Что бы мне немножко в него влюбиться. (Я не так уж и влюблена, он об этом вообще не думает, да и я тоже.) Он мог бы преспокойно рассказать мне про свои любовные истории (будь они у него), не думая, что меня это больно заденет! Он видит во мне не женщину (!), а что-то другое. Может быть (?), товарища. Так ведь это намного лучше!

ПЯТНИЦА 8 МАЯ 1936 г., ВЕНА

Совершенно не люблю Ханса! Наоборот! Теперь усиленно учу английский. Только что произошел скандал. Дело вот в чем: я купила опрыскиватель для цветов и обрызгала из него фройляйн Фишер, ненарочно, разумеется. Она не заметила. Когда я рассказала маме, она жутко меня отругала. (У меня и так уже два замечания по поведению, я правда не знаю, как так получается.) Мама собирается сообщить об этом дяде Руди. *Ненавижу* дядю Руди! Он обыватель. Я, пожалуй, напишу об этом. *Неприменно* напишу пьесу. Просто она должна созреть. Как плод. К сожалению, пора заниматься английским. И про Ханса я тоже напишу!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАЯ 1936 г., ВЕНА

Вообще-то я не испытываю потребности вести дневник. Только что звонила г-жа Штерн: Ханс заболел. *Откровенно говоря*, он мне совершенно не нравится. Я его боюсь. Когда он без очков, я не могу на него смотреть. Непременно напишу пьесу, но не прямо сейчас. Нам задали домашнее сочинение: «Старый/молодой». Кстати, насчет дяди Руди: я правда не люблю его. Он мещанин. Смотрит на тебя презрительным взглядом или очками на носу и внушительно рассуждает о коммунизме и т. д. А я думаю: вот большой дурак.

ПЯТНИЦА 29 МАЯ 1936 г., ВЕНА

У меня отличное настроение, не знаю почему! Заданное сочинение «Старый/молодой» я написала. Надо снять с него копию. Пьеса может получиться замечательная. Заголовок пока не придумала. Скоро приступлю. (В математике я слабовата, похоже, не справлюсь.)

СРЕДА 17 ИЮНЯ 1936 г., ВЕНА

Ходила купаться. Возвращалась домой вместе с Лиззи. Умная девочка. Говорили мы об антисемитизме и воспитании. В трамвае встретили слепого. Он читал книгу для слепых. На меня это произвело впечатление. Как свидетельство человеческой воли, в том числе доброй, не знаю, слов не хватает. По математике работы невпроворот.

СУББОТА 20 ИЮНЯ 1936 г., ВЕНА

Вчера была в парке. Рядом со мной сидела женщина. Седые волосы, недовольный рот. Женщина-работница. Четверо детей. Одна, по имени Дита, темненькая, плотная девочка, сказала: «Я всюду искала, но так и не нашла. Чем меньше, тем наглей». Женщина: «Я же просто сказала ей: я не такая, как ты, грязная жидовка». Младшему мальчику, Отти – он хорошенький такой, светловолосый, – женщина все время грозит: «Ой, гляди, вон у барышни сумка, возьмет и посадит тебя туда». И еще: «Сейчас позову сторожа, он тебя заберет и посадит в мешок» и проч. Бедный ребенок. Когда человек полон ненависти и считает себя вправе убить другого человека, то мучит его не совесть, но страх наказания (как в «Троих» у Горького). Горький недавно умер. Таким людям умирать нельзя. (Мама тоже так говорит.)

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ 1936 г., ВЕНА

В трамвае я видела пожилого мужчину. С впалым ртом и загорелым лицом. С ним рядом стояла красивая пухленькая девушка. Обыкновенная, каких тысячи. Я услышала только часть разговора. Примерно вот что: пухленькая девушка с красивыми глазами спросила, как у него дела. И старик ответил: «Я чувствую себя ужасно одиноким. Ведь у меня никого нет». Лицо его приняло печальное, чуть ли не плаксивое выражение. А потом он по-детски улыбнулся и спросил: «Вы разве по мне скучали?» И тут девушка, которой вовсе не было дела до старика, сказала: «Да, мы часто говорили о вас». Старик сразу обрадовался. Каждый раз, когда девушка порывалась уйти, он брал ее за руку и радостно спрашивал: «Вы вправду думали обо мне?»

В тот же день я видела много людей в бесплатной столовой. Вид у них был жалкий. У одной женщины газета на голове, платье грязное, в руках дырявая авоська. Краснощекий старик отпускал шуточки, в руках синий котелок, ноги обмотаны тряпками. И множество других.

Зимняя помощь, милостыня, порождения нездорового времени. Людям не понадобились бы ни подачки, ни пожертвования, ни зимняя помощь, будь у них работа (в здоровых условиях) и еда. Зимняя помощь, жертвования голодным детям и проч. – это не выход, а обман. От правительства, которое начинает с подобного сбора средств, толку не будет, оно не способно обеспечить народ работой.

Я ведь коммунистка. В России теперь ввели избирательное право.

[Остальные летние записи 1936 года локализованы, но по дням не датированы. Сначала Рут с сестрой едут в Зарошице, где живут в доме дяди Виктора. Затем перебираются в крестьянскую усадьбу семейства Рауш в Розентале, деревне, расположенной неподалеку. А затем в Брно (по-немецки Брюнн), где живут тетя Ричи, и вдовая тетя Ада, и дядя Роберт – директор банка, с личным шофером. После смерти Людвига Майера дядя Роберт стал покровителем семьи и экономически поддерживал Ирму Майер.]

ИЮЛЬ 1936 г., ЗАРОШИЦЕ

Вот мы и в Зарошице. Чудесно. В Зарошице мне нравится больше, чем в Вене. Здесь так замечательно. Буду писать. Но сперва надо наглядеться. Вобрать в себя всю эту красоту. Когда вернемся в школу, это очень пригодится в качестве пропитания. Как верблюду собственный жир.

ИЮЛЬ 1936 г., ЗАРОШИЦЕ

Здесь так красиво. Поля и люди. Я люблю крестьян. В них нет фальши. Они настоящие. Говорят, все крестьяне здоровы. Это неправда. Четверть населения Зарошице болеет туберкулезом, еще четверть живет в бедности, им нечего есть, а это тоже болезнь. Странно, как много в здешней округе деревенских дурачков. Дети смеются над ними. А они глупо ухмыляются и иногда плачут. В Вене их зовут крестинами, говорят, что они душевнобольные и прячут в благоприличных сумасшедших домах.



Дядя Виктор владеет единственным в деревне магазином, который перешел к нему от отца. Имя отца фигурирует на вывеске над входом: СИМОН МАЙЕР

Вчера я хотела сфотографировать зарошицкое кладбище. А оттуда как раз вышла старуха. Хромая, с запавшим ртом. Заговорила со мной. По-чешски. Я мало что поняла. Она сказала, что одинока. Что никого у нее нет. Потому и ходила на кладбище. Потом она заковыляла вместе со мной по улицам. И сказала: «Ti dretzka» или «Ti troitki» (не знаю, правильно ли я записала). Мне вспомнилось, что я однажды читала в какой-то книге, как старая женщина шла по дороге и бормотала себе под нос: «Да, дети!», «Цветы!» или «Да, солнце!»

Я уверена, Бог больше всех любит крестьян. Они не очень-то распространяются о тех вещах, которые задевают их за живое, а все ж таки чувствуют. Не плачут по любому поводу. И тем не менее иногда ужасно огорчаются. Целуются редко, а то и вообще никогда, хотя и любят друг друга. Не рассказывают нам, к примеру, как они любят родные края. Однако любят родные края наверняка больше, чем многие другие, которые по всякому поводу и без повода трубят об этом.

Не стану больше писать, потому что все это, по-моему, звучит ужасно душещипательно. Нет смысла писать что-то еще. Временами я чувствую себя будто в сказке. Когда иду по Зарошице. Покой кругом. Светит солнце, дети играют, крестьяне трудятся. Гуси гогочут. Женщины носят воду. *Так чудесно.*

ИЮЛЬ 1936 г., РОЗЕНТАЛЬ

Вообще-то сама не знаю, что написать. Можно бы написать многое. Но мне больше не хочется расписывать в дневнике собственные настроения. Такое лучше держать при себе, к тому же это большей частью сентиментальная безвкусица. Я могла бы написать: «Вчера мне было грустно, я влюблена в одного мальчика, знаю, что он глупый» и т. д.

Но не хочу. Потому что это до ужаса неинтересно. Итак, мы живем у Раушей. Большая крестьянская усадьба. Куры и свиньи. Г-н Рауш, отец, самый обыкновенный крестьянин, с длинными усами, уже начал прихварывать. Жена – деревенская тетка. Дети: Фанда, славная пухленькая девочка с красивыми глазами. Анна, худышка (в других обстоятельствах потаскушка), анемичная. Светловолосая бедолага. Готовит еду, стирает и проч. Ена, красивый парень, ко мне относится плохо. Дита в него влюблена. Енда – он мне нравится. Отнюдь не дурак. Красивым не назовешь. Мне нравится его рот. Я в него влюблена.

ИЮЛЬ 1936 г., РОЗЕНТАЛЬ

Как замечательно петь любовные песни, когда влюблен!

ИЮЛЬ 1936 г., РОЗЕНТАЛЬ

Все ж таки я не выдержу. Должна написать, как люблю Енду. Я *правда* влюблена в него, и это замечательно. Вчера мне было так радостно. Я пела и танцевала. Сегодня иначе. Чувствую себя паршиво. Вчера я лежала на возу с сеном и смотрела в небо. Думала о том, как обстоит со смертью. Лучше всего было бы, если б мы рождались на свет снова и снова, могли прожить жизнь снова и снова. Ведь существовать так замечательно. Но если это невозможно, если это противоречит рассудку, жить все равно замечательно, пусть и *один раз*. Ведь если видел солнце, цветы, леса, а еще любил кого-нибудь, то фактически видел всё, и жить снова нет необходимости. Я решила, что покончу с собой, как только замечу, что жизнь стать лучше не может.

Хотя я, наверно, говорю так просто от мании величия, и как знать, может, я тогда-то как раз и полюблю жизнь. Но во всяком случае, я не хочу умирать трясущейся древней старухой.

Сегодня видела, как Енда косил траву. Как падали стебли и как Енда взмахивал косой. И подумала, что мысль о смерти с косой, которая косит людей, стара, как сам людской род, и возникла, когда человек начал заниматься земледелием, сеять и жать хлеб.



Карандашный рисунок «Усадьба Раушей»; там Рут и Юдит жили летом 1936 г. и были увлечены сыновьями хозяина – Ендой и Еной

ИЮЛЬ 1936 г., РОЗЕНТАЛЬ

Здесь чудесно. Писать о Зарошице и Розентале можно только в картинах.

Я выезжаю за деревню вместе с Ендой и его отцом. Енда стоит впереди меня. Крепкий, красивый, спина загорелая. Небо над ним ярко-синее. Повсюду луга. Отъезжают возы с сеном! Гляжу на Енду.

Мы на лугу. Енда работает. Приятно смотреть, как он работает. Сгибается и выпрямляется. Спокойный, молчаливый. Тишина, только солнце да луга.

Я на скотном дворе, здесь сумрачно. Коровы дышат. Я лежу в кукурузе. Как замечательно.

Я беру с собой в луга пакет с едой. Солнечно. Женщины работают. Потом садятся поесть. Пьют пиво, разговаривают.

Раньше мне всегда хотелось любить людей слабых, больных. Но теперь уже нет. Хочу любить здорового и бодрого человека.

Удивительно, что у этого крестьянина, старого, согбенного, такие красивые, здоровые сыновья.

Вчера слышала, как отец, мать и двое сыновей молились. Мне кажется, молиться – это замечательно. Такая красота – молиться, благодарить за нечто великое, за солнце и все прочее! А они бормотали молитву словно по обязанности. Не стоит им молиться, раз они не испытывают внутренней потребности.

ИЮЛЬ 1936 г., РОЗЕНТАЛЬ

Ена любит Диту, а Дита – Ену. Они уже писали друг другу любовные письма. Он по уши в нее влюблен. И все-таки оба очень смущаются при встречах. Они не говорят друг другу, что любят? Не ходят вместе в лес, не радуются?

Я люблю Енду. А он меня.

Замечаю, что могла бы написать много стихов. О лугах и о солнце.

ИЮЛЬ 1936 г., У ТЕТИ АДЫ В БРНО

Вот мы и покинули Розенталя. Не думала, что будет так грустно. Тоскую по Енде. Мне хочется быть с ним, хотя бы письмо получить. Думаю о нем, и о Ене, и об остальных. Было так замечательно. Мы любили друг друга. На прощание Ена меня поцеловал. И мы вместе прогулялись. Как товарищи. Хочу быть с Ендой.

ИЮЛЬ 1836 г., У ТЕТИ РИЧИ В БРНО

Вчера мама рассказала прелестную историю. Когда мамуля еще не была замужем и пошла с папулей на прогулку, она заметила, что шаги у них разные, и сделала маленький шажок, вроде как подпрыгнула, а папа, заметив это, сказал: «Глупышка!»

Какая прелесть. По-моему, совершенно очаровательно. Они идут по лесу. Осень, лес багряно-желтый. Папа очень серьезный, задумчивый и мама с ним рядом, гибкая, легкая. Как вдруг она подпрыгивает. Папа смотрит на нее, тихо смеется и говорит: «Глупышка!»



Семейное фото из Зарошице. Симон Майер (со скрещенными на груди руками) и его жена Евгения (сидит, положив руки на колени) с четырьмя из своих семерых детей. Сзади слева направо сыновья ВИКТОР, ЛЮДВИГ, РОБЕРТ (с женой Аранкой), а также зять Мориц Хамлис, женатый на дочери РИЧИ, крайний справа. Жена Виктора Теа сидит перед Людвигом, с сынишкой Рудо на коленях, дочери Лиза и Герда сидят на переднем плане. Два сына Роберта и Аранки стоят перед своими родителями. Из всех родных Симона, запечатленных на этом снимке, в войну уцелела только Лиза, после пребывания в Освенциме. Дочери АДА, ЭРНА и ВИЛЬМА (их нет на фото) тоже были депортированы и убиты

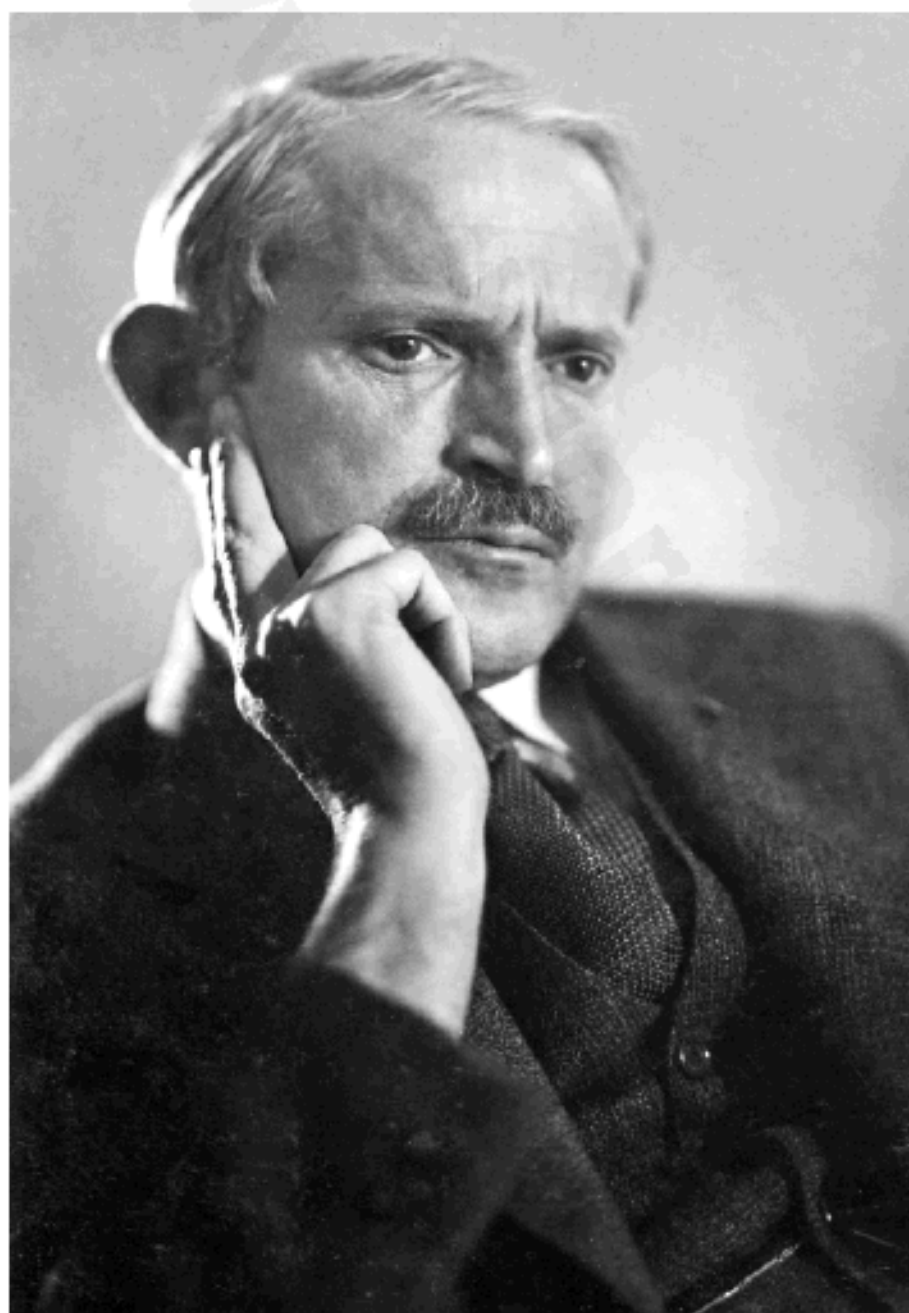
Многие из маминых рассказов запечатлеваются во мне, и, когда я позднее вспоминаю их, кажется, будто я прочла все это в книге. К примеру, как мамуля сидит в маленькой конторе. На ней очень красивая, приятно пахнущая кофточка. Из ангорской шерсти. Черные волосы собраны в пучок на затылке. Ужасно красивая, как статуэтка в стеклянной витрине. Она пишет на машинке. Рядом с нею в большом мягком кресле сидит ее начальник. Он здорово похож на Хуго Тимига⁸. Смотрит на маму, с большим удовольстви-

⁸ Тимиг Хуго (1854–1944) – австрийский театральный актер, родоначальник актерской династии.

ем. Так старики смотрят на молодых людей. Время от времени он произносит несколько слов: «Какая красивая у вас кофточка, барышня!»

ИЮЛЬ 1936 г., БРНО

Енда написал мне. Не знаю, люблю ли я его. Если и люблю, то не Енду Рауша, а что-то другое, лучшее. Странно, я вижу его перед собой, как он стоит на лугу, сидит на возу с сеном, но никогда – в разговоре со мной. Если б Енда приехал в Вену, я бы, наверно, совсем его разлюбила. Ему под стать



Отец Рут, Людвиг Майер, эрудит, доктор философии, собирал изобразительные произведения на тему «Пляска смерти». Он владел немецким, чешским, французским, итальянским, английским, турецким, древнегреческим, новогреческим и латынью. Изучал шведский. Скоростижно скончался в возрасте 51 года

луга, много солнца, коровы и вода. Я вообще думаю, что есть люди, которые перестают производить на нас мало-мальски сильное впечатление, если оказываются вне привычной для них обстановки.

Завтра приезжает дядя Оскар!!!

ИЮЛЬ 1936 г., БРНО

Да, дядя Оскар уже был здесь. Он симпатичный. Приходил с моей новой тетей. Она тоже симпатичная. Стройная, белокурая, немка. Рассказывала нам, как жила раньше. Она уже была один раз замужем и два раза сидела в тюрьме.

Бабушка вела себя как девчонка. Дядя Оскар тоже очень любит ее.

КОШАТНИЦА

Она была кошатница. С большой буквы. Когда видела кошку, подбирала ноги и крепко стискивала зубы.

«Знаешь, – говорила она, – приходится крепко стискивать зубы, не то так бы их и съела». Она могла часами сидеть и разговаривать с кошкой.

«Кисонька, милая, какие у тебя лапочки. Какой хвостик. А как ты смотришь на меня своими глазницами. Поди сюда, киска, я тебя подразню немножко, совсем чуть-чуть. Какая же у тебя мягкая шерстка, и пахнет так хорошо. Тепленькая».

«Я, – говорила она, – могу тыщу раз посмотреть на такую вот киску и всегда найду в ней что-нибудь красивое».

Всех кошек она звала Кисулями. И, едва заметив незнакомого котенка, сразу кричала: «Привет, Кисуля!» – подхватывала его на руки и принималась искать блох. И если не находила, огорчалась. Тогда она заглядывала ему в ушки. Если они были грязные, брала кусочек ваты, окунала в масло и чистила котенку ушки.

В хорошем настроении она всегда рассказывала разные истории про кошек.

Одна умерла у нее на кровати. Сперва громко мяукнула. Открыла глаза. Потом вздохнула и умерла. Она завернула кошку в полотенце, сверху положила василек и так похоронила.

Когда рассказывала об этом, она всегда шмыгала носом.

Дома у нее была большая книга про кошек. Оттуда она черпала свои широкие познания.

Одной кошке она, к примеру, говорила: «Лапочка моя, ты ведь майская киска, милая, потому и любишь играть».

Или: «Вот тебе косточка, гусиная косточка, ты ведь их любишь!»

Или: «Знаю, Кисуля, ты любишь молочко, только не слишком жирное, от жирного болит животик, мой котенок».

Глядя, как она играет с кошками, или разговаривая с ней, нужно было любить кошек. Она находила в них столько изящества.

«До чего же кошки аристократичны! Смотри, маленький тигр! Смотри, как она умывается! Как вытягивает лапки!»

Она с радостью убирала за ними.

Да, настоящая кошатница.



Рисунок тушью, вложенный в дневник 1935–1936 гг., сделан в большом формате. Пейзаж не зарощицкий, вероятно, Австрийские Альпы

ИЮЛЬ 1936 г., БРНО

Енда прислал еще письмо. Не думаю, что я *очень уж* его люблю. Странно, тот Енда, что стоял впереди меня на повозке и косил сено, и тот, что пишет глупые письма, – это два совсем разных человека.

Кстати, мама спрашивала, когда мы прекратим эту эпистолярную чепуху, ведь на марки уходит масса денег.

Весьма грубо!

Человек рождается на свет и живет, чтобы делать дела и что-то создавать. Но пока я не выяснила, *что* должна сделать и *что* создать, мне хочется умереть.

ИЮЛЬ 1836 г., БРНО

Люди ходят взад-вперед,
не ведая куда.
Люди ходят взад-вперед,
не ведая зачем.
Их одолевает усталость,
ведь легкие полны пыли.
Их одолевает печаль,
ведь дети у них болеют.
И лица у них становятся безрадостны,
ведь они не чувствуют солнца.
Люди приходят в ярость,
ведь они стремятся к свету.

АВГУСТ 1936 г., БРНО

Вчера ходили в кино с дядей Робертом. С директором банка. Фильм был глупый. Но в кинохронике два сюжета произвели на меня впечатление.

Первый – катастрофа на шахте в Англии. Все люди – матери и дети – ждут отцов, под дождем. Ужасно. Гробы увозят на телеге.

А директор банка Роберт Майер говорит: «Хватит!» Сердце, полное сочувствия! Бог его благослови.

Второй – о гражданской войне в Испании. Женщины, стреляющие из ружей. Молодые мужчины и юнцы с оружием. Мертвый человек на земле. Толоса в развалинах.

Н-да, какой от всего этого прок?

Коммунисты хотят мировой революции. И как это будет? Ведь миллион людей погибнет! Окочурится! Будет застрелен!

Но может, речь не о том, чтобы окочуриться, я ведь знаю, что все это ради свободы?

СРЕДА 9 СЕНТЯБРЯ 1936 г., ВЕНА

Только что перечитала два своих дневника. Такая чепуха, что мне прямо страшно. Думаю, не стану начинать новый, когда закончу этот. Разве что такой, где буду записывать лишь наблюдения и идеи. Когда в самом деле возникнет потребность что-то записать, можно взять листок бумаги, который после можно сжечь. Надо же, прожила на свете шестнадцать лет, а результат – кой-какие вздорные представления да более-менее дурацкая писанина. Ничего я не достигла и чувствую себя препаршиво.

Раз уж выпало жить на свете, надо как можно больше учиться. Я хочу освоить очень-очень многое: биологию, медицину, право, ботанику, астрономию, в первую очередь естественные науки.



Молодая девушка Рут. Из семейного альбома

Мама, ты забыла меня?

НОЯБРЬ 1936 – АПРЕЛЬ 1937 г.

Дневник, охватывающий период с поздней осени 1936-го до весны 1937-го, – красивая 160-страничная записная книжка небольшого формата, нелинованная, с красным обрезом, в мягком переплете под кожу. В книжке заполнено более 130 страниц, затем несколько страниц пустуют, после чего следуют 16 страниц литературных заметок, в частности о «Крейцеровой сонате» Толстого, «Мартине Идене» Джека Лондона, «Корабле мертвых» Б. Травена и издании писем Генриха Гейне.

Рут теперь подросток, «бакфиш», как в 1930-е годы называли девочек-тинейджеров. Первая запись сделана на другой день после того, как ей исполнилось шестнадцать. Она посещает школу танцев. Воспринимает Рождество по-иному, не как раньше. Негодует по поводу дела об убийстве и сочиняет диалог между Рут и Судьей. Пишет о подругах. Гадает им. Пишет о своем частном учителе-латинисте, с которым начала заниматься весной. Порой дневник переходит в короткие прозаические миниатюры.

В этом томике преобладает тема взаимоотношений с родителями. На Новый год Рут вспоминает отца, скончавшегося три года назад. Мать стала наряжаться по-другому. Рут нечаянно подслушивает тайный разговор. Ее это беспокоит. Она обожает отца, которого зовет папа, папка или папуля. С матерью, которую называет мама, мамочка, мамуля или мамуся, у нее более напряженные отношения. Мать называет дочь Доррит, Лора, Клаудия. Сестру Юдит – она на полтора года моложе Рут – обычно зовут Дита. Или Дитль. Иногда Дитерле.



Мать Ирма с дочкой Рут. Из семейного альбома

СРЕДА 11 НОЯБРЯ 1936 г., ВЕНА

Новый дневник вызывает неловкое ощущение. Сперва надо к нему привыкнуть.

Я ужасно влюблена в одного мальчика. Он ходит в школу танцев и ужасно симпатичный. Я раздвоилась. Одна Рут ужасно влюблена, думает только о «нем» и т. д. Другая знает, что это глупо, и видит во всем этом дурацкий девчачий вздор. Не хочу я попусту тратить время на такие пустяки. Так нельзя. Меня ждет так много всего. Часто мне кажется, будто передо мной целая гора работы, а я нетерпеливо барабаню пальцами по столу и говорю: «Минуточку, господа, мне надо немножко подумать над этим вопросом...»

В трамвае я видела слепую женщину. Слепые часто улыбаются, чаще, чем зрячие.

В парке «Меридиан» сидел молодой человек. Перед ним была детская коляска, куда он осторожно заглядывал.

На скамейке под большим красивым цветущим деревом спал нищий. Закрыв лицо руками. Совсем еще молодой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 НОЯБРЯ 1936 г., ВЕНА

Сегодня встречусь с тем мальчиком в Бургтеатре. Пожалуй, пойду туда не ради него. «Святая Иоанна». Я ужасно рада. Очень хочу стать актрисой.

СУББОТА 21 НОЯБРЯ 1936 г., ВЕНА

Надо повременить! Мне хочется бросить дневник, лучше превратить его в книгу «Девичий дневник».



Рут сделала эскиз титульного листа к «Девичьему дневнику». Далее следует такое начало: «Сердце молодой девушки – штука красивая и диковинная. Оно переполнено мечтами и желаниями»

ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ 1936 г., ВЕНА

Когда вечером иду по улицам, вокруг совсем темно. И окна спокойно светят сами себе. Тогда я не могу поверить, что за этими окнами столько горя, ведь свет в них такой безмятежный, счастливый.

ВТОРНИК 29 НОЯБРЯ 1936 г., ВЕНА

Холодно. Вижу ноги. Больные ноги и грязные башмаки. Холодно, ноги спотыкаются, бредут по кругу. Бедные больные ноги, они бредут по кругу как пленницы-птицы, все время по кругу, бедные больные ноги.

СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ 1936 г., ВЕНА

Сегодня – праздник в национальных костюмах. Я рада!

ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ 1936 г., ВЕНА

Во мне происходит огромная перемена. Ужасно противно. Например, хочется написать «Девичий дневник». Или рождественский рассказ, или историю из жизни большого города. Тут требуется изрядное мужество. Раньше я думала, что сумею. Но возможно, напишу что-нибудь красивое.

КЛАУДИЯ

Снова Рождество. Небо морозно-синее. На улице снег. Снова пахнет пряниками и сахарной ватой. На углу толстые краснощекие женщины торгуют елками. Воздух полон удивительного мерцания.

И все же! Странно, раньше Рождество было совсем другим. Намного красивее! Намного таинственнее! Раньше Рождество всегда было восхитительно таинственным, на удивление уютным. Казалось, в воздухе так и звучало: Рождество-Рождество, динь-дон, бим-бом.

Все вокруг сверкало, искрилось. И во рту ощущался чудесный вкус рождественского печенья и пирогов. Часто я словно бы видела, как ангелочки спускаются на землю, с факелами в руках.

А теперь! Мама бродит со странно загадочным видом, закрывает за собой дверь. Говорит, что придет Младенец Иисус.

В постели мне хочется, чтобы все было как в прошлое Рождество. Хочется, чтобы глаза у меня сияли и я тихонько сказала: «Настало Рождество!» Хочется услышать, как поют ангелочки! Но ничего не выходит. Тогда я с досадой на себя думаю: как-никак раз в год просто бывает Рождество. На Рождество надо радоваться. Непременно помолюсь Богу, попрошу, чтобы Он снова дал мне радость.

В общем, пришло Рождество, и мама, раздумавшись, спрашивает: «Ну, Клаудия, как по-твоему, что ты получишь в подарок?» А я досаую на себя, потому что мне нисколечко не интересно.

Мама как-то странно смотрит на меня, словно говорит: «Ты просто-напросто не рада Рождеству».

Наступает вечер. Небо вызвездило, снег на улице совершенно синий.

И ненадолго, на краткий миг, я чувствую: вот оно! И от радости мне хочется запеть рождественскую песню.

А потом все проходит.

Дверь открывается, я вижу лицо мамы. Она смотрит на меня с такой надеждой. Потом я вижу тетю, вижу елку. Множество свечей! И говорю: «Очень красиво!»

Я чувствую внутри страшную пустоту. Впору лечь под елку и заплакать.

ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ 1936 г., ВЕНА

Думается, когда повзрослею, никакого дневника мне больше не потребуются.

ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ 1937 г., ВЕНА

Позавчера я встретила в трамвае г-на Германа. У меня слабость к пожилым мужчинам.

Вчера был новогодний вечер. Д-р Браухбар тоже участвовал. Он мне нравится. Глаза у него совсем красные, от долгого недосыпа. Очень ему сочувствую.

ПОЛИТИКА В СНЕГУ

Кругом тишина, лес весь в снегу. Тихо падают снежинки.

Появляются двое мужчин. В черном, с красными шарфами. Говорят о по-

литике. О положении Италии в Средиземноморском регионе. О проблеме колоний. Они ссорятся. Кричат. Говорят о социализме. О коммунизме. Ссорятся. Кричат.

Кругом тишина, лес весь в снегу. Тихо падают снежинки.

Я уже давно хожу в школу танцев. Там именно так, как я и думала. Атмосфера школы танцев. Освещение в стиле танго. Танцшкольные шуточки. У меня даже есть постоянный кавалер. Образцовый еврей-интеллектуал. Очки, высокие скулы. Зачастую небритый. Точь-в-точь таким я когда-то представляла себе свой идеал. Однако он под стать школе танцев. Прижимается ко мне. Говорит прямо как в романах. Деланно! С широко открытыми глазами. В синем освещении а-ля танго. Объясняется в любви. Тошнотворно.

Некоторое время назад я видела чудесный фильм: «Заклятый враг человечества» [о Луи Пастере].

Надо лишь читать... читать! и учиться.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ 1937 г., ВЕНА

Папа умер, нет: умер!

Очень просто. Всего одно слово: *у-м-е-р*. Не хочу думать. Пусть будет тихо. В катехизисе говорится, что с верой выдержишь все. Выдержать все. Я не хочу выдерживать все. Не могу. Да это просто-напросто неправда. Во-первых, потому, что так быть не может. Это ведь очевидно. Или как? Нельзя же вдруг просто исчезнуть. Уйти в ничто. Ничего не чувствовать. Все, конец. Надо спросить у папы. Пойду к нему и скажу: «Папа, это ведь неправда? Не считается?» И тогда ему придется воскреснуть. Потому что он должен слушать. Или? Должен. Что ни говори, так быть не может. Я видела сон. Как вдруг кто-то распахивает дверь, глазам своим не верю: там стоит папа. И все хорошо. И я говорю: «Мне снились дурные сны». А папа гладит меня по плечу.

Я часто жду, чтобы пришел папа. И тогда мне охота кричать и разбить все вдребезги, тогда я становлюсь птицей в голубом просторе и взлетаю ввысь, и все кружит вокруг меня, как мельничное колесо, о Боже мой, Боже мой, и глаза у меня горячие, и я мечтаю о холоде. О Боже мой. Пожалуйста. Это неправда. Я заблудилась. Пожалуйста, пожалуйста, будь так добр. Все было так замечательно. Папа жив. Жив. Жив. Жив. И он говорит: «Лиза, пойдем погуляем». Говорит: «Ты – моя гордость». Все хорошо. Что мне делать, если я грущу? Что делать, если я ничего не знаю? Во мне дыра. И она никуда не девается. Не могу я в это поверить.

ВТОРНИК 19 ЯНВАРЯ 1937 г., ВЕНА

Одна, две, три, четыре... Куклы, множество кукол, бим-бом. Одна нога, две, три, четыре. У них розовые платья и красные щеки. Глаза открываются и закрываются. Ресницы длинные. Они болтают ногами, вправо-влево. Поднимают руки и улыбаются.

ШКОЛА ТАНЦЕВ

Пыльный спертый воздух. Девочки-подростки в юбках, в свитерах домашней вязки, губы красные. Изнемогающие, мертвенно-бледные молодые мужчины с усиками и непременно в чересчур больших носках. Музыка сентиментальная, слащавая.

– Барышня, у вас такие красивые...

ЧЕТВЕРГ 21 ЯНВАРЯ 1937 г., ВЕНА

Когда идет снег, люди притихают, ступают мягко. Снежинки падают осторожно. А когда играет шарманка, словно попадаешь в сказку. Старушка зябнет. Одежда у людей в снегу.

В трамвае пьяный пассажир. Глаза осоловелые, слезящиеся. Он бранится, пристаёт к кондуктору. Народ смеется. Один держится за живот, другой хихикает от непомерного веселья, третий блаженно улыбается.словно они в жизни ничего смешнее не видали. Кондуктор, толстый увалень, говорит:

«Чего только не натерпишься от людей!»

Какой-то господин в очках, который вместе со своей дамой смеялся над пьянчугой:

«Господи, зачем же принимать пьяного всерьез?»

Кондуктор веско отвечает:

«Сударь мой, коли ты не так скор умом, то из-за этого не обязательно быть вовсе недотепой».

Еду в трамвае. Входит молодой парень в зеленом бархатном костюме, грязном и потрепанном. Серые варежки, пальто с прорехой. Похоже, он близорук, так как щурит глаза, стараясь что-либо разглядеть. Волосы у него светлые.

Я пристально смотрю на него, потому что люблю приглядываться. Он это замечает, тоже смотрит на меня и смеется. Выйдя из трамвая, глядит на меня сквозь запотевшие стекла. Я смеюсь. Он машет мне. Раз и другой. Трамвай едет дальше, я совершенно счастлива, напеваю и все время не-

вольно улыбаюсь, будто видела что-то ужасно приятное.

Интересно! Я заметила его, заставила его заметить меня, завоевала его симпатию, а потом ему пришлось выходить. Под конец он мне помахал.

Когда прохожу одна по парку «Меридиан», всегда останавливаюсь у памятника Йозефу Кайнцу⁹. Выпал снег. Засыпал памятник. Все время смотрю на него. Вчера тут были два мальчика. Лепили снежки и смеялись. Один приостановился:

«Смотри, памятник Кайнцу».

И оба пошли дальше.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ЯНВАРЯ 1937 г., ВЕНА

Сейчас идет судебный процесс по поводу убийства с целью ограбления. Обвиняемый – безработный мужчина. Вообще-то дело самое обыкновенное. Мотив преступления – нужда.

Разница лишь в том, что обвиняемый – интеллигентный человек. Приговорен к повешению.

Р.: Почему этот человек приговорен к смерти?

С.: Потому что он убил другого человека!

Р.: И за это приговорен к смерти?

С.: Да.

Р.: Мотив не имеет значения?

С.: Нет.

Р.: Смертная казнь – это хорошо?

С.: Да.

Р.: Что этим достигается?

С.: Общество избавляется от вредного элемента.



Газетная вырезка, вклеенная в дневник Рут

⁹ Кайнц Йозеф (1858–1910) – прославленный актер Бургтеатра.

Именно сейчас такое дело, как это, передано в суд. Когда обвиняемый кричит: «Я хочу работать! Почему мне не дали возможности работать?» Именно сейчас будет повешен хороший, по сути, человек, молодой человек, которому хотелось жить нормальной жизнью. Именно сейчас следует повесить все общество. Общество настолько прогнило и распалось, что остается только ликвидировать его.

Но что проку писать это в дневнике? Ведь ничего не изменится. Но я никогда не забуду об этом процессе и буду бороться за лучший мир.

Люди в зале суда шмыгали носом и плакали. Но не поняли, что это значит, когда крайняя нужда заставляет интеллигентного человека совершить убийство... *Интеллигентного* человека, хотя нужда становится его погибелью.

Конечно, я несколько преувеличиваю, но тем не менее! И это общество, которое толкнуло его к убийству, осмеливается осудить его на смерть.

Ужасно, что случай не единичный. Что многие и многие люди в одинаковой степени мыкают одинаково большую нужду. Просто они слишком измучены, слишком вялы (и несообразительны), чтобы совершить убийство.

(Я все время замечаю, что это перебор.)

Я вовсе не оправдываю убийства. Нет. Но то, что подобный человек совершает убийство, свидетельствует: что-то не так. *Что-то не так!*

Все время я думаю вот о чем.

Можно сказать: меня повесят. Я буду повешен. Но нельзя сказать: меня повесили.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ЯНВАРЯ 1937 г., ВЕНА

Мы катались на лыжах. Замечательно!

Одна лыжа убежала от хозяина. Нет более трогательного, трагикомического зрелища, чем одинокая лыжа, съезжающая вниз по крутому склону. Про это можно бы сочинить сказку!

Сегодня лежала в снегу и смотрела вверх, на деревья. Деревья мягко проступали на фоне неба. Небо было серое. И я думала: как красиво. Черные ветки и серое небо. Но здесь что-то кроется. За всем этим, за серым небом, и черными ветками, и снегом, и воздухом, который щиплет лицо. Во всем этом кроется какой-то смысл. И мне надо до него докопаться.

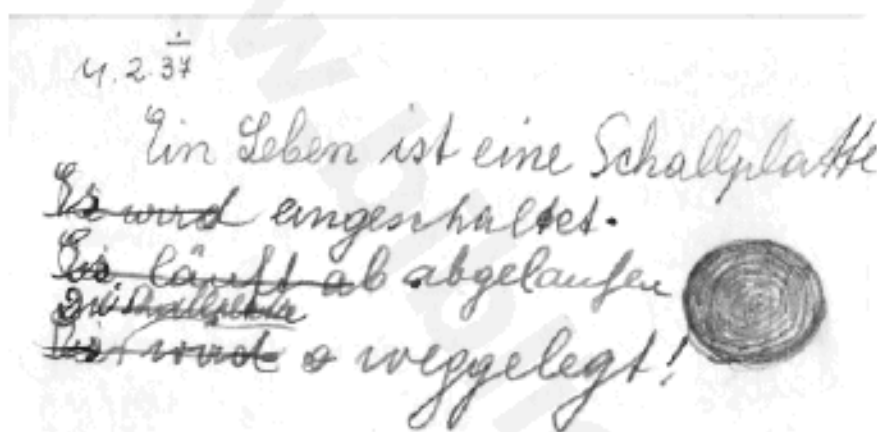
Кэте тоже ходила с нами на лыжах. Вообще-то она не моя подруга, для этого мы слишком разные. Она стала такая красивая, хоть и не очень-то умная. Но ей удастся все, какую бы цель она себе ни поставила. Сейчас она создает основы книжного собрания. Все время рассказывает мне: «Знаешь, я обзавелась Гейне, потом Гёте, потом Шиллером». Мне это весьма по душе.

По-моему, все прекрасные мысли и импульсы, стремления к чему-то лучшему с годами ослабеют.

Мне нравится бывать в компании маленьких девочек. У них такие красивые глаза и такая счастливая улыбка, когда смотришь на них. Так я улыбаюсь, когда на меня смотрит мальчик, который мне нравится. Точь-в-точь так. Это наблюдение стало для меня сюрпризом.

ЧЕТВЕРГ 4 ФЕВРАЛЯ 1937 г., ВЕНА

Жизнь – это граммпластинка. Поставлена, проиграна, снята!



Во второй половине дня, около пяти, я сидела на диване. В столовой. В приятном полумраке. Смеркалось, и по всей комнате виднелись такие темно-золотые полосы. Я закрыла глаза и не думала ни о чем. Словно плыла в черном озере. Свернулась клубочком. Кругом царил тишина.

Но вот я слышу мамин голос. Голос у мамы очень красивого тембра. Я всегда называла его музыкальным. И так тихо кругом: темно-золотые полосы, черное озеро, открытый рояль, купленный мамой втридорога, клавиши слоновой кости матово поблескивают, они совершенно под стать маме. Я и не думала слушать. Никогда этого не делаю, и это нехорошо. Мне хочется просто слышать мамин голос, потому что я люблю его звучание. И я подумала, что очень люблю маму! И просто осталась на диване. Мамин голос.

А потом я услышала. Как мамина подруга г-жа Тимт, с толстыми красными губами и белыми зубами, сказала:

«Ты расскажешь Лоре?» А мама ответила своим красивым звонким голосом:

«Нет!»

Когда она сказала «нет!», я все еще была в полуоцепенении, в царившем тихом покое. И вдруг у меня возникло подозрение. Не знаю, как это вышло. Совершенно неожиданно. И я подумала: как и почему? Мама, моя мама, как это она не хочет чего-то мне говорить? Что это может быть?

Вот тут я вправду начала прислушиваться. Никогда от себя такого не ожидала, ведь подслушивать отвратительно, гадко. Мама всегда так говорила.

И я услышала, как мама сказала: «Не знаю, как Лора это воспримет». А г-жа Тимт: «Как бы она это ни восприняла, незачем обращать внимание. Главное – твоё счастье».

Тут г-жа Тимт, противная г-жа Тимт, сделала паузу, а потом продолжила, очень решительно:

«Ты что, жалеешь? А у него это тоже всерьёз?»

Тогда я почувствовала, что мама улыбнулась доброй своей улыбкой и сказала:

«Да, Хедвиг, у него это всерьёз. Видела бы ты его».

«Ты, наверно, очень его любишь?»

Тут мама – я опять почувствовала, что она улыбается, – сказала, причем так странно, что я опять удивилась, а сказала она вот что:

«Да, немножко».

Затем они заговорили о другом. Кажется, о растущих ценах и о деньгах. Но я уже перестала прислушиваться. Потому что надо было подумать.

Что означает это вечное «он»? Кто «он»? Где этот «он»? Что из себя представляет?

По тону, каким мама произнесла «да, немножко», я поняла, что она влюблена в него не немножко, а очень даже сильно. И сразу же заметила, как во мне всколыхнулась такая багровая волна, что-то, чему невозможно противиться, и была это ненависть. К «нему».

Кто этот «он»? Где этот «он»? И почему мама любит его больше, чем меня?

Внезапно я заметила в себе сочувствие. Совершенно искреннее. Оно быстро исчезло, осталась лишь ненависть. Густая, багрово-красная! К этому чему-то. К этому чему-то.

Оно такое липкое, омерзительно зеленое. Встречается повсюду. Я знаю.

Мама думает, я дуручка. Но если я хочу что-то *знать*, то добьюсь своего и непременно *узнаю*.

Безусловно, и это я *хочу* знать. Хочу знать, что это.

Я знаю, слова г-жи Тимт: «А у него это тоже всерьёз? Ты тоже любишь его?» – связаны с многими другими вещами, которые взрослые держат в секрете.

Даже то, что дети появляются оттого, что муж и жена любят друг друга, – даже это они норовят скрыть. Наверняка воображают, будто я пока понятия не имею, что такое любовь. Но теперь я хочу разобраться. Узнать все в точности.

В последнее время мама стала такая необычная. Одевается намного наряднее. Надевает зеленые венецианские бусы.

Позавчера достала их из шкатулки с украшениями, приложила к себе и спросила: «Как по-твоему, Лора, хорошо?»

Выглядела она при этом необычно. Она теперь вообще выглядит необычно. Не то смеется, не то плачет.

Часто чуть не полчаса сидит и ничего не делает, сложив руки на коленях. Тогда она красивая.

Мама вообще очень похорошела. Щеки порозовели, глаза светятся, у волос появился блеск.

Мама становится все непривычнее. Вечерами часто уходит из дома, а на другой день вконец рассеянна. Смотрит на меня, а думает совсем о другом.

Мать не должна так поступать!

Раз смотрит на меня, то и думать должна обо мне.

Она начисто обо мне забывает! Вчера не поцеловала перед сном. Я воскликнула: «А поцеловать, мама?» А она так небрежно, холодно: «Верно, Лора. Доброй ночи!»

Теперь она больше не обнимает меня. И не говорит: «Золотце мое, утешение мое!»

Я ужасно одинока. А мама прямо-таки ускользает от меня. Хочется крикнуть: мама, мама, раньше ты меня любила. А теперь забыла.

Но как же так? Это ведь я. Лора, твоя Лора.

Ночами я часто плачу. В подушку. Мама не должна слышать, что я плачу.

Только она все равно не услышит! Я могу плакать хоть во весь голос. Мама не услышит.

Раньше, когда я сидела в задумчивости, она часто подходила, гладила меня по плечу и говорила: «Лорле, что бы я без тебя делала».

Если я выброшусь из окна, мама, может, и заплачет. О да. Я была бы довольна. Наверно, причинила бы ей боль. Ха-ха!

Мама больше не оплакивает папу! Давно перестала носить черное. Все-таки папу ей забывать не следовало бы, даже если я для нее теперь не существую.

Мама делается все более независимой! Почти каждый вечер куда-то уходит.

Знаю, скоро она совсем меня забросит. Но погодите! Это не моя вина! Когда я спрашиваю маму, куда она идет, она так странно смотрит на меня и говорит: «В парикмахерскую. Ты же знаешь».

Но я выясню, *кто* причина. Пока совсем не превратилась в пустое место.

Мама вообще не замечает, как плохо я выгляжу.

Только вчера наконец сказала: «Ты плохо выглядишь, Лора. Надо почаще бывать на свежем воздухе».

Значит, все так просто! Ну-ну.

[Вышеприведенные записи в дневнике продолжаются, видимо, несколькими днями позже.]

...Лора так, Лора этак.

Прекрати! Оставь! Если б я умерла, они бы пришли с цветами на мою могилу, устроили бы спектакль.

Только пусть мама не воображает, что я умру из-за этого. Уж это я как-нибудь переживу.

И все равно непременно выясню, кто за этим стоит, потому что наверняка кто-то за этим стоит.

Ведь почему иначе мама так часто звонит по телефону? Я слыхала, как она однажды сказала: «Всего хорошего, дорогой!»

Во мне тогда разверзлась пропасть. *Дорогой!* Раньше мама только меня называла «дорогая». А теперь, значит, появился кто-то еще. Все-таки надо его разыскать. Этого второго дорогого.

Я уже вышла на его след.

Но пока не знаю, кто он.

Лежу ночью и размышляю об этом.

Может, это другой ребенок?

Не знаю. Вообще не знаю.

Я ненавижу маму. Никогда не думала, что мать можно ненавидеть.

Вчера я слыхала, как мама сказала по телефону:

«Значит, встретимся у Оперы в половине пятого. Всего тебе хорошего!»

В половине четвертого мама принялась наряжаться. Я пристально наблюдала за нею.

Серебряное платье и красивое меховое манто. Она прошла перед зеркалом. Подкрасила губы, слегка попудрилась, после смерти папы она такого не делала. Очень красивая. И чему-то радовалась. Сейчас выйдет из дома.

Тут я сказала, сухо и ужасно резко, чтоб ей стало больно:

«Не поцелуешь меня?»

Мама сразу заметила, что я проговорила это так странно. Погладила меня по голове. Я почувствовала узкие прохладные ладони.

И тогда мне стало грустно.

А мама с большим удивлением спросила:

«Что с тобой, дорогая?»

Услышав это слово, я вмиг все вспомнила и ощутила беспредельную ярость, готова была все вокруг в клочья разнести. И всю мою холодную ненависть бросить в лицо маме, чтобы она закричала.

Я решительно и злобно скомандовала:

«Не называй меня *дорогая!*»

И увидела, как мама отпрянула. Увидела, что мама постарела. Внезапно.

Увидела! Как откровение. Сквозь собственные слезы увидела совершенно растерянное мамино лицо, маленькое, увядшее, губы у мамы были ярко-красные от помады, а лицо белое от пудры. И вокруг глаз мелкие морщинки. И я сказала:

«Не называй меня *дорогая!*»

Тут она сникла, словно я ее ударила. И расплакалась.

А я вдруг подумала: мама выглядит как потаскушка! Бедная потаскушка!

И мне стало так жалко маму. *Ужасно* жалко. По ее щеке покатилась крупная слеза. Заодно прихватив с собой крупинки пудры. И кожа под ними была совсем морщинистая. Еще я увидела седину на ее висках.

Мама – ребенок. Маленький ребенок. Она показалась мне такой беспомощной, так и хочется обнять, спеть песенку.

Все произошло очень быстро.

И я сказала: «Извини, мама. Я не хотела».

И убежала в детскую.

Я такая большая. Такая большая. Так далеко от мамы. Я боюсь за маму, ведь она такая маленькая-премаленькая. И я знаю, она что-то от меня утаивает. Это связано с телефонными звонками и с тем, что она приходит домой с цветами, а вечерами куда-то уходит, и часто улыбается, и красит губы красной помадой.

Ночью я плачу. Потому что мамы у меня больше нет. А я хочу, чтобы она была. Хочу, чтобы мама утешала меня, осушала мои слезы. Хочу опять стать маленькой и ничего не знать.

Но так не получится. Я большая, и мамы у меня нет. И я думаю, что скорее уж я мамина мать, чем она – моя. Мама совсем маленькая. Она не может меня утешить. Она далеко-далеко.

А я большая и одинокая. Отвратительно, что одинокая, жутко одинокая. Прямо как старуха. Стою перед зеркалом и смотрю, не обзавелась ли уже морщинами и седыми волосами. Самой противно. Иной раз я сама себе так противна, так беспомощна. Я словно вижу какое-то дерево, или лужайку, или воздушный шар, который опускается во что-то черное, обнаженное. Не могу описать.

Иной раз мне представляется, будто я стою возле скалы и сама сплошь из льда, а где-то внизу ходят люди, крошечные, как муравьи. И опять я так чудно улыбаюсь. Ужасно это.

Ночью мне снится, будто я совсем старуха и умираю. А мама стоит у моей постели, и там, где слеза сбегает по щеке, она прихватывает с собой крупинки пудры. Я вижу это совершенно отчетливо. Мама плачет и говорит: «Такая молодая и уже должна умереть».

Тут я кладу ладонь маме на волосы, говорю:

«Благословляю тебя, дитя мое».

Вот такие жуткие сны мне снятся. На рассвете, когда я просыпаюсь, по щекам текут слезы.

Я вообще часто плачу во сне.

Позавчера мама разбудила меня и сказала:

«Тебе что-то снилось, Клаудия. Ты плакала во сне. Дурные сны?»

А я подумала, что раньше забралась бы к маме в постель. И заснула бы. Совершенно без страха и без слез.

Сейчас, когда я забираюсь к маме в постель, мне только еще страшнее.

Думаю, мама чувствует себя при мне уверенно и защищенно, больше, чем я при ней.

Ужас как одиноко, и я не знаю, что делать!

Уткнулась лицом в подушку.

И снова полумрак! Я заметила рядом маму. Она поцеловала меня, я была счастлива, но одновременно заметила губы, морщинистые по сравнению с моими.

Теперь мне радостно. Мама нуждается во мне... Теперь я ее понимаю, мамулечку!

Нет, когда я понимаю, то...

СРЕДА 10 ФЕВРАЛЯ 1937 г., ВЕНА

Во мне большая трещина. Мама очень много плакала. Она в черном. Мужчины смотрят на нее так странно. Мама подолгу стоит перед зеркалом. На носовых платках у нее черные полосы, и она ужасно много плачет. Мне это не нравится.

На душе у меня совсем тихо, покойно. Там словно шрам. Люди смотрят на меня. А мне сочувствия не требуется. Я твердо решила не позорить папу. И мама не должна его позорить, и Луиза, и Фриц. Я прослежу.

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ФЕВРАЛЯ 1937 г., ШТАЙНХАУС

Почему люди в городе не видят, что облака движутся?

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ФЕВРАЛЯ 1937 г., ШТАЙНХАУС

Я на лыжных курсах. Так здорово! Живу в одной комнате с Гретль Михоцович. У нее спокойное деревенское лицо. Она сидит на кровати и пишет.

Лицо полно самозабвения. Кругом тишина. Ничего нет красивее девичьей комнаты.

СРЕДА 24 ФЕВРАЛЯ 1937 г., ШТАЙНХАУС

Самое замечательное – подниматься вверх на лыжном подъемнике. Когда замечаешь, как поднимаешься к солнцу, стоишь и видишь снег и народ внизу. И съезжать вниз тоже здорово, когда разрезаешь воздух, и он щиплет щеки, и снег бьет в лицо. Потрясающее ощущение. Ощущение жажды. Наверно, это и есть жизнь.

Ужасно люблю Лиззи. А она влюблена в одного мальчика. Глупая затея с гаданием друг другу. Ей нагадали, что она влюблена в некого мальчика и что он любит ее. Назвали даже его имя. Не выдумали, заранее выяснили. Она поверила и занервничала, разволновалась.

Мне стало ее жалко, я чувствовала себя как ее мать. Мне нравится, когда она кладет голову мне на плечо. Я была бы ей хорошей подругой.

Материнское чувство – самое чудесное и самое душевное, какое можно испытывать.

О душах юных девушек можно писать романы.

ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯ 1937 г., ШТАЙНХАУС

Здесь, на лыжных курсах, громоздятся проблемы.

1) Я люблю Лиззи. Ужасно люблю. Сегодня была вместе с ней в трактире. Играл джаз. Кругом полумрак, красиво так. Мы разговаривали.

2) Раньше я думала, что Лиззи неумная и зазнайка. Теперь я так не думаю. В ее жизни есть больное место. Один мальчик. (С него-то и началось гадание.) Как только речь заходит о нем, она очень напряженно и нервно смеется.

3) Сегодня ко мне зашла Ирма (симпатичная девочка, которая иногда хочет стать монахиней) и сказала, что, как она слышала, я умею гадать. Я сразу же ответила, что гадать не буду, хватит с меня этой шумихи. Ирма приходила еще дважды. Упрашивала, канючила, умильно смотрела на меня. В конце концов я сказала:

«Ладно. Завтра».

Она обрадовалась.

«Завтра. Шикарно!»

Наверняка у нее какие-то любовные печали.

(Расскажу ей, что она просто прелесть и кое-кто очень по ней вздыхает.)

Когда Лиззи услышала, она опять так пугающе засмеялась. Мне хотелось

приласкать ее.

Теперь у меня масса материала для историй и рассказов. Целую книгу можно написать о пустой девчачьей болтовне, для лунатиков.

У каждого человека свои печали, своя боль.

Все так загадочно и огромно. Но люди, наверно, могли бы сами себе помочь и быть добрее друг к другу.

ПЯТНИЦА 26 ФЕВРАЛЯ 1937 г., ШТАЙНХАУС

С каждым днем все больше люблю Лиззи. Не нахожу в ней изъянов. Она милая и добрая. Верно?

Гадала Ирме и Ренате. Ирма родилась вне брака. Дома ей плохо, она не видит другого выхода, кроме монастыря.

Мне ужасно жалко ее.

Я наговорила ей всяких приятных и хороших вещей: кто-то, мол, ужасно в нее влюблен, у нее будет ребенок, и проживет она хорошую жизнь.

Она *ужасно* обрадовалась. Так замечательно – радовать других людей.

ЧЕТВЕРГ 18 МАРТА 1937 г., ВЕНА

Не знаю, писать ли об этом. Вообще. Собственно, это не имеет значения.

Дело в том, что я познакомилась с новым человеком. По-моему, с новыми людьми знакомишься очень редко. Его зовут

профессор Герберт Виллигер.

И он ужасно мне нравится.

Я ведь всегда знала. Что есть такие люди, которым можно рассказать все и которых «заботит твое образование».

Он дает так много. За один урок больше, чем другой за год. Он уже довольно старый. (Гретль сказала: «Старый запущенный человек». Разумеется, это преувеличение.)

Он ужасно милый, и многое из того, что он говорит, я запомню навсегда. Очень надеюсь, что еще дого буду иметь счастье общаться с ним. (Не только на уроках латыни.)

Он тоже чуточку влюблен в меня (насколько можно любить «лягушонка»).

Иначе не сказал бы, что ему меня доставало.

По-моему, он *очень* умный. И славный.

Он говорил со мной о гомосексуализме. Не напрямую. Но рассказал о любви к мальчикам в Риме.

Сказал, что надеется однажды прочитать вместе со мной «Ганнибала» Граббе¹⁰.

Сказал, что, наверно, прочтет со мной диалоги Платона.

Сказал, что ему меня не доставало.

Что в шестнадцать жизнь только начинается.

Что он позаботится о моем образовании.

Спрашивает, что я читаю. Кто мой любимый автор и пишу ли я сама.

Он часто посмеивается надо мной. Я сержусь, когда посмеиваются другие. Но не профессор Виллигер.

Он ужасно много курит, ужасно рассеян, и денег у него мало. Он ужасно много смеется и ужасно предупредительный.

Мне ужасно хочется, чтобы он многое мне объяснил, чтобы я с ним разговаривала, чтобы могла спрашивать его о разных вещах и чтобы он читал со мной хорошие книги.

ПЯТНИЦА 2 АПРЕЛЯ 1937 г., ВЕНА

Насчет Виллигера! Он ужасно мне нравится.

По-моему, убийство вовсе не противоречит человеческой природе. Ведь в противном случае сотни тысяч людей, убивавших других на войне, терзались бы угрызениями совести. Но это не так. Эти люди не испытывают ни малейших угрызений совести оттого, что видели, как другие умирают у них на глазах.

Этого я не понимаю. Но понимаю одно: убивать не «бесчеловечно».

Думаю, дело в том, что на войне убивать *разрешено*, а в мирное время *нет*.

Думаю: 1) можно сказать, что для человека уничтоженная человеческая жизнь ничего не значит, когда он убивает с умыслом. Человек, убивающий человека в мирное время, тоже убивает с умыслом.

2) Можно сказать, что человек, убивающий другого человека на войне, не испытывает раскаяния, потому что совершает убийство с *высоким* умыслом. Так же и люди, сознающие, что не убивали этих людей с *высоким* умыслом, не чувствуют угрызений совести.

Можно возразить: будь дозволено убивать в мирное время, людям следовало бы испытывать раскаяние при убийстве каждого человеческого существа.

Почему? Потому что достигнут такой уровень, что умерщвление в мирное время считается убийством, а умерщвление на войне – нет.

¹⁰ Граббе Кристиан Дитрих (1801–1836) – немецкий драматург, автор социально-исторических драм; «Ганнибал» написан в 1835 г.

Каким образом? *Убийство* – всего лишь слово. В тот миг, когда признаешь убийство в мирное время грехом, должно бы инстинктивно отпрянуть в испуге перед любым кровопролитием, любым истреблением человеческой жизни, независимо от того, считаешь его убийством или нет.

Надо подумать над этим и кого-нибудь спросить.

Я пишу такие вещи не из буквоедства и не из писательского зуда, а потому, что, когда записываю свои мысли, они становятся яснее.

СУББОТА 3 АПРЕЛЯ 1937 г., ВЕНА

Виллигер либо *подлый пес*, либо *ужасно милый*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АПРЕЛЯ 1937 г., ВЕНА

Надо очень многое записать. Попозже!

ЧЕТВЕРГ 8 АПРЕЛЯ 1937 г., ВЕНА

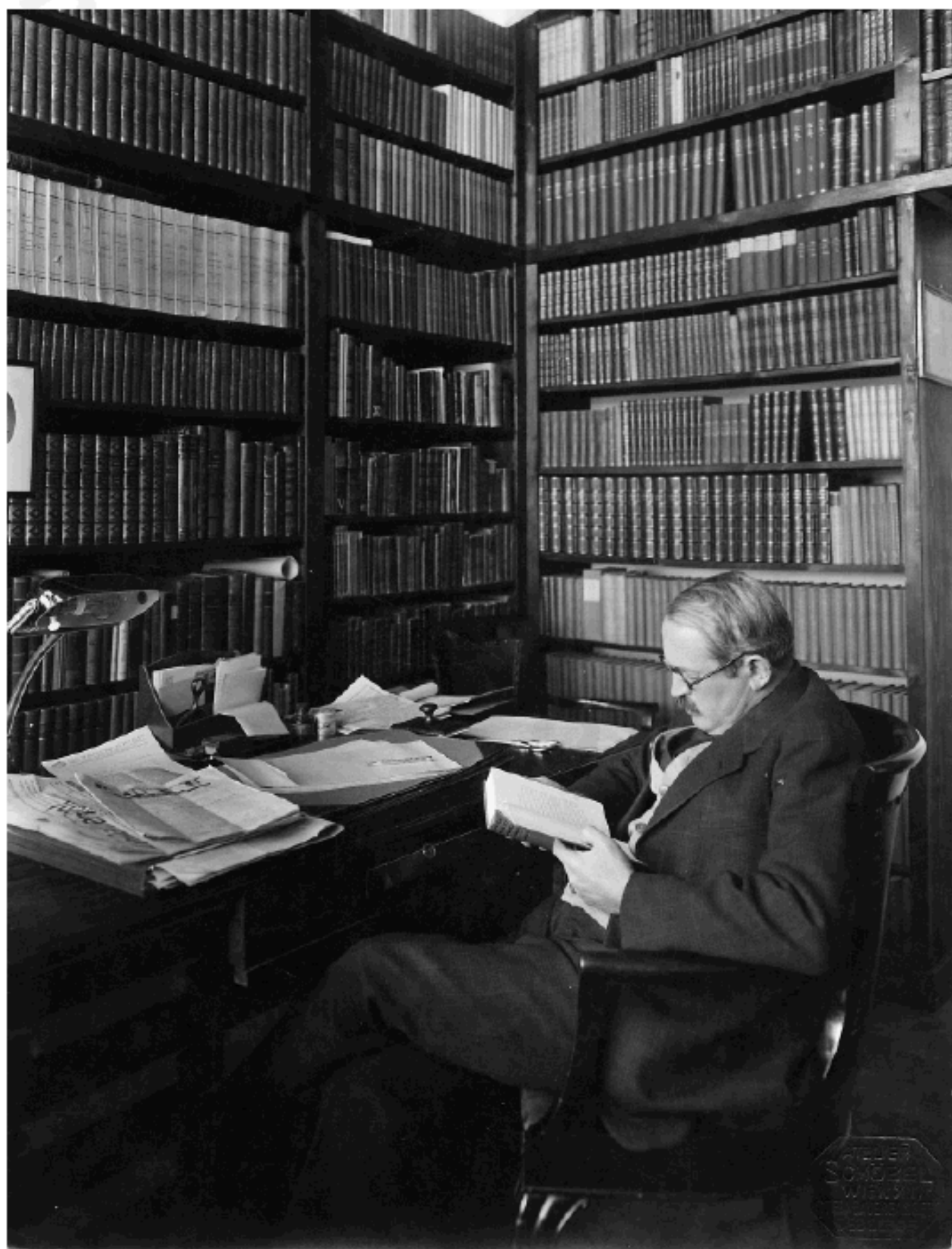
Удивительное дело с Виллигером.

Наверно, он ужасно одинок, а может, и печален. Может, уже чувствует себя стариком, и я для него вроде как услада.

Я люблю его. Как отца.

Иногда я его побаиваюсь. Иной раз у меня возникает ощущение, будто он любит меня чувственно. Это было бы ужасно. Меня тошнит при одной мысли об этом!

У меня нет ни малейшего желания попасть в какую-то зависимость от него.



Рут Майер росла в весьма литературной семье. На снимке отец, Людвиг Майер, в своем кабинете за несколько лет до кончины. Рут, как рассказывает ее сестра Юдит, обычно читала, сидя на лесенке в отцовском кабинете

Мысли приходят и уходят

АПРЕЛЬ–ИЮЛЬ 1937 г.

Весенне-летний дневник 1937 года – 64-страничная линованная тетрадь в четвертушку листа, с заголовком «Дневник Рут». Заполнено 58 страниц, отчасти карандашом, отчасти чернилами. На этих страницах отражены размышления молодой девушки о бытии: «Если ждешь от жизни слишком много, то наверняка будешь разочарован. Но если смотришь на жизнь без ожиданий и надежд, то увидишь необычайное повсюду, в самых что ни на есть мелких и незначительных вещах».

Новелла Томаса Манна «Разочарование» переписана аккуратным прямым каллиграфическим почерком. Большинство прочих записей сделаны беглым размашистым почерком Рут Майер, который быстро утрачивает прямизну. На последних страницах имеется нотная фраза, нарисованные фигурки и несколько адресов, в частности латиниста Герберта Виллигера – Верингерштрассе, 12, – у которого она уже не занимается. Рут никогда не забывает его слова: «В шестнадцать, дитя мое, жизнь только начинается».

Дневник не привязан к месту, но, по-видимому, написан в Вене.

ПЯТНИЦА 30 АПРЕЛЯ 1937 г., ВЕНА

Ручки нет, придется писать карандашом. Буду вести этот дневник *по возможности* без сантиментов. Все целиком зависит от переплета дневника, бумаги и т. д. Если бумага ручной выделки, а переплет из сафьяна, я мигом начну писать в соответствующей торжественной манере, а в результате получатся лишь благоглупости. Если же пишешь на обычной бумаге, карандашом, в обычной тетрадке, то можно надеяться, что написанное не будет сплошным вздором.

Во-первых, Виллигер. До сих пор я писала о нем как можно меньше. И на то есть причины. Мне хочется подробно написать, как все началось и т. д. (Сейчас профессор Виллигер меня уже не занимает.)

Предыстория.

Я была слабовата в латыни, два раза подряд делала задания наобум и наверняка бы провалилась. По этой причине мама наняла мне репетитора. И им оказался профессор Виллигер. Д-р Браухбар мне рассказывал, до чего этот профессор Виллигер гениальный, талантливый, умный. Ну ладно.

И вот однажды в понедельник я пошла на урок.

Поднялась на шесть этажей, подошла к двери. На ней табличка:

Один звонок. Инженер Глас.

Два звонка. Инженер Хос.

Три звонка. Профессор Виллигер.

Я позвонила три раза. Открыл светловолосый мужчина с водянисто-голубыми глазами. Профессора Виллигера нет дома. Но я могу зайти. Жилище г-на Виллигера меблировано весьма скудно, если можно так выразиться. Очень по-студенчески, беспорядочно. На стенах несколько картин, фотография... портрет. Хм, вероятно, он! Здорово! Изображение развалин какого-то греческого храма, наклеенное на белый картон.

Женская головка. Несколько любительских рисунков. На письменном столе – бюст Цезаря, с обстоятельным пояснением внизу.

Так или иначе... классическая ориентация. Развалины храма, голова Цезаря, фрагмент живописного полотна.

Библиотека... скудная! «Alice in Wonderland»¹¹, «English Dictionary»¹², томик Шекспира, стихи Стефана Георге...¹³ «Как все ликует, поет, звенит!»...¹⁴ Ибсен... и «Живой труп» Толстого... Замечательно.

И дальше.

¹¹ «Алиса в стране чудес» (англ.).

¹² «Английский словарь» (англ.).

¹³ Георге Стефан (1868–1933) – немецкий поэт-символист.

¹⁴ Первые строки стихотворения И. В. Гёте «Майская песня», перевод А. Глобы. Возможно, речь идет о сборнике с таким названием.

Стол (размером со стол для пинг-понга) завален всевозможными бумагами, ручками, карандашами, линейками, здесь же стойка для курительных трубок (фу!) и проч. Комната очень большая и светлая, с огромными окнами. Как в студии. В углу маленький стол с кипятильником, чаем, молоком, кофе, печеньем т. д.

Я ждала.

Наконец профессор пришел. Впечатление он производил весьма своеобразное. Я представляла себе нечто более симпатичное.

Он оставлял впечатление ученого. На голове шляпа, так что не видно, что он совсем лысый, только несколько седых прядок или вроде того. Рот запавший, глаза посажены глубоко. (Конечно, в тот раз я не думала о таких мирских вещах. В присутствии такой божественной персоны, как г-н Виллигер, вообще ни о чем думать не смела. Ну вот.)

Когда я сказала, что мне шестнадцать, он заметил: «В шестнадцать, дитя мое, жизнь только начинается».

На меня это произвело сильное впечатление.

Я ходила на уроки к Виллигеру дважды в неделю. Это очень много, и постепенно я лучше узнала профессора.

На первых порах я жутко много о нем думала. Понапрасну растратила массу драгоценного времени. Сейчас это уже в прошлом.

Сперва я думала, что он порядочный человек, достойный. И сделает из меня что-то порядочное. Будет читать со мной прекрасные вещи, книги, говорить о важном.

Мне он понравился. И хотя ужасно некрасивый, словно бы здорово меня полюбил.

Я думала: он старик. Ужасно одинокий. Я для него, наверно, что-то милое и красивое. Он радуется, когда видит меня. Всегда так приветлив со мной, так улыбчив. (В самом деле, на первых порах он все время твердил: «Прелесть!») Превосходно.

Потом профессор пришел с визитом к нам домой. Сущий кошмар. Я смотрела на него и думала: настоящая жаба. Он принес шоколад. И украдкой поцеловал мне руку. Потрепал по плечу и сказал, что рад видеть меня снова. Ужасно... И говорил он деланным голосом (как г-н Вайсс в школе танцев).

После этого визита мама изменившимся голосом сказала:

«Рут, не забывай, профессор Виллигер – *мужчина*».

Тогда мне полегчало.

Я подумала, что, возможно, он действовал так из чувственности. Пошла к Элле, облегчила перед ней душу.

Было бы ужасно, если б он видел во мне жену. Я много размышляла об этом. Профессор пригласил меня в театр. Я от приглашения отказалась.

Не собираюсь я влюбляться в лысого мужчину с запавшим ртом. Чтобы

влюбиться, мне нужен совсем молодой, *совсем* молодой человек.

Профессор был разочарован, что я не пошла с ним. Напустил на себя иронию.

Прошлый раз он был очень мил. Огорчился, что я приду только через неделю. Проводил на трамвай и сказал: «Я словно бы стою на вокзальном перроне, а ты уезжаешь... в Париж».

Чудно! У меня было такое же ощущение. Шел дождь. Я стояла с ним на остановке. Столько людей, а я совсем одна с профессором. Я посмотрела на него и невольно засмеялась, он тоже засмеялся и сказал:

«Ты вообще знаешь, *как* я тебя люблю?»

И у меня опять возникло ощущение, что он хочет завладеть мною как чем-то юным и красивым.

(Но однажды он сказал мне кое-что, чего не должен был говорить. А сказал он вот что: «Один человек, который не знает тебя, сказал, что ты единственная женщина, которая умеет правильно со мной обращаться». Кажется, я покраснела как рак. Он не мог бы так сказать, если бы смотрел на меня как на ребенка.)

Часто профессор Виллигер и сам чувствует, что относится ко мне, собственно говоря, весьма по-особенному. Как-то он сказал мне:

«Знаешь, Рут, больше всего я страдал оттого, что женщины совершенно меня не понимают. Раньше я никому этого не говорил».

А потом вдруг меланхолически добавил:

«И почему же говорю это маленькой девочке?»

Когда я вот так пишу о нем, профессор кажется мне очень симпатичным. Но стоит подумать, что у него запавший рот, лысина и что он курит трубку, – и мне становится противно, как при виде жабы (возможно, это преувеличение).

СУББОТА 31¹⁵ АПРЕЛЯ 1937 г., ВЕНА

По-моему, наша злоба и несчастье во многом обусловлены тем, что мы ужасно мало связаны с природой, солнцем, землей, цветами. Слишком мало в нашей жизни гармонии с землей. Не будь городов, люди были бы гораздо счастливее.

Я чувствую, как инертное, банальное, будничное отупляет меня.

Прочитала замечательную новеллу Томаса Манна. Перепишу ее сюда.

[Далее на 15 страницах дневника следует новелла «Разочарование».]

¹⁵ Очевидно, описка в дате.

Ich habe eine schöne Novelle von
Th. Mann gelesen. Ich würde sie abschreiben.
Enttäuschung.
Ich gestehe, daß mir die Reden dieses sonder-
baren Mannes ganz und gar verwirrten
und ich fürchte, daß ich auch jetzt noch
nicht imstande sein werde sie auf eine Wei-
se zu wiederholen, daß sie anders in ähnlicher
Weise berühren, wie an jenem Abend mich
selbst. Vielleicht beruhte ihre Wirkung
nur auf der befremdlichen Offenheit, mit
der ein ganz Unbekannter sie mir anbot.
Der Herbstvormittag, an dem
mir jener Unbekannte auf der Piazza San
Marco zum ersten Male auftrat, liegt nun
etwa zwei Monate zurück. Auf dem selben
Platze liegt nun etwa zwei Monate zurück.
Auf dem selben Platze bewegen sich nur
wenige Menschen umher, aber von Tausenden

[За двенадцать строк до конца новеллы текст прерывается коммента-
рием:]

...и т. д. Пока переписывала, пришла к выводу, что на самом деле все не так.

es versucht habe mit diesen Menschen zu liegen,
denn mich vor mir und den anderen als Glück-
liche hinstellen. Aber es ist mir sehr faul zu
sagen, daß diese Tücke zusammenbrach, und ich bei
sonnem, unglücklich und ein wenig wunder-
lich geworden, ich kenne es nicht.
Es ist meine Lieblingsbeschäftigung bei
Nachdenken den Himmel zu betrachten, denn
ist das nicht die beste Art von der Erde und
von Leben abzuweichen. Und vielleicht ist es verzeihlich,
daß ich es mir dabei angelegen sein lasse.
Während des Schreibens bin ich darauf gekommen
daß es gar nicht richtig ist was hier steht.
Es ist nicht richtig weil
jetzt soll ich das letzte Mal über
den Herrn Professor schreiben. Ich danke

ВТОРНИК 11 МАЯ 1937 г., ВЕНА

Последний раз напишу о профессоре. Думаю, на каникулах напишу ему письмо.

Я прочла много писем с соболезнованиями (адресованных маме). Уни-
зительно, что люди могут писать подобную безвкусицу и глупость. Груст-
но думать, что все эти ужасные, безвкусные писмописатели так и тянутся
друг за другом. По-моему, это просто возмутительно. Ведь те, кто пишет
эти письма, пишут так самодовольно, так благожелательно, со скрытой пре-
зрительной усмешкой, втайне радуясь, что их это не коснулось. А как поду-
маешь, что ведь однажды кто-нибудь напишет в точности такие же злорад-
ные, самодовольные письма – *их* родственникам!

А как подумаешь, что после насыщенной и красивой жизни только и
остаются письма с соболезнованиями, делается совсем тошно.

ЧЕТВЕРГ 13 МАЯ 1937 г., ВЕНА

Папа прожил красивую жизнь. Как в сказке. Папа уезжал в чужие края, а
мама ждала дома. И папа писал нежные письма, а мама с любовью думала
о нем. Хотела бы я быть на месте мамы. И на месте папы. Ничего бы не
делала и имела бы не так много друзей. Вот, наверно, замечательно.

А в новелле не как на самом деле.

Нужно *искать* в жизни красивое и доброе. А не ждать, когда оно придет.
Нужно быть готовым к красивому.

Если ждешь от жизни слишком много, то наверняка будешь разочарован.
Но если смотришь на жизнь без ожиданий и надежд, то увидишь необычай-
ное повсюду, в самых что ни на есть мелких и незначительных вещах.

И вовсе не обязательно это должно быть что-то небесно-чистое или дья-
вольски отвратительное. По-моему, чудесное длится долго.

Думаю, можно брать пример с Леонардо да Винчи.

Держать глаза открытыми, а не грезить.

ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ 1937 г., ВЕНА

Каждый человек – существо многообразное, сложное.

Анни

Это разумная и хорошая девочка. Некрасивая. Растрепанные волосы, под-
жатые губы. Нет в ней женского шарма. Она грубоватая, замкнутая. Тело у

нее еще не раскрылось и не расцвело. Тело пока что грубоватое и нескладное, глубоко под кожей ощущается зуд. Плоть бесформенна. Лицо грубое, угрюмое. Она – девушка завтрашнего дня. (Как ни глупо это звучит.) Человек, полный проблем, нерешенных вопросов, загадок. Человек, который думает и *размышляет*.

Хеди

Эта девочка – сплошная жестикуляция. Невнятная и пустая. Деланная. Она прикрывает свою пустоту судорожными шалостями и зазнайством. Прикидывается, будто умнее всех. По-настоящему умные люди так себя не ведут, они в жестикуляции *не нуждаются*. К примеру, она хвастливо улыбается, когда общается с мужчинами. Сегодня я узнала, что она ходила в обнимку с одним парнем из Кобленца. Не верится мне.

Я должна во многом разобраться.

1) Чего я хочу достичь?

2) Ради чего я живу?

3) Что вообще существует?

У Толстого я читала о парне, который живет в точности по своим принципам. Составляет себе суждение о чем-либо и живет согласно этому суждению. Составляет себе суждение даже о самых незначительных вещах.

Я буду действовать так же. Но начну с самых незначительных вещей, потому что с большими вещами намерена разобраться постепенно.

Буду ли я пить спиртное?

Нет!

Почему нет?

Потому что это вредно для здоровья.

Тут я не сомневаюсь, но если это доставляет удовольствие, то, может, немножко вредности допустимо?

Не говоря о том, что мне это не доставляет удовольствия, я не стану пить спиртное, так как, по-моему, совершенно не по-человечески шататься по улицам и вести себя как свинья.

Не по-человечески? Почему? Как раз очень по-человечески, что человеку хочется смягчить свои беды и заботы, что он стремится дать себе волю. Люди пьют, потому что надеются увидеть окружающее более светлым и красивым.

Это по-человечески, но в другом смысле. Смысл, который ты здесь стремишься вложить в слово «по-человечески», оправдывает все заблуждения, ошибки, упущения, какие совершает человек. Но под «не по-человечески» я подразумеваю *недостойное* человека.

Короче говоря, ты превращаешься в проповедника добродетели. Не пить

спиртное: *потому что это недостойно человека*. И губы помадой не красить. *Потому что это недостойно человека!* Словом: направь свой взгляд на задачи, достойные человека, и т. д.

По-твоему, ты можешь подавить меня умом и насмешкой. Но послушай: я говорю, что это недостойно человека, а при этом *отлично* понимаю, когда совершается что-то недостойное человека. Я (согласно красивому выражению) не прощаю.

Ты прощаешь. Замечательно, совершенно замечательно, что ты прощаешь. Только забываешь: чтобы прощать, надо иметь некое право.

Что ж, согласна: не прощаю подобные вещи, но *понимаю* их.

Ты, сверхчеловек, хочешь, стало быть, сказать, что тебе несвойственны такие недостойные человека вещи?

Нет! Этого я никогда не говорила. Они мне свойственны. Но я намерена их побороть, и потому, когда говорю «я не стану пить спиртное», это показывает, что я не зазнаюсь.

Хорошо, что у человека есть воля распоряжаться своей жизнью. Что он может сказать «я хочу жить» и может сказать «я не хочу жить». Значит, всякое желание, какое я испытываю, порождено моей собственной волей.

ВТОРНИК 1 ИЮНЯ 1937 г., ВЕНА

Между мной и Лиззи чувствуется что-то нежное и застенчивое. Сдержанное. Не могу в точности описать, да и не знаю, чувствует ли она то же самое. Я испытываю теплое и материнское чувство.

Вообще, материнский рефлекс или материнский инстинкт (не знаю, как это называется) у меня очень силен.

Это чувство я испытывала ко многим людям. Например, к Биби и почти ко всем детям, к Курти и т. д., ну и к Харри тоже. Это сынишка нашего знакомого. Он такой впечатлительный, и мне его жалко. Это материнское чувство очень теплое.

Одно из главных правил Греты Сальвендер таково: дети должны воспитываться в коллективе, вдали от матерей, поскольку матери воспитывают в них эгоистичность (коммунизм).

Совершенно смехотворно, по-моему. Ведь именно матери дают детям так много любви, именно матери дают детям так много хорошего. Так много, что хватает на каждого. Я думаю о множестве великих людей – Гёте, Петцольде¹⁶, Рембрандте и др.: каким богатством наделили их именно матери.

Думаю о папе и о том, как пусто было бы без него.

¹⁶ Петцольд Альфонс (1882–1923) – австрийский писатель, романист и автор социально-религиозных стихов.

ВЕСНА

Ты замечала, что как раз весной, в первые хрупкие весенние дни, больные люди в инвалидных колясках появляются в тесных, светлых улочках и пристально наблюдают за весной? Что старики с трясущимися руками и седыми волосами сидят на солнышке?

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ИЮНЯ 1937 г., ВЕНА

Штеффи, дочь нашей здешней соседки, все время настаивает, чтобы я переводила ей письма на английский и т. д. Он (конечно же «он») из Индии. Штеффи привлекает необычное.

ВТОРНИК 22 ИЮНЯ 1937 г., ВЕНА

Прежде чем причинять кому-то вред или неприятности, стоит подумать о том, что он тоже человек и будет обижен.

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ИЮЛЯ 1937 г., ВЕНА

Вчера я очень любила всех людей. Д-р Роберт Кнёпфльмахер – свинья и дурак. Он вел себя непорядочно и подло.

По-моему, одна из нынешних больших бед то, что у людей слишком мало времени, что всё не терпит отлагательства, а когда время наконец появляется, люди не знают, куда его девать.

В школе ставили «Глупец и Смерть» Гофмансталя¹⁷. Я играла Девушку. Играла хорошо. И заметьте, получила большое удовольствие. Может, стану актрисой.

Все болезненное и беспомощное привлекает меня. А немного погода внушает отвращение. Могу представить себе, как сильно влюбляюсь в слепого, ухаживаю за ним, а через некоторое время мне станет противно. Поэтому во врачи я все ж таки, наверно, не пойдусь.

ЧЕТВЕРГ 8 ИЮЛЯ 1937 г., ВЕНА

Я вот думаю, возможно, Джек Лондон в «Мартине Идене» прав, говоря, что социализм, собственно, не что иное, как сентиментальность. Джек Лондон

¹⁷ Гофмансталь Гуго (1874–1929) – австрийский писатель.

сравнивает социализм и дарвинизм и говорит, как Дарвин, что дельный и талантливый в жизни всегда одержит верх над нерадивым. Что дельный всегда одержит верх и будет угнетать нерадивого. Что законы, действующие в животном мире, в точности таковы же, каким следуют люди, и никуда от них не денешься.

1) Август Бебель говорит, что те, кто придерживается этого взгляда, забывают, что у людей есть еще и разум, чтобы не обращать внимания на эти законы. Не знаю, правильно ли это?!

2) Я спрашиваю: кого люди, придерживающиеся такого взгляда, подразумевают под нерадивыми – безработных, у которых нет возможности проявить дельность, которым даже есть нечего? А дельные – надо ли понимать под ними мультимиллионеров, которые некогда начинали разносчиками газет?

Совершит ли что-нибудь теперешний дельный человек?

Девочка-подросток – существо противоречивое.

С одной стороны, на этом этапе начинаются все движения и чувства, какие девушка видит в мужчине. Но выражаются эти чувства очень по-детски, очень беспомощно. По-моему, сюда относится и так называемое девчачье хихиканье, тихие смешки.

С другой стороны, на этом этапе каждый человек наверняка размышляет о мире, о добре и зле, о Боге и многих других вопросах.

И тут возникает противоречие. Размышляя о множестве вопросов, над которыми прежде ломали голову великие люди, считаешь, стало быть, что всё, кроме этих эпохальных вопросов, несущественно и т. д. (Именно это я и делаю.)

Сейчас я думаю только вот о чем: почему нет бакфишей мужского пола?

Наверно, потому, что мальчишки не так сильно хотят понравиться девчонкам, как девчонки мальчишкам. В этом смысле девчонки намного тщеславнее.

СУББОТА 10 ИЮЛЯ 1937 г., ВЕНА

Посмотрела замечательный фильм – «Танец под виселицей». Ужасно презираю себя, потому что не имею мужества умереть. Ужасно. Часто вижу это во сне. Ну-ну! Значит, у меня нет мужества совершить самоубийство! Но я не знаю. Наверно, у меня не хватит духу и умереть за доброе дело. За свободу или вроде того! Средний человек должен всегда брать пример с тех, кто выше среднего. Вот чего я ожидаю. Ужасно, что я не хочу умирать. Хотя, может, когда-нибудь позднее. Но речь вовсе не о том, когда именно. Я хочу умереть за доброе и прекрасное дело. Не очень-то приятно осознавать, что

не способен на что-то. Что чего-то не можешь. Вот в чем изъян. Что человек может так мало. Почему я не могу встать и сказать: войны быть не должно! Почему не могу, ведь я хочу этого. Самые прекрасные минуты я переживаю, когда погружаюсь во что-нибудь целиком! Например, когда слушаю прекрасную музыку, когда читаю прекрасную книгу! Когда я в восторге. И он захватывает меня целиком. Почему же я стою и только смотрю, как все остальные?

Так глупо. Сама не знаю, что пишу. Но буду писать как пишется – само собой. Раз я не могу быть человеком, который что-то может, буду играть людей, которые что-то могут!!! Будь я служанкой и скажи мне хозяин: «Целуй мне ноги, или я тебя убью», – я бы поцеловала ему ноги, чтобы избежать смерти. Вот это я называю *трусостью*. Так поступают только гады. Ужасно – хотеть и не мочь! Так бы и убила себя за это. Я не взбунтуюсь и даже не последую за тем, кто бунтует. *Потому что не бунтует никто.*

ВТОРНИК 13 ИЮЛЯ 1937 г., ВЕНА

Эрна Прокпе – девочка скромная, впечатлительная. Ей одиннадцать. Думаю, она будет одной из тех редких девушек, которые невелики ростом и сдержанны, даже среди большой мерзости. Она пишет стихи. Хочет стать поэтом или же астрономом. Сочинила стихотворение о звездах и о том, что небеса пустынные, без луны и звезд.

В газете напечатана статья о Кэте Кольвиц¹⁸. И там говорится, что, по мнению Кэте Кольвица, все идет от страдания, что все происходящее берет начало в страдании... Часто я думаю так же. Но мне кажется, эта мысль непродуктивна, негативна и несколько высокопарна. Да и жаль как-то верить в это. Но контраргументов у меня нет. Реакция чисто эмоциональная. Я просто не хочу. Вижу людей на улице. Безработных с детьми, старых женщин, сморщенные лица. И думаю об этом. Чувствую, что пишу ужасно сумбурно, и вообще. Иначе не выходит.

Думаю, что, когда настанут времена, полные мира и красоты, я разлюблю людей. Я люблю людей, когда им плохо. Когда людям плохо, они красивее всего. А когда счастливы, становятся хвастливыми и гадкими. Я имею в виду, счастливы не в душе, а вообще в жизни. Когда им все удастся, когда у них есть все, что пожелаешь, и т. д.

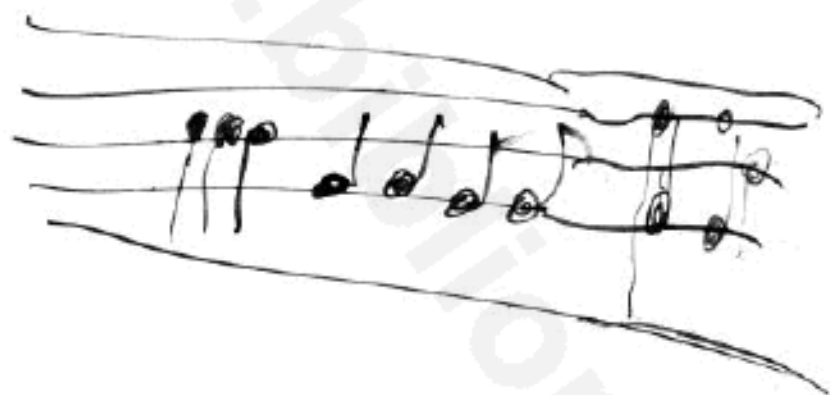
Мне хочется больше написать о страдании. Привести пример. Допустим, я вижу пролетарскую семью. Они бедны, у них трое детей. Худые, несчастные. Многое для них пошло наперекосяк. Они катают детей в коляске. Мать смеется. Дети играют. Подробнее описать не могу.

¹⁸ Кольвиц Кэте (1867–1945) – немецкий график и скульптор.

Теперь представляю себе ту же семью счастливой. Много в жизни у них сложилось хорошо. Они прекрасно одеты. Смотрят на окружающих свысока. Друг друга любят не так уж сильно. Довольны. (Может, вообще следовало бы вместо «счастливый» писать «довольный».) Когда вижу их такими, я их не люблю. Это очень поверхностно. Да и не особенно разумно. Возможно, связано лишь с внешним. Я больше люблю людей, которые выглядят жалкими, у которых круги под глазами, а не пухляки толстяков. По той же причине куда прекраснее бороться за некое дело, а не наслаждаться уже достигнутым. По той же причине?!

Да! Потому что наслаждаясь, я становлюсь безмятежной и противной.

Перечитала – и совсем запуталась. Это просто разрозненные мысли, которые приходят и уходят.



«Дневник калеки»

СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 1937 г.

Осенний дневник 1937 года – 150-страничная нелинованная тетрадь форматом в четвертушку листа, в твердом переплете, исписанная полностью, не считая нескольких пустых страниц. Начат в Вене, по окончании летних каникул. Записи продолжаются до Рождества. По-видимому, все они сделаны в Вене, хотя кое-где место не указано. Заметка «Пересмотр» внесена прямо перед отъездом Рут на чужбину на новый 1939 год.

Мысли о войне, о смерти, о собственном отце не раз всплывают в этот период, в последние полгода перед тем, как Гитлер присоединил Австрию к Германскому рейху посредством так называемого аншлюса в марте 1938 года. Во многих местах тетради тревожные небрежные рисунки.

Данный дневник в Норвегию не попал, найден в Англии у сестры. Предыдущий дневник лета 1937 года, проведенного в Шато-ле-Салорж, где Рут и Юдит были в лагере отдыха Французского почтового союза, утерян. Там они познакомились с юными беженцами от испанской гражданской войны. В осеннем дневнике Рут пишет о детях из разных стран, с которыми завязала знакомство.

Вспоминает добрым словом своего любимого актера Германа Тимига на вершине его карьеры и пианиста из молодого поколения, позднее знаменитого Жана Юбо (1917–1992), который в тот год учился в Вене.

В остальном в тетради доминируют две вымышленные истории: «Рассказ об одной встрече» и более объемная «Листки из дневника калеки». Первая начинает разворачиваться лишь после двух-трех зачеркнутых экспозиций. Второй текст Рут вычитала и сильно выправила. Далее следует альтернативный конец – несколько пустых страниц, вероятно оставленных для окончательного варианта, задуманного, но неосуществленного.

Ich weiß nicht was soll es bedeutend daß ich so heutig bin
Ich weiß nicht was soll es

Tränen

Leidh. F.

Als p.m. f. u. s. j. s. b. m. m. f. a. m.
w. s. f. j. o. j. k. u. d. i.



Ich weiß nicht
ICH WEISZ.

Joli tolisfjet emjoe

Wir glauben an eine bessere Welt.
Was kommt da bald so schön.

ВТОРНИК 21 СЕНТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Ну вот, мы в Вене.

СУББОТА 25 СЕНТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

В Шато-ле-Салорж я вела дневник. Но он потерялся. Ничего не поделаешь.

РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ ВСТРЕЧЕ

Профессору В.

Однажды весенним днем я пошел прогуляться, голубой воздух и запах клейких зеленых почек мягко обвевали меня, и я был вдвойне усталым и печальным.

Думал я о своей до ужаса пустой жизни, об усталом теле.

Обиженное сердце тосковало по юности, свежей росе и утреннем воздухе. По ветру, ерошащему мои седины, по красоте, которая дарит моей душе молодость.

Я стоял у собственной двери! Что-то странное дышало мне навстречу. Теплое, чистое... очень маленькое... точно кто-то рассыпал по земле цветы, точно маленький ребенок легонько постучал в дверь.

Старики приходят домой, находят цветы, рассыпанные по земле, думают, будто маленькие дети легонько стучат им в дверь.

Я вошел. И это что-то прямо-таки ударило в лицо. Сильнее, ближе! Дразнило меня, горело во рту, в горле. Плясало в мозгу... Я огляделся.

У окна стояла девочка. Да-да! Незабываемая картина. Вечер. В комнате темно. Последние солнечные лучи цеплялись за печную трубу. И на фоне неба силуэт девочки. Голова слегка откинута назад, ладони сплетены. Последние лучи солнца покоились на ее волосах. Мягкий контур на фоне неба.

Девочка у моего окна... Я скользнул взглядом по ее мягкому силуэту, по изгибу шеи, прелестной линии груди, пышным волосам, сплетенным пальцам. Я пил, пил как жаждущий, который после долгих поисков нашел источник. Пил как одержимый, пил красоту и юность, пока сердце мое не напилось влагой. Я не спросил: как девочка может очутиться у моего окна? Воспринял это как дар богов.

Я слышал стук своего сердца и только смотрел, смотрел.

Тут девочка обернулась, будто почувствовала чужое прикосновение. Испугалась. Сказала, что долго ждала, узнала, что я еще не вернулся домой, и стала у окна.

«Стемнело уже».

Я слышал эти слова в дальней дали, а она напоминала мне забытую мелодию. Я пришел в недоумение, удивился. Не верил, что она умеет говорить, эта девочка, не думал, что она реальна, и досадовал, что не украсил себя хвоей, не мог встретить ее в роскошных одеждах и приветственно сказать:

Добро пожаловать, принцесса Солнцесвет! Видишь, я готов принять тебя, я же знал, что ты придешь!

Примерно вот так надо было сказать, ведь она молчала. А потом вдруг произнесла, совсем просто: «Я пришла, потому что послана сюда, к вам».

Ага! Кто-то тебя послал! И как же тебя зовут, принцесса Солнцесвет?!

«Мое имя Кунигунда, но все зовут меня Ундиной... Кунигунда звучит не красиво. Напоминает увядшие цветы».

...Увядшие цветы? Что ж. Ундина... напоминает мне дом среди моря. Зеленую морскую воду и крохотную русалку, плавающую туда-сюда.

Она опять молчала. Откуда-то до меня долетела коротенькая мелодия. Потом застучал молоток.

И где же ты живешь, русалочка? Где ты живешь?

«Я живу в Лазурно-Золотой Стране, где все либо лазурное, либо золотое. Сiju на дедовой ели у золотого дворца моего отца».

...у золотого дворца моего отца... (она словно бы втайне засмеялась).

А какая у тебя профессия, Ундина, какая профессия?

Я увидел, как она поднесла ладонь ко лбу.

«Какая профессия? Я перелетаю с дерева на дерево, радую людей, когда им грустно... радую, когда им грустно...»

Сколько же тебе лет, дарительница счастья из Лазурно-Золотой Страны? Сколько тебе лет?

«Я... я ровесница мироздания!»

...ровесница мироздания...

Слова, маленькие, крохотные, плясали в комнате, таяли в воздухе.

...Кунигунда, все зовут меня Ундиной...

...ровесница мироздания...

Вновь тишина. Вновь до меня долетела коротенькая мелодия. Стало совсем темно.

И вдруг: «А ты, кто же ты?»

Теплым дождем эти слова лились мне в сердце. Звенели, пели, взлетали к потолку, ползали по земле. Ликовали вовсю.

...А ты, кто же ты?..

Старики со стесненными сердцами не привыкли к таким словам. Их захлестывают радость и счастье, они плачут и смеются, ведут себя как маленькие дети.

Да! Старики одиноки, у них в сердце глубокие раны, они так благодарны.

...А ты, кто же ты?..

Девочка спросила об этом. И я ответил и хотел поблагодарить ее, хотел показать, как я счастлив:

Я... я старый человек, который так рад, что нашел тебя, Ундина!

Напрасно я это сказал. Да, напрасно. Я забыл, что Ундина из Лазурно-Золотой Страны мала, пуглива и не привыкла к мощным словам... она улетает.

Настала тишина. Снова коротенькая мелодия... Вдали зазвонили колокола...

Ундина!

Потом слышались легкие шаги. Дверь открылась, и Ундина ушла своей дорогой.



Клянусь, я бы послала ему вот это.

Мы видели бабочку возле цветочного магазина. Большую, яркую.

Я ужасно много размышляю, наверно, чересчур много.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ОКТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Время идет быстро. Остановить его невозможно. Мы умрем, и останется от нас только прах.

ВТОРНИК 5 ОКТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Мечтаю писать. Думаю, у меня есть ценные мысли, которые стоит записать.

А когда пишу, ничего не знаю. Во мне словно бы пустота.

Не знаю, правильно ли это, но, по-моему, Австрии присуще кое-что странное.

1) Противник властвует не благодаря мощи или тирании, скорее благодаря своему дружелюбию (император говорит с народом). Таким манером обезоруживается любое сопротивление.

2) Народ обманывают мелкими соблазнами свободы, обманывают безгранично. Говорят, к примеру: Смотри, мы украшаем окна красными флагами, мы поем «Интернационал».

Конечно, лишь посредственности клюют на такую наживку.

Итак, я хочу вести разумный дневник, без отрывочных мыслей. Пожалуй, хочу полностью выложиться.

Снова начались занятия в школе. По немецкому у нас Бетти. По французскому – фройляйн Фоллендер. Фройляйн Фоллендер аристократичная, темноволосая дама, жутко строгая, по-французски она говорит великолепно.

Школа довольно-таки враждебна духовности. Я прочитала работу о молодом парне из «Евреев из Цирндорфа». Недурно.

А.: Задача учителей – вводить учеников в различные дисциплины. Им следовало бы делать это тонко и хорошо. Следовало бы показывать нам все сокровенные чудеса жизни. Поистине задача на целую жизнь. А они что делают? Ничего, совершенно ничего. Нам приходится долбить тысячи избитых правил, так и не познакомившись с чудесами, наверняка лежащими в их основе.

Б.: Ты забываешь, что не только учитель, но и дети совершенно нерадивы. Учитель не способен научить. Ладно. С этим я соглашусь. Но дети тоже не способны – не способны воспринимать. Не все видят чудеса мироздания.

А.: Я знаю, о чем говорю. Когда ходил в школу, я признавал, как все слушали, когда учитель раскрывал что-нибудь, какие-то другие вещи, а не запыленные правила и формулы.

Б.: Согласен, преподавание сейчас, пожалуй, никуда не годится. Но ведь есть определенная разница между избитыми правилами и чудесами жизни.

А.: Оставим в покое чудеса, дело не в них. Отвлечемся от чудес. По немецкому преподают грамматическое чередование гласных, средневековые смыслы, Гартмана фон Ауэ¹⁹. И даты, даты и еще раз даты. Об актуальных проблемах ни слова – нет дискуссий, хотя бы пытающихся внести ясность. По истории: Античность, Средневековье, современность. Опять все забито датами и второстепенными деталями. В конце курса, может, и знаешь,

¹⁹ Гартман фон Ауэ (ок. 1168 – после 1210) – немецкий поэт-миннезингер, автор стихотворных рыцарских романов «Эрек» и «Ивейн», стихотворной повести «Бедный Генрих».

когда произошла битва при Саламине²⁰, но насчет общего представления об истории и глубинных причинах не говорится ни слова. Конечно, заучиваешь всех королей. Но что сверх этого?

И почему на уроках истории никогда не заходит речь о событиях, актуальных сейчас, сию минуту? Сухая ирония. Китай и Япония хватают друг друга за горло, а мы рассуждаем о Тридцатилетней войне²¹. В Испании бушует гражданская война, а мы рассуждаем о «славной английской революции»²². Я понимаю, полностью отвлечься от прошлого нельзя. В общем и целом оно демонстрирует связь с современностью. Но не во всяческих сваленных в кучу обрывках.

Конечно же в результате мы имеем странноватых людей, которые хорошо знают о Вселенском соборе в Констанце²³, но понятия не имеют, когда произошел переворот²⁴ в Австрии.

Можно ли, отдавая предпочтение Констанцскому собору и Вестфальскому миру²⁵, начисто забывать о современности? Ведь, что ни говори, прошлое для нас всего лишь бумага. А если верно противоположное, то еще хуже.

В итоге появятся люди, которые равнодушны к политике и будут защищать позиции, о которых знать не знают, откуда они взялись. Почему нам не разъясняют, как возникли национал-социализм, социализм, коммунизм?

Однако незачем задерживаться на предмете «история». Посмотрим на естествознание. Там ситуация весьма странная. Человеческое тело, размножение окутаны таинственным мраком. Прежде всего, как происходят половые процессы. А ведь именно здесь школа действительно могла бы принести пользу. Во всяком случае, в выпускном классе. Деликатно говорить о развитии эмбриона (не о самом процессе размножения). Ведь в выпускном классе есть даже девочки, которые вовсе не осведомлены об этих вещах. Почему нельзя подойти к учительнице и просто сказать: фройляйн, я ничего не знаю о том-то и том-то.

И вообще что касается группы 16–17-летних. Для них начало данного периода уже позади – периода, когда не знаешь как и почему. Какие только свинства, непристойности, двусмысленности и проч. можно было бы предотвратить, если бы уже в конце народной школы подробно изучался процесс размножения.

Б.: Во-первых, ты забываешь, что это предложение, увы, неосуществи-

²⁰ У острова Саламин в Эгейском море в 480 г. до Р. Х. греческий флот разбил флот персидского царя Ксеркса.

²¹ Тридцатилетняя война (1618–1648) – общее название ряда войн за господство в Европе, вызванных религиозными и политическими противоречиями между Священной Римской империей и Габсбургами.

²² Имеется в виду революция XVII века, которую возглавил О. Кромвель (1599–1658).

²³ Вселенский собор в Констанце состоялся в 1414–1418 гг.

²⁴ Вероятно, имеется в виду распад Австро-Венгерской империи в 1918 г.

²⁵ Вестфальским миром закончилась Тридцатилетняя война.

мо с тринадцатилетними девочками. Тот, кто затронет эту тему, немедля столкнется с совершенно неловким молчанием, а затем, вероятно, со сдавленными смешками. Не забудь, девочки начинают хихикать уже при слове «грудь».

А.: Да, а кто виноват? Опять же школа и учителя. Нет, отбрось все двусмысленное, нездоровое, непристойное, что связано с полом. Обращайся с этой проблемой как с любой другой, вроде деления клеток водорослей. Почему учительницы не говорят об этом? Почему не разъяснят четко и ясно: деление клеток – процесс бесполой и т. д. Поразительно, преподают все о размножении папоротников, водорослей, тлей, но отнюдь не людей. Естественно, это наводит на мысль о чем-то запретном и двусмысленном. В результате стоит при воспитанных в таком духе подростках коснуться этой темы, как начинаются веселые смешки. Нам, молодежи, нужна школа, которая помогает разобраться в неясностях. Не такая школа, которая дает формулы и правила, а такая, что, скорее, связывает нас с сегодняшним днем, делает нас полезными людьми.

ЧЕТВЕРГ 7 ОКТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Получили письмо от испанцев из Шато-ле-Салорж.

Они должны вернуться в Испанию, к войне. «Mucha pena». Много страдания! А почему? Из-за этих красивых, здоровых испанских мальчишек и девочек воевать незачем. Как подумаю о Фернадито, красивом мальчике, которого все звали Мимос, – ведь и он, один из сотен тысяч детей, может умереть. Так же обстоит и в Японии. Помогите!



Испанские дети-беженцы во временном лагере во Франции, где Рут и ее сестра познакомились с ними летом 1937 г.

Такое ощущение, будто все беды мира легли на мои плечи. Можете рассказать и объяснить, почему именно на мои? Если б они съели друг друга, я бы могла жить счастливо. И в этом месяце, когда я пишу, миллион людей в Китае кричит от боли. Наша задача, задача молодежи – не забывать этих кричащих людей, думать обо всех невинных детях, которых бомбы разрывают в клочья. Скажите мне, какие люди намерены сражаться с нами? Скажите, как сражаться и победить?

Вообще-то мне бы хотелось погрузиться в зеленую воду или поговорить с хорошим человеком. Не о политике, Китае, Японии, Испании. Просто поговорить. Вообще-то мне грустно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ОКТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Ездили за город. В лесу уже осень. Земля усыпана листьями. Деревья багряные и золотые.

Вчера были танцы. В «Дике Рое». Похоже на разрушенный рыцарский замок. Пот. И жара. Один мальчик мне понравился. Выглядел он как робкий гимназист. С высоким лбом, в очках. Танцевал очень мало. Американец. Говорил с трудом, как-то неестественно. Я больше танцевала с его другом. Нескладный увалень и т. д.

Хочу написать о детях, с которыми познакомилась, – чтобы не забыть.

[Ниже приводятся шесть из одиннадцати детских портретов дневника.]

Ханзи

Ханзи я очень люблю. Познакомилась с ней в Брно. Она мне сразу понравилась: маленькая, хрупкая, с веселыми глазами. Она была там с бабушкой и дедушкой. И все время твердила: «Сядем тут и поиграем». И еще: «Небойсе тако-ой маленький». Небойсе – это городок, где она живет. Тщеславная. И ужасно полюбила меня. Я рассказывала ей сказки. «Счастливого принца» Оскара Уайльда. Вечерами мы с ней гуляли. Играли в больницу, в магазин. Построили в зарослях шалаш.

Наверно, я никогда больше ее не увижу.

Карли Симонек

Маленький сорванец. Типичный буян. Я познакомилась с ним в Альпах. Когда впервые увидела его, щеки у него были румяные-румяные. Он привел меня в полный восторг. Мы с ним тоже построили в лесу шалаш. Там он рассказывал мне истории, которые сам сочинял. Позднее мы их записали, и я сказала, что их надо напечатать. Он очень удивился. Невероятно умный мальчуган. Превосходно рисовал. Сказочный сад получался у него быстрее,

чем у иного двенадцатилетнего. Мы учили его сложению и вычитанию, и он невероятно быстро все усваивал.



Снимок, сделанный летом в Австрии. Карли Симонек, по-видимому, мальчик в первом ряду. Позади него слева – Рут, справа – Юдит

Мы разыгрывали уличные сценки. Например, как встречаемся снова, когда он уже стал знаменитым поэтом и женился. Играли в полицию и в разные другие игры. Два раза он меня поцеловал. Один раз сказал: «Рут, я тебе кое-что скажу». И поцеловал меня. А второй раз ночью. Не знаю. Мы пожелали друг другу покойной ночи перед тем, как идти спать. Это было чудесно. Иногда маленькие дети мне очень-очень близки. Так было и в тот раз. Из моего сердца словно хлынул горячий поток. Правда-правда.

Потом было не так хорошо. Он забормотал про невидимую руку, начал щипаться и царапаться.

Рикардо

Это маленький смуглый итальянский мальчик. Такими их себе представляешь. На улице, играют шариками, дынный сок стекает с подбородка. Одежда рваная. Улицы желтые от пыли. На губах у него бодрая солнечная улыбка. Я ужасно его полюбила. Прямо как сумасшедшая. Влюбилась почти неестественно, как в мужчину. Ему было двенадцать. Маленькие смуглые руки.

Мне захотелось помочь ему. Он много рассказывал мне по-итальянски. Я ни слова не понимала. При каждом восходе солнца он говорил: «Alloa, una volta»²⁶. Говорил с блаженным восторгом, всплескивал руками и смотрел в небо. Я часто гладила его по волосам и целовала. Последний раз, когда я видела его, шел дождь. Он толком не понимал, что я уезжаю. Я видела его сквозь залитое дождем оконное стекло – детское личико.

Рен

Это его сестра. Как и брат, смуглая. Все ее существо дышало солнцем. Как земляничка. В глазах – будто солнце светит сквозь листву. Первый раз я увидела ее на железнодорожной станции, она поцеловала руку своей матери. На ней было голубое платье с красным воротничком. Такой я и вижу ее сейчас.

Еще я вижу, как она делает красивые фигуры из бечевки. На лбу у нее была ложбинка, маленькая вертикальная складочка. Наподобие той, что у меня на подбородке. Она смеется и говорит: «Анджело! Анджело!»

Когда я видела ее последний раз, лицо у нее было испуганное. Словно она вот-вот заплачет. Я на ходу поцеловала ее. Я ужасно огорчилась.

Серж

Маленький француз. Впервые увидев его, я подумала: должно быть, вот так выглядел в детстве Дэвид Копперфилд. Он путешествовал самостоятельно. Молочно-белая кожа, розовые ногти, тонкие красные губы, курчавые черные волосы, маленькие карие глаза. Серж впечатлительный и застенчивый. Ему безусловно требовалась чья-нибудь защита. Не особенно смекалистый. Замечательный мальчуган. Интересно, что из него получится.

Лю

Лю – дочка Мелиттиной подруги. Маленькая пухленькая девчушка. Ужасно милая. Готова целыми днями слушать сказки. Как-то раз была жутко в меня влюблена. Я точно знаю. Мы с ней гуляли в Тюркеншанцпарке, и она сказала: «Ива называется плакучей, потому что она как будто грустит и плачет».

Ужасно люблю детей.

СРЕДА 13 ОКТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Сегодня ходила к зубному. Мне давали наркоз. Так странно. Надо об этом рассказать. Зубной врач спросил, нужен ли наркоз, ведь лечение очень болезненное. Я сказала «да». Медсестра прикрыла мне рот салфеткой, а врач

²⁶ Здесь: вот опять (ит.).

велел: «Вдохни поглубже! Вдохни поглубже!» Ясным и спокойным голосом. Я глубоко вдохнула и почувствовала во рту ошеломительную сладость.

И вдруг голова оказалась разом словно набита ватой. Словно сжатым воздухом накачали. Словно в мозгу возник большущий шар. Я жутко удивилась. И изо всех сил старалась думать. Думала о Хеди Тюрк и о том, что жизнь – загадка. Думала:

Т...а...к с...т...р...а...н...о я н...е м...о...г...у д...у...м...а...т...ь...

Думала как в замедленном фильме. Мысль возникала медленно-медленно. Потом я услышала голос зубного врача, далеко-далеко, словно сквозь толстое одеяло. Он сказал:

Б...р...ы...з...г...а...й...т...е б...р...ы...з...г...а...й...т...е ч...е...л...ю...с...т...н...у...ю к...о...с...т...ь... в...и...д...и...т...е?..

Тут я ощутила боль и вцепилась во что-то складчатое. И подумала:

Н...а...в...е...р...н...о э...т...о х...а...л...а...т д...о...к...т...о...р...а...

А доктор сказал: «Ну вот и все. Ты еще в дурмане? Эмма, откройте, пожалуйста, окно!»

Все виделось мне как во сне. Как сквозь прозрачное стекло. Эмма отошла к окну. Зубной врач сказал: «Сплюнь». Я сплюнула. Меня трясло. Сердце жгло огнем. А врач сказал: «Видишь, как долго действовал наркоз? А ведь ты вдохнула всего четыре раза». Он снова принялся сверлить. «Надо воспользоваться этим состоянием». Я почувствовала дергающую боль. Он перестал. Лоб обвеяло прохладным воздухом.

Немного погода все вернулось в норму. Он еще что-то сделал. А потом я ушла.

Наверно, вот так же просто умереть, думала я. Защищаться не можешь, и умираешь, и уже не сознаешь ничего.

ЧЕТВЕРГ 14 ОКТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Хочу написать «Дневник калеки». Странно, могу писать только от первого лица. Вероятно, дело тут в моем актерском таланте. Когда-нибудь напишу и роман. Может, такой, как «Бедные люди» Достоевского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ОКТЯБРЯ 1937 г., ВЕЧЕР, ВЕНА

Вчера вместе с Эрнстом, Вилли, Марианной, Пеппи и Дитой была в Лаксенбурге²⁷. Замечательно. Повсюду осень. Катались по запруде на плоскодонке. Вода совершенно серо-зеленая. И весла погружались в нее беззвучно. Сумер-

²⁷ Лаксенбург – место отдыха близ Вены.

ки, вокруг неторопливо плавали белые лебеди. Дворец тоже зелено-серый. Мне хотелось зарисовать его. Ландшафт в Лаксенбурге невзрачный. Земля светло-коричневая. Сахарная свекла, серое небо. Народ сгорбленный.

Видела чудный фильм: «Жизнь Эмиля Золя».

[Далее следует довольно большой текст с вымышленными дневниковыми записями. Перечитывая, Рут правила текст. В переработанном варианте, приведенном ниже, фиктивные даты вымараны.]

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА КАЛЕКИ

I

Сегодня сестра дала мне тетрадь и сказала: записывай сюда все, что видишь и о чем думаешь. Тебе это доставит массу удовольствия.

Я смущен, не знаю, что писать. О чем я думаю? Сам толком не знаю. Что я делаю? Тоже не знаю! Кто я? Где я?

Меня называют калекой, и люди глядят на меня печально и перестают смеяться. Не знаю почему. Лежу здесь словно в саду. Рядом с комнатой моей сестры. Не помню, чтобы я лежал в другом месте. Здесь замечательно. Я счастлив. Когда светит солнце, я закрываю глаза. И чувствую легкие мурашки. Солнце гладит меня по лицу будто нежными пальцами.

Я смотрю на площадь. На участок земли, окруженный домами.

Люблю солнце. Люблю больше всего на свете. Солнце светлое, как тончайшая пыльца, или потусклее. Еще оно золотое, теплое, щекочет кожу. Солнце – как моя сестра. Когда оно приходит, я радуюсь. Оно отражается в окнах. Рисует узоры на земле. Делает цветы красными, желтыми, синими.

Цветы, я люблю цветы. Ведь от них радостно на душе. Там, где я лежу, есть цветы. Я вижу, как они растут. Растут тихо, осторожно. Проклевываются из бурой земли, поднимаются, как дети. Листочки на вид такие невинные.

Мои руки! Руки я тоже поднимаю. Руки бывают добрые и злые. Не знаю, добрые у меня руки или злые. Я раскрываю и закрываю ладони. Пальцы распрямляются и сгибаются. Я подставляю ладони солнцу. Они лежат спокойно. Как две птички. Никогда не видел белых птиц. Но, по-моему, они наверняка красивые. И я люблю птиц. Ведь и они радуют душу. Да. Они часто прилетают ко мне, садятся на мои ладони. Я замираю. Они сидят и трепещут крылышками. Много раз они пели на моей руке. Птицы любят солнце. Как и я.

Я ужасно рад. Ведь есть так много всего, так много существ, которых можно любить, а когда многое любишь, становится радостно. Не знаю, по-

чему люди перестают смеяться, увидев меня... Смех. Смех. Мне нравится слышать смех и песни. Болтовня? Нет, болтовню не люблю. Смех не запишешь. Смех – это музыка! А музыку словами не запишешь.

Тем не менее мне есть что записать, и я делаю это с огромным удовольствием.

Завтра напишу еще. А сейчас руки устали.

II

Сегодня утром я проснулся разбуженный солнцем и ветерком. Ласковый ветерок погладил мой лоб. Я часто думаю о том, что такое воздух. Он как солнце, его не поймаешь. И все-таки он другой. Солнце я вижу часто. За большими домами. Желтое, как большущий мяч.

Мяч, мячики – смешные и веселые. Однажды ко мне залетел мяч. Дети играли и забросили его ко мне. Красный с синими полосками. Он подпрыгивает вверх. Мне нравится. Сестра дала мне другой мяч. Сестра относится ко мне очень хорошо. Я часто думаю о ней. Но она не смеется, когда бывает со мной. Лицо у нее печальное. И рот печальный. И голубые глаза. Все-таки она красивая. Я часто думаю: что значит красивый? Люблю красивое. Сестра у меня красивая. Приходит красивая и уходит красивая. Только не смеется, когда бывает у меня. А я люблю смех. Он поднимается к небу, словно по лесенке. Иногда этот смех приходит ко мне. Снизу, со двора. Дети играют и смеются. Мужчины смеются редко.

Женщины и мужчины. Почему женщины и мужчины никогда не смеются? Женщины и мужчины невеселы. Редко смотрят на цветы и деревья. Ходят серьезные и недовольные. Недовольные люди печальны. Мне их жалко. Я поневоле часто плачу.

Когда плачу, я вижу все как бы сквозь хрустальную чашу. Все искрится. Небо совершенно синее, деревья сверкают, будто каждый листок – кусочек солнца. Весь мир облит росой. Я вижу весь мир словно в маленьком брильянте. Дерево, уходящее в небо, дома, сад, самого себя, детей... весь мир.

Так бывает, когда я плачу. Когда смеюсь... я никогда не смеялся. Часто пытаюсь. Когда никто не слышит. Не умею. И стыжусь.

III

Сейчас весна. Весна – замечательная пора. Теплая. Я люблю весну. И зиму тоже люблю. Когда идет снег. Белые снежинки падают, словно легкие перышки. От них становится тепло. Когда падают снежинки, очень красиво.

Но весна лучше. Потому что люди радуются. О, я люблю радостных людей. Печальных людей мне всегда хочется поцеловать. Целовать – это замечательно. Когда сестра целует меня, я замираю. Кажется, будто упала снежинка или будто на мои губы упала чья-то слеза. Будто капелька замечательного вина...

IV

Сегодня небо совсем синее. Много облаков. Они движутся, плывут, словно большие белые птицы. Все время новые и новые. Небо. Я люблю небо, когда оно синее, синее и сияющее, как море. Может, оно и есть большое море. Иногда небо алое. Будто беззвучно горит.

V

Шел дождь. Все намокло, отовсюду капало. После дождя в небе возникла огромная арка. Красная, голубая, желтая, оранжевая, зеленая. Нежная и сияющая как сон. А сестра сказала: «Радуга. Радуга». Как только увидел, я сразу понял, что люблю радугу. И сказал: «Я люблю тебя, ведь ты такая красивая». Обрадовались только дети. Закричали: «Радуга!» Родовались всюду. Не знаю, люблю ли я детей. Они видят окружающие вещи. Но кричат. А крики ужасно противные.

Радуга. Она будто пела песню.

VI

По розе ползал жучок. Зеленый с искристо-красным. Я смотрел на него, а потом посадил себе на лицо. Он ползал по моему лбу, по глазам. И вдруг улетел. С жужжанием. Исчез как золотая искра.

VII

Сегодня пришла моя сестра, и я ужасно удивился.

Она сказала: «Братишка, одна девушка хочет поговорить с тобой. Кое-что тебе рассказать».

Я покраснел от радости и сказал: «Если хочешь, то пусть приходит». А сестра, уходя, сказала: «Значит, завтра».

Завтра она придет. И я думаю: почему эта девушка хочет зайти ко мне? Думаю: это я отпраздную. Отпраздную приход девушки. И я сорвал цветок и положил себе на кровать.

VIII

Не знаю, почему на сердце у меня такая тревога? Возможно, из-за этой девушки.

Я думал, девушка будет хрупкая, бледная, красивая, как звезда. И сорвал цветок, чтобы встретить красивую девушку. А она оказалась некрасивая. Суровая на вид, будто хотела наказать меня. Каштановые волосы, красные губы, смуглая кожа. Глаза жесткие. И как пришла, сразу зашумела. Как пришла, заговорила таким громким голосом, что у меня зазвенело в ушах. Сказала:

«Ты думаешь о том, зачем я пришла к тебе».

Я был смущен, в замешательстве, и сердце у меня болело от шума, от ее жестких глаз и смуглой кожи. И я откинул голову на подушку, закрыл глаза. И тут вспомнил про красный цветок. И сказал:

«Видишь цветок, я хочу подарить его тебе, потому что ты пришла навестить меня».

А она произнесла своим решительным красным ртом, сердито: «Вот чудак!»

Но цветок все-таки взяла.

Уходя, она сказала:

«Завтра я снова приду навестить тебя».

Эта девушка растревожила мне сердце. Я вижу ее, эту девушку, которая не любит цветы, говорит так резко и неласково... Почему она пришла навестить меня?! Эта вот девушка?!

В следующий раз подарю ей розовую ракушку, которая блестит на солнце как перламутровая. Думаю, ракушка ей понравится. И она улыбнется, и жесткая складка у рта исчезнет.

IX

Сегодня девушка приходила снова. Такая же строгая и сердитая, села на мою кровать и долго смотрела на меня. И пока смотрела, вдруг загрустила, и я подарил ей ракушку. Подарил ракушку и сказал:

«У меня нет лучшего подарка, чтобы тебя порадовать». Тут ее лицо стало серьезным, и она сказала:

«Я пришла не затем, чтобы получить в подарок ракушку и цветы. Я этого не хочу... Мы будем говорить о вещах куда более важных, чем ракушки и цветы».

Она серьезно посмотрела на меня. Глаза были глубокие, как темное озеро. Волосы трепетали от зловещего ветра.

Я испугался, а она веско и резко произнесла:

«Ты ведь такой же человек, как все остальные. Ты отгораживаешься от мира цветами и ракушками. А мир ими не исчерпывается. В мире есть люди. Есть ненависть, любовь, враждебность, дружба, слезы, смех... Можно мне приходить и рассказывать тебе об этом? Посмотри на свою жизнь. Ты прожил семнадцать лет. Что ты делаешь? Ты забыл, что все кончается? Что ты умрешь, предстанешь перед Господом... Господь спросит тебя, что ты делал... Ты ответишь: я любил цветы, любил небо, вечером смотрел на облака, утром видел, как солнце сияет и поет... Бог скажет, что этого слишком мало. А ты скажешь: я был калекой. Не мог ходить».

Скажу тебе кое-что. Людям не обязательно быть счастливыми. Не обязательно наслаждаться солнцем и небом. Сиди тут всю жизнь. Без ног. Ты никогда не думал о том, что такое горе, радость, любовь? Да-да, именно ты!!!»

Это «ты» прозвучало иначе, ближе, мягче. Она и придвинулась ближе ко мне. Я чувствовал ее тело, грудь, руки, ноги. Щеки и рот были рядом. Дыхание веяло теплом. А волосы упали мне на лицо. До сих пор чувствую их: прохладные, мягкие, ласковые. Они касались рта и щек. И ее лицо я видел сквозь массу каштановых волос.

А она крикнула. Так хищно, так беспощадно:

«Говори! Ты никогда не думал о том, что жизнь есть любовь?»

И снова я ощутил теплое, горячее дыхание.

Тут она провела ладонью по моему лбу.

«Лоб у тебя горячий. Отвечай! Скажи что-нибудь! Ты никогда не замечал в себе влечения и тоски? Не знаешь, что мужчину тянет к женщине, а женщину – к мужчине?»

Меня бросало то в жар, то в холод, перед глазами мелькали красные, синие и желтые пятна. Я видел золотые звезды. Испытывал удовольствие, вокруг все бурлило, словно плясали тысячи солнц. Я заметил наготу, белую наготу... Хотел видеть. Видеть...

И сказал, негромко окликнул, будто горло жгло огнем:

«Хочешь поцеловать меня?»

Никогда не забуду. Уверен. Пока жив. Никогда больше не буду радоваться солнцу и небу. Буду нежиться в горячем поцелуе. Буду проклинать небо и землю. Не остужу своего горячего тела. Пусть оно станет свинцовым. Я буду плакать, буду день и ночь молиться. Изойду отвращением к себе. Никогда этого не забуду.

«Хочешь поцеловать меня?» – сказал я.

А она – она засмеялась. Засмеялась – от испуга, от издевки, от веселья. Тряхнула волосами, губы открылись, блеснули зубы, грудь затрепетала.

Словно тысячи миллионов стеклянных осколков вонзались мне в сердце. С неба, с деревьев, с домов, с солнца. Отовсюду дождем сыпался смех. Всё громко хихикало, задыхалось от хохота, гоготало, скалилось, кричало, ре- вело... Тут... там... везде.

«Я целую тебя!»

Волосами тряхнула она.

Ха-ха-ха, ха-ха-ха.

«Я целую тебя!»

Ха-ха-ха, ха-ха-ха.

«Разве ты не калека? Я целую тебя!»

Ха! Ха! Ха!

«Поцеловать тебя? Губы у тебя будут красные. Давай, братишка. Давай потанцуем по лугам и полям.

Я должна поцеловать тебя? Братишка? У тебя будет красивое белое тело. Красный и пухлый рот.

Я должна поцеловать тебя? Тогда покажи мне! Давай поцелуемся глубоко под водой? Поцелуемся в лесу? Поцелуемся от всего сердца?

У тебя тоже тонкие руки и ноги?

У тебя тоже красивый алый рот?

Ну, давай же танцевать!

Веселей-живей, гоп-гоп!

Весна, весна пришла опять.

Птицы поют.

Распускаются почки.

Мы ведь два веселых сорванца.

Гоп-гоп, как жизнь хороша!

Я молода, и ты тоже молод!

Целуй меня прямо в алые губы!

Иди-ка сюда, малыш!

Ты ведь не знаешь, кто я.

Я великая королева.

Юная, радостная, веселая, стройная.

А ты, бедный мой братец,

Бледный, печальный, больной.

Хочешь, чтоб я была тебе сестрой и матерью?

Я стройна, а ты болен.

У тебя нет настоящих ног.

Бедный братишка.

Ты сгорбленный вконец.
И ах, совсем глупец.
Хочешь поцеловать меня, папочка?
Ты ведь такой чудак и лапочка.
Хочешь потанцевать, маленький мужчина?
Ты, что сидишь больной и недвижимый.
Бедный братишка-горбун.
Ты что же, совсем глупец?»

Вдруг настала тишина. Я огляделся. Вот... цветы. Да! Небо. Дом, дерево, девушка стоит возле цветов. Солнце? Да.

И все-таки по-другому. Ужасно по-другому. Мир словно разбился вдребезги. Ни счастья. Ни радости.

Глубоко-глубоко в сердце я услышал звук. Он слабел, затих, осталась лишь пустота.

Пугающая пустота. Ни детского крика... Тишь. Солнце. Сияющее, сверкающее. Пустота! Цветы! Благоухающие цветы... Пустота.

Я... калека... люди жестоки... девушка... груди... мягкая кожа... танцует... больной... мертвый... семнадцать лет... знаю ли я жизнь?.. жизнь есть любовь, любовь есть ненависть, дружба, слезы, смех... бедняга, ты не знаешь жизни... калекам впору плакать...

Во мне мельтешили разрозненные обрывки... Разлетались прочь...

Тут девушка сказала:

«Теперь ты знаешь мою задачу. Калека должен остаться калекой».

Она сорвала цветок. Мягким, слабым голосом сказала:

«Возьми цветок».

Мягкими пальцами погладила мой лоб. И поцеловала меня. Прохладным, прелестным поцелуем.

И сказала, ласково и печально:

«Бедный калека, не плачь. Возьми цветок! Мою истину».

ВТОРНИК 26 ОКТЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Il pleut sur la route

*Comme il pleure dans mon coeur*²⁸.

Мне нравятся эти строки. Такие печальные. Я много думаю о том, что все быстротечно и та часть моей жизни, которую я сегодня прижимаю к сердцу, завтра исчезнет. И сгниет в могиле. Больно думать об этом. Сразу становит-

²⁸ Несколько неточная цитата из стихотворения Поля Верлена (сб. «Романсы без слов», 1872): Дождь льется на дорогу, / как слезы льются в мое сердце (фр.).

ся грустно. И страшно. Надо бы любить всех людей, ведь все так быстро-течно.

Сегодня я видела, как мимо проехала «скорая». Из дома вынесли бледного, седого, долговязого человека. Тихонько. Санитар закрыл заднюю дверь. И машина уехала. Укатила прочь. Я увидела, что никто не способен сопережить страдание другого человека. Что люди не ведают, какова смерть, потому что сами не пережили ее. У меня красивое тело, и вечером я потягиваюсь перед зеркалом и глажу себя по обнаженной коже. Радуюсь каждой частице своего существа, груди, ногам, рукам. И мечтаю прийти с этим телом, таким чистым, к любимому человеку.

Как преподносят красивую хрустальную чашу, полную драгоценного питья. Нет, это уж слишком.

Я мечтаю познать жизнь в собственном теле. Продемонстрировать жизнь – одна из задач человека. И уж точно не худшая.

СУББОТА 6 НОЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Я правда восхищаюсь Германом Тимигом. Такой старый и все же такой обалденный. Я бы могла так много написать. Мысленно. Но на самом деле всегда сразу теряю охоту и нить.

Я послала Виллигеру фиалки и несколько раз звонила по телефону, но молчала в трубку.

Потом приходят угрызения совести. Но быстро улетучиваются. Пошлю ему что-нибудь к Рождеству. Ведь он теперь совсем один. Нельзя не порадовать человека на Рождество.

Часто я думаю: он скоро умрет. По-моему, думать так жестоко и грубо. Но все равно думаю.

Когда он умрет, я навещу его, знаю, мне будет ужасно больно. Ладно! Романтический вздор. Все это уже в общем-то решено и подписано.

Еще что-то? Ах да! Тимиг! Ясно. Я им восхищаюсь и т. д.

И Жан Юбо. Интересный француз. Музыкант, ужасно любезный. Я его люблю. Он легко краснеет и меня игнорирует. Ничего не поделаешь.

Собственно, по-моему, все безразлично. 1) Школа, 2) жизнь. Звучит глупо и аффектированно. Но фактически чистая правда. Я часто думаю: с какой стати ходить и терзаться, ведь это ни к чему не приведет. В лучшем случае я покончу с собой. Вот такие мысли приходят сами собой. Но в лучшем случае так бы оно и было. Часто думаю: теперь мне семнадцать. Не стоит ли умереть, пока мерзкая жизнь не замарала меня. Однако я немножко верю в хорошее и доброе. Пока меня не назовут г-жа Кляйн или г-жа Зильберберг.



Рут очень увлекалась театром. Часто играла главные роли в школьных спектаклях, любила читать Шиллера и Гёте, обожала бывать в венском Бургтеатре, где ведущим актером был Герман Тимиг (1890–1982). Несколько раз Рут упоминает о нем в дневнике. Юдит тоже увлекалась Германом Тимигом. Написала ему восторженное письмо и получила в ответ данное фото с посвящением: «Фройляйн Юдит Майер на память», датированным 17 марта 1936 г.

Противно до тошноты. Хотелось бы писать хорошие книги или играть в хороших пьесах, как Тимиг.

На улице дождь. Тихонько барабанит по стеклу.

Разве плохо, когда можно сказать: в сердце у меня словно цветущий букет фиалок.

(Букеты фиалок не цветут.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 НОЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Что же я хотела записать. Ах да! Что замечательно ходить по улицам и смотреть. Просто смотреть, слоняясь по округе. Бродить руки в карманы и радоваться жизни.

Какая-то бабушка вместе с ребенком ждет его маму. Усталая бабушка. У ребенка синий бант, он смеется, глядя на меня.

И в тот же миг меня молнией пронзила мысль: этот ребенок с невинным счастливым личиком рожден, чтобы стрелять и убивать других людей, своих братьев (выражаясь красиво). Этого ребенка с нежным гладким личиком они подстрекнут к убийству и крови. И этот ребенок будет убит гранатой и, умирая, звать маму. Ребенок с синим бантом.

Все это подумалось так отчетливо. Вдруг.

Я могу сравнить это только с тем случаем в Брно, с дядей Оскаром. На площади устроили концерт. Духота и сырость. Масса народу. Жара, дышать нечем. Опухшие лица, одежда, пот. Влюбленные парочки, солдаты.

И дядя Оскар сказал: «Как раз такое настроение было в четырнадцатом году, когда грянула война».

Тогда было так же отчетливо.

Война. Да! Внезапно. Экстренный выпуск: война.

Пот, спертый воздух, солдаты, влюбленные парочки.

И в другой раз в Брно. Я видела в окно, как в казарме маршировали мускулистые парни. Раздетые до пояса. Они пели какую-то задорную чешскую песню. И опять то же самое: пушечное мясо.

Завтра иду на «Потонувший колокол» Гауптмана. Тимиг играет Лешего. Я ужасно рада. Обожаю Тимига. Помню, как замечательно он играл в «Братьях Томпсон». Как вышел на сцену и произнес: «Работа, хотел бы я ее иметь!»

Эти слова были произнесены так энергично, так напористо. Я чувствовала, что он понимал всех тех, кто хочет иметь работу. Понимал всей душой. Сказал: «Работа, хотел бы я ее иметь!» Сопровождая эти слова жестом. Так благородно.

Мне кажется неестественным, что жизнь не длится дольше обычных лет семидесяти. Может, я проживу всякие жизни.

Может, что-нибудь создам. Сыграю, или напишу, или просто буду жить. Жить красивой жизнью. Или займусь живописью. Изобразю на картинах небо и землю, озера, леса и луга.

Лежу в постели и дышу. Может, кто-нибудь прочтет это после моей смерти? Желаю удачи.

Почему я так много думаю о смерти? Может, потому, что боюсь, что не успею ничего совершить.

Странно, да?

Нет уж! Я что-нибудь да сделаю. Рожу детей. Напишу книгу, нарисую картину.

Умереть – ничего страшного. Я буду бороться за добрый мир. *Обещаю. И сдержу слово.*

В ПОСТЕЛИ, СРЕДА 17 НОЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Ходила на «Потонувший колокол». Играл Тимиг. Обожаю Тимига. В воскресенье пойду на «Талисман»²⁹. Тоже с Тимигом.

Не хочу больше ходить в школу. Лучше я... что написать?

...доброй ночи!

...удачи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 НОЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Вчера видела настоящий шедевр: «La grande illusion»³⁰.

По-моему, люди добры, стоит им захотеть. В этом фильме столько красоты и добра. Все высказано так благородно.

Фильм о войне. И снова я думаю, что буду сражаться за лучший прекрасный мир. Лучше думать об этом, чем записывать.

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 НОЯБРЯ 1937 г., ВЕНА

Люблю бродить по улицам. Позавчера видела мотоциклетную аварию. Лоб у мужчины был в крови. Полицейский сдвинул шляпу с его лица. Было темно. А он смотрел на окровавленный лоб. Красивый поступок. Может, не по замыслу, но с виду.

В трамвае стояла женщина с ребенком на руках. Ребенок был завернут в розовое фланелевое одеяльце. Застегнутое на булавку. Ребенок с желтым личиком, ужасно худой. Глаза маленькие и тусклые. Сосал пустышку и жутко кашлял. Не ребенок, а маленький бедолага. Одна женщина дала его матери денег и сказала: «Купите что-нибудь малышу».

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ДЕКАБРЯ 1937 г., ВЕНА

В голове не укладывается, что мой папа умер. Порой я это замечая, когда бываю одна и мучаюсь сомнениями. Тогда мне хочется к нему. Тогда мне ужасно его не хватает. Опоры, поддержки. Чего-то хорошего. Нет, я не понимаю, правда не понимаю. Замечаю, когда вижу все эти книги, вижу фотографии. Папа был красивый. Я выйду за такого, как папа. Каким он был в юности. Ужасно не иметь отца. Но я буду достойна отца.

²⁹ Пьеса австрийского комедиографа И. Нестроя (1801–1862).

³⁰ «Великая иллюзия» (фр.) – знаменитый фильм, снятый в 1937 г. французским режиссером Ж. Ренуаром (1894–1979).

*Отец и дочь*

Так и сделаю. Обязательно. Папа был француз, это я заметила. Из Франции. Шarm, элeгантность – все французское. Папа рассказывал, что один итальянец сказал ему: «Тот, кто так мыслит, умирает стоя». Красиво сказано. Надеюсь, что так и было. Я, например, все бы отдала, только бы папа мог сейчас быть со мной. Как раз сейчас, когда я в нем нуждаюсь, его нет. Если бы, к примеру, папа умер сегодня, я бы наверняка тоже умерла. Смерть повсюду. Все люди, что живы, умрут. Бабушка. Я ее люблю. Она старая женщина. И пережила так много. С ней нельзя говорить резко. В смысле, взвинченно. Я люблю дядю Оскара. Он бабушкин сын. Это хорошо. Все хорошо.

Я люблю Жана. Потому что он такой милый. Чистый. В нем есть что-то детское, красивое, нежное. Пусть он никогда не разочаруется. Пусть найдет себе девушку, такую же чистую, как он сам. Жан прекрасно играет на фортепиано. Звуки как жемчужины. Каждый попадает мне прямо в сердце. Сердце увлажняется. Мне хочется, например, поцеловать его в лоб. У него красивые, нежные, белые руки. Тонкие запястья. Он ребенок. Хочу быть ему как мать.

Странно, что я не влюблена в него. Он так далек от меня. У него красивые голубые глаза. Встречая подобных людей, я всегда думаю: вот в него я бы с

удовольствием влюбилась! Не выходит. Одним шансом меньше. Так было и с American Boy³¹. Он тоже был замечательный... Одним шансом меньше. А ведь, пожалуй, кое-что могло бы получиться.

Мне кажется, я верю в новое рождение.

Странно, что впереди мы видим только смерть. И позади тоже. Все, что произошло до твоей жизни, это смерть. Ты страдала от этого? Страдала? До твоей жизни была смерть. Запомни это. Кто способен доказать тебе, что до тебя была какая-то жизнь? Не бери на себя то, что умерло. Делай всегда что-то новое. По собственному желанию. Не верь в неведомое. Верь в себя. До тебя была смерть, и после тебя будет смерть. Только ты есть жизнь. Живи красиво! Сделай свою жизнь *настоящей*.

Довольно сумбурно. Или как?

ПЯТНИЦА 17 ДЕКАБРЯ 1937 г., ВЕНА

В дневнике всегда пишешь, когда тебя не понимают. Один мальчик (Фридель), с которым я была вместе на выпускном вечере, пригласил меня и еще двоих ребят – девочку и мальчика – на шесть дней покататься на лыжах. Обойдется это удовольствие в 20 шиллингов. За все про все. Поговорю с мамой, и она скажет: «Но только ненадолго».

Забавно. С мамой всегда так. В результате я не вижу многих интересующих меня вещей. А итог: Господи Боже мой, дети совершенно ничего мне не рассказывают! Разве я им не мать?

Но повод-то вовсе не особо возвышенный и духовный. Хотя, может, и важный для меня.

Довольно с меня галереи семейных предков. Я люблю молодых людей. Мне с ними хорошо. Разговариваешь о том, что интересно молодежи. Веселишься. Получаешь удовольствие... Пожилые говорят о всякой, что называется, ерунде.

Поскольку диалог мама/Рут отклонен, я могу написать собственный диалог. (Папа наверняка бы все со мной обсудил.)

А.: Сегодня меня пригласили покататься на лыжах. Предлагают через шесть дней вместе с одним мальчиком, с которым я однажды танцевала, и еще с двумя ребятами – девочкой и мальчиком – поехать кататься на лыжах.

Б.: А ты, наверно, не согласишься?

А.: Почему?

Б.: Ты же не знаешь этих ребят!

³¹ Американским мальчиком (англ.).

А.: Ну и что?

Б.: Не годится молодой девушке... с совершенно незнакомыми людьми!

А.: Может, и не *годится*, но если я хочу поехать и провести несколько замечательных деньков с молодыми ребятами, то уже совершаю неприличный поступок. Верно? Реализация – дело второстепенное.

Б.: Боюсь только, ты будешь очень разочарована. По всей видимости, ты думаешь, что будешь наслаждаться природой в компании молодежи, замечательных идеальных существ, с которыми можно обсуждать философские проблемы. Не боишься, что тебя постигнет разочарование?

А.: Во-первых, насчет идеальных существ совершенно неправильно. Молодежь есть молодежь. И безусловно имеет друг с другом больше точек соприкосновения, чем со стариками. Не веришь?.. Я больше боюсь кой-каких галерей предков, стариков, погруженных в воспоминания. Которые рассуждают о самых элементарных, никчемных вещах. Обстоятельно, астма-



Рут и Юдит часто ездили в горы кататься на лыжах. На снимке они изображены с одной из подруг-лыжниц. Юдит – крайняя справа, Рут – в центре. Подругу зовут Грета

тически. Жуть!.. Вероятно, я потому так люблю детей, поскольку знакома только со стариками.

Б.: По-моему, ты забыла про школу.

А.: Да! Про школу. Но там особенно не сблизись друг с другом. Наоборот! Четверо молодых людей на природе. Вот это сближает. Еще как!

Б.: Значит, думаешь, не разочаруешься?

А.: Вероятность разочарования – 50%. Но разочарование обогащает. Я наверняка испытаю, что молодые люди не постоянно молоды. Что природы самой по себе недостаточно, чтобы сблизить молодых людей. Но как раз сейчас, в данный момент, я хочу посмотреть, каково это. Быть в компании молодежи в горах. На лыжах. Разочарование легко может прийти позже. Но почему я должна ломать себе голову над тем, разочаруюсь или нет?

Конечно, мама оказалась права. Как всегда. Другого она и не ожидала. И лучше всего, наверно, было бы, если бы я ничего ей не говорила. Фу! Разве это не то же самое, как утаить письмо. Девушка из хорошей семьи, фу!

ЧЕТВЕРГ 23 ДЕКАБРЯ 1937 г., ВЕНА

Рождество! Замечательно, все замечательно. И все-таки нет.

Не знаю вообще-то, почему мне грустно. Может, потому, что г-жа Браухбар сказала: «Ты больше не заглядываешь к Виллигеру? Он ужасно тебя любит».

У меня от этого вконец испортилось настроение.

Я написала ему наглое письмо. Грубое письмо, он прочитает и обидится. Не знаю, имеет ли это для меня значение. Может, так оно и лучше.

Но факт тот, что Виллигер – человек умный и добрый, этого у него не отнять. Может, он вообще необычайно благородный, а я вела себя вульгарно и грубо. Наверно, не думала не гадала, что можно оттолкнуть человека таким образом. Что это, наверно, очень обидно.

Я сделала так нарочно. Потому что меня бросает в дрожь при мысли обо всем старом и отвратительном.

В воскресенье пойду кататься на лыжах с одним мальчиком, с Фриделем. Мой идеал! И думаю о том, что старый, противный мужчина способен дать мне намного больше, чем этот молодой, ограниченный.

Я слышала кое-что замечательное: молодежь воображает, будто она оригинальна и беспощадна. Зачастую же всего-навсего бестактна и вульгарна.

И я точь-в-точь такая. Очень печально. Но что поделаешь? Вот сейчас мне опять хочется поговорить с кем-нибудь, потому что мне очень одиноко.

Наверно, поэтому я думаю о Виллигере. Да, точно.

ПЕРЕСМОТР ВТОРНИК 17 ЯНВАРЯ 1939 г., ВЕНА

Да, дорогая Рут, вышестоящее ты написала 23.12.1937 г. Тем временем много чего произошло, верно? И все же. Неизменной осталась тоска по... как мне его назвать? – милому, доброму старику, который один способен сказать: «Вот так! А не так!» Да. Я очень хорошо тебя понимаю. Так хорошо, что порой мне становится грустно. Страшно и грустно. Конечно, надо быть храбрым, я люблю тебя, это правда, и ничего тут не поделаешь. Быть с тобой. Совсем рядом. Это пройдет, потихоньку-полегоньку, утихнет, как далекие звуки, в конце концов останутся грусть и сладостные воспоминания.

17.1.1939

Ja Ruff. Liebes da vorn. Am 23. 12. 1937 hast du das geschrieben. Ich war mirwischen gel ja? Unvollständig. Das ist gleich geblieben die Sehnsucht nach dem, wie soll ich ihn denn nennen, nach dem guten, lieben, alten Mann der allein im Stadl ist zu sagen: mit es! so ist es nicht. Ja! Ich verneh dich recht? so gut das mir ganz traurig ist manchmal. Bannst. traurig. Gel, wenn das muß halt tappe sein ich hab' dich lieb o's is wahr und was soll ich denn daffur tun. Bei du sein. Ganz nah. Es wird sich legen, wie und leben dann wie ferne Töne und dann wie Heimut sein und nabe Fennemo.

Перед отъездом в Норвегию в январе 1939 г. Рут перечитала дневник осени 1937-го и сделала приписку

Последняя осень на родине

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 1938 г.

Осенний дневник 1938 года – 80 плотно исписанных страниц нелинованной тетради форматом в четвертушку листа, рукой Рут помечено: «Не сжигать!» Эту тетрадь она взяла с собой в Норвегию. Предыдущий дневник, как последующий или последующие, утрачен.

Австрия присоединена к Германскому рейху. Осенью 1938 года Майеров насильственно переселили в еврейское гетто в центре Вены, по адресу Обере-Донауштрассе, 43, где они живут в одной квартире с семейством Зингер. Рут и Юдит начинают посещать еврейскую школу.

Дневник открывается сводкой политических событий, имевших место после вступления Гитлера в Австрию в марте 1938 года. Далее упомянуты осенние мюнхенские переговоры, когда британский министр иностранных дел дал согласие на оккупацию Гитлером Чехословакии. В ночь на 10 ноября по всей территории Германского рейха прокатилась волна антиеврейских выступлений, во время которых евреев убивали, громили их магазины, били окна и витрины. Эта «хрустальная ночь» совпадает с восемнадцатилетием гимназистки Рут Майер.

Осень 1938 года – последняя, проведенная Майерами на родине.

Одиннадцатого декабря сестра Юдит оставляет Вену и уезжает в Англию. Мать Ирма и бабушка Анна покинут страну в течение следующего года.

Рут осознает себя еврейкой. Ее пугают ужасы, происходящие у нее на глазах. Она рисует пронзительные картины Рождества в гитлеровской Германии, частью которой стала теперь ее Вена. И одновременно цитирует Нагорную проповедь.

В остальном Рут рассказывает о своих еврейских друзьях и подругах, которые постепенно разъезжаются по всему свету. И сочиняет письма от имени вымышленных поклонников – покойному русскому писателю Максиму Горькому и еврейскому актеру Эрнсту Дойчу, живущему в эмиграции.



Фрагмент обложки последнего австрийского дневника Рут

ВТОРНИК 27 СЕНТЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Я забросила прежний дневник, где давала волю то страху, то трусости, то надежде и т. п. Из-за чего? Из-за того, что немецкий язык называет коротким и точным словом «война». Попробую обрисовать положение вещей, полностью отвлекаясь от собственных эмоций.

Когда в марте Гитлер аннексировал Австрию, о войне вообще не было речи. Все австрийцы ликовали, прямо-таки шалели от восторга. Флаги кругом, люди на радостях кидались друг другу на шею, целовались.

Тогдашний канцлер Шушниг³², которого Англия, Франция и Италия бросили на произвол судьбы, сидел под арестом то в гостинице «Метрополь», то в Бельведере. Кардинал Инницер³³ не замедлил благословить Великую Германию. Евреев, занимавших до сих пор если и не равноправное, то, по крайней мере, человеческое положение, низвели до недочеловеков, свиней и т. п.

Сразу после аншлюса стали слышны недовольные голоса. Люди ожидали совсем иного.

Однако недовольных вскоре отвлекла травля евреев и т. п. В мае, то есть два месяца спустя, Гитлер занял Судетскую область³⁴. Чехословакия ответила всеобщей мобилизацией. Взбешенный Гитлер обрушил на Чехословакию шквал яростных обвинений: судетские немцы подвергаются притеснениям, немецким детям не дают возможности посещать немецкие школы, немецкие женщины страдают от издевательств и т. д.

Проблема усложнялась все больше и больше. Английский советник лорд Рансиман, взяв на себя миссию посредника, обратился к *чешскому* правительству. Начались переговоры. Конрад Генлейн³⁵ обнародовал карлсбадские требования³⁶, настаивая на собственных вооруженных силах и собственной внешней политике.

Через несколько дней германское радио передало воззвание Генлейна: «Мы хотим домой, в рейх». Международная ситуация становилась все более напряженной.

Англия и Франция толком не знают, что им предпринять. Советский Союз

³² Шушниг Курт (1897–1977) – один из лидеров Христианско-социальной партии, федеральный канцлер Австрии в 1934–1938 гг.

³³ Кардинал Теодор Инницер (1875–1955) – венский архиепископ, который поначалу приветствовал аншлюс.

³⁴ Судетская область отошла к Германии лишь согласно Мюнхенскому соглашению от 29–30 сентября 1938 г.

³⁵ Генлейн Конрад (1898–1945) – лидер судетских немцев.

³⁶ В конце апреля 1938 г. Генлейн во время секретной встречи лидеров судетских нацистов в Карлсбаде выдвинул восемь требований, сводившихся, по сути, к одному – требованию независимости Судетской области.

обещает помочь Чехословакии. Чемберлен³⁷ едет в пресловутый Берхтесгаден³⁸ и обсуждает с Гитлером международную обстановку, чтобы отыскать мирное решение.

Сразу после этого правительство Ходжи³⁹ «скрепя сердце» принимает германские требования, но тотчас же уходит в отставку. Премьер-министром вместо Ходжи становится некий генерал Сыровый⁴⁰, получивший образование в Советском Союзе. Напряженность возрастает. На новых судетско-германских территориях введено чрезвычайное положение. Сыровый мобилизует всю Чехословакию. Из Судетской области прибывают новые и новые беженцы, усердно подогревающие военную истерию.

26 сентября Гитлер направляет в Прагу германский меморандум: уступка территорий, полностью населенных немцами; референдум в остальных немецко-чешских районах. В речи от 26 сентября Гитлер заверяет, что это последняя территориальная претензия Германии в Европе. Он конечно же понимает, что для тридцатимиллионного народа Польши «польский коридор», то есть выход к морю, жизненно необходим. На Эльзас-Лотарингию он вообще никогда не притязал. Тамешнее немецкое население очень обрадуется, если споров по поводу этой территории не будет. Южный Тироль он даже не упоминает. Там на границе проходит *черта*. Муссолини и Гитлер всегда хорошо ладили между собой. Но что до Судетской области, то здесь миролюбие Гитлера иссякло. Немецкий народ впредь не желает смотреть на страдания братьев по крови. Германский меморандум вручен. До 1 октября Чехословакия должна сказать «да» или «нет». «Господин Бенеш⁴¹, решение за вами». Этими словами он закончил свою речь.

Таково положение вещей на сегодня, 27 сентября. А что произойдет дальше...

Значит, 1 октября будет вынесено решение о войне и мире.

Во второй половине дня «Радио Брно» объявило, что в случае войны Чехословакия не станет бомбить мирное население. Франция с началом боевых действий развернет такое широкое наступление, что натиск на чешский фронт заметно ослабеет.

Возможно, мне только кажется, что мы подошли к поворотному пункту

³⁷ Чемберлен Невилл (1869–1940) – британский политик, консерватор, в 1937–1940 гг. премьер-министр Великобритании.

³⁸ Имеется в виду вилла «Бергхоф», одна из резиденций Гитлера в Баварии, расположенная вблизи курортного городка Берхтесгаден.

³⁹ Ходжа Милан (1878–1944) – чехословацкий политик, глава Крестьянской партии, премьер-министр в 1925–1938 гг.

⁴⁰ Сыровый Ян (1888–1970) – чехословацкий политик, генерал, исполнявший обязанности президента и премьер-министра несколько месяцев в 1938 г. и ушедший в отставку с избранием Э. Гахи.

⁴¹ Бенеш Эдуард (1884–1948) – государственный деятель Чехословакии; в 1935–1938 гг. – президент Чехословакии.

истории. По крайней мере, стоим на пороге кровавой и жуткой драмы. Возможно, затем будет свет. Солнце, и свобода, и *мир*.

Я вновь смогу любить людей, когда они кровью дочиста отмоют себя от того, что мне в них ненавистно. Через страдание и скорбь они, быть может, *возродятся* очищенными. И все же! Вероятно, есть и другой выход. Я не хочу скорби, горя, боли, смерти и ужаса.

Жан! Почему я теперь часто думаю о нем? Потому что он тоже пойдет на войну и будет убивать? Этот француз с узкими, бледными руками и детским лицом, с его тысячью мелодий, с пальцами, привыкшими перебирать лишь клавиши из слоновой кости. Жан, которого все так любят, который так по-детски смотрит на мир своими доверчивыми глазами и робеет прикоснуться к девушке.

Сузи, который вправду ужасно мне нравился, Сузи с его загорелыми, жилистыми руками. И Виллигер, и Эгон. Нельзя думать об этом.

А когда я вижу их всех перед собой – Виллигера, Эгона с ружьем, – тогда я думаю, что так быть не должно. Не должно, не может так быть. Конечно, так не будет, по той простой причине, что так вообще не бывает.

А стоит мне подумать, что папа...

Но мне ведь не обязательно думать о каждом из них. Об их милых лицах, о милых привычках...

Буду думать о французах. Об их остроумии, их шарме. Об их языке, который очень люблю. О русских и их Достоевском, Толстом, Горьком. О русских крестьянах, об их женах и детях, их любимых матерях. Об итальянцах, их солнечном языке, их «Божественной комедии».

Не стану думать о них обо всех. Стану думать только о том, что все они люди, что они наверняка способны сообща бороться во имя доброй цели и не заслуживают взаимного истребления. Ни в коем случае не допустимо, чтобы один человек боялся другого и ненавидел.

По радио передают шлягеры. Станный, жуткий мир.

СРЕДА 28 СЕНТЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

1 октября, Гитлер вот-вот предъявит ультиматум. Воздух дрожит от напряжения и тревоги. Или мне только так кажется?

Вчера Чемберлен выступил с речью: он, мол, сделал все возможное, чтобы сохранить мир. И теперь более не видит способа обеспечить его. Британскому народу чужда мысль вести войну из-за столь отдаленной территории, как Чехословакия, но если есть на свете держава, полагающая, что террором можно повергнуть мир в страх и ужас, то...

Рузвельт обратился с мирным посланием ко всем европейским государствам. Гитлер ответил, что, *поскольку* ему известны последствия войны в Европе, он не может взять на себя ответственность за войну.

А я, я смотрела на чудесное фото молодого папы. Это очень успокаивает. Дарит уверенность и умиротворение... Мягкая, нежная кожа, руки...

Я завидую маме! Будь я папиной женой, я бы очень его любила. Мы бы отлично ладили друг с другом. Папа и я. Людвиг и Рут.

Своего ребенка я назову Людвигом.

ЧЕТВЕРГ 29 СЕНТЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Муссолини, Даладьё⁴², Чемберлен и Гитлер встретятся сегодня в Мюнхене. Проведут совещание о войне и мире.

Я бы с удовольствием пошла работать в Красный Крест.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ОКТЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Угроза войны миновала. Гитлер добился своего⁴³.

Вчера я навещала слепых. Мне нравится бывать у них.

Сегодня я впервые пошла в гимназию имени Хайеса. Школа до крайности националистическая. Эту опасность никак нельзя недооценивать, и кто знает, может статься, я не сионистка только так – из духа противоречия.

Директор произнес негромкую, симпатичную речь, в которой постоянно упоминал о еврейском национальном самосознании. Он невысокого роста, с проседью, все время наклоняет голову то в одну, то в другую сторону. Рассуждал он о нашей ответственности, о том, что надо «держаться с достоинством», и выразил твердую уверенность, что все мы наверняка попадем в Палестину. Он надеется, что «крещеные и не исповедующие какой-либо религии» тоже войдут в еврейское сообщество.

Странное чувство – все мы, молодежь, юноши и девушки, сидели там, загнанные враждебностью и презрением, предоставленные самим себе...

Да, именно в этом и заключается опасность – в «еврейском сообществе». Сначала моим сообществом было человечество, а теперь его вдруг подменяет еврейство. От гуманизма через национализм одна дорога – к жестокости!!! Злые слова, но, как оказалось, вполне обоснованные, не знаю, кто первый их высказал.

⁴² Даладьё Эдуар (1884–1970) – французский политик, в 1933–1934 гг. и в 1938–1940 гг. премьер-министр Франции.

⁴³ То есть фактического расчленения Чехословакии.

Сегодня директор сказал: «Можно объяснить и оправдать национал-социализм, но можно и отвергнуть его».

Что ж, я объясняю, и оправдываю, и *понимаю* сионизм (разумеется, в связи с национализмом), но отвергаю его. Именно потому, что я, как справедливо заметила сегодня Анни Шерман, все время чувствую на себе последствия национализма.

Ладно, в данный момент я уверена, что более чем далека от мыслей о национальном самосознании и т. п. И все же непрестанно стремиться к «ассимиляции» – это ведь неправильно и даже вредно? Отказаться от себя самого, от своей самобытности... Н-да, вот так меня и шатает туда-сюда меж социализмом и – страшно написать – национализмом.

И возможно, именно это шатание и стало особой приметой еврея, еврея как человека.

Чтобы закончить: факт тот, что 75% еврейской интеллигенции, еврейской молодежи силой толкают к сионизму.

Н-да, а тут слепые. Что значат все эти проблемы, ныне жизненно важные, в сравнении со слепыми людьми на Хоэ-Варте...⁴⁴

Молодые парни, девушки, старики, а в первую очередь дети.

Часто я думаю, что, будь в моих силах вернуть этим людям зрение, я бы начала с детей. Ведь они самые невинные, самые чистые, им более всего не достает солнечного света и тепла. Да-да! Я бы начала с самых младших. С Сильви. Она такая юная, белая как молоко, полная светлой, алой крови. И все же слепая. Зачастую это не сразу осознаешь. Видишь ее темные глаза, но, когда она хочет показать своих кукол, ей приходится ощупью пробираться по стенке. Когда она не находит порога, когда спрашивает: «Ты кто?» Когда...

Так грустно. А она так благодарна за все приятное и доброе, что для нее делают.

А Янек! С его прелестными мелодиями и стихотворением «Солнечный свет». «Солнечный свет, прекрасный, живой, вовеки ты останешься со мной». Так и чувствуешь страх этого маленького, этого крохотного детского сердечка перед вечным мраком, правда? А как охотно он вкладывает свою ручонку в мою, как ему нравится, когда его легонько похлопывают по стриженным ежиком волосам. Совсем недавно он по собственному почину рассказал мне свой сон: «Мне все время снится, будто у меня есть младший братишка, его зовут Моцу, я очень его люблю, всегда его защищаю, присматриваю за ним, и мы всё делим между собой». Разве не грустно – слепой ребенок, то и дело натыкающийся на острые углы шкафов и дверей, робкий и пугливый, сочиняющий строки вроде «Солнечный свет, прекрасный,

⁴⁴ Хоэ-Варте – возвышенность в венском районе Дёблинг.

живой, вовеки ты останешься со мной», этот ребенок мечтает о младшем братишке, которого защищает и за которым присматривает. Янек! Я в самом деле люблю его. Недавно он наигрывал мне свои мелодии. Красивые, нежные. День рождения. «Прощальный привет папе и маме».

Родители! Все тоскуют по своим родителям. Слепой мальчик Людвиг, которому уже пятнадцать, прочел мне стихотворение «Милая мама». Это стихотворение – одно из самых печальных и, можно сказать, самое трогательное. Тоска по любимому и доброму человеку, ощущение, что тебя покинули, – они знакомы всем, но у слепых, у слепых детей и подростков, особенно остры.

Пожалуй, стоит записать небольшую сцену, в которой я участвовала: держу Сильви за руку и открываю дверь, в комнате тесно, ни проблеска света, за фортепиано сидит мальчик, совсем один в темноте, играет и поет «Когда во мраке дети».

ВТОРНИК 4 ОКТЯБРЯ 1938 ГОДА, ВЕНА

МИЛАЯ МАМА

*Делаешь все ты ради меня.
О, как же я люблю тебя!
Новая встреча не скоро придет,
И вот я печалюсь весь день напролет.
В сердце моем гнездится печаль.
Нет тебя рядом – так больно, так жаль.
Всегда ты сидела у моей постели.*

Людвиг, слепой

СРЕДА 5 ОКТЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Раннее утро, на улице ни души. Еврей, молодой, хорошо одетый, выходит из-за угла. Вдруг появляются двое эсэсовцев. Оба – сначала один, потом другой – бьют его по лицу, он пошатывается... хватается за голову... идет дальше.

Я, Рут Майер, 18 лет, спрашиваю как человек, спрашиваю у мира как человек, допустимо ли такое... Спрашиваю, почему такое дозволено. Почему германцу, немцу, разрешается бить еврея по лицу оттого только, что *он* – немец, а *тот* – еврей?!

Я не говорю о погромах, о травле евреев. Не говорю о разбитых окнах,

о разграбленных жилищах... Беспредельная гнусность выражается *не в этом*.

Но именно в этой пощечине. Если Бог существует... я в него не верю и скрепя сердце называю его имя... однако сейчас не могу не сказать Ему... если Он существует: эту пощечину должно искупить кровью... или... да разве ее чем-нибудь искупишь!!!

И я говорю всем вам, арийцам, англичанам, французам, которые с этим мирятся: в ответе за эту пощечину вы, ибо вы ее допустили.

Сколько же горя вокруг. Все время одно только горе. Есть ли лучшее свидетельство тому, чем еврей, который пошатывается и... идет дальше.

Сузи рассказал нам про Вергассе, про охранника, который кричал на евреев, орал, обзывал жидовскими свиньями и еще того хуже. Стоял перед евреями, провоцировал их. Сузи думал: что же будет... вдруг он ударит меня по лицу... я ведь ничего не смогу сделать... ничего... ну и хорошо... очень хорошо... чем хуже, тем лучше... чем хуже, тем лучше... Что еще вам от меня надо, свиньи, нелюди, звери?! Эх, плюнуть бы на вас! Но пожалуй, лучше опишу вам выставку «Вечный жид». Опишу лица евреев, евреев из Дахау⁴⁵. Истощенные, скорбные лица. Умные, прозрачные, одухотворенные, безволосые мужчины с высоким лбом, с табличкой: «Врач», «Коммерсант».

Показать вам? На нашу одежду нашили желтый знак, потому что мы – евреи.

Или, может быть, перечислить вам многих и многих евреев? Это Гейне, Бёрне⁴⁶, Шницлер⁴⁷, Маркс, Лассаль, Цвейг и многие другие. Смотрите! Все они вышли из народа, который вы преследуете, потому что он принадлежит к другой расе.

Раньше люди верили в злых духов, в высоких властителей. Ныне они верят в расы.

А мы, разве мы все не мученики своей расы?

Впору оплакивать евреев, мои ребяческие мечты о человечестве и его спасении.

Больше я в это не верю. Да, по правде говоря, я потеряла веру.

Сегодня Йом-Кипур⁴⁸. Долгий день, день еврейского поста. Штурмовики придумали себе по этому поводу забаву. Объявили евреям, что они обязаны

⁴⁵ Дахау – один из первых концлагерей на территории Германии; основан в марте 1933 г. недалеко от Мюнхена.

⁴⁶ Бёрне Людвиг (1786–1837) – немецкий публицист и литературный критик, один из идеологов литературного течения «Молодая Германия».

⁴⁷ Шницлер Артур (1862–1931) – австрийский писатель и драматург.

⁴⁸ Йом-Кипур (День искупления) – религиозный праздник, завершает десятидневный период покаяния, который начинается с Рош-ха-Шана (еврейского Нового года). Для верующего еврея это 25-часовой период полного поста и молитв.

в три дня освободить свои квартиры и в течение месяца покинуть Германию. «Иначе вас всех высекут».

Что это – золотое венское сердце или крайняя жестокость? Мы привыкли, что нас мучают и притесняют. Но разве это обычное дело, это же нечто из ряда вон выходящее – орать и потехи ради глумиться над беззащитной жертвой. Это же самая настоящая страсть мучить других, которую обуздывала, сдерживала цивилизация. Садизм, доведенный до одержимости.

Я в отчаянии, правда в отчаянии... Беженцы из Судетской области толпами хлынули в Австрию, то бишь в Восточную марку⁴⁹, из Чехословакии.

Там их якобы притесняли и мучили по причине их немецкой национальности. И что же? Они заявляются в Вену, врываются в еврейские квартиры, требуют – то есть воруют – постели и одежду.

Иными словами, люди, на чью долю выпало столько мук и притеснений, при первой же возможности сами принимают мучить и притеснять... А евреи – превосходный объект для этого, верно?

На них можно выместить всё, все темные, подавленные желания, инстинкты, комплекс неполноценности, жестокость. Что угодно! У нас нет оружия, мы никак не можем себя защитить. А вы можете отправить наших отцов в Дахау, истребить газом наших матерей, принудить наших сыновей ползком, как животные, пересекать границу!

Мне вспоминается сцена перед налоговой конторой на Порцеллангассе. Лил дождь. Мы, евреи, с семи утра стояли на улице под дождем, насквозь промокшие и дрожащие. Подошел дворник с палкой от метлы и разорался, размахивая руками и осыпая нас бранью. Орал с пеной у рта: «А ну, валите отсюда, выблядки поганые, не то всех в тюрьму засажу!» Он словно бы радовался, что может выплеснуть свою злобу на нас, на низшую расу. Дворник!

Когда вперед нас в контору вошла арийка, хотя мы не один час отстояли в очереди, а она явилась в последнюю минуту, но попыталась извиниться, кто-то сказал ей: «Сударыня, вам незачем извиняться, мы же люди второго сорта».

Он сказал это без малейшего пафоса. А прозвучало так жутко, так жестоко, но ведь мы не люди второго сорта, мы... кто мы, собственно говоря?

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ОКТЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Никогда прежде в истории не бывало ничего столь ужасного, унижительно-го, позорного, зверски жестокого.

Удивительно, что мы это *терпим*. Что наперекор всему не открываем газ, не бросаемся в Дунай.

⁴⁹ Так гитлеровцы называли Австрию после аншлюса.

За три дня до родов женщина-еврейка нелегально переходит границу. Семья разлучается... жена становится кухаркой в Англии, муж нелегально пробирается в Бельгию, мать по-прежнему в Германии, брат в Дахау, сестра...

Все это настолько невероятно, что у нас самих в голове не укладывается. На Йом-Кипур штурмовики врываются в квартиры в 18-м, 19-м, 17-м районе, приказывали тамошним обитателям в двадцать четыре часа собрать вещи и исчезнуть. Можно представить себе кошмарные сцены. Нет-нет, семьи вовсе не богатые. Некоторые открыли газ. Штурмовики нагрянули к Эрлихам и к г-же Камилль. Родители Хильдегард хотели выехать в Венский Лес...⁵⁰ в XX веке... Ладно, кончай, это же была шутка, забава... В синагоге еврейским женщинам и девушкам пришлось мыть полы...

Штурмовики заявляют в квартиры и конфискуют книги: «О, евреи читают Гейне». Сжигают Гейне, Цвейга, Шницлера. «Подонков-космополитов».

Некоторые не выдерживают! Мать г-жи Герр покончила с собой!

Только бы уехать!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ОКТЯБРЯ 1938 ГОДА, ВЕНА

Погромы!

Они избивают евреев, рвутся вешать их на фонарных столбах. Кричат: «Ну, живей, живей!» Спасательная служба едва успевает поворачиваться. Они громят синагоги. Ключьями рвут волосы из бород стариков евреев, набрасываются с кулаками на женщин. Бьют окна. Рут, запомни это. Теперь семь часов, и в этот миг все начинается сызнова. В тесных переулках: Шиффамтсгассе, Леопольдгассе и др.

У Кэте темные круги под глазами. Страшно смотреть. И сказать ничего нельзя. Стискиваешь зубы: средневековые. Мечты, мои детские мечты, моя любовь к людям, этим страшным извергам... Раз я еврей, они меня убьют. Да, такие вот дела. И я невольно спрашиваю: «Мы что же, скот, животные, люди?» – «Да, – говорит г-н Геббельс, – вроде лягушек».

В 1938 году мир погрузился в непроглядный мрак.

А я люблю евреев, таков результат. Люблю, потому что они страдают. Люблю всем сердцем. Прямо-таки самозабвенно. Их умные лица. Пускай эти кричат: «Ну, живей, живей!» Я – еврейка! И пускай все это знают, пускай повесят меня на верхушке церковного шпиля, пускай пинают ногами, оплевывают, избивают до полусмерти, я – еврейка... Чего вам еще надо? Вскройте мне жилы, выпустите мою еврейскую кровь. Ор и крик! Свиньи. Если вам доведется прочесть эти строки, дерите меня за волосы, бейте по

⁵⁰ Венский Лес – лесистый отрог Восточных Альп в окрестностях Вены, излюбленное место отдыха венцев.

лицу. Я к вашим услугам... А потом играйте джаз и радуйтесь жизни. Ведь она и вправду наслаждение.

Н-да, я в самом деле совершенно забываю, что по-прежнему существуют луга, желтые пшеничные колосья, солнце, тихий ветерок, звезды, синее небо. Все это сейчас так далеко...

Что ж, если хотите, я нарисую вам вот такую картину: еврей, по его лицу тянется сверху вниз красная полоса, один глаз вы ему выкололи, бороду вырывали. Вам нравится?

А вы, студенты, трогательные заступники человечества, социалисты, коммунисты, мечтатели, романтики с белыми руками. Почему вы позволяете все это? Почему?

Я всё могу себе представить. Всё! Мне можно, потому что иначе я не могу. «Чем больше, тем лучше». Но если вы тронете моего отца, я не знаю, что сделаю. Наверно, выхватю револьвер. Потому что вы не смее трогать моего отца. Я приползу к вам на коленях, стану умолять: «Не троньте моего отца! Не троньте моего отца!»

Я осознала себя еврейкой, я чувствую. И не могу иначе.

Извините, у меня в голове все перемешалось. Пишу так беспорядочно!

ОКТАБРЬ 1938 г., ВЕНА

Снова вечер. Октябрь! 10 ноября мне исполнится восемнадцать. И все же! Никогда больше мне не будет ни семнадцать, ни четырнадцать. Все возрасты для нас, девушек, такие разные. От года до двадцати. И я чиста, нетронута. Верно? Тело у меня очень красивое.

Ну вот, вчера они опять напали на еврейский дом, и сейчас многие еврейские парни ходят в бинтах. Бить евреев для них – спорт. Директор говорит: «В избииении евреев заключена своеобразная мораль», – и он прав. В этом действительно заключена своеобразная мораль... Вчера я проходила мимо еврейского магазинчика. Витрины разбиты. Маленькая дырка в стекле, окаймленная острыми осколками. Зловещее зрелище.

Может быть, мне удастся уехать в Англию нянькой. Может быть. Что ты на это скажешь?

ВТОРНИК 1 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Глубокоуважаемый господин Горький!

Вас нет в живых, я знаю, и тем не менее должна написать Вам. Должна, чтобы искренне от всего сердца поблагодарить Вас за Ваши «Две повести

о детстве»⁵¹. Читая их, я плакала. Это ничего, мне было так хорошо, душу переполняла благодарность. Вы – настоящий писатель, наверно, лишь настоящие писатели способны на такие чистые, ясные чувства. Все евреи по всему миру – в Англии, Франции, Германии, Палестине и США – плачут, читая Ваши «Две повести о детстве», и с благодарностью чувствуют, что есть на свете *сострадающий* человек. Вокруг столько горя, но теперь и для нас есть надежда. Спасибо Вам!

СРЕДА 2 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Вчера навещала слепых. Там есть один человек, который хочет покончить с собой по причине... по причине нынешних обстоятельств. Теперь он слепой. У него тонкое еврейское лицо, светлый лоб, на щеке шрам... Теперь, ослепнув, он радуется жизни, передвигается неуверенно, вытянув руки перед собой... Ему сорок, и он *очень* любит Сильви. Очень любит! Прижимает ее к себе, повторяет: «Милая ты моя, лапочка моя». Ему приятно чувствовать ее головку у своей груди, гладить ее по волосам, говорить: «Ты будешь счастлива, дядя всегда о тебе позаботится».

«А что значит – позаботится?»

«То и значит, что он бесконечно тебя любит, будет тебя кормить, жильем тебя обеспечит...»

Теперь он ослеп и хочет умереть – неужели так и будет?

ЧЕТВЕРГ 3 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Пришли письма от Виллигера. Миссис Уэллем, у которой я, возможно, получу место, справлялась у него обо мне.

«Dear Ruth,

This morning I was asked by a Mrs. Wellum, Essex, to supply her with a report of certain Ruth Maier she is contemplating to take into her employ. I did my best and I hope you will get the job.

I was pretty surprised at your still being in Vienna. Some weeks ago I learnt from a letter, I think from Mrs. Brauchbar, that you and your sister were leaving for France.

Now I have the prospect of meeting you here.

One thing I want to tell you in advance. You will be admitted to this country

⁵¹ Имеются в виду первые две части трилогии Максима Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты».

only for domestic work and many Austrian girls of your education were a bit bewildered at the computations they were subjected to. But I think that the most humble position in this country is to be preferred to your present life.

My love to your mother and all the best to yourself.

Yours sincerely...»

Так-так!

[«Дорогая Рут!

Сегодня утром некто миссис Уэллем из Эссекса попросила меня дать ей сведения о некой Рут Майер, которую она намеревается взять на работу. Я старался изо всех сил и надеюсь, ты получишь это место.

Меня порядком удивило, что ты по-прежнему в Вене. Несколько недель назад в одном из писем, кажется от госпожи Браухбар, я прочитал, что ты и твоя сестра уехали во Францию.

Теперь у меня есть шансы встретиться с тобой здесь.

Одно хочу сказать заранее. Въездную визу в эту страну ты получишь только как прислуга, а многих австрийских девушек с твоим образованием привели в замешательство условия, в каких они оказались. Но по-моему, самое низкое положение в этой стране предпочтительнее твоей нынешней жизни.

Поклон твоей маме и всего наилучшего тебе.

С сердечным приветом...»]

ПЯТНИЦА 4 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Ну вот, вчера это опять куда-то пропало, а потом вдруг всплыло, совсем рядышком... Я точно знаю, почему не умею забывать: каждый человек, обыкновенный, заурядный человек, жаждущий малой толики романтики, тоскует по золотым искоркам в своей жизни, по глупым, действительно глупым и ненужным вещам, сочиняет из собственной жизни маленький роман, придумывает маленький секрет, устраивает уголок, где собирает и прячет милое и любимое... Так вот, человек любит этот уголок, не желает с ним расстаться, несет туда свои разочарования, свои устремления, свои крохотные мечты. И когда ты личность маленькая, незначительная (как я), то предаешься этим мечтаниям, вместо того чтобы что-нибудь предпринять. И совершенно безразлично, кто это – лысый профессор, преподававший тебе латынь, или попрошайка, стоящий на углу с протянутой рукой. Думают они об одном: об исполнении своих желаний, о мечте и т. п.

Да, я замечаю, что, думая о нем, о Виллигере, совершенно конкретно, подмечая у прохожих всякие мелкие черточки и словечки, присущие и ему,

я внутренне вздрагиваю, потому что не хочу видеть его наяву, так сказать, во плоти.

Что ж, у каждой есть свой Виллигер. Даже у бабушки. У нее это лесничий, нееврей, за которого ей не разрешили выйти замуж. Первая любовь – пожалуй, в ней есть что-то виллигеровское, верно?

ВТОРНИК 5 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Маленький семнадцатилетний эмигрант совершил покушение на немца, советника дипломатической миссии. Он польский еврей. О Господи!

Настроение опять подавленное, атмосфера напряженная. *Евреи*, как загнанные зверьки, пробираются вдоль стен домов. Все будто вымерло. Евреи из дома не выходят. Мы все боимся, что они набросятся на нас с кулаками, ведь польский еврей хотел убить немца.

ПЯТНИЦА 11 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Они нанесли нам удар! Вчерашний день – самый страшный из всех, какие мне довелось пережить. Теперь я знаю, что такое погромы, знаю, на что способны *люди*. Люди, сотворенные по образу и подобию Божию.

В школе директор сказал нам: «Да, стало быть, они поджигают синагоги, арестовывают, избивают... У подъезда стоит грузовик... Трое учителей арестованы». Нас по очереди зовут к телефону... Как на бойне: мы не смели выйти на улицу, смеялись... острили, нервничали... Мы с Дитой поехали домой на такси, хотя до дома рукой подать. Улицу перебежали бегом, словно в войну... Народ молча наблюдал, холодно, на тротуаре теснились какие-то люди, а прежде всего – грузовик с евреями, они стояли в кузове, как убойный скот! Это зрелище я не могу и не хочу забывать, никогда! Евреи в грузовике, как убойный скот... Народ молча глазеет.

Мы прошмыгнули в дом, словно затравленные зверьки, пулей взлетели по лестнице. Они избивали, хватали людей, крушили скarb в квартирах и т. п. Мы все, землисто-бледные, сидели дома, а с улицы к нам приходили евреи, точь-в-точь как живые трупы.

«Как там?» – спросила я.

«Кошмар!»

У Греты А. они отобрали 46 рейхсмарок, орали, избивали 75-летнюю старуху, а она кричала; они разгромили ее квартиру – били молотками и т. д.

Сегодня я прошла по тесным переулкам. Прямо как на кладбище. Все вдребезги разбито, еврейские магазины заколочены досками и брусом.

Плакат: «Оборудование в этом кафе арийское. Поэтому – не ломать!»

В «Фольксруф» написано: «Что станется с желтым знаком?»

И хотя нам всем приходится носить желтый знак, они все равно не отнимут у нас самое сокровенное – наш мир, который мы носим с собой. Потому-то и вымещают свою злобу на оконных стеклах, крушат их и орут: «Жид, подохни!»

Внизу, на улице, какой-то ариец говорит: «Я так намял этому жиду бока, что он рухнул как подкошенный».

Люди, сотворенные по образу и подобию Божию! И вот это: «Блаженны изгнанные за правду»⁵².

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

В соседней комнате еврей играет на скрипке. Прелестно, хотя временами фальшиво... Несмотря ни на что, несмотря на погромы и избиения, еврей в соседней комнате будет играть на скрипке. А я с замиранием сердца буду смотреть на картины Микеланджело.

Вообще-то внутри у меня пустота – ни особой печали, ни особой радости. Все так ужасно, что просто в голове не укладывается. Я пою, шучу и проч. Такого страха я никогда раньше не испытывала.

Мы только что были у цехового мастера, в организации еврейской помощи. Там сидела красивая молодая женщина с задумчивыми черными глазами и нежным ртом. С ней было двое детей. Муж в Дахау, за целый месяц ни единого письма. Она наверняка искренне любит мужа, по глазам видно. Дети совсем маленькие, а она ходит с ними от одной двери к другой, обивает пороги.

Потом еще старик. Слесарь, высланный из провинции. Да, из провинции всех выслали.

Мужчин с военными медалями и почетными крестами они тоже избивают.

На улице... сплошные мебельные фургоны, большие, вместительные, и простые грузовики. Постели, ящики, качалки, кофейные мельницы – все в одном кузове, весь домашний скarb, у евреев точно такой же, как у других.

А газеты! В каждой строчке: «Евреи. Пошли вон отсюда! Жидовские морды!»

Мы так беззащитны, они могут сделать с нами все, что заблагорассудится.

Директор говорит: «Нам необходимо отыскать духовный путь!»

⁵² Мф., 5:10.

ПЯТНИЦА 25 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Как тоскливо!

СУББОТА 26 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Глубокоуважаемый господин Дойч!

Вряд ли это письмо когда-нибудь попадет к Вам в руки. Я ведь ничего о Вас не знаю, совершенно ничего, ну, разве только, что Вы великий, изумительный артист и находитесь сейчас очень далеко, в Америке. И все же я Вам напишу. Да, напишу.

Я счастлива, что Вы далеко. Далеко-далеко отсюда. Ведь они бы и Вас избивали, как избивают нас. Возможно, отправили бы Вас в Дахау, как отправили в Дахау наших отцов. Нашили бы на Ваше пальто желтый знак, и Вам бы пришлось работать в каменоломне. А ведь так больно, когда люди, которых глубоко уважаешь и любишь, страдают. Поэтому я счастлива, что Вы не здесь, а в далекой Америке и можете вновь играть там на сцене.

И что люди вновь могут наслаждаться Вашей игрой.

И что Ваша игра вновь заставляет людей смеяться и плакать. Они вполне могут забыть о нас, о тех, кто здесь, в Германии. Я не завидую, главное, чтобы Вы гастролировали и играли на сцене.



Эрнст Дойч (1890–1969) был выдающимся еврейским актером, и в 1933 г. ему пришлось бежать из Берлина. Он с успехом выступал в Вене, Праге и Лондоне, а в 1938 г. уехал в Нью-Йорк. В США он играл на сцене под псевдонимом Эрнест Дориан. На фото – кадр из известного фильма Кэрола Рида «Третий человек», снятого в Вене в 1949 г. Дойч исполняет там роль барона Курца

Пожалуй, на этом можно бы остановиться, но добавлю кое-что еще. Я многое могу сказать, знаю. И скажу, потому что у Вас такие красивые руки... Я ходила на выставку «Вечный жид» и видела множество Ваших прекрасных фотопортретов. И радовалась, что Вас не забыли. Там были сплошь превосходные, замечательные люди: Гейне, Шницлер и многие другие. В том числе и Вы, что очень меня обрадовало. Не думайте о нас, о тех, кто здесь. Когда сообщили, будто Вы покончили с собой, мне поначалу никто не сказал. Я только задним числом узнала... Вы так чудесно играли в «Привидениях»⁵³. И мне так хочется верить, что я еще не раз увижу Вашу игру. Правда-правда! Я искренне надеюсь... Однажды я послала бы Вам морозник, в другой раз – фиалки, это означает, что я восхищаюсь Вами, а если фиалки едва уловимо пахнут, они еще не совсем увяли... как было бы замечательно... Часто я стояла с цветами у театра, ждала Вашего появления... а потом не смела подойти. У Вас были такие красивые седые волосы. Теперь, проходя мимо театра, я закрываю глаза и думаю о былых временах, а значит, и о том, что Вы снова пройдете мимо... и тогда я счастлива, что Вы далеко-далеко и играете на сцене. Да-да! Поверьте.

Если б Вы мне написали... нет, если бы, прежде чем выбросить это письмо в мусорную корзину, Вы могли хоть на миг обо мне задуматься. Меня зовут Рут. Будьте добры, думая обо мне, называйте меня Рут!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 НОЯБРЯ 1938 г., ВЕНА

Сегодня вечером, нет, под вечер, мы попрощались с дядей Руди, папиным другом. Мне показалось, что глаза у него вдруг повлажнели. Я держалась храбро. Мама плакала. Мы пожали друг другу руки, крепко-крепко. До свидания! Да, дядя Руди, социалист, тоже говорит, что хочет в Палестину, поскольку лишь там как еврей чувствует себя дома. Да! *В том-то* и дело: чувствовать себя дома, быть в безопасности. Быть человеком – вот что означает для меня «земля обетованная». Ведь жизнь, прожитая в Англии, во Франции, а может, и в Америке, будет всего-навсего «эмигрантской». Как же трагична, как возмутительна такая жизнь! Нам ли, немецким евреям 1938 года, не знать об этом. Ни дома, ни родины, я завишу от тебя, а ты от меня, соединенные нашей судьбой, нашей бедой. Звучит театрально, однако же это правда. Мы держимся вместе в силу нашей общей *беды*.

Разве непонятно, что в первый раз мы смотрим на Палестину со слезами на глазах? Сами подумайте, мы ведь чувствуем себя как дети, изгнанные, измученные, бледные и усталые дети, которые наконец-то вернулись к ма-

⁵³ Пьеса Хенрика Ибсена.

тери? И эта мать – Палестина, «земля обетованная», вне всякого сомнения. Эрец Исраэль. Страна: Эрец. И разве можно упрекнуть нас за то, что наши глаза сияют от счастья, что мы трепещем, когда думаем об этой «земле»? О нашей земле, где мы дома. Да! Это правда, и дядя Руди поддержал меня. Он сказал, облек в слова то, что до сих пор таилось у меня в душе: «только в Палестине» мы, евреи, дома. Добавлю еще: «сегодня». Потому что завтра – завтра настанет социализм. Тогда нашим домом станет человечество, весь мир, тогда мы сможем жить как люди среди людей.

Да! Я буду писать о людях, которые не со мной. Один уезжает в Палестину, другой – в Новую Зеландию, третий – в Бомбей и Шанхай.

[*Рут описывает одиннадцать подруг. Мы приводим ниже четыре описания.*]

Анни Шерман

Н-да! Вместе с ней я по сей день хожу в гимназию имени Хайеса. Она социалистка, собирается изучать медицину. Типичная прогрессивная «освобожденная» женщина. Читает Тургенева, Рильке и проч. В остальном смотрит на жизнь открытыми глазами, разве только чуть навязчива со своими здравыми суждениями, а может, и с рассудочностью. Это вечное «слушай, хочу кое-что обсудить с тобой в свободную минутку, ладно?» иной раз действует на нервы. У нее привычка постоянно шептаться, раздувать проблемы, временами просто до отвращения. Да, уж будьте добры, я понимаю потребность незрелых людей прояснять себе сложные вещи через разговоры, через дискуссии. Но вечное «что ты думаешь о...» просто отвратительно. Конечно, Анни умная, приветливая и сладко улыбается, но...

А вообще, мы замечательно и задушевно разговаривали, помнится, как-то раз после оперы шли вместе домой по Руппштрассе. Стояла осень, на мостовой желтели листья, небо бледно-голубое. Мы шли и смеялись, было так замечательно... наверно, такое случается, только когда ты молод.

Будь я мальчиком, я бы ненавидела ее, ведь в ней есть что-то жестококкетливое. Ужасно! Возможно, я несправедлива к тебе, Анни, но... но я не хотела сказать ничего дурного.

Лиззи Кантор

Моя единственная любовь к девочке. Пожалуй, самая чистая и подлинная любовь в моей жизни. Одно слово, полуулыбка, крошечный жест рукой означают для меня *та-ак* много... До самого отъезда Лиззи в моем отношении к ней всегда были нежность и мягкость. Разговаривала я с нею осторожно, ни на миг не забывая о своей бывшей любви... Не знаю, что особенное в Лиззи привлекало меня. Она не слишком умна, некрасива. Обращается со всеми снисходительно, как бы свысока. Нередко оскорби-

тельно и бестактно. Отпускала зачастую бесконечно глупые замечания, и тем не менее ее считали умной. Фигурка ужасно хрупкая. Я хорошо помню. У школьного врача, на гимнастике... Она подарила мне такие приятные минуты. Конечно, сама о том не подозревая. По дороге в школу! Под дождем, весной, когда мы шли по Штернвартештрассе. На сердце у меня всегда было тепло, когда я шла рядом с нею. Однажды она помахала мне из трамвая, я записала в дневнике. Лучше всего было на лыжных курсах. Тогда мы обе сидели вдвоем в передней комнате. Издали долетала приглушенная музыка. Тепло, и я чувствовала себя такой счастливой... Одно из лучших мгновений в моей жизни... Не такая уж редкость, когда одна девочка любит другую. Любит, без плотской страсти, но в остальном с тем же прекрасным чувством. В «Волшебной горе» Ханс Касторп говорит о своей любви к мальчику, которого видел один-единственный раз, мои чувства такого же рода.

Она еврейка, разумеется. И теперь в Гренобле, продолжает учиться. Все школьные годы я любила Лиззи. Лиззи Кантор. До сих пор это имя обладает для меня фантастически сладостным благоуханием. Лиззи знать ничего не знала об этой любви. Я поделилась только с Дитой и с Анни Шерман.

Ирена Эпштайн

«Хитрюга», как теперь обычно зовут ее «местные старожилы». Типичнейшая еврейка. Курчавые черные волосы, прыщи, ни одной четкой линии, все смазано, тело как пластилиновое, мягкое, все болтается. «Выдержала» по гимнастике...

Ей хотелось подружиться со мной, она мечтала об этом, только я бы долго ее не вытерпела... Ум у нее был ограниченный. И еще привычка превращать самый безобидный инцидент в длиннущую историю, мне *от этого* просто дурно становилось. По-моему, из нее получится болтливая толстая тетка. Наверняка, я же чувствую. Да! И с таким вот человеком я ходила на «Привидения», с Эрнстом Дойчем в роли Освальда. После спектакля я стиснула зубы. Дрожала всем телом... Ирена сказала: «Когда на улице слышишь разговоры, все кажется таким *банальным*». Я чуть было не дала ей по физиономии.

Нелли Фройдеман

Типичная еврейская девчонка из танцшколы. Волосы укладывает «валиком», подворачивает концы прядей внутрь, к шее, красится. Предприимчива, обладает некоторым остроумием и здравым смыслом. Сексапильна. Девушки такого типа очень привлекают определенных мужчин: благодаря своему шарму, остроумию и т. д. Всегда готова пофлиртовать, всегда окружена стайкой ровесниц или девчонок, похожих по характеру, всегда рада почесать язык за чашкой кофе. Любительница посплетничать и проч. Од-

нажды, когда катались в горах на лыжах, мы замечательно провели время. Вдвоем были предоставлены сами себе, заблудились, перелезали через дерево... Потом она с удивлением сказала: «А Рут-то Майер – классная девчонка!»

СРЕДА 7 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Боже мой! Неужели я так никогда и не сумею забыть?! У меня по-прежнему теплеет на душе, когда я думаю о нем... По-моему, это ужасно! Но такова правда. Неужели я так и буду всегда и везде думать о людях, которых люблю? Разберись в своих чувствах, Рут, поразмысли. *Почему?* Почему ты не забываешь? Знаю: потому что мне кажется, я могу найти там что-то на самом деле не существующее, потому что чувствую, более того, верю: он наполнит мою жизнь *смыслом*! Дуреха!

Ты сама должна наполнить свою жизнь смыслом. Но я *не могу*. Идиотка! Что за вздор я пишу: забыть, не забыть, смысл жизни. Слова пачкаются от паршивой галиматши, прежде чем успевают высохнуть чернила, а ведь я описываю живое чувство.

ЧЕТВЕРГ 8 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Ну и ну! Что это вчера со мной творилось? Мне было так плохо, так жалко себя. Сейчас все вчерашние чувства кажутся мне чужими, будто я никогда их не испытывала. Чьи это слова: «Все течет»? В тебе и вокруг тебя. Да! Иногда я ужасна. Совершенно лишена стыда. За это я сама себя ненавижу, за это бесстыдство, с каким я нагло во все лезу, мелочно, без всякого понятия о чести. И раз за разом смотрю на какую-нибудь страницу дневника, злюсь, возмущаюсь. Омерзительно! Торгуешь собой и сама на это смотришь.

ПЯТНИЦА 9 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Завтра Дита уезжает. В Англию. В один из лагерей для еврейских детей-беженцев – прочь отсюда! Я только временами отдаю себе в этом отчет. Пожалуй, вот как раз сейчас. Где-то там, далеко, свежий, прохладный воздух. Откидываешься на спинку сиденья в купе, закрываешь глаза. Потом глядишь в окно. Поезд гудит-поет, треплет волосы. Заграница, неведомый край. И быть евреем уже не означает подвергаться мучениям и травле, просто не верится. Как это, наверно, чудесно, восхитительно!

Итак, завтра Дита уезжает в Англию. Зачастую не успеваешь оглянуться, не успеваешь подумать, события быстро сменяют друг друга, лишь считанные разы мне удавалось выхватить по моему обыкновению несколько картинок. Когда Дита стирала чулки, натянув веревку наискось через столовую, до меня вдруг дошло: «Эмиграция!» Теперь и платяной шкаф тоже опустел... Дита такая милая, такая умелая, ловкая. Утром в постели она лежит среди подушек, волосы поблескивают; от нее веет сонным теплом, рот, волосы, кожа такие мягкие! Я прочитала два ее дневника. Очень мило!

А для меня ничего не изменилось. Совершенно ничего. По-прежнему сижу *здесь*, за письменным столом, карябаю пером. Вообще-то странно, откуда у нас эта потребность испещрять белые страницы синими чернильными строчками и по-детски этому радоваться! Пожалуй, я слишком увлеклась, ведь я просто хотела сказать тебе, что для меня ничего не изменилось. Разве что я стала безучастнее. То, что раньше *пугало* меня и мучило, теперь оставляет равнодушной. Когда я впервые увидела надписи «только для арийцев» на скамейках и «евреям вход воспрещен» на стенах кафе и выбитые окна, я едва поверила своим глазам. Теперь же прохожу мимо и не обращаю внимания, не замечаю. Лишь иногда душа вспыхивает огнем – когда я слышу, что Герберт, мой ровесник, милый, хороший мальчик, теперь в Дахау. Или когда иду по Вергассе. И по-прежнему вижу там евреев. «Куда вы поедете?» – «В Шанхай». Господи! тогда я диву даюсь, что безысходность все растет и растет. Два еврея – один слепой, другой без гражданства. Он вышел на улицу, и во взгляде его читалась такая горечь, такая усталость: «Ну вот, у меня больше нет выбора – осталось только ждать высылки». Не так давно два человека покончили самоубийством, просто потому, что были евреями. Перед смертью они написали записку: «Вот так переходят полуночный рубеж». Несколько аффектированно как будто бы. Но перед самой смертью все часто сводится к одному и тому же, а значит, так действительно может случиться!

Вот всегда так! Поначалу возникает ощущение, будто где-то далеко-далеко что-то шевелится, постепенно оно усиливается, становится ярче, напирает, и однажды вечером я просто *не могу не* написать ему письмо, полное – скажу беспощадно, – полное сентиментальной чепухи, тоски и т. п. Письмо – это разрядка, все сразу делается мягче, спокойнее, печальнее... проходит, вновь отступает вдаль, пока... однажды... где-то далеко опять не начинается шевеление.

Я знаю только, что сионизм и социализм несоединимы. Сегодня я отчетливо это увидела. Я – социалистка. И стараюсь освоить социализм, тягу к которому ощущаю в себе, стараюсь добраться до него, пусть и с трудом.

ВОСКРЕСЕНИЕ 11 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Девять часов вечера.

Дита уехала. Сейчас, в эту самую минуту, она сидит в поезде. Смеется, достает еду, наверно, скучает по дому.

Страшно – писать дневник. Жутко. Страницей раньше написано: завтра Дита уезжает. А сегодня: Дита уехала. И дневник продолжается. Впору со стыда сгореть.

Вчера в девять вечера, скорым поездом. У нас «дома» возникла пустота. Мама называет меня «Дитль», бабушка плачет, мама тоже. «И кто это слово придумал, постылое слово – “прощай”?»⁵⁴ Так сказано в «Смерти Дантона»... избитая истина, что жизнь – это сплошные разлуки. Встречи и разлуки, быть может. Каждую минуту, каждую секунду... Не впадай в сентиментальность, Рут! Нехорошо.

Вчерашнюю сцену я могу изобразить в точности. Хюттельсдорф тонет в темноте. Евреи-охранники светили нам карманными фонариками. Дети – разного возраста, до семнадцати. Мальчики и девочки с рюкзаками и чемоданами. Последний поцелуй, снова и снова. Еще один и еще. Рядом со мной плакала женщина, не тихонько, не себе под нос, а громко причитала, стонала. Всклипывала... Четырехлетние малыши ревели благим матом. Сумасшедший дом! Пришлось уносить их на руках. А матери! Отцы малышей в Дахау... Одна молодая женщина всем телом отпрянула назад, муж наклонился к ней. Еще кто-то пробормотал: «Оба сразу, оба!»

«Мама, – сказала я. – Смотри, мама, вот наша молодежь, еврейская молодежь, они не склонятся, они прошли школу, они страдали как мало кто, они собственными руками построят себе новую жизнь». Многие малыши до крови обдерут себе руки, думаю я. Самые маленькие, оторванные от родителей, будут, скорее всего, плакать до утра. Н-да, вот такими я их видела. Евреев. Евреев, у которых забирают детей, не дав им досыта нацеловаться, думаю я. Наверно, в вас есть что-то особенное, евреи, а? Сколько горя вам приходится нести на своих плечах. Сколько горя. Потому что вы – евреи! Только по этой причине. Так красиво звучит: «Во время прощания разыгрывались душераздирающие сцены». Нет, душу так легко не раздерешь. Мама говорит: «Если бы заголосил один, все бы подхватили». Нет, никто в голос не рыдал, не бранился. Все только плакали. Я видела слезы, только слезы. Дита стояла в темноте, вместе с небольшой группкой. Мне был виден только ее шарф, бело-голубой. Когда мы проходили мимо этой группки еврейских беженцев, Дита быстро окликнула: «Мама!» И помахала рукой. Потом их повели мимо нас. Они прошли совсем рядом! Дита и мама хотели

⁵⁴ Георг Бюхнер. Смерть Дантона. Перевод А. Карельского.

поцеловаться, в самый последний раз. Их губы были совсем близко друг от друга, но вмешался охранник: «От этого будет только тяжелее!»

Еврейские беженцы. Их распределяют по разным английским семьям. Дита скоро напишет. У нее будет порядочная жизнь. Достойная. Звучит старомодно. И все же: «Я постараюсь сохранить чувство собственного достоинства». Дита тоже. Не скоро я увижу ее. Как все сложится к тому времени? Через год! Когда мы будем в Америке. Ведь у нас есть разрешение на въезд. Кто это недавно говорил: «Мы уехали, поскольку имели официальное согласие на въезд!» Ну вот, собственные мысли увлекают меня прочь, надо держать их в узде... Снова возникает та картина. Высокая железнодорожная насыпь, травянистый склон. На самом верху – сетчатая ограда. Там поезд с освещенными окнами. Полный ребятишек, еврейских детей. И родители, увидав наверху эти вагоны с детьми... На перрон нас не пустили, и все полезли на насыпь. Закричали, а дети открывали окна, плакали, махали руками. «Мама!» – звал кто-то. Я совершенно отчетливо все видела. В ночной темноте, в Хюттельсдорфе. Мы вместе стояли там. У Диты был номер 258. «Вот видишь, – сказала я, – теперь ты всего-навсего номер». – «О нет, я по-прежнему Юдит Майер». ...Но когда выкликнули номер 258 – живо в вагон и прочь отсюда. Начинается жизнь! Что ж, обычно для нас, молодых, вступление в жизнь происходит исподволь, не спеша, без неожиданностей. Однако сейчас нас туда вышвыривают! Сегодня еще в гимназии. А завтра прислуга, да-да, незачем пускать друг другу пыль в глаза. Мама, конечно, твердит: «Да, но ты же фактически почти член семьи, они ведь знают, кто ты». Как ни крути, никуда не денешься. Я буду прислужой. Пролетаркой! Почему бы нет? По крайней мере, стану одной из них. Целиком и полностью.

Безоблачное, чистое небо и бесконечные поцелуи. И женщина рядом со мной всхлипывала и дрожала. И малыши плакали в темноте. Холодно, сыро. Дита прошла мимо. Бело-голубой шарф. Мужественная девочка. Номер 258. Молодое поколение, оно будет бороться.

Евреи, евреи. Папа. Генрих Гейне.

СУББОТА 17 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Нет, не из-за глупых чувств вроде тоски и проч. чепухи я намерена написать следующее.

О Гейне, о моем любимом Гейне я недавно прочла кое-что ужасно интересное. А именно: его мечты все время устремлены к возлюбленной, к Амалии. На самом же деле за этой любовью стоит не так уж много, и нам порой может показаться, что слишком уж много слов расходуется на столь

обыкновенную вещь, как несчастная любовь. Но мы должны понять Гейне. В то время он боролся с «внутренней историей».

Красиво сказано. Он боролся с внутренней историей. Чего только в это не вложено! Во внутреннюю историю.

Когда прочла эти слова, о ком я думала? Вот именно, о г-не профессоре. Это единственно разумное, что можно тут сказать, надеюсь, в заключение. Я борюсь с внутренней историей. На самом же деле подоплека не очень-то и глубока. Сущий пустяк. Мои чувства, все, что я вкладываю в этот пустячок и поэтизирую, – *это* и есть переживание. Здесь мои сокровеннейшие чувства могут бушевать на свободе. Мои убогие крохотные чувства. Гейне! Гейне сумел написать о своей «внутренней истории» целую «Книгу песен». А я? О Господи!

Думаешь, вечера утихнуть, и... Что ж, вот и все.

Пойди ляг, Рут!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Сегодня мне приснился папа. Так чудесно!

ЧЕТВЕРГ 22 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

В приступе, скажем так, слабости я написала письмо д-ру Браухбару, да-да, д-ру Браухбару, другу профессора Виллигера. Кое-что ему рассказала: что не могу освободиться, что мне кажется, во всем этом есть что-то нездоровое. Да! Сегодня он прислал ответ, дружеский и любезный. Высказал несколько тонких наблюдений, хотя, быть может, сформулировал их по-детски беспомощно. Пишет: «Меня не удивляет, что ты часто думаешь о Виллигере. Я более чем уверен: он тоже часто думает о тебе. Что ты для него кое-что значишь, мне было известно раньше, а вот что он так много значит для тебя – нет. Может, это тебя утешит?» И дальше: «Ты спрашиваешь, стоит ли. Дорогая моя, любить стоит всегда – ведь Виллигер человек духа, и, вероятно, именно духовная сторона его существа воздействует на тебя. Это его порадует». Красиво. «Ты не можешь освободиться. Что ж, ведь ты хочешь освободиться от того, что тебя мучает, а не от того, что останется». Браво!

«Но в сфере духовного и духовных эмоций разница в возрасте способна сделать встречу более легкой и более содержательной: можно куда больше рассказать друг другу, куда ближе подойти друг к другу, наперекор временной дистанции, через которую надо перешагнуть: он встретил тебя любо-

вью гениального человека к тому, что и внешне, и внутренне было создано гением творения из такой юной девушки, как ты...»

Во многом верно, хотя мне не нравится, что в письме вот так, ничтоже сумняшеся, рассуждают о «гении творения». Тем не менее это верно. Как раз о том, что мне *не* нравилось в этой любви, я и написала д-ру Браухбару. Я хочу быть любимой ради меня самой, ради моей индивидуальности, а не потому, что я молодая. Кэте тоже молодая, и Дита, и Полина. Полину он бы полюбил так же, как меня, как будущую девушку. По чистой случайности на его пути оказалась я. Я отдала ему свою юность, ведь именно ее он любил во мне, а не что-то другое. Я уверена. Потому эта любовь и кажется мне унижительной. Она поработывает меня. Оттого что я любима не ради меня самой. Появятся молоденькие англичанки, и он забудет меня в тот же миг, как найдет другую.

Письмо д-ра Браухбара было чудесное. Я весь день радовалась как почти никогда прежде. Целый день нынче шел снег, и все вещи так дружелюбно шли мне навстречу, запечатлевались во мне... Снежинки плясали, снег и небо, все было хорошо. Я бродила по улицам, разговаривала сама с собой, как ненормальная... Здорово. Насыщенный день.

У нас замечательный учитель логики... За один урок так много дает... Жизнь могла бы быть хорошей... та-а-акой хорошей!

ПЯТНИЦА 23 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Вчера вечером я вспомнила, что наступает Рождество. Раньше рождественские праздники всегда окутывало тихое, спокойное сияние. Даже в прошлом году мама зажигала елку. Помню белые стеариновые свечи, запах еловой хвои, леденцы... Войдя в комнату, я почувствовала: замечательно! как замечательно! Только что я звонила профессору. Снаружи блеклый снег... я прислонилась спиной к стенке телефона-автомата, слушала голос в трубке... Потом подошла какая-то женщина, спросила: «Вам дурно, барышня?»

Раньше рождественские праздники всегда окутывал тихий, спокойный блеск. Они и его у нас отняли. Тихий, спокойный блеск... На сей раз мы Рождество не празднуем! С какой стати праздновать? Дита пишет из Англии, что зажгла свечи хануки.

Я хотела сказать что-то еще... Сияние, золотое сияние!!!

Наш учитель логики говорит, что каждый из нас должен пройти через эти проблемы. Надо бороться, не строить себе иллюзий... Я не могу ухватить эти проблемы – только подумаю, что ухватила, а они ускользают.

Я как в тюрьме. Да! Когда хожу по улицам, когда иду в школу. Это всплывает в сознании. Белый снег, мост поодаль, освещенный вечером фонарями.

Дунайский канал... там еще есть жизнь, есть что-то другое, кроме повязок со свастикой и возгласов «хайль Гитлер». Все становится так близко, проникает в сердце... Или я стою на заднем дворе, смотрю вверх. Квадрат неба. Отвесные стены домов... Я пугаюсь, как тогда, когда выпал первый снег. Мне правда страшно. Я как раз сидела у окна, а наземь падали снежинки... и я вспомнила, что настала зима. Опять год миновал. Была же весна, нежно-розовые деревья стояли вдоль дороги в школу. Лето, осень – на Ринге увядшие листья. Зима, декабрь – идет снег. Из окна мне видно дерево, и еще одно, и далекая крыша. Привет издалека, из прекрасного мира... Сколько времени минуло с тех пор, как дерево стояло зеленое, такое зеленое – а теперь вот снег... Если бы со мной был человек, человек.

Люди мне не нравятся. Знать бы, что за этим кроется. И какая от этого польза? Вечер. В соседней комнате мама говорит об одеялах... Г-н Зингер пробует учить волнистого попугайчика: «Меня зовут Бобби Зингер, я живу на Обере-Донауштрассе, сорок три».

До чего же паршиво...

АХ, СОЛНЦЕ ТАК СИЯЛО

*Ах, солнце так сияло,
А деревья были клейкими и влажными.
Вечером мерцали звезды,
Была весна.*

*Ах, небо так голубело,
И цветы ярко пестрели.
Твои губы сладко благоухали.
Было лето, осень, листья увяли,
А зимой я сидела у окна... шел снег.*

Н-да, а Эрнстль, малыш Эрнстль приходит к нам в форме со свастикой!.. Сегодня мы попрощались. Эрнстль поцеловал маме руку... Встретимся уже в Америке... На пороге он опять смеется, кланяется и снимает шапку. Эрнстль!

СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Вечер, половина одиннадцатого.

Итак, рождественский вечер. Я шла по улицам... снег... безлюдье... Из громкоговорителей доносятся рождественские песни, сентиментальные,

ласковые. На противоположной стороне поблескивают разбитые витрины еврейского магазина, с надписью на иврите. Лживый мир, лживый, лживый... Хлопок – лопнула автомобильная шина... или это был выстрел?.. выстрел в рождественский вечер... колокольный звон плывет над городом... на магазине намалевано: «Жид», и все. На другом магазине: «Убирайся в Дахау, сволочь!» ...В окне выше этажом горят рождественские свечи... рождественский вечер в гитлеровской Германии. Я бы поцеловала это намалеванное «жид». Да-да, поцеловала бы. Быть евреем – какая мука, какая тоска, и все же...

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Десять утра.

Все любили папу. Все-все! Главное для меня – не запятнать его честь. Мое единственное желание – быть достойной папы. Я так его люблю. Очень люблю. Мне бы никакой Виллигер не понадобился, будь со мной папа. Только папа... Мама влюбилась в папу. Он ее целовал. И у них родились мы – я и Дита... С другими я могу говорить обо всем... но не о папе. О нем я никому не рассказывала, это все у меня *внутри*. Я расскажу своим детям.

Пять часов вечера.



Ирма и Людвиг Майер с детьми Рут и Юдит в мансардной квартире на Петер-Йорданштрассе, 96, где они жили до 1929 г. Затем семья проживала на Хоккегассе, 2. В 1938-м Ирме и детям пришлось переехать в еврейский квартал, на Обере-Донауштрассе, 43.

Не знаю, в чем дело, может, в письме д-ра Браухбара. Меня переполняет тоска. Но не разъедает, не высасывает силы. Нет, что-то согревает меня изнутри. В глубине моего существа я чувствую тепло, сияние, легкий аромат. Временами я без причины улыбаюсь, впадаю в грезы. На душе у меня покой. Сквозь это сияние все видится яснее и чище... Мысли у меня теплые, я хожу по улицам, и все западает мне в душу. Как бы сквозь кристалл. Так странно! Вместе с тем я чувствую всю безысходность. И тоскую.

ВЕЧЕР, ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Как же я ненавижу этот дневник. Ненавижу и все-таки не хочу порвать его в клочья. Ведь, может статься, в этом сумбуре найдется хотя бы одна хорошая, стоящая мысль, вполне заслуживавшая, чтобы ее записали... Как раз сейчас я читаю «Переписку Гёте с ребенком»⁵⁵. Да-да, как раз сейчас, среди мучений и ужасов. Беттина фон Арним – удивительное существо. От кого это я недавно слышала: «Женщины по натуре своей в первую очередь воссоздают, а не созидают»?.. Беттина – ребенок, так искренна, так задушевна. Солнечный луч, увядший листок для нее – целый мир. Снежинка, тающая на ладони... Живи она сейчас, она бы наверняка не выдержала, погибла.

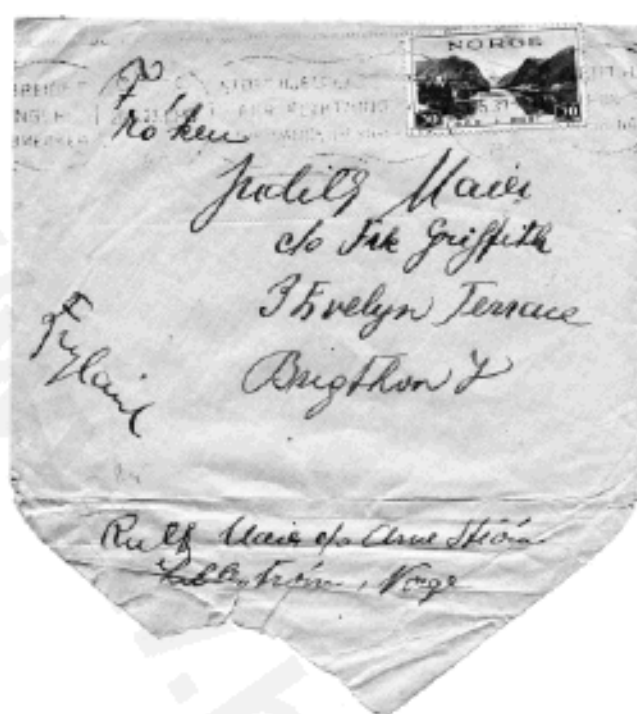
ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ 1938 г., ВЕНА

Классический образец стыдливости и бесстыдства. Беттина пишет: «А утром, когда одеваюсь, я прячусь *от него*». Я думаю: «А утром я раздеваюсь для *него*, ему показываю свое тело, глажу себя по груди, покачиваю бедрами и говорю: вот я. Для тебя я вот такая. Бери меня, если хочешь».

Навещала слепых. Они пели. У одной, у маленькой женщины, похожей на гадкого утенка, совершенно ликующий голос. Другая, совсем незрячая, очень молодая, с безмятежным лицом и задумчивой улыбкой, пела низким, проникновенным голосом. И множество других. Пели они из гайдновского «Сотворения»⁵⁶, из «Свадьбы Фигаро» и т. п. В том числе песню с такими словами: «Никто не в силах дать мне утешенье». На фортепиано горели две свечи. Язычки пламени трепетали, и все прояснилось, дошло до сознания. Что еврейские слепые или, если хочешь, слепые евреи (не знаю, что хуже) поют, одна – ликующим голосом, другая – низким и проникновенным.

⁵⁵ Беттина фон Арним (1785–1859) в шестнадцатилетнем возрасте завязала переписку с И.В. Гёте. После смерти великого писателя отредактировала письма и в 1835 г. выпустила их отдельной книгой.

⁵⁶ Имеется в виду оратория Йозефа Гайдна «Сотворение мира».



Сестры Рут и Юдит Майер, одна – беженка в Лиллестрёме, другая – в Брайтоне, регулярно переписывались вплоть до 9 апреля 1940 г. Затем письма приходили крайне редко. Юдит сохранила более полусотни писем Рут. На снимке конверт со штемпелем 26 мая 1939 г. Письма Юдит к Рут утрачены

Сходное ощущение у меня было, когда кто-то в квартире по соседству играл на скрипке, через два дня после погромов 10 ноября. Я все время думала о евреях в Дахау. И часто – о Виллигере.

Другой народ не выстоял бы. Другой народ вконец бы потерял ориентацию. Евреи кочуют. С маленькими детьми уезжают в Шанхай. Евреи кочуют.

Иногда я размышляю о том, что написано, к примеру, на скамейке передо мной, белой краской: «Только для арийцев. Евреям сидеть воспрещается». Что это значит? – часто думаю я. Что значит ЕВРЕЙ? Е. В. Р. Е. Й. Пять букв. Самые обыкновенные буквы, встречающиеся, вне всякого сомнения, на каждом шагу. Ими пользуются все и каждый: как сторонники евреев, так и их противники. И вкладывают в них чересчур много. Не хотят верить, что евреи – самые обыкновенные люди. Это ясно. Люди, которые много страдали. Это верно. Но еще и люди, которые просто хотят жить в мире. Мир. Кусок земли. Небо, солнце и *наконец-то* никаких напоминаний о твоём происхождении. Каждый Божий день, каждую секунду. Мы такие же люди, как ты. Нас топчут ногами. Вы можете согнуть нас, но не сломить... Евреи кочуют. Припев, вековечный припев: «они кочуют»! Когда это кончится?

Еврейский вопрос – ложь. Дайте нам на протяжении трех-четырех поколений пожить в мире, и еврейский вопрос решится сам собой. Вы этого не хотите. Ладно! Будем справляться своими силами. Это называется самоэмансипация. Разве не так поступили рабочие? Можно ли в таком случае отречься от социализма?!

II

1940-й звучит так... жутко

ПИСЬМА К СЕСТРЕ В АНГЛИЮ

1939–1940



Ирма Майер с дочерьми Юдит и Рут в венской фотостудии. Юдит 10 декабря 1938 г. бежала в Англию, Рут семью неделями позже оказалась в Норвегии

Беженка в Норвегии

ЯНВАРЬ–МАРТ 1939 г.

Срединная часть книги состоит из писем Рут Майер, бежавшей в Норвегию, к сестре Юдит, бежавшей в Англию. В письмах предприняты сокращения, особенно в тех пассажах, что касаются личной жизни Юдит, а также рассказывают о родных и венских друзьях, многие из которых тоже бежали из страны. Вводные и заключительные приветствия («Дорогая ххх») сняты.

Рут приезжает в Норвегию с норвежским видом на жительство сроком на три месяца и с английской визой. Служащий телеграфа Арне Стрём (1901–1972) из Лиллестрёма взял на себя роль приглашителя и гаранта. Он женат на Дагмар, у них есть дочь Турид, семи лет. Эдла – прислуга в доме, ровесница Рут. Контакт завязался благодаря тому, что Арне Стрём в свое время встречался с отцом Рут, Людвигом Майером, на международной конференции Почтово-телеграфного союза.

Несколько первых писем Юдит – Рут зовет ее Дита, иногда Дитль – отправлены из Вены. Рут поездом едет в Берлин, дальше из Засница паромом до Треллеборга, оттуда через Мальмё в Осло. Семья Стрём встречает ее на Восточном вокзале. Живут они на Стургате, 7, двумя этажами выше, над телеграфом, где работает Арне Стрём. Он активно сотрудничает в Рабочей партии и является редактором газеты «Телеграфбладет». Рут помещают в комнате Турид. Семья относится к ней очень хорошо.

Тем не менее Рут одолевают сомнения в собственном будущем, огорчения по поводу вида на жительство, неопределенность касательно учебы, мысли о матери и бабушке, которые остались в Австрии. Но она очень надеется воссоединиться со своими близкими, в Англии или в США.

ЧЕТВЕРГ 19 ЯНВАРЯ 1939 г., ВЕНА

Сегодня я переполнена счастьем. Мы получили телеграмму из Норвегии: «Визой улажено, билеты высланы, подробности письмом». *Дита, я так рада, так рада!!!* Печально только, что я не увижу Виллигера. Конечно. Не смейся. Я только что звонила. Там, где он жил, теперь поселился архитектор, некто Шёпплер. Грубиян. Сперва я спросила, нельзя ли попросить к телефону профессора Виллигера. Он сказал: «Так где же он сейчас? Ведь больше года назад уехал в Англию». Такое странное чувство, Дитль. Почему ты не хочешь понять, что я люблю его? Это же так просто. Натура у меня такая, я не забываю. Дитль, Дитль. Временами мне ужас как страшно. Понимаешь? Читаю сейчас «Переписку Гёте с ребенком». Дитль, там попадаются фразы, которые словно бы написала я сама, просто замечательно. Можно сказать тебе кое-что очень личное? Секрет. Отрывок из Беттины: «Чего же я хочу? Рассказать, как изумительная доброжелательность, с какою Вы отнеслись ко мне, растет и ширится в моем сердце – силой подавляя все прочее, – как я все время неотступно думаю о том, как же было со мною в первый раз?»

Что скажешь?.. И однако же я так рада, так рада, что смогу уехать в Норвегию. Ладно. Хватит об этом, надо вовремя поставить точку. Мне охота излить душу, как говорится.

Я рассказывала тебе, что бабушка прихворнула? Впрочем, она уже идет на поправку.

СУББОТА 21 ЯНВАРЯ 1939 г., ВЕНА

Сегодня мы получили твое письмо и ужасно рады, что ты наконец у цели. Да, Дитль, скоро и я достигну своей. В Норвегии! У меня *в паспорте* уже проставлена виза. Дита, я правда бесконечно рада. На этой неделе, стало быть, уезжаю в Норвегию. Жду только билетов, которые пришлет г-н Стрём. Вчера от него пришло письмо. Ты не представляешь себе, *до какой степени* милое. Я просто на седьмом небе от радости... глупо, конечно, что я не знаю по-норвежски, надо будет постараться и выучить язык на месте, чтобы через месяц-другой продолжить учебу.

Дитль, мне бы очень-очень хотелось повидать тебя. Увы, с этим придется подождать. Но ты ведь знаешь, время бежит быстро. Даже чересчур быстро, по-моему. Уже на этой неделе я еду в Норвегию. Турид тоже будет встречать меня на вокзале, хотя поезд приходит поздно, пишет г-н Стрём.



Рут Майер привезла с собой в Лиллестрём довольно значительное количество книг, в том числе «Переписку Гёте с ребенком» Беттины фон Арним, которую Рут часто цитирует в дневнике.

СРЕДА 1 ФЕВРАЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Уже одиннадцать часов, я в постели, но все-таки, пожалуй, напишу тебе несколько строк... Мне кажется, будто я в Норвегии уже целый месяц. Все так добры ко мне: Турид, Дагмар и г-н Стрём. Турид – маленькая светловолосая девочка, ее мама совсем молодая; она и г-н Стрём – по-настоящему счастливая пара. Вечером мы сидим у камина, г-н Арне читает газету, включено радио... Знаешь, мне *ужасно* хочется чем-нибудь заняться, ты ведь помнишь, я не люблю бездельничать. Впрочем, все еще впереди.

Дитль, вообще-то я хотела написать о путешествии. Знаешь, все было как в сказке. Один высокий белокурый норвежец отнесся ко мне *очень* хорошо. Но начну с самого начала. Прощание – штука нелегкая. Бабушка плакала. Это было ужасно. Потом я села в поезд, соседом оказался югославский спортсмен. Очень милый. Ему 28 лет (Вилли Хибер). Вечером мы оба испытывали некоторое смущение. Я и он, одни в купе! Потом к нам подсел еще один мужчина, и тогда я спокойно уснула. В Берлине – пересадка и все такое. Наш поезд загнали на корабль. Но сперва был пограничный контроль. Какой-то неряшливый субъект копался в моем чемодане. Мерзкими белыми лапами. Прочел несколько страниц дневника. Письмо Виллигера от начала и до конца. Глазел на Эрнста Дойча, отпустил какое-то замечание. Не

знаю, какое именно. Слова доносились откуда-то издалека, я думала: всё, конец. Сейчас при мысли об этом мне больно и ужасно противно. Потом я плакала от ярости и заперла дверь. У таможенника я, кажется, вызвала большие подозрения. Немудрено! Ведь я, *как дура*, зачем-то припрятала 20 рейхсмарок. Сама не знаю зачем. Во всяком случае, позднее норвежец объяснил мне, *насколько* это было опасно. Думаю, можно не описывать чувства, охватившие меня, когда мы пересекли границу. Норвежец (после границы) вдруг затащил меня в свое купе и показал золотые часы и почетный крест, которые тайком провез для кого-то из евреев. Он был весел и очень любезен со мной. Мы вместе прогулялись по кораблю – ветер и море. Знаешь, на палубе он обнял меня за плечи и прижал к себе. Но это не опасно. Я была так счастлива, а он сказал, что просто хочет меня согреть. Не смейся.

Я в него не влюбилась. Иначе бы так и сказала. Мне просто было хорошо. Мы вместе пили кофе, он что-то рассказывал мне, а я ему. Дитль, не думай, я не забыла тех, кто остался в Германии. Мама и бабушка должны *как можно скорее* уехать оттуда. Только теперь, за пределами страны, я вижу, каким свинарником стала Вена. Я рада, что уехала.

Добавлю кое-что еще. Тебе повезло, ты можешь ходить в школу. Да, Дитц, ты получишь аттестат за меня. Я-то лишь болтаюсь без дела и толком не знаю, когда смогу продолжить учебу. Нельзя же с утра до ночи долбить норвежский. Все тут прекрасно ко мне относятся. Г-н Стрём все время говорит с нами по-немецки. Турид тоже ужасно милая, но мне так хочется что-нибудь сделать, чем-нибудь заняться. Правда, я здесь всего-то второй день, но тем не менее.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ФЕВРАЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Дитль, я не сумею описать тебе г-на Стрёма. Он о-о-очень милый. Курит трубку, ходит хмурый. В стоптанных тапках. Еще он очень дружелюбно смеется и говорит со мной по-немецки. Вчера даже танцевал со мной вальс, под музыку по радио. Здорово, да? Г-жа Дагмар тоже о-о-очень симпатичная. Носит очки и выглядит весьма молодо. Квартира вполне современная, обставлена со вкусом. Небольшой книжный шкаф. Джек Лондон, Сигрид Унсет, Хенрик Ибсен и т. д. И замечательные картины. Все светлое, уютное. «Фактически как у *молодых* людей». У меня комната узкая, тесная. В окно виден кусочек Норвегии. Места для одежды, грязного белья и проч. очень мало. Учю норвежский, это мое единственное настоящее дело.

Ты тоже читала в газете, что Эльза Вольгемут покончила с собой? Она была еврейка!!!

У вас там тоже много пишут в газетах об испанских беженцах?

СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Обращаю твое внимание на то, что твое письмо только что повергло меня в величайшее смущение. Г-н Стрём приносит это письмо мне наверх. (Он ведь такой милый!) Я конечно же радуюсь и думаю, что, раз он такой милый, остается лишь сказать: «Вы тоже можете прочесть письмо». А ты пишешь: «Старайся радовать г-на Стрёма. (Он этого заслуживает?)» Я поспешно отвернулась, когда он дошел до этой фразы. Но ты-то: *заслуживает ли* этого г-н Стрём? Слово «заслуживает» тут не годится. Он тако-о-ой милый. Сегодня ходил со мной в ословский приют для еврейских детей. Одна из моих одноклассниц просила проведать там ее братишку. Г-н Стрём был *очень* добр. Возможно – тебе-то я могу сказать, – он заменяет мне мужское существо. То есть он, конечно, и есть мужское существо, но в *одном* определенном смысле. Вчера вечером он водил меня в кино. Потом мы вместе прогулялись. Он относится ко мне вовсе не как к младенцу. Разумеется, называет меня на «ты», но, к примеру, пропускает вперед, идет справа, помогает надеть пальто и проч. По-моему, очень мило. Только не пойми меня превратно. Очень здорово, когда он, скажем, гуляет со мной по Осло, прямо как отец.



Рут писала письма импульсивно и часто делала небольшие добавления к уже законченным письмам. Помещенный выше рисунок, изображающий вид из ее окна на Стургате, 7 в Лиллестрёме, приложен на отдельном листке. По-английски Рут написала «my window» (мое окно), по-норвежски – «vinter» (зима). Дом в глубине слева – тогдашняя «Лиллестрёмская гостиница»

Знаю, написала я чепуху. Но я настолько «дама» или «женщина» (выбери сама), что подобные глупости доставляют мне радость.

Ты, наверно, думаешь: «Вот уж заботы так заботы!» Однако ничего не скажешь, ведь жаждешь чуточку китча. Приглушенный свет, и чтобы пальто помогли надеть, и все такое. Даже профану заметно. Да, Дитль, учиться – это здорово, но зачем тогда, например, платье в голубой цветочек и шелковые чулки? Дитль, тебе шестнадцать. Виллигер говорил: «В шестнадцать жизнь только начинается». Помни об этом. Только не воображай в конце концов, будто я хоть чуточку думаю о Виллигере. В письме могу тебе это сказать. *Finis amoris*⁵⁷. Согласна, в Вене это зашло далеко. Уже напоминало помешательство. Мамуся, правда, ничего не замечала, но она вообще не видит таких вещей.

А теперь быстренько расскажу тебе про приют. Я ведь та-ак хорошо тебя понимаю: в лагере ты сама мало что видела из еврейского духа. Еврейский дух! Гимназия имени Хайеса и т. д. Знаешь, меня просто тошнит при одной мысли об этом. Не дух гетто, нет!.. Ну да ладно! Мы друг друга понимаем. Ермолки и... еврейство!! Слушай, по-моему... фактически только мы одни это понимаем. Если я расскажу г-ну Стрёму, он посмотрит на меня как на дурочку. Некоторые вещи «арийцам» непонятны. Да! Расскажу про приют. Возле дома сидел старик еврей. Читал еврейскую газету! Первым нас встретил маленький еврейский мальчик из приюта. Зиги Корн. Ужасно милый и очаровательный. Он уже почти разучился говорить по-немецки, только по-норвежски. Сам по себе приют не очень-то уютный. Еврейская кухня. Грязь. Беспорядок. (Оборотная сторона медали!)

Дитль! И в-третьих: мое будущее. Я ничего себе не представляю. Так лучше всего. На следующей неделе пойду продлевать английскую визу. Постоянно спрашиваю у г-на Стрёма: «А что дальше?» Он смеется: «Почему ты такая нетерпеливая? Что дальше... после обсудим». Так чего ради ломать себе голову? По-моему, невозможно сказать г-ну Стрёму, что я собираюсь в Англию. Учиться на медсестру, если захочу. *Только вот не знаю, захочу ли*. Наверно, так было бы очень-очень здорово. Все зависит от того, как поступит со мной г-н Стрём. Если найдет для меня что-нибудь хорошее, я охотно останусь здесь, в Норвегии. Если нет... уеду в Англию.

Кстати, тебе известно, что Виллигер хотел, чтобы я участвовала в хоре к его театральной пьесе? Насчет Виллигера: я нарочно много рассуждаю о нем, чтобы ты поверила, будто я до сих пор о нем думаю. Г-н Стрём нравится мне в тысячу раз больше. Хотя г-н Стрём – человек заурядный, а Виллигер – «гениальный» (цитирую письмо д-ра Браухбара). Вот видишь, все вышло по-моему. Ты наверняка веришь, что гениальные люди по-прежнему витают в моих мыслях. Ха-ха!

⁵⁷ Конец любви (лат.).

Дитль, я чувствую себя старушенцией, ведь только и знай болтаю попусту. Без остановки. Дитль, мне стыдно, и на сегодня конец.

ПЯТНИЦА 17 ФЕВРАЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Что я здесь делаю? Честно говоря: незаметно для себя превращаюсь в старую деву, медленно, но верно. В этом смысле г-н Стрём оказывает мне замечательную услугу. Он так сбивает меня с толку своей любезной улыбкой и проч., что я совершенно не могу сопротивляться. Насчет смыться – плохая идея.

Мой норвежский? В целом говорю теперь чуть-чуть получше, нежели почешски, и вполне хорошо понимаю, если со мной разговаривают как с идиоткой... т. е. медленно... Будущее в тумане. Возможно, пойду здесь в гимназию и сдам на аттестат, хотя *абсолютно* не представляю себе этого. Здесь, в Норвегии, существуют (в довершение всего) два языка, и нужно освоить оба. Полное безумие, конечно. Кроме того, занятия в школах начинаются в августе, а я так долго не выдержу!

Знаешь, здесь ничего нового не происходит... Я хожу на прогулки с г-ном Стрёмом, он очень хорошо ко мне относится. Замечательное здесь не г-н Стрём, а... как бы это выразиться... замечательно, что в доме есть мужчина. Возможно, звучит преувеличенно и экзальтированно. Мужчина в доме! Знаешь, это никак нельзя недооценивать. С его приходом всё вдруг преобразается. Он – центр всего. Уже рано утром слышно, как он поет. Жутко плохо, но жутко самоуверенно. Сегодня я впервые видела, как он помогает по дому: пылесосит. Меня разобрал ужасный смех. Очаровательное зрелище! Он пылесосил и насвистывал, а когда я забрала у него пылесос, посмотрел на меня с облегчением... В общем, я изучаю мужскую психологию и уже составила собственное мнение о браке. Для людей, которые хотят вникнуть, как «думает другой», это – теоретизирование, но...

Кстати, среди книг обнаружился Шиллер. Прочла «Поликратов перстень», и внутри сразу потеплело. Я так давно не читала по-немецки. Одни только норвежские газеты... Но знаешь, ими вовсе не стоит пренебрегать... Возможно, тебе интересно, что *почти* каждый день что-нибудь да пишут об антиеврейских выступлениях и т. д. (И это в такой стране, как Норвегия!) «Выступления», конечно, слово неподходящее, это всего лишь мелкие пикантные выпады, напоминающие евреям, что... ну... ты знаешь... что они евреи.

Дитль, к своему ужасу, я замечаю, что забыла ответить на следующие вопросы: 1) как выглядит фьорд? Фьорд выглядит как море, если ты не знаешь, что это фьорд. То есть совсем как море, но море, у которого узкое начало. Я видела только Осло-фьорд. Очень красиво.

2) Какой Осло? Очень-очень красивый город, не большой (не как Вена), чем-то похожий на красочное пятнышко. Повсюду ужасно много неба и деревьев. Улицы ужасно тесные, движения почти что никакого. Красивее всего фьорд и некоторые улицы. Особенно когда светит солнце, а небо синее – красота. Возле университета прогуливаются взад-вперед студенты, взад-вперед по солнышку. (Идиллия!)

ПЯТНИЦА 24 ФЕВРАЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Вчера твое письмо принесла Эдла, положила мне на кровать. Я ужасно обрадовалась! Ты же знаешь... и, как видишь, отвечаю без промедления.

Дитль, сегодня я была в Осло (норвежцы произносят: Ушлу), вместе с г-ном Стрёмом, хотела продлить визу. Там был англичанин, который ужасно плохо говорил по-норвежски, и визу он... не продлил. Г-н Стрём такой оптимист, он думал, визу продлят в два счета. Сперва надо подать прошение и т. д., а займет это около двух месяцев... Г-н Стрём намерен подать прошение в ословское паспортное бюро.

Кстати, в Осло сегодня было замечательно. Мы прогулялись в районе гавани, пахло солью... Мне очень-очень нравится Осло. Просторный, замечательный город... Досаждают мне только отсутствие работы. Нынче я осторожненько намекнула г-ну Стрёму насчет этого. Он слегка покраснел, по-моему, и сказал: «Да-да». Кстати, я очень рада, что ты так хорошо представляешь себе г-на Стрёма. Для полной его характеристики и т. д. должна тебе сообщить, что волосы у него растут таким вихром, который все время падает на лоб. Сегодня г-н Рунн (он тоже из телеграфного ведомства) дружески подергал его за этот вихор... просто очаровательно... В остальном он по обыкновению очень милый. Но честно говоря! Что бы ты сделала на моем месте. Сегодня же спрошу у г-жи Стрём, что она думает об этом. Возможно, *женщина* поймет лучше... Весьма вероятно, семейство Стрём решит послать меня на какие-нибудь курсы, к примеру машинописи и т. д. Но я мечтаю не об этом. Мне бы хотелось получить профессию... ну, не знаю... пойти в коммерческое училище или что-нибудь в таком роде... Аттестат мой витеет вдали.

Ты считаешь, я мало рассказываю о стране и народе, о традициях и обычаях. Что ж, буду краткой: Норвегия – королевство. Где король не управляет. Г-н Стрём считает это очень важным (и я, конечно, тоже). Управляет сейчас Рабочая партия, сиречь социал-демократы. Г-н Стрём, разумеется, состоит в Рабочей партии. Кроме того, есть еще «либералы» и «консерваторы». Нацистов якобы нет... (?) Г-н Стрём очень гордится, что он норвежец, и как-то раз сказал мне: «Не будь я норвежцем, то хотел бы быть шведом».

Шведы, норвежцы и датчане вообще чувствуют себя сильно взаимосвязанными, так сказать будто одна страна. Шведский и норвежский языки здорово похожи (датский тоже). Вдобавок почти все норвежцы имеют собрания сочинений Ибсена и Бьёрнсона⁵⁸. Ты знаешь, что Гамсун⁵⁹ и Унсет⁶⁰ тоже норвежцы? Особенно здесь любим и популярен Бьёрнсон. Между прочим, сегодня я видела его сына. Ужа-а-асно похож на отца.

СУББОТА 4 МАРТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

В данный момент я только расстраиваюсь... Семейство Стрём твердит, что сперва надо дождаться, пока уладиться с моим пребыванием в Норвегии. Мы подали ходатайство о продлении в паспортное бюро в Осло, и надеюсь, скоро решится, останусь ли я здесь или смогу уехать в Англию.

Что до моих навыков в норвежском, то сейчас я сама вполне ими довольна. Говорю уже довольно сносно, а читаю по-норвежски, пожалуй, лучше, чем по-английски. (В первую очередь газеты.) В особенности читаю историю норвежской литературы, искусства и проч.

Конечно, я счастлива, *когда брожу по Осло*. Но это бывает редко. Осло мне ужасно нравится, так приятно бродить вдоль фьорда... На прошлой неделе меня пригласил Тоббен (брат г-жи Стрём). Мы поехали в Осло, было классно. Тоббену тридцать лет, он часто смеется и курит трубку (как все норвежцы). Жаль только, лысеет!.. А так очень симпатичный. Мы ходили в кино, гуляли (вдоль фьорда!), потом зашли в кафе. Там он выложил кучу денег, только еда обошлась в 23 кроны. Но он даже не пытался приударить за мной. Жалко. Я вполне могла бы представить себе такое. Накануне я целый день слонялась по дому, ломая себе голову, что бы мне надеть... провинциально... Что до мальчиков, с ними точь-в-точь так же. Эдла (17 с половиной лет!) целыми днями поет песни про любовь, и у нее есть «парень». Турид спрашивает, есть ли у меня в Вене «парень» и проч. ... Я в подобные дебаты не вдаюсь (хм-хм!).

Стрёмовская родня в Норвегии политически хорошо информирована. Г-н Стрём берет на себя ответственность, выражает озабоченность и т. д. Отец г-жи Стрём заседает в стортинге, сиречь член парламента. Это очень-очень важно. Заседания парламента открыты для всех... В Англии тоже так? Да, Дитль, ты права, Норвегия – здоровая страна, и норвежцы гордятся

⁵⁸ Бьёрнсон Бьёрнстjerne (1832–1910) – норвежский писатель, основоположник национальной драматургии, в частности, автор норвежского гимна «Да, мы любим...».

⁵⁹ Гамсун Кнут (1859–1952) – норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1920).

⁶⁰ Унсет Сигрид (1882–1949) – норвежская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1928).

своей Норвегией... Несмотря ни на что... если б я сейчас знала, как сложится мое будущее, я бы тоже была веселее. Все здесь один симпатичней другого. Я сплю и ем, вчера была в кино... и все же, все же!

СРЕДА 22 МАРТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Ты не поверишь, если я скажу, что могу помочь очень-очень мало. Сама себя презираю. Во-первых, мое пребывание здесь все еще в полном тумане. Сейчас меня хочет поддержать один из депутатов стортинга, и, возможно, вид на жительство продлят дольше 1 апреля. Если так, то пойду на курсы машинописи и английской стенографии, до августа (когда начинаются занятия в школах). В августе начну учиться в гимназии, а в июне 1940-го сдам на аттестат. Это уже совершенно точно. Учиться буду в Осло, придется ездить туда-сюда. Ну да ничего.



Пиппа Сироткова сумела как политбеженка выехать из Чехословакии в Брайтон. Она прошла коммунистическую выучку и была помощницей дяди Оскара в Праге. Когда Юдит с матерью пришлось покинуть прибрежный Брайтон (после Дюнкерка), Пиппа нашла им жилье в Лондоне. В Англии Пиппа вышла замуж за художника Якуба Бауэрнфройнда и взяла его фамилию.

Не знаю, что лучше – остаться в Норвегии или уехать в Англию.

Дитль, я сейчас все время думаю о маме. Ты никак не можешь посодействовать ускорению ее дела? В любую минуту может начаться война. Наверно, ты не очень-то следишь за газетами, но я ужасно боюсь и написала мамуле, чтобы она в крайнем случае уехала нелегально. А это очень опасно.

Невозможно поверить: Зарошице – в составе Германии. И концентрационные лагеря, преследования евреев. Я сразу же написала Пиппе, вдруг с ней что-то случилось... Слушай, а нельзя ей в Лондоне выучиться на медсестру? (Все время думаю о Пиппе, ей необходимо помочь в первую очередь.)

Ты не представляешь себе, как я зла на этого Чемберлена. Неужели нет возможности, чтобы премьер-министром *поскорее* стал Иден? (Как раз сейчас по радио говорят о Чехословакии, драме в Центральной Европе и стремлении Германии на восток.)

Вероятно, тебе будет интересна и норвежская позиция. Они целиком ориентированы на «политику нейтралитета». Вдобавок здесь две партии: одна (Венстре) выступает за вооружение, а вторая, конечно, еще и за оборону, однако вне партийно-политической агитации (что тут имеется в виду, я не вполне понимаю). Отдельные люди тут слабоваты, не в пример своим коллегам в Центральной Европе. Эдла понятия не имеет о политике и недавно спросила, не война ли там, где моя мама. Г-жа Стрём в политике совершенно не разбирается и не читает ни журналов, ни газет. Единственный, кто кое-что понимает, это г-н Стрём, но опять же, знаешь ли, «социал-демократически», сочувственно. А вот Турид, так сказать, со-страдает. Политические ее рассуждения воспроизвести невозможно. Гитлера она ненавидит до потери сознания и утешает меня, повторяя, что он наверняка умрет «сегодня ночью». Временами подробнейшим образом описывает, от каких болезней он умрет. Спрашивает, почему *евреи* не прогонят *немцев*. За каждое свое замечание она заслуживает поцелуя... Иногда я читаю ей сказки Х.К. Андерсена, по-датски. (Датский я понимаю очень хорошо, а особенно хорошо читаю по-датски!)

Здесь сплошная идиллия. Я говорила тебе, что Эдла счастливо влюблена. Г-н Стрём по-прежнему ужасно любезен... По-моему, меня уже весь Лилле-стрём знает. Во всяком случае, когда я иду по улице, все на меня глазают. Смотрят как на такого сказочного зверя, а мне это жутко действует на нервы.

Знаешь, Дитль, временами меня охватывает прямо-таки непреодолимое желание увидеть тебя, или мамулю, или бабушку. Тебя я последний раз видела на станции. Долго буду помнить твой бело-голубой шарф... Кстати. Знаешь, что мы пережили с бабушкой после твоего отъезда? Она вдруг словно рассудок потеряла. В смысле, ничего не помнила. Вот ужас, скажу я тебе. Мы думали, всё, конец. Дитль, зачем я рассказываю тебе *это*?! Просто вспомнилось.



Рут нарисовала столовую в доме Стрёмов, поясняя, что на стене висит «ковёр», над «старинным норвежским сундуком», стоящим у «окна»

Не сумею сейчас описать настроение: г-н Стрём по-норвежски говорит по телефону! Г-жа Стрём что-то делает на кухне. Турид в спальне, спит. Передо мной на столе – ужин. Перо царапает, пойду лягу.

Дитль, 30 марта у Турид день рождения. Пришли ей открытку. Ну, такую хорошенькую, детскую. Она очень обрадуется... Ну вот, г-н Стрём еще и запел!

ПЯТНИЦА 24 МАРТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Ты знаешь, я никогда не была мастерицей писать поздравительные письма! И еще не сообразила, с чем поздравляю тебя, Дитль, в твой день рождения. Не пойми превратно, Дитль, я не пессимистка и вовсе не утверждаю, будто в этом случае уместнее было бы «соболезновать». По-прежнему существуют «маленькие радости», благодаря которым «стоит жить». Так что соболезновать – это уж чересчур. Но и поздравлять опять же слишком мажорно! С чем тебя поздравить? С тем, что ты родилась в Вене, что тебе исполнилось 17? (Гип-гип!) Что родилась ты как Юдит Майер, а не как карликовый аф-фенпинчер или... ну, факта это не меняет!

Тем не менее: выразив протест против поздравлений вообще, я тебя поздравляю, от всего сердца. 17 лет! Дита, по щекам у меня прямо-таки ка-тятся слезы. «Чудесно быть еще ребенком»⁶¹. (Откуда это? Не знаю!) Нет,

⁶¹ Цитата из оперы «Царь и плотник» Альберта Лорцинга (1801–1851).

Дита, утихомирься на минутку... да-да, 17 лет! Известные персоны, Виллигер, Эрнст Дойч... Ну, это было отступление. 17 лет. Точка. Нет, лучше двоеточие. Пора юной любви, пора сексуального созревания или взросления, созревания или зрелости, выбирай сама. Еще раз: пора юной любви, первых поцелуев... (какие перспективы!) пора стыдливых объятий, первых томлений. (Милый месяц, как тихо плывешь ты!⁶² Я вижу месяц. Ты видишь месяц. Мы обе видим месяц!) Короче говоря, в 17 лет ты отправляешься в путь, так сказать вступаешь в жизнь. Признаю, последняя фраза не удалась, но ты уж извини, меня обуревают волнения.

Дитль, если надо пожелать тебе что-нибудь, в смысле что-нибудь приличное, основательное, то я правда не сумею. Счастье, здоровье – это всё банальности, а о возможности скорой встречи и т. д. и т. п. мы и так знаем. Надо бы пожелать тебе (а заодно и всем остальным) чего-нибудь грандиозного – чтобы Германия, Гитлер и его прихвостни вдруг взорвались, взлетели на воздух. Только сейчас на это мало надежды! Или, может, сейчас стоит пожелать, чтобы Чемберлен наконец-то ушел и премьером стал Иден!⁶³ Но погоди-ка, вдруг ты из тех, кто с удовольствием наградил бы Чемберлена Нобелевской премией мира. В таком случае тысячу раз прошу прощения!

Завтра поеду с г-ном Стрёмом в Холменколлен⁶⁴. Очень смутно представляю себе, что это такое. Вроде бы что-то связанное с лыжными гонками и зарубежными гостями, якобы знаменитое на весь мир (ха-ха!). В Норвегии, видишь ли, всё знаменито на весь мир, хотя ни один человек за пределами Норвегии об этом слыхом не слыхал!

Так или иначе, я заранее радуюсь поездке и шлю тебе холменколленскую марку, купленную для меня Тоббенем (хм-хм!). В первую очередь я рада, что со мной едет г-н Стрём. Я так давно с ним не разговаривала. Он упорно спит почти целыми днями (когда бывает дома), ходит на совещания и сидит в телеграфной конторе. Настоящий соня, вот он кто. Недавно сказал: «Н-да, весной меня одолевает такая усталость, что требуется много спать». Секрет: у него потеют ноги. И, как ты понимаешь, потные ноги меня не смущают. *Они меня не смущают.* Дита, это настоящая любовь. Я думаю так: милый папочка, у тебя потеют ноги? У милого папочки потные ноги. Папочке надо их помыть, но он слишком ленив, папочка плохой, у него потные ноги.

Это настоящая любовь? Когда запах пота шибает мне в нос, я невольно улыбаюсь. Дорогуша, прекрати!

⁶² Из популярной вечерней песни неизвестного автора (ок. 1780).

⁶³ Иден Антони (1897–1977) – британский политик, консерватор; в 1935–1938, 1940–1945 гг. министр иностранных дел, в 1939–1940 гг. министр по делам колоний.

⁶⁴ Холменколлен – район Осло, где расположен 115-метровый лыжный трамплин.

СРЕДА 29 МАРТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

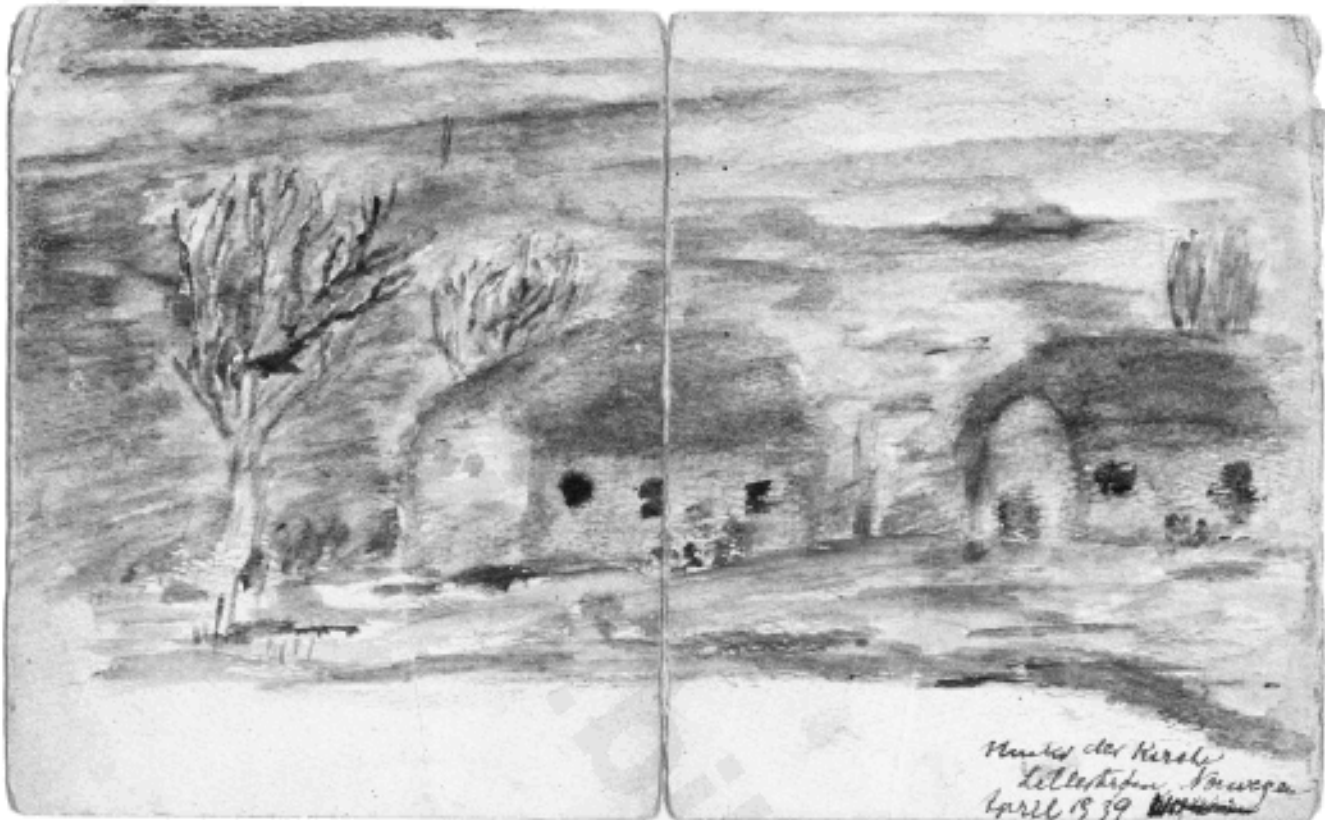
Передо мной громоздится такая гора писем, что просто голова кругом идет. Ладно, начну, и ты у меня первая на очереди. Хотя я, увы, и не знаю, где возьму деньги на марки. Прямо трагедия! Придется просить г-на Стрёма, шепнуть ему украдкой, что денег у меня больше нет. Знай: на прошлой неделе я получила 10 крон. Это деньги, которые я тайком провезла сюда. Ну и соответственно обменяла... Эти 10 крон буквально разлетелись из рук. Завтра у Турид день рождения, я была в городе и кое-что купила. Я обманщица. Бедная эмигрантка, высланная из страны немецкая еврейка, я купила: 1) волшебные карты; 2) переводные картинки; 3) прелестные пасхальные салфетки; 4) очаровательное гнездышко с шоколадными яичками и вдобавок уточку; 5) шоколадки; 6) смертельный удар – книжку Уолта Диснея... в общей сложности 3,96 крон.

В конце концов денег не хватило даже на возвращение в Лиллестрём и... я с *поразительной* ловкостью сумела разыскать в Осло г-на Стрёма. Он был на совещании, и я выяснила, *где* это. Просто зашла на телеграф и спросила. Какой-то любезный сотрудник сделал несколько телефонных звонков и действительно дозвонился до г-на Стрёма. Сказал в трубку: «Тебя ищет молодая дама, Стрём!» ... Ну, короче говоря: г-н Стрём появился в своем замечательном синем костюме и спас меня. Я даже получила разрешение подождать его, пока не закончится совещание. В общем, все завершилось благополучно, ведь... г-н Стрём вправду мне нравится!.. Недавно мы с ним ходили на прогулку... так мило. Сегодня он потрепал меня по плечу. Знаешь! Я чувствую себя как... не знаю как кто... как тринадцатилетняя девочка... Восемнадцатилетняя девушка сообщает сестре: он потрепал меня по плечу!.. как собачку (так мне и надо). По-моему, все это из-за хронически неутоленной потребности в любви.

Что до моего пребывания в Норвегии – пока что никаких новостей. Сегодня 29 марта, послезавтра вид на жительство истекает. Подожду до 12 апреля. (Тогда кончается моя английская виза.) Надеюсь, мне разрешат остаться. Как было бы здорово получить аттестат!.. Сегодня я была в Осло, в немецком консульстве, вместе с г-ном Стрёмом. Ну... наверно, незачем здесь что-то говорить о моих впечатлениях.

Норвегия отделена от Германии всего лишь кусочком моря. Кстати, в сегодняшней газете я прочла кое-что замечательное. Француз по фамилии Дюамель⁶⁵ назвал тактику Гитлера по «защите» разных стран, одной за другой, – «белой войной». Недурно.

⁶⁵ Дюамель Жорж (1884–1966) – французский писатель, примыкал к унаимизму – литературному движению, проповедующему антииндивидуалистические и руссоистские идеи.



Акварель «За церковью», Лиллестрём, апрель 1939 г. На обороте Рут написала сестре: «Скажи прямо, нравится или нет. Тебе не кажется, что здесь немножко чувствуется настроение? Не выбрасывай». В одном из летних писем того же года Рут пишет: «Дитль, трогательно, что мой рисунок стоит у тебя на столе»

Я рассказывала тебе, что прочла по-норвежски «Голод» Кнута Гамсуна (вообще, они произносят Кнют Хамсун, хм-хм). По-норвежски книга называется «Sult» («сульт»). Вовсе не так уж трудно.

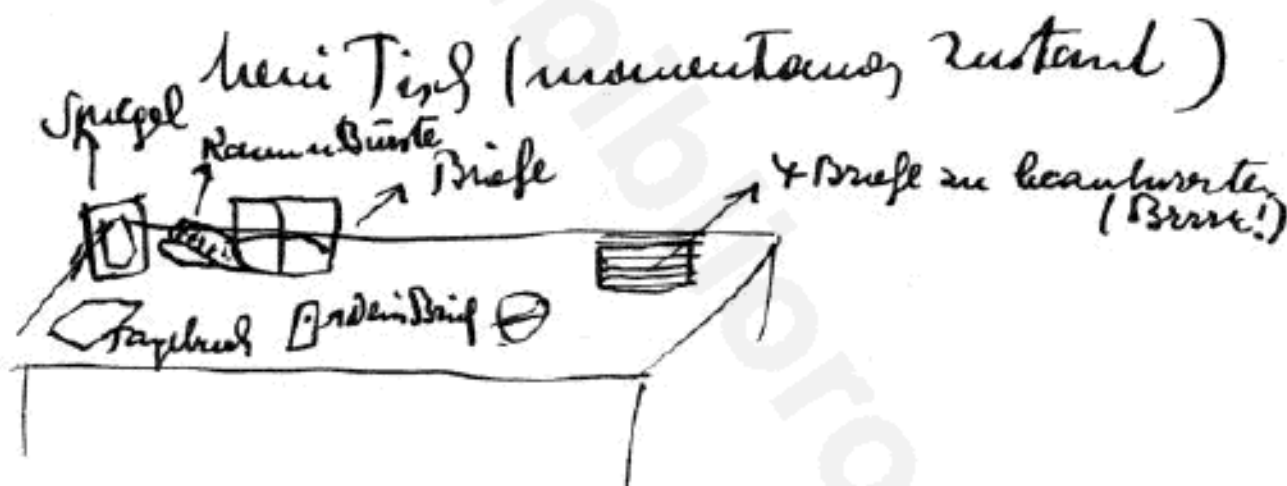
ЧЕТВЕРГ 30 МАРТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Вчера ночью – я уже задремала в постели – пришел г-н Стрём, постучал в дверь и спросил, тихонько так, осторожно: «Рут, ты спишь? На улице северное сияние». Здесь это, в общем, не такая уж редкость, но я все равно быстро вскочила с постели и долго стояла у окна вместе с г-ном Стрёмом, просто смотрела... северное сияние – это белый, молочный свет, который то усиливается, то слабеет, ярко так вспыхивает местами, а потом тускнеет... Я замерзла, и г-н Стрём принес плед и накинул мне на плечи... Дитль, я впадаю в романтичность. Это нехорошо. Сегодня 30 марта. Из паспортного бюро никаких вестей.

ПЯТНИЦА 31 МАРТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Да, очень вовремя вчера пришло твое письмо вместе с поздравлением для Турид. Поздравительная открытка слегка не удалась. Ведь Турид исполнилось 8, а не 7. Ладно, незачем рассказывать, какая тут вчера была суматоха. Масса родни и друзей. Сегодня пришли поздравительные открытки для Турид от мамы и от бабушки!

Я по-прежнему без работы. Но скоро ситуация изменится. Очень скоро. До 10 апреля все решится. Ты знаешь, как обстоит с моим делом... Г-н Стрём так хорошо ко мне относится, что при мысли о нем на душе теплеет. Он мне очень близок... наверно, просто потому, что он здесь единственный, с кем я говорю по-немецки. Сегодня мы пошли на прогулку, и теперь я знаю, что он тоже... любит меня. Вот.



Как добавление к этому письму Рут нарисовала свой стол, в «сиюминутном состоянии». Слева направо мы видим «зеркало», «расческу и щетку», «письма», на переднем плане – «дневник» и «твое письмо». На правом краю – «4 письма, на которые нужно ответить. (Бррр!)»

Временами мне кажется, что я теряю рассудок. Не знаю, поймешь ли ты. Я часто думаю, что всех вас вроде как нет в живых... Да, милая, твое доброе сердечко начинает неистово биться, когда слышит слово «смерть»: «Все ж таки я хочу быть Юдит Майер». А вот хотелось ли бы мне быть Рут Майер, зависит от... Вчера, когда мы сидели возле печки и жгли бумагу, Турид сказала: «Что, если б я была такой вот бумагой и сгорела в печи». Мне понравилось. Не знаю только, уместно ли это именно тут.

Н-да, Дитль, что еще тебе рассказать? Сегодня получила письмо из Палестины, от Отто... Когда закончу письмо к тебе, почитаю Ибсена («Росмерсхольм»), а потом пойду в кино. Дитль, вопреки Норвегии и походу в кино, вопреки яркому солнцу и прекрасному голубому небу, вопреки г-ну Стрём и проч. и проч., я бы охотно поменялась с тобой. Ты можешь что-то делать, можешь учиться! Все остальное – чепуха.

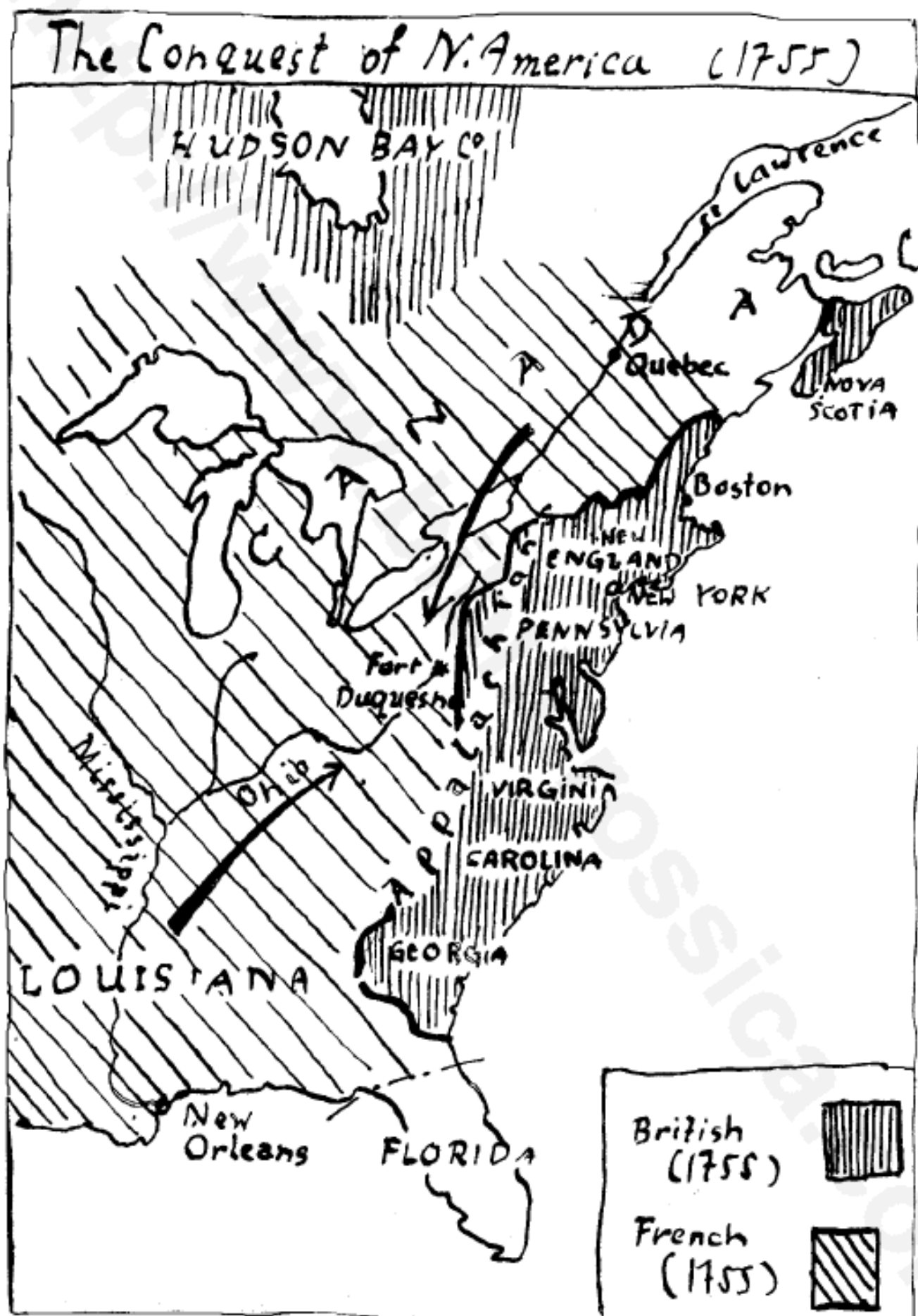
Когда я говорю об этом г-ну Стрёму, он этак свысока отвечает: «Да, но сперва нужно уладить твоё дело!»

Только что пришла из кино. (Ходила одна.) Смотрела «Марко Поло» с Гари Купером. Удивляюсь, как только разрешают снимать такую дребедень. Сейчас четверть двенадцатого. Пойду спать.

Доброй ночи.

Спи крепко.

Счастливых снов.



Рут очень интересовалась историей. Среди немногих бумаг, сохранившихся от времени учебы в норвежской гимназии, есть несколько аккуратно вычерченных исторических карт, вроде воспроизведенной здесь карты «Завоевание Северной Америки (1755)»

Мечта об Америке

АПРЕЛЬ–ИЮНЬ 1939 г.

Огорчений у Рут прибавляется: виза вот-вот истечет, в новую школу ей пойти не удастся, возможно, минет год, прежде чем она сможет воссоединиться с семьей – тогда уж в Америке. Мама Ирма в апреле получает разрешение на въезд в Англию. Рут тревожится из-за бабушки Анны, которая по-прежнему в Вене. Курт Поллак, упоминаемый несколько раз, – венский друг, которому посчастливилось эмигрировать в США.

Дело к весне, Рут подолгу гуляет – на пристани в столице, по улицам Лиллестрёма, в лесу. Вечера долгие и для нее непривычно светлые. Стрём сопровождает Рут на прогулках, он очень хорошо к ней относится. Она влюблена в него? Он увлечен ею? На одной из прогулок он ее целует. На следующий день просит прощения, но доверительность между ними нарушается. Месяцем позже Рут в письме пишет об этом сестре.

Дело с продлением визы улаживается. Рут поступает вольнослушательницей в предпоследний класс Акерской муниципальной гимназии, расположенной в центре Осло, на Пилестредет. В начале лета 1939 г. гимназию закроют, учащихся переведут в другие школы.

Каждый день Рут ездит поездом в Осло. Учитель норвежского хвалит ее за хорошее сочинение. Она открывает для себя Дайкманскую библиотеку⁶⁶. Идет на собрание Организации рабочей молодежи, вступает в Международную лигу мира. Знакомится с молодыми ребятами – с Осе, с которой ходит рука об руку, с Эйвинном, с которым сближается на политическом собрании.

После летнего солнцеворота семейство Стрём собирается в автомобильную поездку с ночевкой в палатке. Рут радуется.

⁶⁶ Общественная библиотека в Осло, основана в 1780 г., когда датчанин Карл Дайкман завещал городу свое собрание из 6000 книг.

СРЕДА 12 АПРЕЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Последнее время настроение у меня было хуже некуда. Ваше письмо снова меня порадовало... Ты такая милая, Дитль, думаешь, что мы скоро увидимся... Мое дело решилось: остаюсь в Норвегии. Английская виза сегодня истекает. Значит, увидимся мы предположительно только в Америке. Не воображай, что я бормочу это сквозь слезы. Нет. Но факт есть факт...

В моем паршивом настроении виновато другое: я сомневаюсь, что г-н Стрём всерьез готов позволить мне учиться дальше. До сих пор он ссылался на то, что с моим пребыванием здесь еще не улажено. Теперь я просто жду день за днем... а это вечное ожидание, поверь, не доставляет удовольствия. Я стала весьма нервной.

Так вот, сегодня г-н Стрём сказал: «Сегодня или завтра поговорю в школьном ведомстве, на каких условиях ты до июня можешь быть зачислена вольнослушательницей в предпоследний класс гимназии». Учítывая, что со мной станется в будущем. Ладно. Говорю вам, я вообще уже перестала думать о будущем.

В Америку я, вероятно, приеду как новоиспеченная студентка.

День за днем только читаю да гуляю. По-моему, это не жизнь.

Что-то я жалею, а это не в моих привычках. Правда, Дитль? И вообще! Здесь ведь так красиво, и, если отвлечься от всяких пустяков, я вполне счастлива. Если отвлечься от всяких пустяков.

Нельзя ли мне тоже получить такой бланк запроса в Америку?

СУББОТА 22 АПРЕЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Вечер, четверть десятого.

Прежде всего: мое почтение, огромное спасибо и аплодисменты за то, что ты прислала мне 19 крон 70 эре. Они ужасно мнегодились, и я *никогда* не забуду этой сестринской услуги. Да, дорогая моя, ничуть не считаю ниже своего достоинства сказать тебе, что я жутко обрадовалась этим двум купюрам (хм-хм!). Вместо «две купюры» я вполне могла бы сказать «презренный металл», но это уж слишком театрально. Один вопрос: откуда у тебя такая прорва деньжищ? От мисс Гриффит, воплощенного высокого благородства, или это твои собственные, с трудом отложенные гроши (как они называются по-английски)? Ну да, пенни, множественное число – пенсы (с оговоркой, стало быть). Как бы там ни было, я очень тебе благодарна.

15 крон сразу отдала г-же Стрём на хранение. Сначала она посоветовала где-нибудь депонировать деньги, не носить их в кошельке, иначе они просто вмиг разойдутся. Я вернула долг Эдле и купила себе «недельный билет». Словом, чувствую себя мультимиллионершей!

Дитль, еще вопрос, на который ты должна ответить с обратной почтой. Мама уже в Англии? Написать это предложение: «Мама уже в Англии?» – вправду удовольствие. Да, придется тебе доставить мне удовольствие спросить еще раз: мама уже в Англии? Не буду комментировать свои чувства.

Я часто думаю о бабушке. Вчера мне в голову пришла удачная мысль. Раз бабушка уже в состоянии выехать в Англию и фактически ей лишь нужен сопровождающий, можно, наверно, послать за ней какого-нибудь из англичан?

Ты пишешь, что отъезд в Америку, вероятно, состоится в начале следующего года. Тут я категорически протестую. Если я все же смогу пойти в гимназию, то, разумеется, хочу получить здесь аттестат. Это уж само собой. «Если я все-таки сумею!» ... Но уже начинаю сомневаться... Дело мое снова на нуле. С норвежским видом на жительство пока не решено. Английская виза закончилась. Больше ничего не знаю. Кроме того, г-н Стрём написал прошение в департамент просвещения насчет освобождения от экзаменов за среднюю школу. Ждем ответа. Иначе говоря: все стоит на месте.

Кстати, ты знаешь, что мамуля звонила мне? Я разговаривала с ней и была на седьмом небе от счастья! Г-н Стрём и Турид тоже сказали ей несколько слов.

Знаешь, Дитль, тут случился прелестный маленький эпизод (с г-ном Стрёмом)... но теперь все опять устаканилось, только мне по-прежнему плохо. Самой противно... Между прочим, я научилась у тебя, как нужно закутываться в покровы тайны. «Я из принципа рассказываю не все». Стало быть, сегодняшнему письму конец. Пойду приму ванну, потом почитаю, потом... посплю, а завтра... завтра всегда то же самое. Замечательно, что мамуля с тобой!

Извини: завтра воскресенье. На завтрак – яйца в мешочек.

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА МАТЕРИ ПЯТНИЦА 19 МАЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

На открытке – Лиллестрём, благословенный городок и проч. На этой улице я живу. И знаю ее так же хорошо, как... ты знаешь Хоккегассе. На этой улице я живу и т. д. и т. п. Чудно, правда? Ну ладно, мамочка, напиши поскорее. Представь себе, сегодня мое сочинение было *лучшим* в классе. По-

норвежски. «Это сочинение можно бы напечатать в газете» (так сказал учитель норвежского). Что ты на это скажешь? Уроков полно, а еще есть перспектива через некоторое время уехать в Англию.



На открытке Рут стрелками указала: «церковь» и «здесь я живу».
Перед нами улица Стургате с видом на север

СУББОТА 20 МАЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

!!!Дитль!!!

Расскажу тебе все-все! С удовольствием. Глупо только: я рассказала все от начала и до конца маме, причем уже некоторое время назад, так что у меня это уже немножко навязло на зубах. Хотя сестре рассказываешь все-таки по-другому.

Слушай: г-н Стрём – он мне очень-очень нравится – погоди, сейчас гляну в календаре... так вот, 11 апреля он меня поцеловал. Так глупо писать об этом. Мы вместе гуляли. В ту пору, чтоб ты знала, он относился ко мне *жутко* хорошо. Часто гладил по голове и вообще старался «приласкать». И знаешь, порой, в сентиментальные мгновения, я и сегодня тоскую по его ласке. (Звучит прямо как в дешевом романе, да?) Ты ведь понимаешь, что после «поцеловал» всем и всяческим физическим сближениям пришел конец. Ну вот... Разумеется, надо рассказать подробнее.

В общем, мы прогуливались и присели отдохнуть, знаешь... в красивом таком, солнечном месте. Подстелили пальто, и обоим... было так... весело.

Он положил голову мне на плечо, стало страшновато... мне... я закрыла глаза, зажмурилась на солнце... ну, а он наклонился и...

Сейчас, задним числом, мне кажется, все было чудесно. Но тогда!.. Я потеряла голову. Хотела убежать. Написала письмо Пиппе: «Вы непременно должны достать мне визу!» Но на самом деле все было не так уж невинно. Знаешь, ночью я придвинула к двери кресло и положила возле кровати *ножницы*. Нет нужды что-либо добавлять... Полтора суток я металась как безумная. В душе, конечно! А внешне до судорог боялась рук г-на Стрёма, и ног, и вообще его тела. Чувствовала себя в его присутствии так неуверенно. Когда живешь под одной крышей с неким мужчиной, всегда возникают «ситуации», даже если он всего-навсего протягивает мне блюдо с картофелем и ненароком касается моих пальцев... Но г-н Стрём сразу почуял неладное. Понял, что тот поступок был преступлением. Да, преступлением, против меня, против моего «я»! Ну ладно. Следующий день. Как вспомню, голова кругом идет. Представь себе, на следующий день он прочел мне лекцию. То есть попросил прощения... и дал слово никогда больше так не делать, уверял, что он не дурной человек, что ему кажется, будто я больше не считаю его другом, и... Он то и дело спотыкался, меж тем как мы... бродили по... улицам Лиллестрёма. (Он наверняка обливался потом!) Что ж... каковы будут последствия?.. Конец прогулкам по солнышку, конец поцелуям в щеку, конец поглаживанию по волосам... Разумеется! Разве, по-твоему, после этого такое возможно? Н-да... в сентиментальные вечерние часы я порой тоскую... хотела бы, чтобы он снова был ласков со мной... погладил руками... Думаю о том, как сидела у окна, смотрела на северное сияние, озябла... он согрел меня... наверно, такие вещи даже родной сестре нельзя рассказывать. Я-то знаю, было сказочно, ну, то есть не вполне сказочно, но здорово и по-своему действительно так. Верно? Ты понимаешь, что я имею в виду. Только вот продолжаться так не могло. Ведь этак и заболеть недолго... Знаешь, *он*, наверно, воспринимал свои ласки наполовину по-отечески, а я вообразила, будто влюбилась в него и вся эта мелодрама – доказательство, что он *тоже* «влюблен» в меня.

Ну, ты небось начинаешь зевать. Я и сама думаю, что г-н Стрём занимает слишком много места в моих мыслях. Позавчера я ломала себе голову над тем, влюблена я в него или нет, и в конце концов уверилась, что... что он просто мне «нравится». Однако чувствую, что он ускользает от меня, все дальше, и внутренне тоже. Раньше он относился ко мне душевнее... раньше... давно-давно погладил меня по голым плечам и с мягкой улыбкой спросил: «Тебе холодно?»

Ладно, тему «г-н Стрём» пора закрыть. Но все-таки должна сказать тебе, что, в сущности, он совершенно обыкновенный, иной раз глупый... нет, не глупый, но не очень-то умный. Ничего «особенного», во всяком случае, при-

мер с него не возьмешь. Мне кажется, я достаточно хорошо его изучила.

Я собираюсь вступить в Организацию молодежи Норвежской рабочей партии. Это социалистическая организация, и в четверг я впервые пойду туда. Заранее ужасно радуюсь. Мне всегда требуются импульсы извне, чтобы справиться с внутренними проблемами.

Что у Стрёмов (единственно) хорошо, так это то, что они предоставляют мне свободу. С г-жой Стрём я, пожалуй, не на 100% уверена, как она воспримет мое сообщение, что теперь я каждый четверг буду ездить в Осло, на собрания Организации рабочей молодежи.

Вообще-то я могла бы рассказать тебе еще многое, ведь мы так давно не писали друг другу. Знаешь, кажется, у меня скоро появится что-то вроде «подруги». Здорово, да? В данный момент я замечаю лишь «родовые схватки» (красиво сказано, хм-хм!). Девушку, ищущую «дружбы», зовут Осе (как мать Пера Гюнта). Внутренне у меня нет с ней ничего общего, просто здорово ходить рука об руку и болтать по-норвежски. У нее такая милая улыбка, и ей со мной интересно. Фамилии ее я не знаю.

Я тебе писала про 17 Мая? Было просто замечательно. 17 Мая – норвежский национальный праздник. Шествия, флаги. Представляешь, я участвовала в шествии и пела «Да, мы любим...» (норвежский гимн). На балконе Дворца сидел король с кронпринцем и кронпринцессой. Ласково улыбался. Все настроение мне испортил.

ЧЕТВЕРГ 25 МАЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Ты знаешь, вообще-то ужасно глупо и бессмысленно, что мы можем только «писать» друг другу, вместо того чтобы разговаривать. Ты здесь, со мной, я там, с тобой. Мне становится совсем грустно при мысли, как долго мы еще не увидимся. Но представь, как здорово будет встретиться вновь. По-настоящему. Впрочем, мне совсем не хочется впадать в сантименты. Просто сейчас вечер, четверть десятого, за окном светло как днем и весна! Норвегия! Да, я вправду ужасно рада твоему письму. Всегда пиши мне помногу... и с такой любовью. Да!

Слушай, я знала, что ты именно так думаешь про историю с г-ном Стрёмом. Откуда? Ну, из крошечных намеков в твоих письмах. Однажды ты написала что-то вроде «все имеет свои пределы» и т. д. Конечно же г-н Стрём не «великая любовь». Хоть я и не знаю, как ты трактуешь «великую любовь». Но послушай: мне кажется, всякий человек, в которого влюбляешься, – это великая любовь. Я не поклонница градаций: любовь большая – побольше – самая большая или маленькая – поменьше – самая маленькая. Поясню подробнее: когда я влюблена, «люблю» кого-то, то мои чувства к

нему совершенно особенные, ни с чем другим не сравнимые. Я влюблена в г-на Стрёма совсем по-другому, чем в Виллигера. Если я кого-то люблю, то люблю, и точка. Знаешь, мне пришло в голову, что, согласно этой «теории», ревность невозможна.

Продолжаю посещать школу вольнослушательницей. В среднем у меня каждый день по два «окна». Школой я не вполне довольна. Когда бывают «окна», я, правда, хожу в Дайкманскую библиотеку. Она бесплатная. Сажу там и читаю... (Начала книгу о русской революции!) Это замечательно!

С такой точки зрения все у меня превосходно. Часто могу порадоваться всяким мелочам. В воскресенье поедem кататься на новой машине г-на Стрёма (сегодня четверг!)... Я говорила тебе, что в понедельник была на приеме? На самом настоящем приеме с хрустальной люстрой, разными винами, элегантнейшими вечерними туалетами. Напропалую курила сигареты, танцевала с г-ном Стрёмом баварскую польку! Выглядела очень даже красиво... по-моему. Голубое платье до пят, из тафты (мамуля прислала), подкрашенные губы и ресницы. Но моя восемнадцатилетняя юность была без толку. Все мужчины носили... обручальные кольца. Прием устроили по поводу национального съезда профсоюза сотрудников телеграфа. Один человек (с трехлетним сыном!) ужасно мило беседовал со мной, он знал папу, кстати, его тут все знают. Глаза у него были похожи на Виллигеровы. Он вправду был со мной очень мил. В половине третьего ночи мы из Осло отправились в Лиллестрём. В полдевятого утра здесь *совершенно* светло! Как и в десять вечера... На приеме, кстати говоря, произносили жутко много речей. Одну – в честь г-на Стрёма! Ведь он редактор «Телеграфбладет». (Вообще, г-н Стрём необычайно многосторонний! Заседает в совете по социальному обеспечению, редактор и проч. А сейчас правит сочинения для лиллестрёмской школы.)

У меня неразборчивый почерк? В следующий раз буду писать аккуратнее.

ЧЕТВЕРГ 1 ИЮНЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Рискуя «причинить тебе неудобство», пишу сразу, безотлагательно. (На счет «причинить тебе неудобство» пишу только затем, чтобы в следующем письме ты торжественно заверила и т. д.) Нет, правда, я ужасно радуюсь твоим письмам. Пиши почаще. В конце-то концов я просто бедолага, которая приехала в Норвегию и даже толком не представляет себе, что значит «эмиграция». Что мне делать – выброситься из окна (но тут и двух-то этажей нету), перерезать вены, чтобы показать «миру», что я знаю, что значит «эмиграция»? Ну ладно. Фу.

Да, а теория любви! Я ведь в принципе не верю в великую любовь. От ощущения чистоты и самоуверенности. Фу, до чего ужасны эти девицы, которые в глубине души половинчаты и думают, что «он» избавит их от врожденной дурости и недостатков. Неужели непонятно, что над собой надо *работать*? Уяснить себе и пробиваться. «Пробиваться» – хорошее выражение. Только вот я толком не знаю, почему мы должны пробиваться. После таких размышлений я всегда думаю «положить всему конец». Нет, «положить всему конец», разумеется, лишь самый последний выход, когда никакого другого не существует. Что-то я далековато зашла, прости.

Но ведь правда, что в этом хныканье по великой любви – недостаток уверенности в себе, самостоятельности. Дитль, разберись, что именно ты представляешь себе под «великой любовью». Потому что мне хочется иметь рядом мужчину со здоровым, вполне красивым телом и поскорее завести ребенка. А если с детьми не получится, то все равно удовлетворять разные его потребности, остальное для меня роли не играет. Совершенно мне безразлично! Дитль, я, конечно, знаю, не подобает мне рассказывать тебе, чего я не рассказывала раньше ни одному человеку и не расскажу впредь. Ты, разумеется, не допускаешь в письмах никаких намеков. Может, только скупаешь немножко, но не слишком. Знаешь, насчет «удовлетворять потребности» с моей стороны в некотором смысле чуть ли не выходит за рамки приличия. Ладно. Теперь все решено. Полностью. Я взяла себя в руки. Это было напоминание о том, что есть и кое-что еще, помимо благородных помыслов о социализме и гонениях на евреев... понимаешь? Есть еще и тело.

Дитль, тебе необходимо узнать художника Эдварда Мунка⁶⁷ и его картину под названием «В комнате умершего». Если хочешь, пришлю репродукцию.

СРЕДА 7 ИЮНЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Полдевятого вечера.

Голова у меня занята в первую очередь школой. Департамент просвещения разрешил мне осенью сдать математику, химию и географию. Географию я могу учить самостоятельно, а химию и математику (очень легко!) осваивать с частным учителем. Но с последним можно начать только после отпускной поездки. Да, ты ведь не знаешь: мы уедем в отпуск из города! С палаткой, т. е. будем устраивать лагерь и все такое. Я увижу фьорды и высокие-превысокие норвежские горы. Заранее радуюсь! И конечно, напишу тебе про наши походы.

⁶⁷ Мунк Эдвард (1863–1944) – норвежский живописец и график, особенно широко известна его картина «Крик».

Ну вот, Дитль, перечитываю твое письмо. Хм... ты совершенно превратно истолковала мое тайное «доверие». По-твоему, я не знаю, что все девушки проходят через «духовную распущенность»? Я, Дитль, имею в виду плотскую распущенность, отвратительную манипуляцию определенного рода, если хочешь знать точнее. В следующем письме обойдись без таких намеков. Как я уже сказала, я взяла себя в руки, и все действительно кончено... целиком в прошлом! (с 11 апреля).

Сон у тебя, кстати, очаровательный. А знаешь, что сегодня приснилось мне? Бабушка будто бы была здесь, навестила меня в Норвегии и объявила, что я чересчур хорошо отношусь к г-ну Стрёму. Ни при каких обстоятельствах г-же Стрём не понравится, что я – молоденькая девушка! – по всякому поводу улыбаюсь ее мужу и т. д. Я тыщу раз поблагодарила бабушку и очень-очень порадовалась, что она мне об этом сказала.

Ладно, ладно. Когда проснулась, я поразилась, что могла увидеть во сне что-то подобное. Это ведь вправду... изящно... Но мои чувства к г-ну Стрёму уже совсем... остыли. Конечно, я по-прежнему радуюсь бутербродам или ужинам, когда мы все вместе сидим за столом. Однако это уже устоявшаяся привычка (в смысле радоваться). Я говорила тебе, что он больше всего нравится мне, когда вымоет волосы? Думая о том, что однажды... в мае... нет, в апреле... он поцеловал меня в губы... я будто вспоминаю настоящую... да... сказку.

Кстати, Дитль, г-н Стрём уступил место белокурому молодому человеку по имени Эйвинн. Я познакомилась с ним на прошлой неделе, в поездке за город с Международной лигой мира. Не знаю, стоит ли обременять тебя подробным описанием этой поездки. Просто получилось так, что я уединилась... отошла от палатки, от лужайки, от танцев. Он присоединился ко мне, и... ничего не произошло. Мы – Осе, Эйвинн и я – прогулялись по лесу. Было примерно четверть двенадцатого, а светло как днем, знаешь ли. Мы все время спорили. Шли под ручку, а я... барышня целомудренная, к этому не привыкла. На самом деле было здорово. Надеюсь, я снова увижу его, в другой раз.

Не потому, что он светлокожий, а... потому... что он парень. Фигура стройная, красивая, и смех у него чудесный (немножко а-ля Курт Поллак). Ему 22 года, студент-филолог. Ужасно наивный... По дороге домой (из Осло) я была так счастлива... будто влюблена... но это пройдет.

Дитль... мне по душе роль отверженной. Итак, я хочу увидеть его снова... потому что он молодой парень и все такое. Нет, со мной обстоит вовсе не так уж и плохо. Порой я чуток думаю в этом направлении. Но... в меру. Уфф, нахальное заявление: «и ничего не произошло», – глупо с моей стороны писать такое. С моей-то стороны! Да, Дитль, ты уж извини. В общем, мне по душе роль отверженной... которая жаждет... плотского... а отнюдь не

духовного... единения. Странно это, очень странно. Но порой мне больно смотреть, как мужчина... ласкает... женщину.

Знаешь, так было и в той поездке, когда я «познакомилась» с Эйвинном. То, что я видела тогда... да-да, вправду *видела*... Думаешь, эти парни и девушки собираются вместе действительно ради мира? Можешь мне поверить!

Чудно, что за пределами Норвегии никто понятия не имеет, что, собственно, здесь происходит и что за люди норвежцы. Скажу тебе одно: ни церемоний, ни этикета и т. п. ... тут нет и в помине. Норвежцы (те, кого я знаю) все любят удобства и уют. Когда приходят гости («вечеринка»), ты бы видела – свечи на столе (я, наверно, уже рассказывала?) и... нарядная компания. Они ужасно гостеприимны... и... быстро чувствуешь себя как дома... В компании норвежцев всегда царит хорошее настроение. Они смеются и поют... и т. д. Совсем не похоже на... на решительный, интеллектуальный настрой в еврейской компании. Я имею в виду запальчивые споры и громогласные речи. Нет, здесь, когда они разговаривают и смеются, все намного... если угодно... безобиднее. Однако за этой «безобидностью» кроется нечто куда более глубокое, чем кажется... Но по большому счету я все-таки не могу отдать предпочтение этому прелестному «уюту». А вот настроение – настроение создавать норвежцы мастера. Конечно, тем, что я здесь рассказываю, характер норвежцев далеко не исчерпывается. Им приходится вести суровую борьбу. Норвегия – страна суровая. Природа и т. п. Но знаешь, говоря начистоту, я мало что могу сказать на основе *собственного опыта*. Да, кстати, я тебе говорила? Когда тут вновь встречаются после (приятной) вечеринки, то говорят: «Takk for sist» (Спасибо за прошлый раз). По-моему, недурно. Но в остальном их маниакальная привычка за все благодарить иной раз действует на нервы.

Я курю, только когда позволяю себе взять сигарету, которой меня кто-нибудь угощает!!! Хм-хм.

В общем, разберусь сама. Ладно?

ПИСЬМО МАТЕРИ СУББОТА 17 ИЮНЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

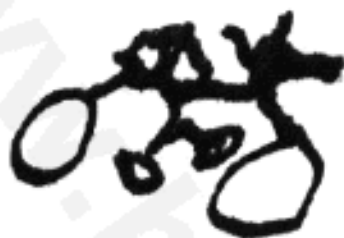
Во-первых, мамуля, хочу сразу же сообщить, что 23 июня у г-жи Стрём день рождения. Пошли открытку или... если испытываешь неодолимую потребность... письмо.

Мамуля, будь добра, объясни, куда ты подевала мои дневники. Я чувствую себя таким персонажем комикса, беспрестанно допытываясь о... моих дневниках... будто они самое мое бесценное сокровище и проч. Хоте-

лось бы получить маленький синий дневник... где Куртль написал «посвящение». Все остальные можешь сжечь, если хочешь.

Знаешь, самое замечательное – светлые ночи. Мне прямо страшно становится при мысли, что в... Америке уже в девять темным-темно. Здесь так светло, что мне *вообще* неохота ложиться. Только вечером и можно прогуляться. Окрестности Лиллестрёма очень красивы, чтоб ты знала. Правда-правда.

Мамуля, у меня возникла блестящая идея. Если бабушке надо на что-то потратить сбережения, пусть купит мне велосипед:



Пожалуйста!

Немецкие велосипеды стоят недорого. Не больше 50 рейхсмарок. Можно купить *подержанный*. Пускай бабушка лучше купит мне велосипед, чем весеннее пальто. Обрати внимание на велосипед! Не говоря о том, что здесь каждый имеет велосипед, он мне вправду нужен. Дорожного движения здесь, считай, нету, так что бояться тебе *ничего*! У Турид есть велосипед, а мне-то *восемнадцать*!

Пожалуйста!!! Я же не могу взять на себя ответственность за то, что бабушка *оставит* деньги в Вене. И подумай, как полезно будет иметь велосипед в Америке. Не придется тратить на автобусные билеты.



Мамуля, эти фотографии я послала и Дитль. Знаешь, в порыве транжирства заказала отпечатать слишком много.

Здесь мы у Национальной галереи в Осло. Немного левее находится моя школа. Как тебе наши улыбающиеся лица? И еще: на вид не кажется, будто я вздумала... *по меньшей мере*... соблазнить того, что рядом со мной... или... довольно об этом!

А тут наш класс возле памятника Вергеланну⁶⁸. (Вергеланн – чуть ли не крупнейший норвежский поэт, он добился, что евреям разрешили въезд в Норвегию.) Девочку в центре впереди зовут... Сольвейг.



На предыдущем фото Рут Майер сидит, крайняя справа; на этом фото она стоит, тоже крайняя справа. Это латинский класс Акерской муниципальной гимназии, которую в начале лета 1939 г. закрыли. На следующий учебный год гимназистов перевели в другие гимназии. Рут продолжила учебу во Фрогнерской школе

⁶⁸ Вергеланн Хенрик Арнолд (1808–1845) – норвежский поэт-романтик, идеолог крестьянской демократии.

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ИЮНЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Стало быть, до сих пор я была вольнослушательницей во 2-м латинском классе Акерской муниципальной гимназии... А осенью начну в 3-м латинском уже как полноправная ученица, но сперва должна сдать экзамены по тем предметам, какие остальные ребята уже прошли. Здесь принято каждый год полностью заканчивать курс по одному или двум предметам, так что к выпуску остается всего две-три дисциплины. Понимаешь? В октябре я сдаю химию, географию и математику!

«Тебе хочется знать о сложностях». Так вот, во-первых, наш класс расформировывают. Нас ведь всего-навсего восемь человек. Вдобавок школу снесут или что-то в таком роде. В любом случае я на мели. Директор, конечно, намеревается устроить меня в другом месте, но не может гарантировать, что меня сразу примут на полных правах. Занятия начнутся уже в сентябре, а экзамены у меня только в октябре. Придется нам снова писать прошение в департамент просвещения и т. д. и т. п. Разумеется, я понимаю, что эта тирада наводит на тебя скуку.

Расскажу, как обстоит с Эйвинном, тем молодым норвежцем. Ха-ха! После того раза я его вообще не видела. 23 июня (день св. Иоанна, летний солнцеворот, праздник) Международная лига мира, где он тоже участвует, устраивает поездку на Осло-фьорд. На маленький остров... с костром, танцами и проч. Я уверена, мы бы прекрасно провели время. Но я не хочу растравлять себе душу: 1) поездка затянется допоздна, а на другой день мы уезжаем; 2) у меня нет денег, я полный банкрот; 3) 23-го у г-жи Стрём день рождения. Г-н Стрём сказал: «Пожалуй, она будет очень рада, если ты останешься дома». Так что прощай Иоаннов день.

Всем людям, кого я знаю, примерно лет 30–40. Они приходят в гости к «молодым супругам» Стрём, но и те не так уж молоды... разве только на первый взгляд. С по-настоящему молодыми людьми я встречалась всего один раз: когда познакомилась с Эйвинном. Было здорово. Эйвинн, может, и не большой интеллектуал, но... все равно.

Каждый месяц я получаю от г-жи Стрём 10 крон. Это очень мало. (10 крон = ок. 10 шиллингов.) А теперь представь себе, что у г-жи Стрём день рождения, надо купить подарок, а денег *совсем* нет. Займу у г-на Стрёма. Весьма удобно.

Знаешь, ночью теперь *совершенно* светло. По-моему, я никогда не привыкну снова к темным ночам.

Поздно вечером я гуляю и обычно ложусь спать в одиннадцать.

ВТОРНИК 20 ИЮНЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Во-первых, Дитль, в следующий раз пиши на наш *временный* летний адрес: Эревик, Фиггешер, Лангесунн. Здорово, да? 24-го, т. е. в субботу, мы уезжаем на машине, с палаткой, спиртовкой, резиновыми матрасами и проч. Лангесунн расположен у моря, на берегу Скагеррака. Вдобавок неподалеку от Осло-фьорда. Вот так:



Из Лангесунна двинемся дальше через горы к западному побережью и фьордам. Тебе не помешало бы разок взглянуть на карту Норвегии. Хм. Может, и Лиллестрём отыщешь.

Атмосфера здесь атеистическая. Не в Лиллестрёме, а у Стрёмов. Г-н Стрём настроен *абсолютно* антирелигиозно. Даже в церковь ходить не любит... по-моему, это, конечно, ребячество. Он не фанатичный атеист. Стрёмовские соотечественники *вообще* (чуть не сказала: слава Богу) фанатизмом не страдают. Но у него чувствуется внутреннее отвращение к всему, что связано с «Христос, Ты наш спаситель» и т. д. Г-жа Стрём ориентируется на мужа... как всегда.

Раз я сызнава вернулась к рассмотрению своего божественного образа: сегодня мне приснился о нем совершенно дикий сон... Он любил меня! Происходило все очень бурно, скажу без преувеличения. Он сперва легонько ласкал меня... и внезапно резко схватил и... толком не помню... мы, так сказать... «катались» в ванне. Словом, идиллия. В последнее время я выбросила его из головы, так что сон этот был как гром среди ясного неба.

В письме ты так вдохновенно рассказываешь мне о «силе юности, что остывает под псалмы», а я слюняво (почему слюняво? Подумай!) говорю о своих паршивых снах. «Да, роли меняются».

Но Расскажи мне, можешь ли ты вообще представить себе, как я живу здесь. Мои дни текут меж завтраком, обедом и ужином. Знаешь, здешние трапезы вроде как праздники. За стол садятся не просто, чтобы «поесть», а чтобы приятно сообща провести время, поболтать, посмеяться. Никто и не думает «жадно поглощать еду».

Что я читаю! Ну, вообще-то сейчас читаю «Забастовку» Эдуарда Бернштейна⁶⁹, сама купила (30 эре, как почтовая марка!), датский перевод с немецкого. А еще читаю Ибсена. «Строитель Сольнес». Знаешь, тебе тоже надо выучить норвежский. Представляешь? Когда-нибудь в Америке... мы бы почитали вместе Ибсена.

Да, и вдобавок читаю книгу Троцкого (норвежский перевод с русского) «Моя жизнь», а в Дайкманской библиотеке (сейчас она закрыта!) тоже Троцкого – «Русская революция». ... Мне ужасно хочется разобраться в своих политических позициях. Смешно ведь, по-моему, что в 18 лет человек еще не имеет ясности в собственных убеждениях...

Среда здесь социал-демократическая. Насквозь. Один-единственный раз у нас с г-ном Стрёмом призошла политическая стычка. Я лежала на полу, он на корточках сидел у камина и читал мне лекцию о Норвежской рабочей партии. И очень удивился, когда я спросила, что он имеет против коммунизма... Позднее я фактически толком не могла ему возразить. И за это еще и сегодня готова голову себе оторвать.

Если кому и стоит позавидовать, так это г-ну Стрёму. Знаешь, он так здорово рассуждает и такой довольный. Типично: когда некоторое время с ним разговаривать, «беседа» превращается в лекцию с его стороны. О чем бы ни шла речь... о норвежской селедке... или... о рабочем движении... Г-жа Стрём... считает «левых» чрезвычайно симпатичными. Впрочем, она боится молнии и грома... Но знаешь, наверно, такова общая характеристика счастливого брака – по уровню *она* вполтину ниже его. А ты можешь представить себе, что женщина вполне довольна, если *не* может смотреть на него снизу вверх.

Словом, когда я появляюсь на свет в следующий раз, то хотела бы родиться кем угодно, только не девочкой.

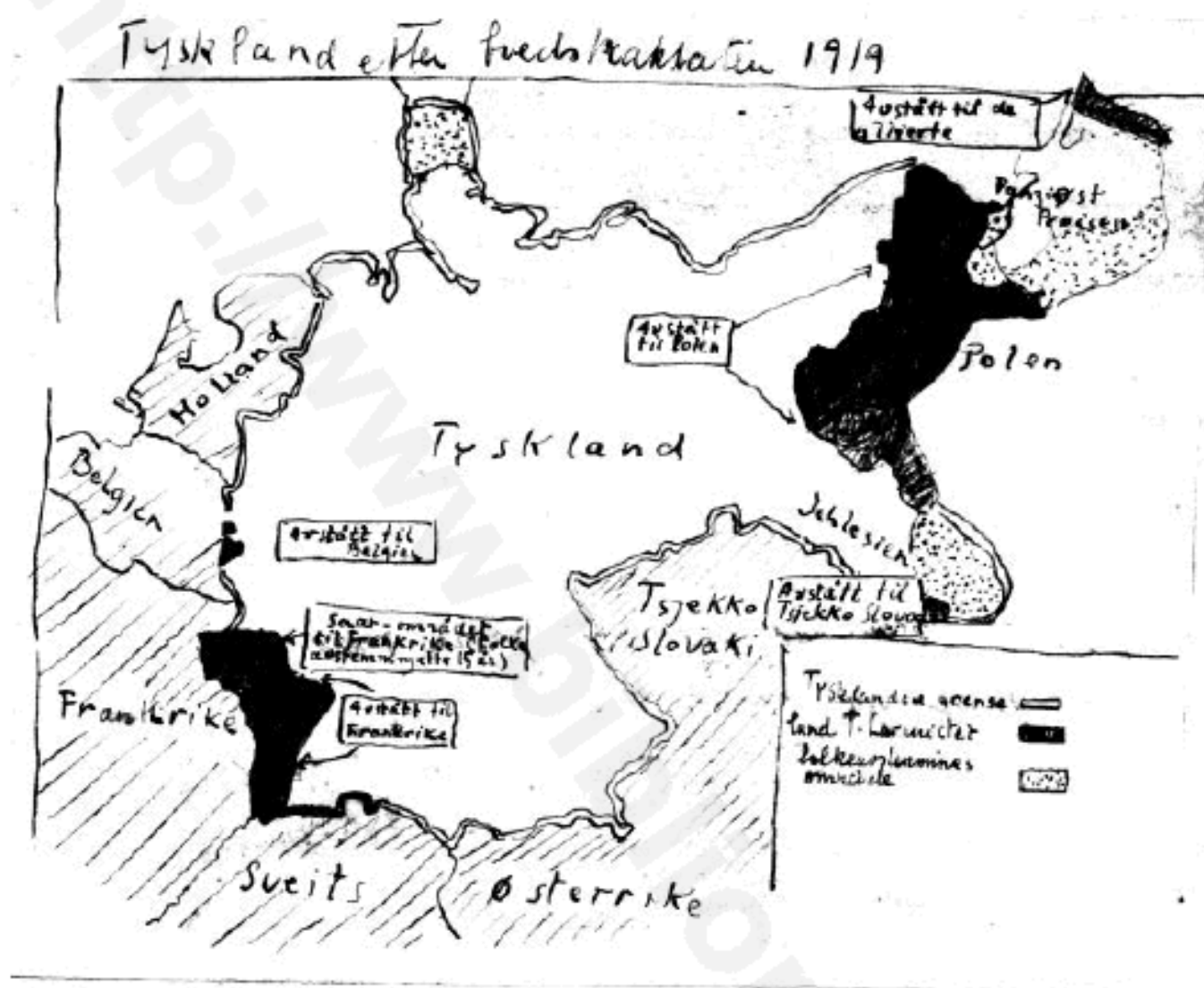
И все-таки даже я не хочу себе мужа, который смотрел бы на меня снизу вверх... Лучше всего... быть ровней.

Да, увидеться с Эйвинном не удастся. Ничего не попишешь. Ужасно глупо.

Знаешь, думаю, ты тоже сочтешь поразительным, с какой увлеченностью они тут устраивают праздники...или... может, одна я радуюсь так неистово... Я, видишь ли, привыкла радоваться любой мелочи. Вот сейчас радуюсь – летним каникулам. Лангесунну. Горам... Что будет потом, пока не знаю. Хотя могу ведь прямо сейчас начать радоваться Америке...

Прочитав эти строчки, ты, чего доброго, решишь, что я совсем поглупела, но это не так.

⁶⁹ Бернштейн Эдуард (1850–1932) – один из лидеров германской социал-демократии и Социалистического интернационала, идеолог реформизма.



Историческая карта Рут – «Германия по мирному договору 1919 г.». Озлобленность на этот договор создала почву для нацизма и требований Гитлера расширить территорию Германского рейха

Летние каникулы

ИЮНЬ–АВГУСТ 1939 г.

Вместе с семейством Стрём Рут отправляется в двухнедельное путешествие на автомобиле: г-н и г-жа Стрём, их дочка Турид, брат г-жи Стрём Тормод. Сперва путь лежит в летний домик в Лангесунне, где они проводят несколько дней. Рут ловит треску.

Затем они едут в Вестланн, на запад Норвегии. Упоминается Гейрангер, на почтовых открытках изображение Троллевой тропы в Ромсдале. Через фьорды переправляются паромом. Домой возвращаются через Гудбраннсдал и горы Рондане. Рут пишет матери: «В горах лежит снег. Норвегия прекрасна. Когда вернусь домой, расскажу тебе больше. Точнее: домой я не вернусь никогда».

В остальном летние записки Рут 1939 года повествуют о мимолетных встречах с какими-то кавалерами, а также об ожидании и о том, как прошел удавшийся день в столице вместе с мисс Мак-Лакло, сестриной учительницей гимнастики из Брайтона. В письмах часто идет речь о душевном разладе: с одной стороны, Рут хочется воссоединиться с семьей в Англии, с другой – попытаться следующей весной сдать в Норвегии на аттестат зрелости. Газетные новости грозят войной.

Д-р Виллигер, когда-то учивший Рут латыни, бежал в Лондон. Мать Ирма, «мамуля», уже в Англии, бабушка Анна едет туда же.



Рут Майер во время автомобильной поездки с Арне Стрёмом и его женой Дагмар, август 1939 г. Вместе с ними была мисс Мак-Лакло из Англии (вероятно, она и сделала снимок)

СРЕДА 28 ИЮНЯ 1939 г., ЛАНГЕСУНН

Между Лиллестрёмом и Лангесунном столько моря и солнца... грампластинок и т. д. В общем, я сижу в нашем летнем домике. Передо мной – городок Лангесунн и узкий лоскуток открытого моря. Слушай! Норвегия в самом деле чудесная страна. Я имею в виду ландшафт. Море здесь не такое, как на разных там пляжах, курортах и проч. Ты же знаешь: там везде один только песок. А здесь... здесь горы и лес, сплошная зелень... Да, вот бы тебе очутиться здесь. Сегодня мы ходили под парусом – замечательно. Не в открытом море, а среди великого множества островов, скалистых, поросших лесом. Прямо как в сказке. Лангесунн – крохотный прибрежный городок. Маленькие рыбацьи домишки и запах соленой воды: крепкие норвежцы с трубками в зубах и неперенные светловолосые ребята на улицах...

Здесь удивительно красиво... Вообще-то мы тут всего три дня, сегодня среда, а в субботу поедем дальше.

Я «люблю» море. Недавно мы ездили в одно место, где перед глазами распахивается широкий морской простор. Я сидела на скале, в бюстгальтере и трусах... волны накатывали на меня. Чудесно.

После этого нецивилизованного излияния о природных красотах Норвегии, о которых эти строки дали тебе превосходное представление, неприужденно продолжаю.

Должна тебе сказать, что я очень много рыбачу. Ловлю в первую очередь треску. Здорово. Позавчера мы встали в три часа ночи. Ты не поверишь, но ловить рыбу вовсе не скучно. Ха-ха! Мы поймали двадцать штук!.. Ощущение, когда рыба клюет... Ладно.

Здесь я вообще не читаю газет и потому живу беззаботно. Еще один плюс! Я «раскусила» г-на Стрёма. Никогда не сталкивалась с подобным тщеславием... Он знает *всё*. Знает, как ходить под парусом на любых лодках, как рыбачить, различает морских птиц, знает, как называется тот или иной цветок, какая завтра будет погода, как задействовать спиртовку и т. д. Разумеется, остальные тоже знают, но он хвастает своими многосторонними познаниями... Так, что слушать тошно. Постоянно сыплет философскими замечаниями, до крайности банальными... Преподносит свои утверждения на блюде... короче говоря, он начинает действовать мне на нервы, медленно, но верно... Тем не менее мне ужасно хорошо. Знаешь, вечером, когда я курю сигарету (!!!) и сижу вместе с Турид, Тоббенем, г-ном Стрёмом и т. д. ... все прекрасно. Да. Позволь здесь представить тебе Тоббена. Брата г-жи Стрём. Холостяка с несчастной любовью. Я не могу отделаться от мысли, что в нем гнездится тихая печаль. Он начинает лысеть... и спит как новорожденный младенец. Много смеется и без конца препирается с г-ном Стрёмом. Угощает меня сигаретами... а вообще смотрит на меня как на ма-

ленького ребенка. С Турид у меня отношения замечательные. По непонятным причинам меня ужасно трогает, прямо-таки до слез, когда г-н Стрём сажает Турид к себе на колени и ласкает ее... Я поневоле отвожу глаза... и чувствую себя совершенно несчастной.

Кстати, ты знаешь, что я рисую? Тихое заблуждение. Что делать?

Снаружи кричат чайки. Так здорово – слушать их. Чайки удивительные... Не будь я человеком... то хотела бы быть чайкой. (Оригинально, а?) А если б родилась мальчишкой, то стала бы матросом. Знаешь, иногда мне кажется, будто я все это видела раньше... чудесное норвежское взморье... иногда я думаю, что это сон.



Карандашный рисунок «Вечер», Лангесунн, 1939 г.

Помимо «природных» удовольствий я веду совершенно монашескую жизнь. Ха! Дошло до того, что любое существо мужского пола – целое событие, и я думаю: «Если ты хочешь, то хочу и я... давай!» Ну не трагично ли? Однако продолжаться так не может. Либо я в ближайшее время стану настоящей мужененавистницей, либо на горизонте возникнет желанный. Вчера дважды появлялись в поле зрения двое мужских существ. Один, возможно, заслуживал бы внимания. У него есть парусная лодка (см. выше), но он уже выбрал себе очаровательную норвежку, белокурую, смешливую, сияюще юную. Ну вот! Второй, брат вышеупомянутого, – круглощекий ма-
лыш.

Еще несколько поучительных наблюдений о норвежской душе. Ха! Ну не типично ли? Сегодня вечером у нас «праздник»! Разожжем костер, г-жа Стрём снует вокруг, следит, чтобы все вышло по-настоящему «уютно и приятно». Будем заводит патефон и вести бесперспективные разговоры. Вообще-то я слишком завишу от этих людей. Не могу как следует объяснить, но мне чересчур нравится, когда «можно» быть вместе с ними. Понимаешь? Норвежцы как таковые – люди очень симпатичные, и все же, еврейское лицо!.. Когда я вижу здесь еврейское лицо, меня ужасно тянет подойти прямо к этому человеку, расспросить его, поговорить с ним и проч.

Собственно, нет никакого смысла в одиночку шататься по Норвегии. Я ведь с ними только «из милости». Могу слушать патефон, рыбачить... Ну, иной раз я забываюсь и вправду верю, что я на своем месте. Потом приходит письмо от вас, или какой-нибудь еврей пересекает улицу... или г-н Стрём ласкает Турид... или кто-нибудь бросает мне резкое слово... Тогда я вмиг перестаю чувствовать себя своей.

Бог тебя благослови, Дитль. Нет, не люблю я слово «Бог».

Я – социалистка, с этим теперь все ясно! Совершенно ясно. А еще, по-моему, сионистка!

ПЯТНИЦА 30 ИЮНЯ 1939 г., ЛАНГЕСУНН

Через час едем дальше – в горы. Дитль, мне бы так хотелось очутиться в Англии... не хочу в войну быть в Норвегии. Пожалуйста! Думаешь, мне стоит написать в Лондон насчет визы? Я читала газеты. Напиши в Лиллестрём не откладывая.

Ты больше меня в курсе существующих обстоятельств, так что, по-видимому, для меня на самом деле будет правильно приехать в Англию, по причине войны и т. д. Стало быть, сделай все необходимое. Сходи в Лондоне в Coordinating Committee, Nursing Department, Bloomsbury House⁷⁰. Скажи, что ты сестра Рут Майер, которой они обещали визу. Что время пришло. Я ведь уже могла бы иметь визу. Все было решено, но я написала, что *сперва* хочу сдать на аттестат, а уж *потом* воспользоваться визой. Они ответили согласием. Дитль, по-моему, в случае войны абсолютно правильно поехать в Англию. Я ведь должна помочь. Норвегия сохранит нейтралитет. Я вправду пишу об этом совершенно спокойно. Делай, как считаешь нужным. Я очень хочу приехать.

⁷⁰ Координационный комитет, медицинский департамент, Блумсбери-хаус (англ.).

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА МАТЕРИ,
НАЧАЛО ИЮЛЯ 1939 г., РОНДАНЕ

Ха-ха! Ну разве не красиво? (Кстати, я как раз там и побывала. Неподалеку.) Вероятно, настроение у меня изрядно испортится, когда мы вдобавок прочтем газеты... Но *сейчас* мне весело.

В горах лежит снег. Норвегия прекрасна. Когда вернусь домой, расскажу тебе больше. То есть домой я не вернусь никогда. Я... н-да. Не хочу загадывать вперед. (Сегодня мы ночевали в палатке.)



Почтовая открытка из Рондане. Они ночевали в палатке поблизости от туристского приюта «Рондабликк»

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА МАТЕРИ,
ПЯТНИЦА 7 ИЮЛЯ 1939 г., РОНДАНЕ

Десять вечера.

Мы сидим в палатке, в почти что сизых горах, на высоте 1000 метров. Я здорово загорела, выкурила сигарету после сытного ужина, потом мы пели песни. Я так наелась, что просто стыд и срам. Снаружи туман. Горы здесь такие... их невозможно описать... Знаешь, я никогда не видела столько нового, *прелестного*, всего-то за четырнадцать дней... Фьорды, море, горы –

даже во сне такого не увидишь. Снег, водопады, небо. Иногда жить вправду здорово... Когда ты получишь эту открытку, я уже вернусь в Лиллестрём. Жалко! (Любопытный финал!)

Норвегия така-ая красивая. (Они снова запели.)



Почтовая открытка с Троллевой тропой, открытой в 1936 г.

СУББОТА 8 ИЮЛЯ 1939 г., РОНДАНЕ

Мы снова в Лангесунне, и г-н Стрём вдруг спросил: «Ты читала газету?.. Будет война». Я прочла, и у меня действительно возникло отчетливое впечатление, что будет война, и я совсем ошалела от страха... и написала тебе письмо.

Дитль, ведь если война начнется и застанет меня в Норвегии, я буду одним из несчастнейших людей на свете. Этот аргумент ты можешь при-

водить в первую очередь как свидетельство *против* моего пребывания в Норвегии. Дитль, сегодня я пишу *не* «в настроении». Вместе с твоим письмом я получила еще одно – официальное уведомление, что принята полноправной ученицей во Фрогнерскую школу. Сперва надо сдать экзамен по математике. Тогда в июне 1940-го смогу сдать на аттестат. И теперь я еще раз настоятельно спрашиваю тебя, и мамулю, и Пиппу: по-вашему, лучше мне остаться в Норвегии и сдать на аттестат? Я *весь* английский забыла, держу в руке листок, где даже оценки по-английскому нет. Кроме того, у меня возникло милое предчувствие, что в Америке мне придется подтвердить (это так называется?) свой аттестат. Очень смешно. Выходит, буду целый год мучиться с норвежским, новонорвежским и старонорвежским, а в Америке окажусь с аттестатом зрелости, не зная ни слова по-английски... красота, верно?!

Как видишь, Дитль, в сегодняшнем письме речь о том же, что и в предыдущем. Помогите мне, скажите, каково ваше мнение. Ответ как можно скорее, Дитль. Мне придется ради экзаменов брать частные уроки, и я хочу заранее знать, как обстоит дело. И еще: если я начну учиться и уже в этом году надо будет ехать в Америку, то вам придется ехать туда одним. Ясно ведь: если я останусь в Норвегии, то до получения аттестата!!! Если же я приеду в Англию, тогда мы отправимся в Америку все вместе, и у меня будет повод заранее зубрить английский... Мне кажется, львиная доля причин говорит в пользу Англии. Только подумать: надрываться, готовясь к норвежскому аттестату, до самого июня 1940-го. Но, дорогие мои, возможно, я очень ошибаюсь. Охотно выслушаю любые возражения. Дитль, я вообще не думаю о том, как соскучилась по вас, главное: что разумнее всего? Ясно одно: приеду в Англию и сразу устроюсь в больницу, медсестрой. По-твоему, это контраргумент? При всем желании не могу сказать, что мне *хочется* стать медсестрой.

Дитль, у тебя, наверно, голова кругом идет от моих долгих рассуждений. Но все-таки будь добра, подумай хорошенько, как лучше. Дитль, я правда иной раз часто думаю о тебе.

Дитль, поездка у нас вправду была чудесная. Изумительно. Норвегия – на редкость красивая страна. За эти недели я так много увидела. А сейчас все вспоминается как сон. Как книга с картинками. Знаешь, все время что-то новое, совсем-совсем новое. Фьорды – отнюдь не просто кусочки моря. Как подумаю, что уеду из Норвегии... Мне ведь та-а-ак нравятся норвежцы.

Сегодня рано утром я проснулась на высоте 1000 метров над уровнем моря. В палатке, снаружи моросил дождь. Туман вокруг, горы... желтоватые, синие и зеленые... да, всех цветов. Олений мох, лишайник, деревьев нет... Прямо в палатке сварили кофе (у норвежцев *мания* пить кофе!!!). На улице холодно. Г-н Стрём и Тоббен побрились (прелесть!). Еще мы пели. Песни у норвежцев

замечательные. (Григ – норвежец, ты, наверно, знаешь.) Да, вчера вечером в горах мы пели «Песню Сольвейг» (правильно: Сульвей) и другие песни. Я, между прочим, с большим удовольствием выкурила сигарету.

Мы были на Довре⁷¹ (помнишь, в «Пере Гюнте»). В Вестланне, сиречь на западном побережье, ходили по фьордам под парусом. Плывешь по волнам, а высоко над головой видишь горы, огромные, в снежных шапках и все такое. Долины тут ужасно узкие, знаешь, а горы жутко зубчатые, как... кружева... на самом верху... огромные водопады низвергаются с самых высоких вершин. Прямо-таки смешно.

Рассказ получается какой-то бессвязный, потому что я вижу перед собой картины! Картины, понимаешь? Когда я в первый раз увидела Гейрангер-фьорд, меня охватило совершенно нереальное ощущение. Вода во фьордах совсем-совсем спокойная, как стекло... а справа и слева могучие горы, в снегах. И над фьордами чайки. Тебе тоже нравятся крики чаек?

Что правда, то правда, Дитль: описывать природу – дело неблагодарное. Я отказываюсь... Однако ж я немного получше узнала норвежцев. Когда проезжаешь мимо, все машут вслед. Машут и смеются. По-норвежски смеются, если хочешь. Некоторые кричат «Хей!», это как «хэлло» по-английски.

Дитль, должна сказать тебе кое-что очень важное! Если я уступаю своей инертности, то останусь в Норвегии. А если хорошенько поразмыслю, встряхну себя, то мне становится ясно, что нужно ехать в Англию. Да, и я начинаю тосковать.

ЧЕТВЕРГ 13 ИЮЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Итак, серьезное дело с твоей учительницей гимнастики. Я могла бы встретиться с ней в воскресенье. Стало быть, в воскресенье 6 августа. Надену синий костюм, к тому же пальто у меня все равно нету! (костюм производит впечатление так называемой сдержанности и проч.), шелковые чулки, синие туфли. И, ясное дело, накрашу губы! Она придет к «Гранд-отелю» на Карл-Юхан. (Именно так.) Стало быть, на Карл-Юхан. Это главная ословская улица, которая ее, *разумеется*, разочарует. (Вообще, Осло начинаешь любить, только когда узнаешь этот город получше.) Я, конечно, с удовольствием покажу ей Осло. В смысле, то, что знаю сама! Чем она интересуется? Г-н Стрём намерен вместе со мной наметить так называемый план, который я ей предложу. Таким манером он выставит себя жутко важной персоной. Господи Боже мой! Кстати, знаешь, во время каникул г-н Стрём тщетно пытался воспитывать во мне практичность. То бишь хотел сделать из меня

⁷¹ Довре – горы в центральной части Норвегии.

человека, который замечает, что у машины разболталось колесо, и т. д.

У нас случился замечательный (и дружелюбный!) спор наверху, на Рондабликке, в 1000 метров над уровнем моря. Ха-ха! Мое развитие якобы продвигается в сторону «интеллектуального снобизма». Это заявление свидетельствует, что он вообще меня не знает. Но воображает, будто знает. На 100%... Кстати, единственное неприятное последствие «блаженного апреля» – он жутко боится тронуть мою руку, а я – его.

Думаю ли я про «актерство»? (хм-хм). В ящике с книгами на чердаке я лихорадочно ищу томик гётевских драм, чтобы попробовать читать. Хочу посмотреть, не пропал ли уже мой «талант». Я отвыкла думать, что лично я стану актрисой. Это опять же говорит о «моем обращении к подлинной жизни». Знаешь, в тот раз, когда я вслух читала в туалете «Смерть Дантона», я точно была великой актрисой. После я жутко охрипла, а г-жа Зингер была в полном отчаянии, потому что ей «было нужно» (замечательное выражение, верно?).

Дитль, смотрю на часы!.. Без четверти одиннадцать ночи. Я дрожу!

ПЯТНИЦА 28 ИЮЛЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Если ты когда-нибудь сомневалась в своей сестре как образце добродетели, можешь теперь пожалеть об этом. На улице сияет солнце, мое сердце, т. е. мое тело, мечтает о чистой солнечной ванне на крыше, а я все-таки сижу в комнате и пишу тебе... Дитль, Дитль, как все это кончится? Я уже три дня не занималась... умываюсь солнцем и хожу купаться. Сегодня, кстати, завела «купальные знакомства». С молодыми людьми по имени Херман и Оге: один веснушчатый и симпатичнее второго, но это не мешает нам завтра встретиться вновь. Я, так сказать, хочу наброситься на них обоих, со всем пылом, каким обладает та, что повенчана со своей девственностью.

Я уже рассказывала, что семейство Стрём не вмешивается в мои дела. Когда я в половине первого возвращаюсь из Осло, даже укоризны на лицах не прочтешь... Что я делаю в Осло до полпервого ночи?.. Видишь ли, это мой секрет... Я просто брожу по улицам... останавливаюсь у витрин магазинов... невесть сколько раз достаю кошелек, чтобы купить то или другое... но прихожу к выводу, что то и другое совершенно мне ни к чему. Еще я гуляю вдоль гавани, по берегу фьорда. Оклики всех этих светловолосых, долговязых норвежцев ободряют, т. е. поднимают настроение.

Собственно, я хотела много чего рассказать тебе про сегодняшний день. Но мозги не работают. Господи, ты же ничегошеньки не знаешь о Норвегии. Между прочим, здесь нет ни замков, ни деревень. Таких, как, напр., Зарошице. Нет! Здесь повсюду разбросаны хутора.



В общем, не как Зарошице. На каждом хуторе есть «надворная постройка» и «жилой дом». Надворная постройка – ярко-красная... Дитль, глупо с моей стороны рассказывать такую неинтересную чепуху. Норвегия тебе совершенно чужая, и я не знаю, с чего начать. Тебе интересно, что 30% населения живет в городах? Иными словами, выходит, что городов ужасно мало. В Осло всего-навсего 250 000 жителей. Учти, что касается мисс Мак-Лакло, то произошло изменение. К сожалению, я сказала г-же Стрём, что встречаюсь с одной из твоих учительниц. Она рассказала мужу... и ее благоверный... вызвался покатать гостью по Осло на машине. Типично... Я прямо вижу его перед собой... Я тоже поеду, но он говорит, что развлечения будут за его счет. По-английски он говорит так, что уши вянут, но тем не менее. Он намерен все *объяснить*. Такая у него страсть, одна из многих.

Типично мило, да? (Когда я за ужином спрашиваю, что за рыба у нас нынче, то делаю это, только чтобы порадовать его.)

Мне так неловко с г-ном и г-жой Стрём. Вообще-то я, наверно, рехнулась. Сейчас вдруг по-настоящему развеселилась. Хочу пойти на крышу, на террасу, и почитать книжку про Социалистический рабочий интернационал. Вчера я слушала Москву! И г-н Стрём *тоже*.

Низость, когда я завожусь и пишу о нем гадости. Он социалист, знаешь ли, больше демократ, чем социалист, вот и всё. Он не *голодный*, потому-то зачастую мне и не нравится. Я люблю голодных людей... по большому счету. Но, как я уже говорила, это не мешает мне завтра встретиться с двумя парнями.

Слушай, ты не могла бы попросить Пиппу навестить Виллигера? Дитль! Не будь несправедлива и не отказывай мне! Слушай, я опять тосковала по прошлому. Но все миновало, и тебе надо лишь попросить ее навестить его. Пускай расспросит насчет уроков английского. Скажет, что она, мол, беженка, тогда он много не заломит. Вдобавок она может просто уйти, не договариваясь об уроках. Пускай просто пойдет и *спросит*. Обо мне, разумеется, ни слова. Даже о том, что мы с ней знакомы.

Дитль, замечательный «эпизод» с г-ном Стрёмом. Верхняя губа у него дрожит, и он объявляет, что мне нельзя идти на крышу загорать. Я-де сижу там и привлекаю внимание. Вообще, я должна больше считаться с ним и с его женой, в смысле привлечения внимания. Боже мой!

Когда я уезжала из Германии, со мной в купе – я, наверно, говорила – ехал парень с Балкан. Я лежала, заложив руки под голову, и смотрела в пространство. И он сказал: «О чем ты (или вы) мечтаешь?.. о счастье?»

Вдруг вспомнилось, не знаю почему.

Знаешь, непременно должна тебе сказать, что норвежцы любят шведов. Это я, конечно, уже говорила. А ведь в 1905 году между норвежцами и шведами едва не началась война. Теперь же любой норвежец чуть ли не в восторг приходит, едва произнесешь слово «шведы». По-моему, норвежцы куда дружелюбнее шведов и смотрят на них снизу вверх.

Фу! Совершенно неинтересно! Пожалуйста, напиши поскорее.



Открытка изображает Стургате в Лиллестрёме, с видом на юг. Снимок сделан с церковной башни. «Точка – это я!» – пишет Рут и стрелкой указывает на дом, где она живет

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА, ЧЕТВЕРГ 3 АВГУСТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Беру реванш (иностранный слово!) и посылаю тебе фантастически сусальную открытку, изображающую Стургате, где я живу (stor = большой, главный; gate = улица). Сравни Брайтон (приморскую сторону) с Лиллестрёмом (Стургате). Здесь, милая моя, я брожу и т. д. и т. п. Как видишь, и зелени хватает, и неба. Вообще-то надо бы дать тебе подробное описание разных магазинов и других достопримечательностей. Где крестик, там я живу. Учти,

дитя мое, Лиллестрём для Норвегии город средней величины. На первом месте, понятно, Осло, Тронхейм, Берген... Жду письма и надеюсь, ты оценишь мою жертву – открытка стоит 35 эре.

ПЯТНИЦА 4 АВГУСТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

(Сегодня Гамсуну исполняется 80 лет!)

Дитль, так трогательно, что мой рисунок стоит у тебя на письменном столе... в самом деле... Как ты только терпишь в своей комнате такие ужасные картинки? На твоём месте я бы недолго думая все выкинула. Когда-то у меня тоже были подобные ужасные картинки, сейчас они все выброшены. Красота, дорогуша, красота...

Знаешь, я ведь вообще не говорю по-немецки! Но наш «сосед», некто по имени Гудбраннсен, иногда делает робкие попытки освежить свой немецкий, разговаривая со мной. Только после каждого слова он чуть не пять минут молчит, а это, по-моему, уже слишком. У меня мурашки начинают бегать по всему телу и т. д. (здорово, когда пишешь и т. д. всё начистоту?). Короче, я целыми днями говорю по-норвежски. Вначале я была прямо-таки гением... а теперь приближаюсь к пределу, если ты понимаешь. Определённый предел одолеть трудно... Свободно двигаться в языке – дело совсем другое. Я могу прочесть почти всё. Мне ужасно хочется покупать норвежские книги, но они такие дорогие, что это как бы шутка.

Расскажу еще о Норвегии. Сижу здесь и выступаю как живой учебник географии и истории, ну да это не беда. Во-первых, немножко географии и т. п. Постараюсь не нагонять на тебя скуку, а если ты *все же* заскучаешь, кашляни или что-нибудь в этом роде. Столица называется Осло!.. (открытие, да?). Осло – самый большой портовый город в Скандинавии. В гавани всегда много больших судов, и если долго смотришь на них, испытываешь неизъяснимое томление. Большею частью эти суда ходят в Англию, а не то в Америку и проч. Норвегия вообще имеет непомерно огромный торговый флот, занимает пятое место в мире после Англии, Германии, Японии, Америки... Знаешь, когда только-только приезжаешь в Норвегию, смотришь на нее как бы сверху вниз... с высоты центральноевропейской культуры и образования. Думаешь, будто эти норвежцы, шведы, датчане... фактически заслуживают нашего сочувствия! Полагаешь, будто они – этакая мелюзга, которой *тоже* хочется быть Европой. И даже не отдаешь себе в этом отчета. Поначалу, понятно, уверяешь, как высоко ценишь «свободный Север», но в глубине души считаешь себя выше. Лишь позже выясняется, что в отношении скандинавской культуры тебе надо смотреть не свысока, а скорей уж наоборот. Помню, я устыдилась, когда г-н Стрём рассказал, что норвежский

торговый флот пятый в мире по величине... Замечу, такого я не ожидала. И на первых порах так происходит со всем. Ты смеешься, когда здешний народ делает культ из Ибсена и Бьёрнсона, мы-то не делаем культа даже из Гёте и Шиллера. И поначалу, когда они рассуждают об Ибсене, думаем: что ж, почему бы и им не иметь фигуру на уровне наших великих...

Это – глубокое заблуждение, так и знай.

А виновато в таких «предрассудках» наше воспитание. Я имею в виду школьное образование. Честно говоря, в истории литературы мы не слышим ни о ком другом, кроме Гёте, Шиллера, Гейне, Грильпарцера⁷² и т. д. А в истории: Барбаросса, да Карлы, да Генрихи, да Французская революция и проч.

Когда же приезжаешь сюда, все тебе настолько в новинку, что ты автоматически ставишь себя на пьедестал и оттуда смотришь на всё... По-моему, скандинавская культура исключительна, уникальна, по крайней мере в Европе. Здесь в действительности есть демократия, свобода печати и все то, за что наши предки «героически» сражались во время разных революций. Знаешь, мне кажется, культуру страны лучше всего можно оценить по уровню газет. И я считаю, в этом смысле Норвегия не отстает от иных западных демократий. Вспомнить Германию, мелкие газеты вроде «Винер журнал» и других, которые за последние два года невесть сколько раз меняли свою политическую позицию.

Дитль, не пойму, как я могла написать столько чепухи, да еще и с мрачной серьезностью. Под конец аж с дрожью в голосе. Уфф! Немножко правды здесь есть, насчет первоначального чувства «превосходства». Знаешь, Норвегия огромная, больше Англии: 324 000 км². Когда же говоришь с норвежцем, она всегда *маленькая*: «У нас все хорошо, мы маленькая страна». Это оттого, что в Норвегии живут лишь 2,5 миллиона человек. Представляешь, примерно столько, сколько в Вене!! Смешно, правда?

Дитль, я закругляюсь! Ведь ты уже несколько раз кашляла, я слышала. Конец.

Мисс Мак-Лакло не дала о себе знать.

СУББОТА 5 АВГУСТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Без четверти девять, вечер.

Дитль, представь себе, я сижу за пишмашинкой и стараюсь переписать для Пиппы кое-что из Максима Горького (того и гляди, совсем изломаю машинку), как вдруг звонит телефон и... как думаешь кто?.. Мисс Мак-Лакло. Сперва слышу два перешептывающихся по-английски женских голоса. Потом из шепотов отчетливо выделяется один голос, и принадлежит он... точ-

⁷² Грильпарцер Франц (1791–1872) – австрийский драматург.

но, мисс Мак-Лакло. Она получила мое письмо и спрашивает, могу ли я приехать завтра утром в четверть десятого... я сказала: чуть попозже, – и теперь должна явиться в гостиницу «Регина» завтра к десяти утра. Заранее ужасно радуюсь. Но, к сожалению, так и не знаю, что ей показать и сумею ли вести разговор по-английски! Сейчас (кстати, в четверть десятого) со всем рвением засяду за английскую грамматику. По телефону я, к счастью, смогла сказать: «I am very glad to see you»⁷³. («Tomorrow»⁷⁴, увы, добавить забыла.) И не вспомнила, что надо сказать «goodbye». Она сказала: «It is very kind of you»⁷⁵. Ну, что скажешь сестре? Завтра надену костюм, подкрашу губы и... ладно. Пойду долбить английский.

Подробный отчет – про мисс Мак-Лакло, мое поведение и т. д. – в следующем письме. Доброй ночи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 АВГУСТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Та-ак, ты сгораешь от любопытства. Получила мою увлекательную открытку с Карл-Юхан и хочешь знать, как все было. В общем-то, было здорово. Английские леди втроем ждали меня в салоне гостиницы «Регина». Сперва мы с ними спустились к фьорду... и на пароме переправились на Бюгдё. Мисс Мак-Лакло в самом деле прелесть. На пароме я держалась поближе к ней. Радовалась, настроение было вообще хорошее. Правда. Она, конечно, с ханжеской миной спросила, хожу ли я в церковь, ходят ли в церковь люди, у которых я живу, но от этого настроение у меня лишь решительно улучшилось. Дважды она пробовала кое-что у меня выпытать. Но она не умеет толком скрыть свои задние мысли, и это свидетельствует о ее наивности. Ты послушай: во-первых, она спросила, хочешь ли ты стать артисткой... Стало быть, «мисс Гриффит хочет воспитать из Юдит артистку, для этого аттестата недостаточно, н-да... Юдит ведь согласна с этим... не так ли?»

Потом она спросила, собираешься ли ты с нами в Америку. У меня было ощущение, что мисс Гриффит наказала ей спросить. Кстати, знаешь, что еще она сказала? Нехорошо, мол, что ты так часто бывала (или бываешь) с Пиппой. Она же политическая беженка! Я очень осторожно поинтересовалась, считает ли она, что это может тебе повредить. Ну вот. На Бюгдё (там вроде как общественный парк) мы, стало быть, посетили Народный музей⁷⁶ (от-

⁷³ Очень рада увидеться с вами (англ.).

⁷⁴ Завтра (англ.).

⁷⁵ Очень любезно с вашей стороны (англ.).

⁷⁶ Норвежский народный музей расположен под открытым небом на полуострове Бюгдё; там представлено 170 памятников норвежской архитектуры разных веков, самая старая постройка – деревянная церковь из Гола (XIII в.); музей знакомит с жизнью и бытом норвежцев.

личный музей). Мне все время было очень весело, можешь себе представить. Я расспрашивала о тебе, о мисс Гриффит и всех-всех. Она сказала, ты работаешь с огромным рвением и вообще замечательная... Две другие дамы куда-то подевались, и обедали мы вдвоем. Рыба и фруктовый салат; если не считать нескольких пауз, разговор, по-моему, протекал вполне гладко. Я чувствовала себя такой самостоятельной. А что? Эмигрантка, одна в Норвегии, и ни секунды неуверенности или смущения. В самом деле, наконец-то какое-то событие, ты уже не ребенок, живешь в Норвегии самостоятельно (хотя, в конце концов, и зависимо и т. д.). Знаешь, я и ощущала себя совершенно как дома, как норвежка. Представь, я могла разговаривать с аборигенами по-норвежски. (Кстати, по-моему, я никогда в жизни не говорила по-норвежски лучше, чем вчера. Словно норвежский – мой родной язык.) Да, я могу рассказать еще много. На пароме было замечательно, Осло, множество судов на заднем плане, а рядом на лавочке человек, который знает тебя, видел тебя каждый-каждый день. На Бюгдэ очень красиво. Мы ходили меж крестьянских усадеб и восхищались чудесной деревянной церковью. Во время обеда мисс Мак-Лакло даже подарила мне початый флакон духов, и, хотя какая-то собачонка порвала мою оранжевую косынку, у нас царила полная идиллия. По радио передавали музыку, и я сообщила мисс Мак-Лакло, что ты любишь танцевать. Она удивилась. Между прочим, она мне рассказала, что мисс Гриффит очень тебе симпатизирует и старается, чтобы тебе было хорошо. Это она рассказала без задних мыслей, и я пришла к убеждению, что тебе надо очень хорошо относиться к мисс Гриффит. Конечно, то, что я тебе тут говорю, весьма обрывочно.

Можешь представить себе, как я запиналась. Понимаешь ведь, как я волновалась и как она мне тепло улыбалась. Я спросила, похожа ли я на тебя, и она ответила «yes». Только я, мол, намного худее (хм-хм!). Ну а после обеда мы вернулись в Осло. Я показала ей Карл-Юхан, Университет, Дворец, памятник Ибсену. Под конец купила для тебя очень хорошенький пустячок, она тебе его привезет. В четыре нас ждали возле гостиницы г-н Стрём с женой и машиной, и начался второй акт драмы... точнее сказать, трагикомедии. Слушай... ты не представляешь себе, как мне нравятся г-н и г-жа Стрём, когда приезжают незнакомые люди. Тогда я испытываю к ним такое нежное чувство... и все в них для меня ново. Понимаешь? Вот так было и вчера. У г-на Стрёма был новый воротничок и красный шелковый галстук, аккуратная прическа, и смущался он ужасно. Я заметила, что г-жа Стрём вообще-то красивая и так приятно смеется... Я непременно хотела попросить мисс Мак-Лакло рассказать тебе про них обоих и шепнула ей: «Very nice people!»⁷⁷ Г-н Стрём говорил по-английски... разумеется, но я не дала

⁷⁷ Очень милые люди! (англ.)

так просто оттеснить себя на задний план. Мне было ужасно весело, правда-правда. Мы уехали далеко из Осло. К очень красивому озеру (Тюри-фьорд). Мисс Мак-Лакло поминутно восклицала «beautiful, lovely»⁷⁸ и т. д., но была чрезвычайно мила. Вообрази, как замечательно, что она повидала Стрёмов! Мы вместе закусили... я выкурила сигарету... (классно). Мисс Мак-Лакло сделала большие глаза и сказала, что мисс Гриффит тебе такого не разрешает. Ну вот. Мы прогулялись пешком. Она восклицала, как тут все похоже на Шотландию. Мне было весело, правда-правда. И из-за всего этого я любила Норвегию и испытывала благодарность. Обратного ехали через Драммен (это город). К тому времени уже стемнело. Изредка мы останавливались, выходили из машины размяться... Я раз десять повторила ей, что говорю по-английски (без преувеличения) плохо, очень плохо.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 АВГУСТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Дядя Оскар очень любезно прислал мне несколько брошюр. Две маленькие тетрадки о преследованиях евреев, книжку «Погромы» и шесть газет с австрийскими новостями. Маленький томик Шиллера издательства «Реклам». Ужасно мило с его стороны, по-моему.

Ты вот не знаешь, а у меня завтра «свидание»! С одним немецким эмигрантом, коммунистом до потери сознания, из Гамбурга. Познакомилась я с ним случайно, была в Осло и заглянула в дом, где было какое-то объявление про Вену. Там шло собрание социалистической молодежи, и на последнюю крону я купила входной билет. Знаешь, там прямо-таки кишмя кишели венские венцы. Нашелся даже один, который знал папу... Забавно, что в среду у меня опять «свидание», с норвежцем, у памятника Вергеланну (знаешь его?). Он наверняка придет. А я даже не знаю, пойду или нет. Мне кажется, слегка чересчур связываться с ним вот так, очертя голову. Но я, видно, родилась гулящей. Кстати, не уверена, придет ли завтра немец. Но буду рада (если придет). Представляешь, впервые за полгода я *говорила* по-немецки. Одна эмигрантка из Южной Германии даже уверяла, что у меня акцент (хм-хм)...

Н-да, Дитль, заканчиваю. Завтра расскажу, далеко ли он зашел. И подробно его опишу. Между прочим, по-моему, Эйвинн (блаженные времена) в тыщу раз симпатичнее, хоть он и не коммунист, и не эмигрант...

Вот и настало 14 августа.

Дитль. Господи! В том, чтобы целый день зубрить математику, есть свои недостатки, скажу я тебе. Дело не в самой математике, просто целый день «намереваешься» учить математику, а вместо этого у тебя каждые полчаса

⁷⁸ Красиво, прелестно (англ.).

или четверть часа возникают всякие невероятные потребности. С первой же минуты приспичивает в туалет... потом я вдруг вспоминаю, что в правом углу distinguished платяного шкафа лежит дырявый шелковый чулок, который надо заштопать. Потом хочется танцевать, а как раз сейчас мне до смерти охота опять помучить тебя письмом со всякими приложениями. Сущая катастрофа. 23-го начинаются занятия в школе. А в среду надо ехать в Осло на свидание с несимпатичным типом. Господи. Между прочим, ночью мне приснился сон... где присутствовала и ты как предостерегающий голос. Ну-ну.

Г-жа Стрём сущий ангел. Заказала мне билеты на «Кукольный дом», на четверг. Я на седьмом небе. И это в то же время, когда эмигрантские суда постиг кошмар.

Что Гамсун фашист, мне известно. Гитлер телеграммой поздравил его с днем рождения. И все же непременно куплю «Голод» по-норвежски. Изумительная книга, в самом деле.

Пиши, расскажи, «в восторге» ли от меня мисс Мак-Лакло. Мной восхищаются так редко... что сей феномен заслуживает детального изучения.

В норвежской гимназии

АВГУСТ–ДЕКАБРЬ 1939 г.

Рут приняли во Фрогнерскую школу в Осло. Она будет учиться в последнем классе до выпускного экзамена на аттестат зрелости, по классической линии. Ей не нравится среди снобов-одноклассников, перемены она проводит в туалете, слывет чудакой.

Мировая война начинается 1 сентября вторжением германских войск на территорию Польши. Нападение СССР на Финляндию 30 ноября вызывает негодование в Норвегии и Швеции. Начинается сбор средств в помощь Финляндии.

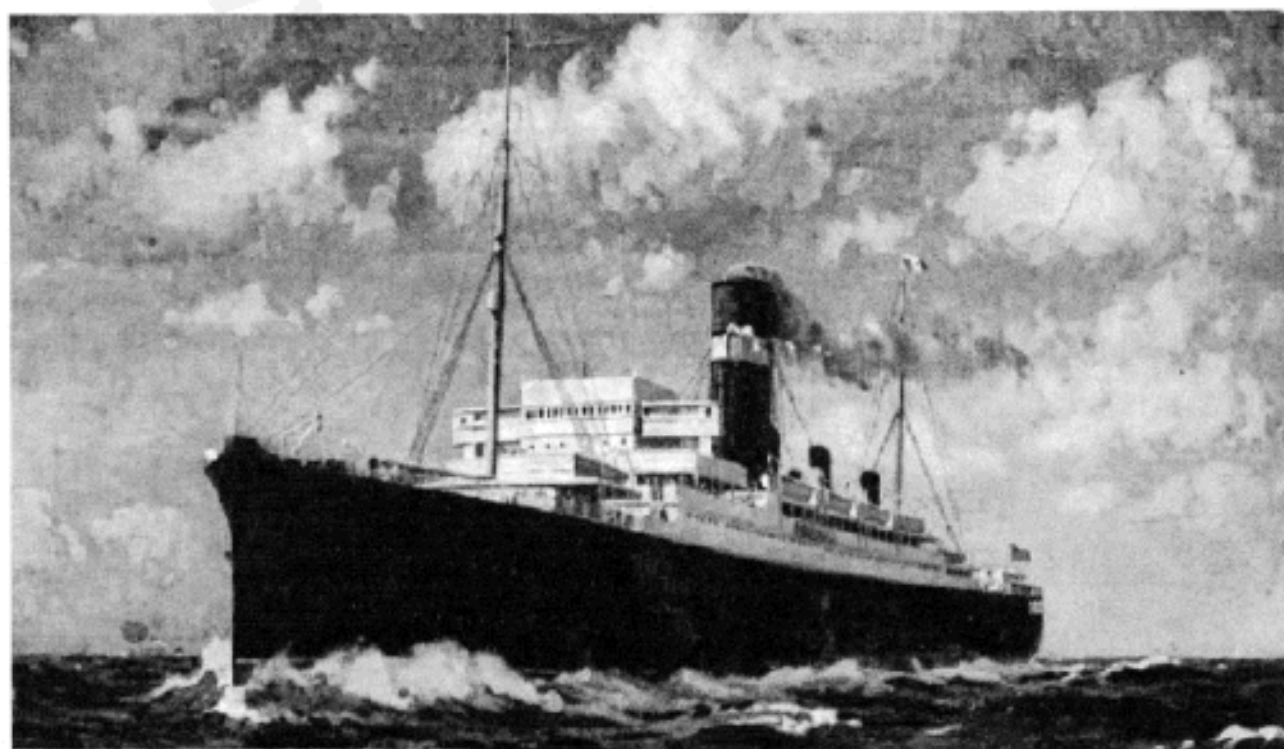
Рут все отчаяннее стремится получить необходимые визы. «Аффидэвит», которого она добивается, это документ, подтверждающий ее личность и необходимый для въезда в США, куда бежали многие еврейские друзья.

Отношения с приемной семьей в Лиллестрёме усложнились. Единственная радость – когда Тоббен, брат 2-жи Стрём, угощает ее сигаретой.

В Осло она любит ходить на пристань, смотреть на большие корабли. Воображает, как проберется зайцем на борт и приплывет в Англию. В письмах к сестре Юдит она рассуждает о литературе, политике, еврействе, частной жизни. Цитирует стихотворение Генриха Гейне «На чужбине». Тепло отзывается о прозе Льва Троцкого и диалогах Артура Шницлера.

Сообщение о гибели Хильдегард, общей венской подруги, пробуждает мысли о жертвенной гибели, самоубийстве, бессмысленной смерти.

Рут не уверена в исходе мировой войны.



ANCHOR-DONALDSON LINE—TURBINE TWIN-SCREW STEAMSHIP "ATHENIA"

Британское пассажирское судно «Атения» вышло из Глазго 1 сентября 1939 г. с 1100 пассажирами на борту, направляясь в канадский Монреаль. Свыше 300 пассажиров – американцы, спасавшиеся от войны. Англия и Франция объявили Германии войну 3 сентября в 11 часов 15 минут. После чего все германские подводные лодки получили приказ атаковать вражеские военные транспорты. Командир германской подлодки «U-30» по ошибке торпедировал «Атению». Это было первое торпедирование Второй мировой войны. Событие вызвало большой шум и было воспринято как провокация против нейтральных США. Находившаяся на борту судна Хильдегард Эрлих, одноклассница Юдит, погибла. Она направлялась в США, чтобы воссоединиться с родителями, выехавшими туда ранее

СУББОТА 26 АВГУСТА 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Да, сейчас пятничная ночь, через пять минут настанет суббота, и потому я могу с любопытством спросить: что принесет этот день? Да, Дитль, с одной стороны, находиться в нейтральной стране – преимущество, с другой же... Выглядит все мрачно, верно? Знаешь, будь я на 100% уверена, что Англия «победит». Но тебе не кажется, что шансов маловато?

Ты переживаешь все это совсем иначе, у вас там атмосфера пропитана нервозностью... я по Вене помню. Здесь тихо-спокойно. В газетах пишут о принимаемых экономических мерах, призывают население не терять хладнокровия в случае войны, министр иностранных дел выступает по радио с речью... Эдле, прислуге, снится война, и, по-моему, это очень дурной знак, потому что вообще-то она совсем не интересуется политикой и газет не читает.

Лично я на 99,9% уверена, что войны не миновать. И знаешь, лучше война, чем Мюнхен! Ведь война будет так или иначе, и мне кажется, чем раньше она начнется, тем лучше. Нам только надо сохранить ясность мысли и постараться по возможности уцелеть. Ведь стремятся же люди поскорее оставить позади операцию. Хотя, возможно, за эту операцию мы заплатим жизнью... ничего не поделаешь... только бы все это миновало... Вот приблизительно такова моя позиция.

Если Германия в итоге «выиграет» (странное слово для массового убийства), то мы, по крайней мере, будем знать, на каком свете находимся. Но нынешняя двусмысленность и неясность совершенно невыносимы... Дитль, я пишу, а может, война уже грянула. В том или ином уголке Данцига начинают стрелять... Я пишу об операциях и подобном вздоре... Боюсь, мы сами себя обманываем, и нынешняя война не имеет ничего общего с правами человека и проч., а отцы, сыновья, возлюбленные и т. д. погибнут всего-навсего ради того, чтобы Англия сохранила свои колонии и прочие лакомые куски.

Но сейчас не хочу больше думать об этом. Против Гитлера, против духа «Только для арийцев» необходимо... нет, я вправду не могу разделить военный энтузиазм... Снаружи какой-то бодряк насвистывает последний шлягер, и, к счастью, настала суббота... Знаешь, все-таки нужно постараться все это пережить. Сделаться крошечным – в смысле, внутренне, – подставлять врагу минимум поверхности, и тогда отделаешься минимальными повреждениями. Закрывать глаза, или нет: открыть глаза и пережить... *увидеть*.

Я нахожусь в нейтральной стране. И вы должны писать мне как можно чаще. Особенно если будет война. Или у меня возникнут огорчения. Дитль, ты ведь тоже пойдешь в Красный Крест? А мама – на военную службу? Берегите себя... а я должна зубрить латинские вокабулы. Завтра тут состоятся учения ПВО.

Доброй ночи. Мне пора писать латинские слова. Странно! Нет, глупо.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 СЕНТЯБРЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Дитль, до чего же я тоскую по людям. Хоть бы один, с кем можно поговорить. Неужели ты не понимаешь, что я так же одинока, как если бы жила в джунглях, на верхушке смоковницы. Знаешь, постепенно это действует на нервы. Стрёмы день ото дня словно бы отдаляются все дальше и дальше. За день обмениваюсь с ними в среднем десятком слов. Живи я одна, еще бы куда ни шло, но тенью ходить подле других!

В школе! Знаешь, нам строго-настрого велено в перемены выходить на школьный двор. Я прячусь в туалете, чтобы не слоняться там в одиночестве... И конечно же нет никакой надежды, что ситуация изменится. В сущности, это не имеет значения. Ведь у меня есть книги. Троцкий, знаешь ли!

Опасно только очень уж «загордиться». Вообще-то чудо, что я пишу тебе об этом... В конечном счете не *хочется* никого впускать к себе в душу.

Довольно об этом... Вчера я гуляла по берегу Осло-фьорда. Воображала, как было бы, если б я пробралась на борт английского судна и уплыла в Англию. Фу, вот чепуха!

Кстати, должна рассказать тебе кое-что «забавное». Вчера мы сидели за столом и ужинали. Турид прижимается к отцу и говорит мне, с этакой гордо-злорадной улыбочкой: «Э-э, это не твой папа, вот!» Кажется, я в бешенстве – чистейшим образом.

Была бы я мужчиной!.. Я думала вот о чем: я бы незамедлительно «отдала свою жизнь», если б таким манером могла защитить какое-нибудь английское торговое судно от торпед. Без раздумий отдала бы жизнь, если б тем самым могла отменить в Норвегии рационирование бензина. Почему? Да потому, что английское торговое судно по большому счету куда ценнее, чем некая Рут Майер... А теперь главное. Если б мне предоставили выбор: либо будет потоплено английское торговое судно, либо ты провалишься по математике, – то я бы сказала: по мне, так пусть потопят англичанина, лишь бы я сдала математику.

Знаешь, печально все-таки, что даже эмиграция не избавляет от математики. Математика преследует меня чуть ли не с рождения. До самой Норвегии. 7 октября у меня экзамен. Все крики боли варшавского населения смолкают перед лицом этого факта... Чушь!

Дитль, ты, конечно, тоже слегка одурманена военным психозом. Я не радуюсь первому дню мира. Я боюсь этого дня. И не верю, что эта война станет последней. Мне хочется одного – убраться из Европы... Возможно ли это, во время войны? И еще: Пиппа тоже поедет? Будь добра, ответь на вопрос, как сейчас обстоит с въездом в США. Вам наверняка неясно, что мне *так или иначе* нужно уехать отсюда в июне 1940-го. Я не могу и не хочу больше оставаться здесь. Во всяком случае, не могу ждать до конца войны.

P.S. Если хочешь, напиши вместе с мамулей поздравительную открытку г-ну Стрёму (1 октября у него день рождения). 7 октября скрестите за меня пальцы на счастье.

Ты знаешь, что вчера скончался Зигмунд Фрейд?

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ОКТЯБРЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Вечер, четверть десятого.

Дитль, есть одна просьба: не упоминай в письмах о бомбежках. Тебе легко смеяться над тем, что ты можешь погибнуть, ты смотришь на это в большом масштабе, не то что я... Н-да... «Роли меняются»... Раньше ты испуганно пищала: «Рут... не старайся веселиться!»

Знаешь, что приводит меня в бешенство: я не получаю денег! Ужасное ощущение – ходить с пустым кошельком! Знаешь, когда получаю «свои» пять крон, настроение у меня замечательное, я готова погладить деньги, приласкать их... поцеловать. Не потому, что люблю деньги. Фу! («Фу» по-норвежски.) Нет. В этих пяти кронах заключены маленькие радости. Я покупаю открытку с красивой репродукцией французской живописи. Покупаю ок. двух граммов шоколада. Могу тихонько мечтательно сказать: если захочу, могу сейчас купить сигарету.

Дитль, кстати, о сигаретах: вчера у г-на Стрёма был день рождения. Ну, ясное дело, большая компания, в типично норвежском духе. Стеариновые свечи на столе и еда... стол ломился от яств (несмотря на карточную систему). Да. Тоббен тоже был. Брат г-жи Стрём. Знаешь, он единственный, с кем я изредка ощущаю некоторую близость. А когда бывает это «изредка»? Ответ: когда он угощает меня сигаретами. И делает это таким открытым... приглашающим жестом. И смотрит прямо в глаза. Тогда я испытываю какую-то детскую радость... Каждый раз, когда он приходит, я сперва делаю ему тайные знаки (как бы курю), и он этим своим приглашающим жестом предлагает мне «Блу мастер» или «Фриско». Потом достает спички, подносит мне огонь, и я... затягиваюсь... и в те немногие минуты, когда стою и курю, я фактически... довольна... фактически.

Знаешь, собственно, со мной все более-менее в порядке... более-менее. Я – свободный человек, хотя г-н Стрём и рекомендовал мне в 11 часов гасить свет. Господи... странно, я так свободна, так естественна, что иной раз мечтаю, чтоб кто-нибудь мне сказал: «Рут, ты должна быть дома не позже одиннадцати».

Господи Боже мой! Репутация!.. несколько недель назад... (дней? месяцев? лет?) я очутилась в сомнительной пивной. Одни мужчины. Настроение у меня было препаршивое, плевать на все, и я подумала: ну и ладно! Сделала

вид, будто ничего не понимаю, и заказала лимонад. А официант намекнул, что я должна покинуть заведение. На минутку я вообразила, будто они приняли меня за шлюху. Обалдеть, да?

Дитль, это Пиппа внушила тебе отвращение к троцкистам? Может, тебя больше воодушевляют сталинисты? Если вообще уместно в связи с политикой употребить слово «предательство», то Сталин предал социализм. Но за Сталиным стоит весь русский народ, и это хуже всего. В Англии народу пускают пыль в глаза насчет России. Смотри скептически. Совершенно неправдоподобно (точнее, малоправдоподобно), чтобы Россия заключила с Германией военный альянс. Ну-ну... Г-н Стрём тоже мог бы, конечно, это предвидеть. (Между прочим, г-н Стрём, увы, на 200% глупее, чем я думала. Он кое-что сказал о русской революции!..) Да, Дитль... думаю, тебе стоит почитать Троцкого... вместо Конрада⁷⁹. А то, что Сталин зол на него, по моему, как раз дает повод высоко его ценить. Троцкий – *социалист*, верящий в мировую революцию... в нее просто надо верить. А какое у него перо! Да, пером он владеет прекрасно. Читаешь и по-детски радуешься каждой фразе. Ее звучности, широте, интеллекту. У него талант характеризовать людей по их поведению. Одной-единственной фразой он способен уничтожить любое «славное» имя. Глава «Приезд Лессинга в Россию (Петербург)» так... увлекательна... что все время дух захватывает. Тебе необходимо прочесть Троцкого.

Еще ты говоришь, что ты не сионистка. Дитль, я тебе не верю. Вообще-то я чую здесь влияние Пиппы. С изучением загадки, не противоречит ли социализм сионизму, я уже покончила. Нет, Дитль, я твердо убеждена, что дом нынешних евреев только в Палестине.

Я «ассимилянтка», коль скоро мою ассимиляцию умеют оценить, коль скоро понимают, что приспособляюсь я не из трусости, я просто считаю это правильным, горжусь и сознаю собственное своеобразие, сознаю, что я еврейка. Но чтобы кто-нибудь оценил *жертву*, какую мы приносим своей ассимиляцией, такого ты даже на Луне не найдешь.

Сегодня – не побоюсь резкого слова – говорить об ассимиляции недостойно. Это трагично – и несвоевременно, если хочешь. Еврей не может – в то время, когда в Германии, а *также*, в минимальном масштабе, и в Норвегии процветает расовая ненависть, – в такое время нельзя закрывать глаза и говорить: я хочу ассимилироваться, пусть даже другие плюют на меня и обзывают жидом. Вот что ты должна понять!

Ассимилироваться как можно скорее, лишь бы наконец перестать быть евреем, – вот это я называю недостойным.

Дитль, не так давно я вдруг подумала, что, умерев, перестаешь быть евре-

⁷⁹ Конрад Джозеф (1857–1924) – английский писатель, по происхождению поляк.

ем. Я просто онемела. Можешь себе представить?

Да, Дитль. Поздно уже. Передо мной лежит письмо. От сигарет через Троцкого до сионизма. И войны... н-да... война... Ответь на мой вопрос, есть ли перспектива уехать в Америку во время войны. Для меня это очень-очень важно.

Да, Расскажи мне еще об английской боеготовности в Лондоне во время войны, здесь жутко много об этом говорят. Кстати, как выглядит Лондон? Разница Париж/Лондон?! Как держатся англичане – нервозно, возбужденно, «героически», восторженно, смиренно? Ведь новейшей задачей будет – уничтожить Гитлера. Думаю, задача несколько завышена... слишком завышена... чтобы ее выполнить. Не верится мне, что Англия победит. Между прочим, ты не думала о том, что мы *сможем* вернуться в Германию, если Англия победит. Нет, Дитль, я не верю в победу англичан, но *хочу* поверить.

ВТОРНИК 17 ОКТЯБРЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Дорогая Дитль. Всегда одно и то же обращение, одни и те же буквы. На улице темно, на письменном столе беспорядок...

Нынче я аккурат в настроении. Ведь время тоже слегка отдалилось от меня, с тех пор как передо мной нет твоих писем. Слушай, грустно и странно: когда я не получаю твоих писем, ты кажешься мне такой далекой, словно и мы – чужие люди. Тогда я отчетливо чувствую, что связывают нас лишь эти строчки, какие мы время от времени пишем друг другу.

Что я знаю о тебе? Невероятно мало. Гляжу на твои фотографии, и порой ты кажешься мне такой чужой. Нет, Дитль, не верится, что мы жили вместе, что я каждый вечер перед сном могла любоваться твоим животом.

Вообще-то мне нравится не только твой красивый... ну да... живот. Есть и другие вещи. Понимаешь, в этой сфере со мной обстоит вот так: примерно месяц я мысленно охотилась на парней и теперь превратилась в мужене-навистницу. То есть хожу и делаю вид, будто я из тех, кто питается книгами, и уже выработала определенный навык, «изображая незаурядность». Куда это приведет, объяснять не требуется. Но, как я уже говорила, «золотые годы» приблизятся, а я вовсе даже и не выступаю в определенной области, а потому знаю, к чему все идет. Я не шучу! Не знаю, есть ли что-то более отвратительное, чем нетронутое тело... Тебе неприятно. И, по-твоему, я выражаюсь напыщенно. Конечно, ты права. Все это потому, что по-немецки я могу только *писать*, а не говорить. Ты еще не в состоянии понять, что это означает. Знаешь, я нашла прелестное стихотворение Гейне, погоди, сейчас спишу его тебе, сможешь заучить наизусть.

*И я когда-то знал край родимый...
Как светел он!
Там рожи шумны, фиалки сини...
То был лишь сон!*

*Я слышал звуки родного слова
Со всех сторон...
Уста родные «люблю» шептали...
То был лишь сон!⁸⁰*



*На Дёблинском кладбище в Вене похоронен д-р Людвиг Майер (1882–1933). Рельеф с мотивом смерти на надгробии выполнен скульптором Антоном Ханаком. Позднее там же была похоронена его жена Ирма Майер (1895–1964). Кроме того, на памятнике выбито: *In memoriam Ruth Maier*⁸¹*

Хорошо, да? Лучше, чем хорошо. А теперь Гейне лежит на Монмартре, а папа – на Дёблинском кладбище. Вот так-то.

Между прочим, с тех пор как приехала сюда, я написала четыре-пять стихотворений. Вообще-то, по-моему, безвкусно – писать стихи, если не име-

⁸⁰ Перевод М. Михайлова.

⁸¹ Памяти Рут Майер (лат.).

ешь таланта. Пятнаешь себя. Знаешь, как говорил Гёте: либо стихотворение должно быть выдающимся, либо не должно существовать. Цитирую не дословно, по смыслу.

Всем известный вопрос: чего мы добились, что сделали, что совершили в последнее время? Мы мотались туда-сюда между Лиллестрёмом и Осло, учили латинские вокабулы, читали газеты и в итоге сообразили, что пришла осень. Осень в Норвегии... Знаешь, порой, когда выхожу утром за дверь и прохладный воздух бьет в лицо, я чувствую: вот так было, когда я сюда приехала. Стояла зима, всё близко, все добры... Нет, ты не понимаешь, о чем я. Словом, порой я (под воздействием погоды) ощущаю дуновение настроения первых дней в Норвегии. В иные дни меня аж в дрожь бросало при мысли, что однажды я отсюда уеду. Тогда я чувствовала себя здесь дома. А теперь?

Позавчера случилась примечательная стычка с г-ном Стрёмом. Он спросил, почему я никак не могу здесь освоиться. Почему избегаю его. Я отвечала как могла. Результат – общаться стало чуть-чуть полегче. Можно немного более открыто смеяться, когда я разговариваю с г-жой Стрём. У г-жи Стрём есть прелестная способность выводить меня из игры. Причем незаметно.

Кстати, Дитль, ты получила мое письмо? То, где я признаюсь в сионизме, которому твердо привержена.

Дитль, рассказывать особо не о чем. Что листья пожелтели, ты и так знаешь. И что мне скоро пойдет двадцатый год, тоже знаешь. Между прочим, примечательное изменение. Раньше я всегда твердила себе: Господи, какая же я старая! А теперь говорю: мне же всего-навсего девятнадцать, я еще молода. Недавно в поезде, глядя на всех этих крепких, сильных норвежцев, рослых, с открытым взглядом, я почувствовала, что в Америке буду по ним скучать. *А вот в данный момент* тоскую по малорослым евреям с горбатыми носами и задумчивым взглядом.

Знаешь, вообще-то я живу за городом. Это становится ясно, когда я сижу в поезде и мимо скользят деревья, туман, небо и все прочее. Тогда я ужасно рада и опять думаю, что и *об этом* тоже буду тосковать. Знаешь, первое, что бросилось мне в глаза по приезде в Норвегию, было чистое, ясное небо.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

При твоей невероятной проницательности ты и на сей раз обнаруживаешь, что это письмо [почтовый штемпель 28 октября. – Я.Э.В.] отправлено гораздо позже, чем написано. По той простой причине, что у меня нет денег! Т. е. как раз сейчас денег у меня случайно очень даже много: 34 кроны!!! От мамы. Но эти деньги я не трачу на марки. На них я куплю себе что-нибудь

шикарное. Пару туфель, или блузку, или сумку, или... Троцкого.

Да, насчет Троцкого. Господи, что тебе там наговорила Пиппа? Ты непременно должна мне рассказать. Я придерживаюсь следующих фактов: во-первых, Троцкий был лучшим другом Ленина и доверенным сотрудником. Сталин и К° тоже высоко ценят Ленина. А Троцкий руководил октябрьским восстанием и создал Красную армию. И он якобы предал революцию?.. Дитль, между прочим, настоятельно рекомендую тебе заняться историей. Не римлянами и греками, а современностью. Сейчас я читаю книгу Эдуарда Бенеша о создании Чехословакии.

Мое будущее! Н-да, оно *вправду* примечательно... знаешь, по-моему, «будущее» явится на свет уродом. «Будущее» – дурацкое слово... все одновременно есть будущее и настоящее. Ладно-ладно, вздор и чепуха. Одно несомненно: после аттестата я должна отсюда уехать!!! Только не верится мне, что вы сумеете добыть для меня английскую визу, а потому прошу вас разделить американский аффидэвит так, чтобы я могла выехать в США одна. Пожалуйста, Дитль, не думай, будто я пишу это «в настроении». По некотором размышлении ты придешь к выводу, что мои соображения единственно правильные... Здесь, в Норвегии, никто не намерен позаботиться о моем образовании. Изначально речь шла только о получении аттестата зрелости. После этого я должна исчезнуть. Один маленький эпизод четко расставил точки над «i»: если я гарантирую, что после получения аттестата покину Норвегию, мне не понадобится сдавать выпускной экзамен по новонорвежскому (этот ужасный второй норвежский язык!). Если не гарантирую, надо сдавать новонорвежский. Г-н Стрём *хочет*, чтобы я гарантировала. А г-жа Стрём говорит: тогда есть почти 100-процентная уверенность, что после аттестата Рут уедет.

Короче, Дитль, ты понимаешь, в каком я положении. Так что будь добра, сделай все, чтобы я получила здесь мой аффидэвит. Понятно, очень стыдно приехать в США, не имея ни малейшего понятия о практической работе. Думаю к Рождеству (когда сдам химию и географию) попросить у г-на Стрёма разрешения и пойти на курсы машинописи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Случившееся с Хильдегард ужасно. Уму непостижимо, ведь она принадлежала к нашему поколению. В один миг мир начинает шататься, и я тщетно ищу опоры. С тобой тоже так, верно? До чего бессмысленно. Мне ужасно жаль Хильдегард. Не потому, что ее нет в живых, а потому, что в будущем никто о ней и не вспомнит и ни одно ее стремление, ни одна мечта не сбылись.

THE ATHENIA

LIST OF 93 LOST PASSENGERS

50 BRITISH AND 30 AMERICANS

The Donaldson Atlantic Line last night issued a list of 93 passengers of the torpedoed liner *Athenia*, who are now officially reported missing. The list includes 50 British subjects, 30 United States citizens, seven Polish, and four German. Previously 19 members of the crew had been reported missing, so the total casualty list is now 112.

The following are the names:—

William ALLAN, British, last abode Northfield, Queen Street, Alfoa; Georgina ALLAN, 51, domestic, British, West Croydon.
 Harriet BARRINGTON, 52, housewife, British, Sandfield Road, Gateacre, Liverpool; John BERNARD, 23, student, U.S.; Peter BIRCHALL, 49, librarian, U.S., Hawberry Street, Bedford; Nancy BISHOP, 36, housewife, British, care of T. Eaton Company, Regent Street, London; Frederick BLAIR, 60, musician, British, born Chatham (Ont.), Savoy Court Hotel, Portman Square, London; Herbert BOWEN, 79, retired, U.S., born Birmingham, England, Fairview Road, Dartmouth; Henry BRAUNSCHEIDER, 33, lawyer, German, care of Cunard White Star, Liverpool; Elizabeth BROOKES, 60, widow, British, care of Scots, Hishelm Street, Port Glasgow; William BROWN, 60, teacher, U.S., born Scotland, care of McMorland, Belmont, North Hill Road, Ogunock; Sarah BURDETT, 51, housewife, U.S., Broughton Astley, By Leicester; Helen BURROWS, 50, housewife, British, care of Coleman, York Lodge, Antrim.
 E. CAMPBELL, 37, teacher, U.S., Ederston Road, Peebles; Helen CHALMERS, 46, table maid, British, Restalrig Circus, Edinburgh; Isabella CHALMERS, 51, nurse, British, Edinburgh, same address.
 Mrs May DUNCAN, 30, nurse, British, care of Davidson, Croftall Terrace, Edinburgh.
 Hildegard EHRLICH, 16, German, Woodgrange Drive, Theodos Bay.
 Arthur FISHER, 16, U.S., care of R. Hancock, Tunbridge Wells; Mrs. A. B. FLETCHER, British, Kildare Terrace, Baywater, London; Helen FLOWER, 45, housewife, British, Craner Villas Road, Wandsworth, London; Alexandra FORBES, 52, housewife, British, last address Frederick Street, Aberdeen; Muriel FRANKS, 54, secretary, British, Cockspur Street, London.
 Anna GAGN, 13, schoolgirl, Polish; Cora GILROY, 41, housewife, U.S., Lockend Road, Leith; John GILROY, 7, U.S., born Detroit (Mich.), same address; Martha GOODARD, 52, housewife, British, Oldham Road, Manchester; Sarah GOODMAN, 31, Secretary, British, Northfield Road, London, N.; Nellie GRAHAM, 34, housewife, British, Collier Street, Cambois; George GRAHAM, 26, U.S., same address.
 Helen HARMAN, 37, housewife, U.S., Berebriggs, Strathaven; Sara B. HARPER, 60, housewife, Belfast; Robert HARPER, husband, last address Willowholme Drive, Belfast; Ellen HARRINGTON, 63, housewife, U.S., c/o Cunard White Star, Limited, Liverpool; Robert HARRIS, 71, U.S., last address, York Buildings, Adelphi, London; James HASLET, 41, butler, British, Grantown-on-Spey, Morayshire; Margaret HASLET, 38, housemaid, British, same address; Albert HART, 60, accountant, British, care of Miss A. Hart, University Avenue, Belfast; Margaret HAYWORTH, 9, schoolgirl, British (born Hamilton, Ont.), Primrose Hill Drive, Aberdeen; Margaret HOGG, 52, housewife, British, care of Tough, Dundee Terrace, Edinburgh; Mary HODGE, 49, widow, British, care of Thos. Cook and Sons, Glasgow; Jean Gwen HOLMES, 6, schoolgirl, British (born Winnipeg), Inverkip Street, Greenock; Ellen HOWLAND, 65, U.S., care of Raymond Whitcombe and Co., London, S.W.; Dorothy HUTCHINGS, 39, teacher, British, Peel Street, Glasgow.
 George JAMES, 41, advertising executive, British, care of Stewart, Glenmackie Terrace, Dundee.
 Matilda JACOB, 24, housewife, British, English Street, Shieldmuir, Wishaw; Emily JAMES, 38, British, care of E. Pullen, Preston Park Avenue, Brighton.
 Lottie KURSTLICKER, interpreter, German, Grege Russell Street, London; Eudokia KUCHARCZUK, 40,

В списке 112 погибших на «Атении» числятся четыре человека из Германского рейха, среди них Хильдегард Эрлих, 16 лет

Возможно, в связи с этим становишься работницей *жизни*. Когда стою у детской коляски и гляжу на крошечного младенца, я чту жизнь, или когда дерево в цвету. Но в повседневности это благоговение утрачивается. Только когда Хильдегард умерла (когда ей пришлось, должно было, выпало умереть), вдруг осознаешь, что значит – *жить*! Я инстинктивно тотчас посмотрела в зеркало. Ох, какой чужой кажешься сама себе!

Тем не менее я бы охотно умерла ради того или иного дела. Слушай, наверно, я говорю так, потому что сижу в Норвегии, потому что нет ни малейшего риска, что Лиллестрём будут бомбить... и все же: в глубине души я не испытываю сомнений, говоря: по-моему, наш долг – пасть на Западном фронте. Да, Дитль, это наш долг. Как бы ты ни ценила жизнь, ты не можешь не признать, что бывают минуты, когда стоит пожертвовать жизнью. Это не фразерство...

Знаешь, я тут долго *играла* мыслью о самоубийстве. Все *вправду* было бессмысленно. А сейчас я уже рада, когда просто смотрю на небо, когда осень, опадают листья и т. д.

В последнее время я приобрела навык «деперсонификации» себя самой. Рассматриваю себя как совершенно постороннее лицо, витаю, так сказать, вне себя.

Только что ходила за молоком и сливками и оторвалась от своих глубокомысленных рассуждений.

Знаешь, я таки купила Троцкого! Стало быть, позднее у тебя будет возможность прочитать его. Обошелся он мне в 25 крон (1 ½ фунта). Зато книга (в двух томах) стоит у меня в комнате, я могу погладить ее, полистать. Она моя... Сперва я хотела купить обалденные коричневые туфли, но в конце концов все же купила Троцкого. По-английски тоже читаю, всякие «просветительские брошюры». Стоят они недорого, а тем не менее – хоть и с изрядным опозданием – обеспечивают на целый месяц английским материалом для чтения. Сейчас читаю «The Jewish Problem»⁸². Могу прислать тебе «The Treaty of Versailles»⁸³ (весьма лживо!).

На сей раз посылаю тебе сигарету. Надеюсь, дойдет. Выкури украдкой. Курить украдкой классно.

ВТОРНИК 7 НОЯБРЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

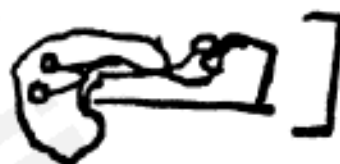
Я действительно думаю, что дядю Эмиля выслали в Польшу. Это ужасно. Такая беда. Здешний народ понятия об этом не имеет. Они ходят в гости, поливают цветы, едят раков и омаров. Подумай о них обо всех по очере-

⁸² «Еврейский вопрос» (англ.).

⁸³ «Версальский договор» (англ.).

ди, они ведь так много делают. Знаешь, когда я читаю разные эмигрантские письма, которые попадают мне в руки!.. Все так крепко связаны друг с другом. Самые умные не находят других слов, пишут: я уверен, скоро мы опять встретимся, держись! и т. д. и т. п.

Довольно об этом... Надо тебе сказать, сегодня выпал снег. Ты ведь знаешь, каково это, когда утром смотришь в окно, а там белым-бело. Меня охватывает легкое нетерпение, когда я смотрю наружу и вижу, как блестят крыши. Скоро будет северное сияние. Все по-старому. Понимаешь? Время идет! Ты права: такое ощущение, будто не успел встать, а уже пора ложиться, день прошел. Меня жутко злит, что надо ложиться спать. Иногда я бросаюсь на кровать прямо в одежде и засыпаю. Кстати, кроватью мое спальное место можно назвать лишь с большой натяжкой. «Лож» до невозможности узенькое и жесткое! Без матраса, деревяшка.



Ладно, ко всему привыкаешь.

Знаешь, когда я гуляю по берегу Осло-фьорда... мне кажется, тогда я обретаю свое «лучшее Я». Из принципа наступаю во все лужи, иду зигзагом, останавливаюсь возле каждого упаковочного ящика и думаю о вас, читая надписи «Packed in Norway»⁸⁴. Английских судов я еще не видела. Зато видела германскую «Лотту» и с удовольствием телеграфировала бы Черчиллю, чтобы... Я часто воображаю, какие чувства буду испытывать, увидев в Америке норвежский корабль. Тогда меня «захлестнут» меланхолические воспоминания. Н-да, меланхолические. Все будет окутано их ореолом. Даже идиотские песнопения Армии спасения под моим окном по субботам. Знаешь, когда я смотрю на свою жизнь в Норвегии как бы с позиций воспоминаний, все вроде было не так уж и плохо. Но с других... позиций! Единственный плюс – я теперь могу читать Ибсена. На будущее... uff! (uff – норвежское междометие, извини, если тебе оно кажется аффектированным).

Норвежский аттестат! Ха-ха! Если б я... закончила курсы машинописи, стенографии, английского! Каждый день у меня французский с директором, полным идиотом, который улучшает мое норвежское (и французское) произношение. Всему есть предел!!! Эти уроки французского – сущая пытка! Удивляюсь, почему я не выбегаю вон. Английский у меня два раза в неделю. Репетитор – бледный, высокий мужчина с обручальным кольцом на пальце. Тип: застенчивый гимназист. По-моему, чересчур тощий. Надо купить новую английскую книгу (роман Кронина «The Citadell»⁸⁵), а в перемену он

⁸⁴ Упаковано в Норвегии (англ.).

⁸⁵ «Цитадель» (англ.). Кронин Арчибальд Джозеф (1896–1981) – английский писатель; роман «Цитадель» вышел в свет в 1937 г.

подходит ко мне и шепчет, что может собрать денег, если для меня это «затруднительно». В том же духе, что и с «подсовыванием мне яблочек», как делает секретарша. Однажды я была у учительницы немецкого Бьеркелунн; разыгравшаяся там сцена настолько типична, что не могу не рассказать. Произошло это некоторое время назад, так что можно написать чуть более «приподнято». Короче, она живет в идиллическом домике в пригороде Осло. Цветы в саду, плоды на стенах (это я чисто символически). Сама она – седая, круглощекая старая дева. Напоминает «закутанных в шали крестьянских девушек», правда-правда! Пробует выпытать у меня разные вещи. Интересуется, почему я хожу одна, может, девочки ко мне плохо относятся, интересуется, одна ли я в Норвегии и проч. Под конец начинает плакать. В самом деле. Пикантное ощущение – видеть, как другие тебя «оплакивают». Мне прямо-таки стало себя жалко. Но вдобавок я устыдилась, что вообще что-то ей рассказала. Когда я собралась уходить, она – с добрым намерением – положила мне в сумку немного фруктов (они тут дорогие).

В нашем классе масса мальчишек. Выбирай – не хочу, на любой вкус. Но знаешь, во мне нет эротической притягательности. На сей счет мне все ясно. Если б я ходила с «полуобнаженной» грудью, может, кто из существ противоположного пола и бросил бы на меня благосклонный взгляд, но в обычной одежде!.. (Если хочешь знать, тело у меня роскошное – изумительное! Каждый вечер люблюсь собой в зеркале.) Н-да, короче, хочу сказать тебе, что не обладаю сексапильностью и что чутьем, какое бывает только у женщин (что скажешь на эту реплику?), довольно быстро это обнаруживаю!.. Не подумай, будто портовые грузчики мне *не* подмигивают. Только ведь они подмигивают по давней привычке. Ну а мальчишек в нашем классе в самом деле просто масса (рифма!). Временами я пытаюсь думать, что *поголовно* все они идиоты, однако ж делаю это лишь в утешение себе, зная, что никогда не завяжу с ними контактов. Мое женское танцевально-школьное Я стелется ковриком перед некоей Нэнси. Вправду очаровательное «существо». Наверняка мультимиллионерша. Вот кто умеет одеваться! А улыбка! Глаза у нее то светлые, то темные. Волосы белокурые (здесь это обычный цвет). Рядом с Нэнси всегда еще две девицы. Одну зовут Сольвейг. Упоминаю имя только из-за «норвежского» звучания. У парней тут такие имена: Арне, Оддвар, Оге, Хенрик... в них во всех сквозит скандинавская отвага, толковость, честность. Латинист у нас отличный, дает очень много. Он маленького роста и, когда сидит за кафедрой, ногами не достает до полу!

Атмосфера в школе... как бы выразиться помягче... отвратительная! Слово «единодушие» вообще не существует. Подсказка? Забудь! Как только вмешаешься в разговор, хочешь тоже поучаствовать, остальные на тебя рычат (не только на меня). Когда задерживаешься в классе, хотя велено слоняться в школьном дворе, одноклассники кричат, что это запрещено. «Дай

взаймы карандаш!» – «Свой надо приносить!» Когда вызывают к доске, а ты не готов, одноклассники всегда ухмыляются. Понятие «не по-товарищески» здесь не существует. Могу рассказать о моем «соседе». Зовут его Пер (как «Пера Гюнта», которого мы, кстати, проходим в школе и о котором я расскажу тебе в Америке). Он вечно стоит и пялится на меня по нескольку минут... удивляется. Считает меня «чудачкой». Узнав, что я не принадлежу ни к какому вероисповеданию, он сказал: «Вот почему ты такая чудная». Все здесь, не только в школе, считают меня «чудачкой». Человеком, на которого поначалу глазуют, а в итоге теряют к нему всякий интерес.

У тебя небось уже голова разболелась от моей пустой болтовни. В дополнение могу рассказать, что Турид ищет прокладки у меня в комод (да, так-то вот, у меня есть свой комод). Само по себе это неинтересно, но в письме выглядит неплохо, как пикантная деталь. Вот.

В следующий раз можешь отплатить мне такой же пустой болтовней. Вообще-то я хотела обратить тебя в сиознизм. От этого ты не отвертишься. Но сейчас у меня устала рука.

P.S. Несколько минут спустя:

Как я могла написать *такое* письмо!

ЧЕТВЕРГ 30 НОЯБРЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Фу, сегодня у меня прескверное настроение. Впору сесть и зануть, только стоит ли. Смесь отвращения, скуки, уныния. Не знаю... Во-первых, вчера я посмотрела отличный фильм. Французский (норвежское название «*Så kom natten*»⁸⁶). Вернулась из кино совершенно «не в себе». Главную роль исполняет Пьер Френе⁸⁷. Речь идет об убийстве и т. д.

В общем, этот фильм все еще эхом отзывается во мне. И знаешь, я злюсь, потому что... фу, как вспомню, так от стыда прямо сердце замирает. Слишком уж это паршиво, чтобы записывать. Но все-таки запишу: представь себе, сегодня утром... г-жа Стрём торжественно вручает мне записку от г-на Стрёма. Содержание? Изволь: я должна оставлять туалет (ха-ха!) в том состоянии, в каком желаю его найти. Ты погоди. (Очевидно, каким-то образом я накапала там кровью, а прокладка не ушла в канализацию!!!) Этого он не написал, но я-то знаю. Впору было *руки на себя наложить*. Мужчина (который не так уж давно прикасался ко мне) должен напоминать мне, что унитаз нужно...

Словом, в поезде я думала то о собственном свинстве, то о Пьере Френе (только сейчас мне пришло в голову, что все письма подвергаются цензу-

⁸⁶ «И настала ночь» (норв.). По-видимому, имеется в виду фильм режиссера Ж. Ренуара «Ночь на перекрестке» (1932), по роману Ж. Сименона.

⁸⁷ Френе Пьер (1897–1975) – известный французский кино- и театральный актер.

ре. Прелюбопытное содержание!). Ну вот, потом иду в школу и читаю, что Россия разорвала дипломатические отношения с Финляндией. Латинист говорит, что намерен потолковать обо мне с г-ном Стрёмом. В чем я могла провиниться, понятия не имею. Потом – экстренные выпуски газет: Россия бомбит Хельсинки.

В конечном итоге мне кажется, долго я здесь не выдержу. Все превращается в какую-то жуткую мешанину. Да, вот в чем суть. Я сама себе мешаю. Знаю себя вдоль и поперек. Знаю в точности, какотреагирую на нападение на Финляндию, знаю, что после *максимум* трех часов отчаяния сяду со спокойной душой зубрить химию. Знаю, что знаю, что знаю и т. д.

Между прочим, в школе все-таки нашелся мальчик, в которого я *почти* влюбилась. Ему около 16 лет! Вот видишь! Он из Англии, возможно, тоже еврей. Внешне, во всяком случае, похож. Что я почти «влюбилась» (дурацкое слово!), в общем-то, чепуха. Просто у меня чуточку щемит «сердце» (или «грудь», не знаю), когда я вижу его. Лицо у него на редкость чистое и благородное. Фигура – как у подростка. Больше мне о нем ничего не известно. Как-то раз он нервно вскинул брови. И мне понравилось.

Кстати, пишу я о нем, просто чтобы рассказать хоть что-нибудь мужское... А русские меж тем бомбят финские города. Здесь тоже можно услышать опасливые высказывания насчет Северной Норвегии. Ведь северная часть Норвегии граничит с Финляндией... а последствия затронут и нас.

В общем, уважения к скандинавскому «единству» у меня значительно побавилось. Ведь шведам и норвежцам, разумеется, следовало бы сражаться бок о бок с финскими солдатами. Сейчас Скандинавии представился случай продемонстрировать, что они не только на словах, но и на деле защищают свои идеалы. Им бы следовало продемонстрировать реальность скандинавского единства! Вздор и чепуха! Это всего лишь фразы, механически повторяемые их министрами иностранных дел. Вся Скандинавия сидит себе и спокойно наблюдает, как бомбят Хельсинки. Фу!

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ДЕКАБРЯ 1939 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Одиннадцать вечера.

На горизонте снова объявился один из прежних парней. Бледный, противный. Вкрадчивая усмешка, одет ужасно. Я ходила с ним в театр. Хотя его руки и вызывали у меня гадливость, я все ж таки *молодая*. Я сама себе как чужая, когда разговариваю с другими людьми... вот и в этот раз... помоему, я каким-то образом была в упоении, вела себя замечательно и воображала, будто ужасно красива. Накануне примерила платье и несколько минут смотрела на свое отражение. В театре он угостил меня шоколадом, и

я почувствовала себя бедной нищенкой, потому что невероятно обрадовалась этому шоколаду. (Шоколад стоит денег...) Я была рада... и тем не менее сказала, что встречаться мы не будем... мне казалось, будто я шлюшка, потому что была с ним только из-за шоколада и билетов в кино, а может, еще и потому, что наконец-то парень смотрит на мои руки, глаза, губы. Он думал, мне шестнадцать (максимум!). Спросил, целовалась ли я когда-нибудь с мальчиками. Тут я рассвирепела.

Дитль, ну зачем я тебе это рассказываю? Для меня это проблема. Вопрос, на который я натыкаюсь снова и снова: стоит ли встречаться с парнем, если не ощущаешь с ним *душевной близости*? Стоит ли позволять некоему господину гладить меня по плечу, только потому, что он носит брюки? Порой я тоскую по физическим ласкам, пусть даже от какого-нибудь из «подозрительных» типов с площади Йернбанеторг. Но знаешь, если такое случается, я только вздрагиваю, как когда г-н Стрём ненароком задевает мои пальцы. Все куда сложнее, чем ты думаешь.

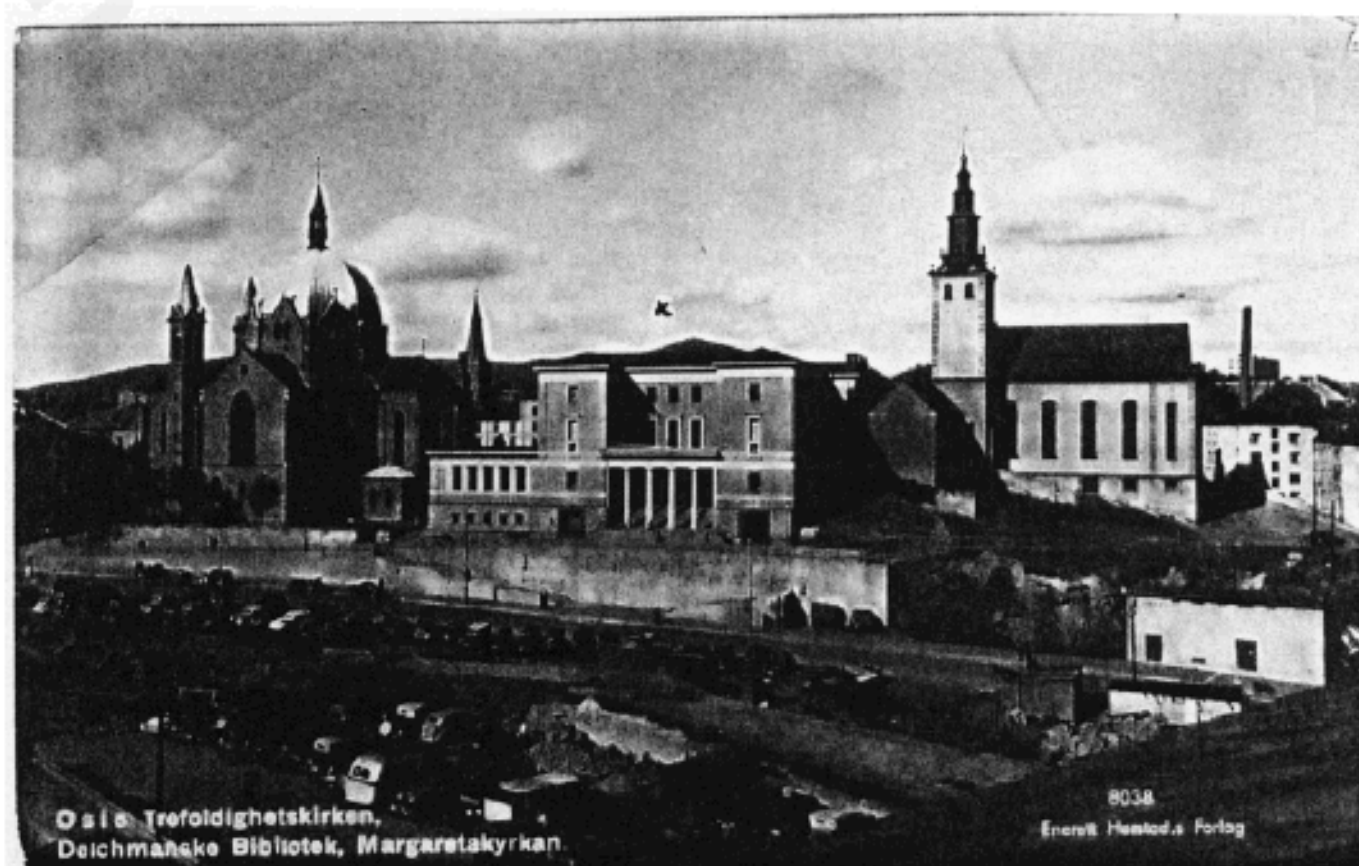
Между прочим, на минувшей неделе я побывала у некоего мужчины, который дал объявление: ищу прислугу для уборки жилья (в мансарде), дважды в неделю. Плата – 14 крон, и я решила согласиться, если он даст о себе знать. Ужасно хочется зарабатывать деньги. Работать! *Чем-то* заниматься. Завтра начинаю уроки немецкого с гардеробщицей из Дайкманской библиотеки. 1 крона за два часа. (Не ахти!) Стрёмы, разумеется, об этом не знают.

Невыносимо – не иметь знакомых людей. Стрёмы давным-давно отдались. Когда проходим мимо друг друга, мы улыбаемся, и всё. Мои отношения с г-ном Стрёмом обострились после истории с прокладками и после того, как я однажды забыла с ним поздороваться. В школе так ужасно, что я до июня наверняка не выдержу. На уроках читаю про Черчилля. Единственный человек, который мне симпатичен, это английский мальчуган, а он меня дразнит (но мне наплевать).

В остальном безвылазно сижу в Дайкманской библиотеке. Сегодня почти целиком прочла «Хоровод» Артура Шницлера. Если можешь достать эту книгу, непременно *достань* и прочти. Она изумительная. Любовные сценки: «Проститутка и солдат», «Солдат и горничная» и т. д. Диалоги! Прочти! Может, я перепишу для тебя завтра «Проститутку и солдата».

Да. Вываливаю на тебя свои «горести». Вся эта пустая болтовня – сущий вздор. Я тоскую по одной вещи, по человеку, который даст мне стимул. И жутко благодарна за любое доброе слово, за любой дружеский жест. А вместо этого получаю оплеуху от... Турид... Знаю, через некоторое время дети всегда начинают меня бить. Как звали ту малышку из Брно?.. она тоже однажды меня стукнула.

Грустно все это. Ну да ничего не поделаешь... Договорилась до горестного настроения. А что толку. В сущности, я молодая. И порой это ощущаю.



Почтовая открытка, изображающая Дайкманскую библиотеку в районе Хаммерсборг, которую Рут обнаружила, когда весной 1939 г. начала учиться в Акерской муниципальной гимназии. Осенью 1939 г., начав заниматься во Фрогнерской школе, она открывает для себя Университетскую библиотеку. Читальные залы стали для Рут любимыми местами времяпрепровождения

Тем не менее сейчас зима, снег... норвежская зима очень чистая. Целомудренная. И норвежцы – добрые люди. Когда я утром еду в школу и прямо напротив сидят всякие-разные крепыши, они все мне очень симпатичны. В поезде у меня даже было несколько «любовных интрижек». Тот или другой пристально глядит на меня... и я чувствую, что нравлюсь. Однажды какой-то мужчина (с двумя детьми) подарил мне несколько нарциссов. Наверно, я тебе рассказывала раньше... это было в мае. Теперь декабрь. Скоро Рождество. Витрины разукрашены мишурой и проч.

У вас война. Да. И встреча с вами очень-очень маловероятна.

Тысяча девятьсот сороковой

ЯНВАРЬ–МАРТ 1940 г.

Рут приходится тяжело. В школе кто-то из одноклассников пишет на ее парте: «Евреи здесь нежелательны». В Лиллестрёме г-н Стрём говорит: «Ты не приспособливаешься к духу, который царит у нас». Она начинает сомневаться в своем психическом здоровье, думает сходить к врачу. «Я живу здесь как тень. Серая в сером. Не хочу больше».

И все же временами сохраняет чувство собственного достоинства: «Честно говоря, мне кажется, фигура у меня просто супер. Стройная и прямая».

Чтобы заработать денег, она дает уроки немецкого. После школы ходит в Университетскую библиотеку. Комментирует в феврале инцидент с германским транспортом «Альтмарк» в Ёссинг-фьорде. И капитуляцию Финляндии в марте. В школе вместе со всеми вяжет для финнов майки. Рассказывает, что норвежцы настроены к немцам враждебно.

Тоскует по человеку, тоскует по мужчине, тоскует по сестре, матери и бабушке в Англии. На будущее смотрит мрачно. На Новый год пишет: «Дитль, что принесет нам этот год? По-моему, 1940-й звучит так... зло-веще».

Переписка с сестрой в Англии – самый глубокий контакт Рут с окружающим миром. Длинное письмо написано к восемнадцатилетию Юдит 27 марта 1940 г. В письмах появляются первые стихи. Ново то, что многие письма напечатаны на машинке. Немецкое вторжение 9 апреля кладет конец текущей переписке с семьей.

1940 г. и часто
содержит

СРЕДА 3 ЯНВАРЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Какое счастье – сегодня получила твое письмо! Знаешь... дорогая моя. Я просто должна тебе рассказать. Слушай, тебе известно, что я всегда была сумасшедшая. Но последние несколько дней вконец рехнулась, заявляю, что точно так же, как другие люди заболевают физически, я временами испытываю припадки: мозг заболевает, вот. Остается только ждать, пока пройдет. Понимаешь? Сейчас точно объясню, в чем заключается мое сумасшествие. Ведь если расскажу, полегчает. Во-первых, учти, я пробыла здесь одна почти целый год. Именно одна... у меня нет близкого человека, нет никого, кто бы хоть как-то меня любил. Да, это факт. А когда бродишь совсем одна, возникают прямо-таки собственные философские системы.

Ты наедине со своими мыслями, тоской, заботами. *Внешне* все время та же, без изменений. Улыбаешься, смеешься, болтаешь, но, так сказать, лишь на поверхности. *Внутри* – твой собственный мир. А стало быть, во всем, что ты делаешь, присутствует некая двойственность. Говоришь «спасибо» или «пожалуйста», а сама ломаешь голову вот над чем: я ли говорю это, выписываю вокабулы, стараюсь вечером заснуть? Иногда, выйдя на улицу, я спрашиваю себя: кто же это вышел? Некая барышня Рут? Очень интересно. Поначалу эти мысли казались вполне занимательными. Но как-то раз я проснулась среди ночи и фактически очутилась совершенно вне себя. Понимаешь? Я была чужая для самой себя. От страха меня бросило в дрожь. Ужасно. А теперь вот хожу, и под всем, что делаю, прячутся страх и вопрос: кто ты? На слух банально. Я и рассказываю потому только, что, когда рассказываешь, попросту становится легче. Может, пойду к врачу. Пока что не решила. И еще один вопрос: как я могу выйти из себя, если всегда остаюсь собой?

Все это никчемные, нездоровые мысли. На улице чудесная зима. Надо выйти наружу, «напиться» снегом, солнцем. Порадоваться.

Но последние несколько дней я просто не смела прогуляться. Не люблю одиночества. Дитль, к сожалению, у твоей сестры есть некоторые дурные задатки. Может, и папа в молодости был таким.

Дитль, ты только представь себе, как ужасно для меня думать, что надо оставаться здесь до самого июня. А еще ужаснее думать, что и в июне отъезд под большим вопросом!

Ты, наверно, понимаешь, что вам необходимо спешно разобраться, как обстоит с английской визой. Если вы еще этого не поняли, то очень жаль.

Да, мы тут отметили Рождество и Новый год. Рождество было замечательное. Пировали, хоровод водили вокруг елки, пели рождественские песни. Я даже получила в подарок две лыжные палки и два тома Ибсена. На Новый год настроение было похоронное. Мы взялись за руки, г-жа Стрём

расплакалась... и я тоже едва не разревелась. Знаешь, Дитль, последнее время я невероятно по вас скучала! Вспомню мамулины руки – и чуть не плачу. И когда думала про твое синее суконное платье с белым воротничком... и когда... Ну, ты понимаешь, все эти несчетные мелочи становятся необычайно важными, когда о них думаешь. Дитль, Дитль... знаешь, я вычитала кое-что замечательное: «Представь, что однажды в жизни настанет время, когда возникнет ощущение, что переживать и существовать сливаются воедино, совпадают». Не правда ли, когда мы были вместе... мы ведь существовали?

Дитль, вдобавок я сознаю, как бесполезно для меня оставаться здесь – чтобы сдать на аттестат. Химию и географию я, к счастью, спихнула. К выпуску надо подготовить норвежский, латынь, биологию, французский, английский. С этими предметами я бы охотно разделалась прямо сейчас.

Дитль, что принесет этот год? По-моему, 1940-й звучит так... зловеще.

Будь добра, пришли мне, по крайней мере, фото. Только лицо (ведь иначе снимок конфискуют). Начну считать дни... до июня.

Мой отъезд в Норвегию... величайшая глупость.

ПЯТНИЦА 5 ЯНВАРЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Расскажу тебе про Рождество. Да, елка у нас была. Конечно, все было слегка банально... что ни говори, мне уже девятнадцать, и мишурный блеск остался в прошлом. Теперь обошлось и без сердцебиения, и без секретничанья. Мы все вместе тихо-спокойно нарядили елку. Украсили ветки ватой, посыпали блестками. Разумеется, купили свечи и серебряный дождь. Малый сочельник, 23 декабря, провели сообща, вполне «уютно». 24 декабря по очереди навестили родителей г-жи и г-на Стрёма.

Брат г-жи Стрём подарил мне «Кукольный дом» и «Комедию любви»⁸⁸. Ужасно мило! Знаешь, это он угощает меня сигаретами. Единственный человек, которого я здесь знаю. (Факт.) Да, ели мы жутко много. На Новый год ходили на телеграф, где работает г-н Стрём. Но поскольку к семейству Стрём я по-настоящему не принадлежу, было до крайности скучно. И печально... Кое-что хорошее: прежде чем пожелать друг другу счастливого Нового года, норвежцы благодарят за старый. Так делают все.

Больше ничего. Собственно, жуткая тощица. Во всем. А особенно тоскиво то, что я в Норвегии одна... без всякой пользы... в чем я *действительно* нуждаюсь, так это в людях. Хотя бы в одном-единственном человеке. Но здесь никого нет. Г-н Стрём совершенно невыносим по отношению ко мне. У нас произошла стычка, которая кончилась тем, что он отпустил

⁸⁸ Пьеса Х. Ибсена (1862).



Å=O ÅRETS JULEGRAN

Julegranen kom til Universitetsplassen i morges. Ennå mens fotografen forevige den, hvilte kjempa horisontalt, men reiste seg snart til glede for byens fattige. (Venstret Du?)

К письму приложена эта газетная фотография (из «Дагбладет» от 4 декабря 1939 г.). На полях Рут написала: «Рождественская елка с фонариками, которую затем поставили перед университетом (по дороге в мою школу)». Еще она помечает, что норвежский гласный «å» произносится как немецкое «о», а норвежское «и» – как немецкое «й». И добавляет: «Понятно?»

меня, удрученно махнув рукой (и сказав: «С тобой невозможно разговаривать»). Между прочим, из этого разговора выяснилось, что г-жа Стрём читает мои письма!

Я здесь чужая. Вот в чем дело. Всякие мелочи постоянно напоминают мне об этом. Время тянется вяло, дни похожи один на другой. Турид спрашивает, плачú ли я ее отцу!! Турид вообще особь статья. С одной стороны, жутко подлая, грубит и коварно ухмыляется. Крадет у меня из комода прокладки, разглядывает мои трусы. С другой стороны, очень милая, очаровательно улыбается и т. д. Г-жа Стрём улыбается постоянно и иногда угощает меня апельсином. А мимоходом читает мои письма. Что тут сделаешь? Когда у них гости, я ем у себя наверху. Г-н Стрём по-прежнему стесняется взять меня за руку.

Вот и все. Или, может, тебе интересно, что у нас появился новый книжный шкаф?

Может, тебе интересно, как норвежцы относятся к большому миру? Многим тут кажется невероятным, что Норвегия не поможет Финляндии. Это так называемые активисты. Кстати говоря, думаю, что и я тоже активистка. Ведь как-никак Финляндия сражается за дело всей Скандинавии. Почему бы в таком случае не помочь? Конечно, мы отправляем в Финляндию вещмешки, врачей, санитаров. Некоторые записываются добровольцами. (Будь я парнем, я бы тоже записалась! Само собой.) Нам бы следовало совершенно открыто, так сказать, «плечом к плечу» сражаться вместе с Финляндией.

Wenn dir die Durne u. der Soldat gefallt, schreib dir 'sal. Das
ich schick mir nichts zurück!! - Nächste Mal bekommst du
den Soldat u. das Stubenmädchen. Ich finde es ist viel schön
my in diesen Zeiten. Auch viel schöner. Weist du was der
Soldat sagt: Wärst' das Beste. Und die Durne: Was wird ab mir
morgen in Leben noch haben. Das ist der Fein..

Wenn du dich nicht auf die Durne u. den Soldat
bezieht, dann schick mir noch was. Ich
weiß nicht auf's Nächste?



Оборот предыдущей газетной вырезки. На левом поле Рут пишет: «Неужели не видишь перед собой его и ее. Дунай. Сырой вечер, верно? – и так тихо. Разве ты не радуешься следующему?» Сверху написано: «Если тебе понравилась сценка «Проститутка и солдат», спиши текст, а мой список верни мне!!! – В следующий раз получишь «Солдат и горничная». По-моему, в этих сценах много настроения. Венский говор. Помнишь, как солдат говорит: Ну разве было не здорово? А проститутка: Как знать, будем ли мы живы завтра? Замечательно...» Диалоги «Проститутка и солдат» и «Солдат и горничная» относятся к драме Артура Шницлера «Хоровод». Ранее Рут послала Юдит список сцены «Проститутка и солдат»

Знаешь, в сущности, Ибсен был прав, когда высмеивал «маленькие» страны, так как они не хотят сражаться за большое дело, оправдываясь своей «малостью».

Кстати, я ведь вижу, ты зеваешь! С неописуемой радостью предвкушаю нашу встречу. Знаешь, как это будет?.. Три малюсеньких человечка бегом устремятся друг другу навстречу. С высоты все трое выглядят одинаково. Одного из них зовут Дита. Эта Дита, совершенно обыкновенная девушка в красном пальто с меховой оторочкой, с муфтой и в очках, – моя сестра. Я вообще не сумею разглядеть, что ты моя сестра. Не соображу, что именно эта фигура в красном пальто писала мне такое множество писем, мое любимое чтение... Я скучаю по тебе, по твоему вздернутому носу, нет, прости, по твоему веселому висячему носу, по твоим красивым рукам и таким же ногам. Дитль, скажи честно, как по-твоему, когда мы встретимся?

Спроси, когда мы сможем уехать в США. Может, вам самолетом полететь? Спроси, в любом случае. Надеюсь, вам ясно: 1) в июне я должна отсюда уехать, 2) до июня всего пять месяцев: январь... февраль... март... апрель... май... июнь!

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ЯНВАРЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Н-да, сижу за пишмашинкой (хм) и мечтаю... размышляю немножко, тоскую, сижу одна... Ты далеко, крошечная точка в крошечном мире... не правда ли, ты тоже чувствуешь себя целым «миром», будто все существует лишь ради тебя, что *твое* мнение всегда правильно, потому что... просто потому, что оно *твое*. Честно говоря, Дитль, думаю, ты очень мне близка... Мы, собственно, почти никогда не говорили о проблемах, что верно, то верно. Я дразнила тебя, «изводила». Я шушукалась с Кэте, ты – с Розль. Слушай, а ты помнишь, как однажды мы с тобой говорили совершенно серьезно? Помоему, речь шла о книге. Я точно помню странное, нервное ощущение, которое испытывала потом. А ты... когда я «увещевала тебя насчет будущей жизни» в коридоре, на Обере-Донауштрассе. Ха-ха!

Я скучаю по вам. Послушай: по дороге в школу я прохожу мимо витрины с предметами прикладного искусства – ну, всякой там керамикой, вазами и проч. Знаешь, там выставлена удивительно красивая голубая чаша. Голубая с зеленым. Гляжу на нее и вспоминаю наш давний дом. Так хочется купить эту чашу! Мы поставим ее на сундук или на стол и все втроем будем любоваться этой красотой. Конечно, сама голубая чаша значения не имеет, главное – мы будем любоваться красивой вещицей *все вместе*. Ты меня понимаешь. У тебя есть комнатка, где находится мамуля. Ты идешь туда, когда грустишь. У каждого человека должна быть такая комнатка.

А я одна, и это печально. Знаешь, я даю уроки немецкого. Пятнадцатилетнему мальчику. Хожу к нему на дом. Дверь отпирает мать. У камина сидит дочь, читает книгу. Знаешь, я тогда словно какое-то сверхъестественное существо.

Патетически (напыщенно) выражаясь: мне кажется, я будто изгнанница из удивительно прекрасных «краев». (Ох, Рут!) И когда упомянутая изгнанница видит других людей в этом прекрасном «краю», она говорит: «Ой, нет!» – и пожимает плечами. Я больше чем уверена, ты бы поняла меня и без этих *идиотских* сравнений. С голубой чашей, по крайней мере, было оригинальнее.

Мое отношение к Стрёмам состоит исключительно из диссонансов. Из школы я приезжаю в шесть. Уроки кончаются в половине третьего. Потом я иду в Университетскую библиотеку. Читаю там «Майн кампф» и другие книги. Кстати, «Майн кампф» ты (как дитя XX века) должна бы прочесть. На 200-й странице начнешь скучать.

Знаешь, еще я посещаю вечернюю социалистическую школу (бесплатно). Там здорово. Нам преподают политэкономия, мы очень много узнаем о профсоюзном движении. Вообще, по-моему, огромная роль профсоюзов типична для скандинавского социализма. Ты ведь знаешь, здешнее правительство состоит из социалистов. Причем весьма умеренных. Коммунисты здесь фактически целиком и полностью зависят от Москвы. Оправдывают нападение Советов на Финляндию и т. д.

Финляндия здесь важнейшая тема. Туда даже добровольцев посылают. Советский Союз счел необходимым направить «нам» ноту протеста. Ну, тебе это известно... Новежцы, кстати говоря, очень симпатичные. Как бы это сказать? В общем, это демократичный народ. В газетах невероятно много места отводится дебатам.

Все же «демократичный народ»? Не знающий антисемитизма? О нет! Эпизод: на уроках латыни я сижу впереди, за партой, где обычно сидит один парень. Так вот он просто не мог не написать на парте: «Евреи здесь нежелательны». Я пересела... Так что сама видишь, Дитль, и здесь то же самое. Ну как ты не можешь понять, что сионизм представляет собой вполне приемлемое решение еврейского вопроса. Твой аргумент, что социализм делает сионизм ненужным, не выдерживает критики. Во-первых, ты можешь с тем же успехом заменить «социализм» «демократией». Не правда ли, демократия ведь тоже требует, чтобы все жители были равны перед законом. И чего тут примешивать социализм! Так вот, я спрашиваю тебя: по-твоему, положение евреев в демократическом государстве приемлемо? По-твоему, жертва, какую приносит еврей, стараясь ассимилироваться, оценивается должным образом? Тебе не кажется, что с этической точки зрения унизительно растворяться в новом культурном сообществе,

после того как тебя изгнали, а теперь изгонят вновь? Пойми, если б они позволили нам тихо-спокойно «ассимилироваться», это было бы самое простое решение. Но к нам цепляются, нас не любят! До 1930-го ты была немкой, потом они изгнали тебя, объявили: ты еврейка! Скажи мне, неужели в таком случае ты, напротив, не испытываешь *гордости*, не гордишься, что ты еврейка? Я лично знаю, что до самой смерти буду одинаково сознавать и что я еврейка, и что американка.

Вы прикажете, и я подчинюсь

Да...

*Буду ползать на коленях, пресмыкаться перед вами
и поедать все ваше дерьмо!*

Ваше дерьмо!

Только не бейте!!

Я так слаба и хрупка.

Никто еще не бил меня.

Я трусиха... еврейка...

Ваши руки так жестки, когда бьют.

Причиняют боль.

Мне хочется спрятаться, никогда больше не видеть солнца.

Я буду смехом и улыбкой встречать ваши приказы.

Только не бейте.

*Ведь я боюсь ваших рук... ваши руки,
они точь-в-точь как мои, они оставляют
кровавую рану, когда бьют меня.*

Я трусиха.

Вы это знаете.

Смотрите, я плачу. Падаю на колени. Сплетаю руки.

Кричу от боли:

Сжальтесь, не бейте меня.

Ведь... когда вы меня бьете, я могу убить вас.

Могу убить ваши руки, ваши глаза.

Глаза, видевшие, как руки били меня.

И я страшусь убийства... потому что трусиха.

Так что не бейте меня...

Дорогая Дита. Ты же не сердишься, что я так тебя мучаю? Знаю, тебе ведь было очень тяжело читать весь этот вздор. Верно? Милая, хорошая, любимая, незнакомая, близкая Диточка. Мне хочется сказать еще так много. На-

пример, что я уже толком не могу говорить по-немецки. Забываю, начинаю запинаться и т. д. С одной немецкой эмигранткой говорила по-норвежски, потому что так было легче. Часто скучаю по вас. Недавно видела тебя во сне. Без муфточки. И личико у тебя было такое нежное, каким запомнилось с нашего «детства».

Ты так замечательно рассказала о Лондоне. Спасибо! Я видела потрясающий фильм с Жаном Габеном – «День начинается»⁸⁹.

Знаешь, по-моему, в письмах нам нужно рассказывать друг другу о прочитанных книгах.

Письмо такое дурацкое просто потому, что пишу на машинке!

СРЕДА 7 ФЕВРАЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Я просто сижу, мечтаю и... думаю о тебе. Да... скоро мы увидимся, правда?

Понимаешь, Дитль, именно сейчас все нехорошо. Из-за школы я совершенно больная. Я там вроде парии, существую будто лишь затем, чтобы этим мерзким снобам было над кем насмехаться да оскорблять. И со Стрёмами все тоже жутко противно. Иногда собираюсь с духом, иду к г-ну Стрёму, говорю: «Почему мы не можем относиться друг к другу по-доброму? В чем причина?» Происходит небольшой разговор, и он говорит: «Ты не приспособливаешься к духу, который царит у нас». Я говорю... Он говорит...

Дитль, вдобавок история с бзиком. Я правда хочу сходить к врачу. Назову фальшивый адрес, тогда и платить не придется. Ха-ха! Противно писать такое...

Возможно, так бывает со всяким человеком – в жизни наступает минута, когда спрашиваешь себя: до какой степени я – это я? Идиотизм в том, что у меня этот вопрос принимает нелепые формы. Вот послушай: мне кажется, я иду по краю пропасти... невероятно глубокой... и волей-неволей балансирую, чтобы не упасть. То, чем я занимаюсь изо дня в день, просто прикрывает дыру, бездну. Если я силюсь обнажить эту «дыру», в груди становится горячо-горячо.

В виде исключения то, что я говорю сейчас, не пустая болтовня. А поскольку это не пустословье, поскольку я ощущаю это по тысяче раз на дню, оно, так сказать, превращается в «бзик». Во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, я думаю, что это «дурная наследственность». Мерзкое выражение. Но речь о другом.

Должна сказать, завтра иду к врачу по «душевным болезням». Нет, я из принципа не стану стыдиться, кстати, его зовут Бернштейн.

⁸⁹ Фильм французского режиссера Марселя Карне, снятый в 1939 г.

Сокровище мое, дело в том, что я вырождаюсь. Очевидно, явно. Будь я здорова, я бы работала, радовалась... но сейчас я больна... вырождаюсь. Ха-ха! Если бы я была с вами! Иной раз думаю о вас и плачу! Да-да. В общем-то отличная штука – «плакать». Набегает слеза. Сперва совсем горячая, приятная, ты вроде как даже рад ей... уфф... потом она катится по щеке, остывает... делается хилой, медлительной. Вот так-то...

Раньше, когда случались приступы сентиментальности, я смеялась над собой: эмигрантка прикидывается интересной! В последнее время с удовольствием цеплялась за какое-нибудь воспоминание, присасывалась к нему... впивалась.

Дитль, детка, во-первых, во-вторых и в-третьих, мне попросту тоскливо. Но все же в воскресенье пойду кататься на лыжах. Да, Дитль, с молодежью. Из Социалистической рабочей молодежи. Это хорошо. Знакомишься с *рабочими*... впервые разговариваешь с рабочими... вступаешь с ними в духовный контакт. Замечаешь, что это в самом деле особый общественный класс, которому... нечего терять... но есть что завоевывать. Я вижу *противоречия*. Утром в школе – нытики-гимназисты, каждый со своими мелкими глупостями. А тут – молодые рабочие люди. Знаешь, мне *стыдно*, что я до сих пор хожу в школу!.. Последний раз шла домой с одним строительным рабочим. Сейчас он без работы... он рассказывает... я задаю вопросы. До чего же все несправедливо, думаю я... чертовски несправедливо... Г-н Петер Э., мой одноклассник, каждый день в новых костюмах, с наманикюренными руками. А другой говорит, что за жилье надо платить 50 крон, а пособия по безработице он не получает, так как прожил в Осло всего год. Дитль, тебе надо обязательно познакомиться с рабочими. Какой смысл называть себя социалисткой и общаться при этом только с так называемыми интеллигентами.

Пустословье, пустословье... Да, кстати! О Международной лиге мира я вообще-то уже знаю. Ведь в ней состоит Эйвинн... тот, что тогда летом... ходил со мной рука об руку... ха-ха! Помнишь? После я еще каталась с ними на лыжах. Как все-таки люди меняются... норвежской летней ночью, в рубашке с коротким рукавом, в сумерках, когда еще тепло... а потом в лыжном костюме, когда изо рта валит белый пар. Совершенно по-другому!

Кстати, про «белый пар»! Здесь сейчас *невероятно* холодно, – 34°. Но знаешь, с этой Лигой я покончила, ведь они жутко важничают, а болтают сплошь всякую чепуху. Они-де «абсолютные пацифисты». Если Россия нападет на Норвегию, они защищаться не станут, будут бороться так называемым духовным оружием. Духовное оружие против концентрационных лагерей! Ха-ха! Завидую твоему сердечному пылу. *Мое* сердце в зимней спячке. Очень печально. Как там говорил Гёте? Что-то наподобие: когда любишь, много *выигрываешь*. Становишься богаче. Ведь неправда, что человек бо-

гат в радости и нищ в боли, верно, Дитль? Когда мне радостно, всё так близко моей душе. Всё отражается во мне...

Дитль, милая моя, *дорогая* сестренка, пора закругляться. Надо делать уроки. Верно? Латынь. Еще хочу немножко почитать. Кстати, я тебе говорила, что читаю сейчас? Так вот: «Его борьба» Ирены Харанд. По-моему, глупость. Она занимается одним только «еврейским вопросом» и делает это вовсе не остроумно. Грубо, без единой искры юмора и без единой новой мысли. Знаешь, я и «Мою борьбу» Гитлера прочитала. Все, что он пишет о евреях, ужасно ходульно. Абсолютно всё, каждое слово, каждая строчка – оскорбление всего того, что ты сам считаешь священным. Тебе надо бы прочитать.

А еще я прочла изящное письмо Конрада Хайдена. Погоди: *Каждый, кто любит свободу, одновременно понимает, что гибель фашизма не станет гибелью Европы, скорее наоборот, новым ее началом. Когда настанет этот исторический день, такая Европа уже будет создана в наших сердцах и умах. Но до тех пор будем поступать так, чтобы наши потомки могли о нас сказать: «Несмотря ни на что, вы прожили прекрасную жизнь. Вам довелось бороться за свободу, которой мы теперь пользуемся».*

Вот, Дитль, черным по белому. Позволь вопрос: как мне бороться за свободу?

Конрад Хайден может «бороться» своим интеллектом, своим духом. А маленький еврей-эмигрант может только записаться добровольцем в английскую армию. Может воображать себе, что «борется» против фашизма, на самом же деле лишь помогает г-ну Чемберлену и иже с ним. Трагикомедия.

Расскажи, какие у вас настроения по поводу Финляндии. Здесь все вконец ошалели. В школе мы вяжем для финнов фуфайки. Ха-ха! Директор фотографируется в окружении учеников и, наморщив лоб, говорит: «Теперь я оказался в опасной зоне». Русские-то вырезают такие фотографии и запоминают на потом, кто на них изображен.

Дитта-Митта! Спасибо, что ты так замечательно со мной «поговорила». Сидела тихо-тихо. И порой качала головой. Ты знаешь?

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ФЕВРАЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Знаешь, чему я очень и очень удивляюсь? Что ты не читаешь газеты! Человек, не читающий газет, здесь редкость. Я рассказывала тебе, сколько здесь газет, журналов, еженедельников? Феноменально! Стрёмы выписывают штук пятнадцать. Три самые крупные газеты (консервативную, либеральную, социал-демократическую) и целую кучу еженедельников. И знаешь,

прессой одержим не только средний класс! Эдла, прислуга, тоже выписывает жутко интересный ежемесячник. Странно!.. Не понимаю, неужели в английских газетах ничего нет! Коментируют-то здесь всегда английские газеты. «Таймс» пишет то, «Дейли гералд» – это.

Скажи, интерес к Финляндии у вас все так же велик? Отсюда шлют добровольцев, и иногда кажется, что нас тоже втянут в войну. Ведь Финляндия обратилась к Швеции за военной помощью. Но получила отказ. Глупо это или умно, наверняка покажет ближайшее будущее. Здесь много говорят о военной помощи, которую Англия якобы окажет финнам. По-моему, дальше разговоров дело не пойдет. Расширение театра военных действий создаст Англии лишние трудности. Или?

По большому счету здешнее общественное мнение весьма благосклонно к союзникам. Но инцидент на Ёссинг-фьорде слегка эту благосклонность умерил. Я, правда, не знаю, кто там был прав, кто виноват. Психологически же так или иначе глупо со стороны англичан. К Германии норвежцы настроены очень враждебно. Около 300 человек погибло при торпедировании норвежских кораблей. И каждый день поступают новые сообщения о потерянных в войне кораблях. А ведь ты знаешь, Норвегия не может отказаться от морских перевозок! По-моему, моряки, которые «день за днем выходят в море», заслуживают восхищения. Невзирая ни на что, *они* просто исполняют свой долг. Вообще, норвежцы вызывают большую симпатию. Если хочешь сделать норвежцу комплимент, назови его или ее «grei». «Grei» – открытый, простой, ясный, несложный (так написано в словаре). «Hyggelig», то бишь «славный», в глазах норвежца тоже очень симпатичное качество. Поскольку я не «grei» и не «hyggelig», мне трудно завоевать симпатию норвежцев.

Они ужасно гордятся своими демократическими традициями. В стортинг недавно внесли предложение о чрезвычайных законах (как те, что приняты в Швеции). Но предложение отклонили.

(Теперь и г-н Стрём начал писать на машинке, и меня это крайне нервирует. Пока я пишу *одну* букву, он успевает настучать пяток.) Кстати, я прочла отличную книжку. «Марш через два десятилетия» Теодора Вольфа⁹⁰. Замечательный, немецкий, гражданский, артистический подход и изящный стиль. Надо тебе прочитать. Из Гамсуна читаю «Редактор Люнге». Там уже чувствуется будущий нацист. Вчера взяла «только что вышедшую» книгу о положении евреев в Германии. Ну-ну.

Между прочим, Дитль, я ужасно обрадовалась твоему отзыву: ты называешь мое стихотворение «сильным». Вообще-то я совсем не рвусь в писатели. Знаю, что не способна выстроить сюжет.

⁹⁰ Вольф Теодор (1868–1943) – немецкий публицист.

Дитль, поздно уже. Скоро будут передавать новости. Я хотела еще рассказать тебе о весне, которая сквозит в воздухе как далекое-далекое предчувствие. Знаешь, мне целую вечность было не по себе, по-моему, отчасти из-за этого. Даже думать неприятно. Уфф! (Звучит аффектированно, знаю.) Пиши.

Я живу здесь как тень. Серая в сером. Не хочу больше... Прочь отсюда!!! Идиотка!

СРЕДА 13 МАРТА 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Итак, во-первых, твой день рождения. Я недостаточно остроумна, чтобы сказать тебе что-нибудь интересное, а потому, потому удовольствуюсь... по.здрав.ле.ни.ем. Благодаря точкам слово *поздравление* выглядит немного по-другому. Многозначительные косметические пластыри. Хм...

Если не ошибаюсь, тебе стукнуло 18. Никогда не думала, что такое возможно. Никогдаааа!!! Как вспомню, что совсем недавно ты заползала под кровать, когда мамуля сердилась, что совсем недавно ты еще... нет, забудь. Я только впадаю в меланхолию и киплю от злости. На себя, на тебя и особенно на мерзкий невидимый призрак, который делает нас всех только пушечным мясом.

А мне будет 20. Весьма естественный вывод. Знаешь, когда *утром* смотрю на себя в зеркало, я вижу две морщинки. Одну под правым глазом, другую у правого уголка рта. Эти морщинки не такие уж обыкновенные. Они прямо-таки злобные, резкие. Не пойму, откуда они взялись... Ну, то есть они, конечно, «возрастные»... очередное доказательство прогрессирующего склероза или увядания. Знаешь, скоро наступит весна, дети начнут играть на улице в классики. Между прочим, я украдкой поиграла, перепрыгнула через пять классов... и жутко устала.

Кстати, *by the way* (хм-хм), ты знаешь, сколько я вешу? 55 кило при росте 1,62. Вес, так сказать, идеальный. Ха-ха! Честно говоря, мне кажется, фигура у меня весьма симпатичная. Стройная. Рассказать, как было у гинеколога? Несколько месяцев у меня, видишь ли, отсутствовали недомогания, ну, я и пошла на прием к такому вот врачу... и т. д. Станным образом, она объявила, что я, скорей всего, беременна! И я, с одной стороны, чувствовала себя невероятно целомудренной, а с другой – до крайности жалкой. Бедняжка Рут!.. Потом я всякое-разное ей рассказала. Нет, это не больно-то изысканно. Знаешь, она спросила, точно ли я не кривлю душой насчет беременности. Я чувствовала себя как в тот раз, когда некий коммунист спросил, нахожусь ли я в Норвегии вместе с *мужем*!

Знала бы ты, как я иной раз тоскую. По мужчине. Верно. При моей здеш-

ней жизни это совершенно невозможно. Ты не представляешь себе, как это омерзительно. Найти бы укромное место и вытошнить всю мерзость. «Дома» обстановка просто неопиcуемая. Примерно неделю назад между мной и г-ном Стрёмом состоялся беспримерный обмен письмами. Будь у меня время, я бы перевела тебе его послание. Но обойдусь характерными пассажами:

«У меня сложилось впечатление, что ты твердо решила внешне во всем отстаивать собственное своеобразие, не быть как все... Более эгоцентричной особы, чем ты, я в жизни не встречал».

Дитль, ну почему я такая жуткая дура? Знаю ведь, что мои слова проходят мимо тебя. Все вконец безразлично сейчас, когда нас разделяет огромное зеленое море. (Я хотя и видела Северное море, но всегда представляю его себе зеленым-презеленым.) Великое множество кораблей курсирует по морю и... ты замечаешь, что мозги у меня в полном распаде.

Хуже всего в школе. В глубине души меня не оставляет превратное ощущение, что все с огромным удовольствием делают мне гадости. Когда я изредка открываю рот, кто-нибудь из парней тотчас говорит: «Помалкивай!» – и весь класс разражается смехом, а учитель поглаживает себя по животу. Поэтому я даже спросить ни о чем не решаюсь. Все мои одноклассники ужасно богатые, и духовные позиции у них соответствующие. О солидарности они слыхом не слыхали. Однако ж они невероятно честные. Обман и жульничество тут большая редкость. Большинство парней добровольно идут на военную службу, один из них недавно с воодушевлением рассказывал, как лучше всего бить штыком под ребра.

Darling, сейчас по радио исполняют финляндский гимн. Сегодня Финляндия подписала «мир» с Россией. Знаешь, по причине нечистой совести иные нации считают своим долгом в дни национального несчастья исполнять соответствующие гимны.

И все же удивительно, как воздействует на нервы такой гимн. Правда? Финляндский гимн начинается словами: «Наш край, наш край, отчизна наша». И мелодия очень красивая. Когда слышу финляндский гимн, я думаю о многих женщинах и мужчинах, которые, склонив голову, с печальным взглядом... нет! Довольно!!!

Да, вот только что слово «norgewisch» резануло слух. Мы тут говорим «norsk». В общем, только что председатель норвежского парламента (или как он там называется) произнес трепетную речь. Совесть у него нечиста. Вы там должны ясно отдавать себе отчет, что вся Скандинавия станет театром военных действий, если Швеция и Норвегия пропустят войска на свою территорию. Но здесь еще и много активистов, одно время я тоже считала себя активисткой, потом боролась против них (ха-ха-ха), а под конец просто болталась среди абсолютных пацифистов и т. д. Этот «внезапный мир»

изничтожил всю мою нечистую совесть. Но знаешь, ясно одно: теперь все Скандинавские страны должны объединиться в «оборонительный союз», в военный альянс. Эту мудрость, которой я блеснула несколько дней назад, несколько *недель* назад, у меня украли газета «Свенска дагбладет». Я всегда говорила, что мое будущее – дипломатия.

Darling, Дита, Дита, Дита, у тебя день рождения. Через мисс Мак-Лакло посылаю тебе фотоаппарат и... книгу с репродукциями Ван Гога!! Вот! Скажешь потом, какая нравится тебе больше всех. Среди картин там есть «Цвелеющая миндальная ветка», смотришь – и прямо сердце щемит. Правда!

Представляешь, у меня самой такой книги нет, надо будет купить.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАРТА 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Первый день Пасхи.

Ну вот, опять. Я здесь, ты там. У меня все без перемен, поэтому для меня загадка, о чем, собственно, тебе рассказать. Я живу, а вместе с тем это вовсе и не жизнь. В смысле, не испытываю ни глубоких чувств, ни приятных переживаний. У меня даже парня нет, ради которого можно накрасить губы. И купленные шелковые чулки... тоже просто глупость, поскольку мои весьма красивые ноги никого не интересуют.

Н-да, «эротических» переживаний у меня кот наплакал, а что один норвежский парень, которому *хотелось* идти со мной под ручку, сказал: «Я понимаю, ты нетронутый цветок», – вовсе не утешает. Я сама себя не понимаю. Взять хотя бы Эдлу! У нее масса поклонников, нет, скорее «парней». Если запас иссякает, ей достаточно «глянуть по сторонам». Мне в самом деле хочется спросить, всем ли она позволяет себя целовать и т. д. Знаешь, не так давно я ехала «домой» из театра, и напротив сидели парень с девушкой. Она прислонилась к нему, и всё. А он обнял ее за талию. Ты не представляешь, как это больно иной раз. Знаешь, я мечтаю о... пьяных. Не об элегантных господах под хмельком... а о простых подвыпивших мужиках. Смотрю на такого вот замызганного пьяницу, слышу, как он философствует... и вижу, что в глубине души все люди уязвимы. И спяну они, видишь ли, обнажают свои раны. Они уже сами не свои. И вызывают больше симпатии, можно... простить их, если хочешь. И философствуют они красиво. Один как-то сказал, что вокруг него самая настоящая дыра, знаешь ли, и что только он сам, его Я имеет значение... С одним я как-то раз замечательно поговорила о Финляндии, обо всех глубинных «проблемах», а под конец он с удивлением заметил: как странно, мы словно бы хорошо «знакомы», хотя «вообще-то совсем друг друга не знаем». Потом спросил, есть ли у меня «парень», и я ответила: «Нет». Странно было. Кстати, тот английский мальчик, который

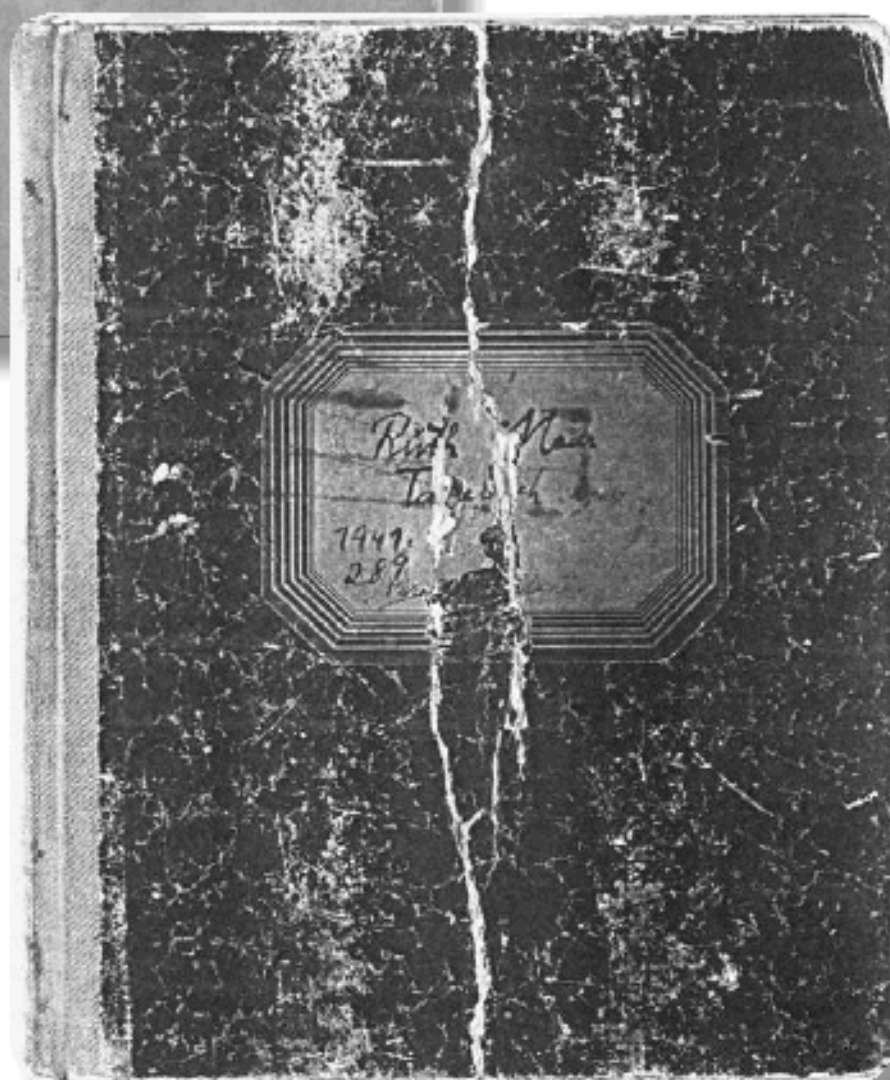
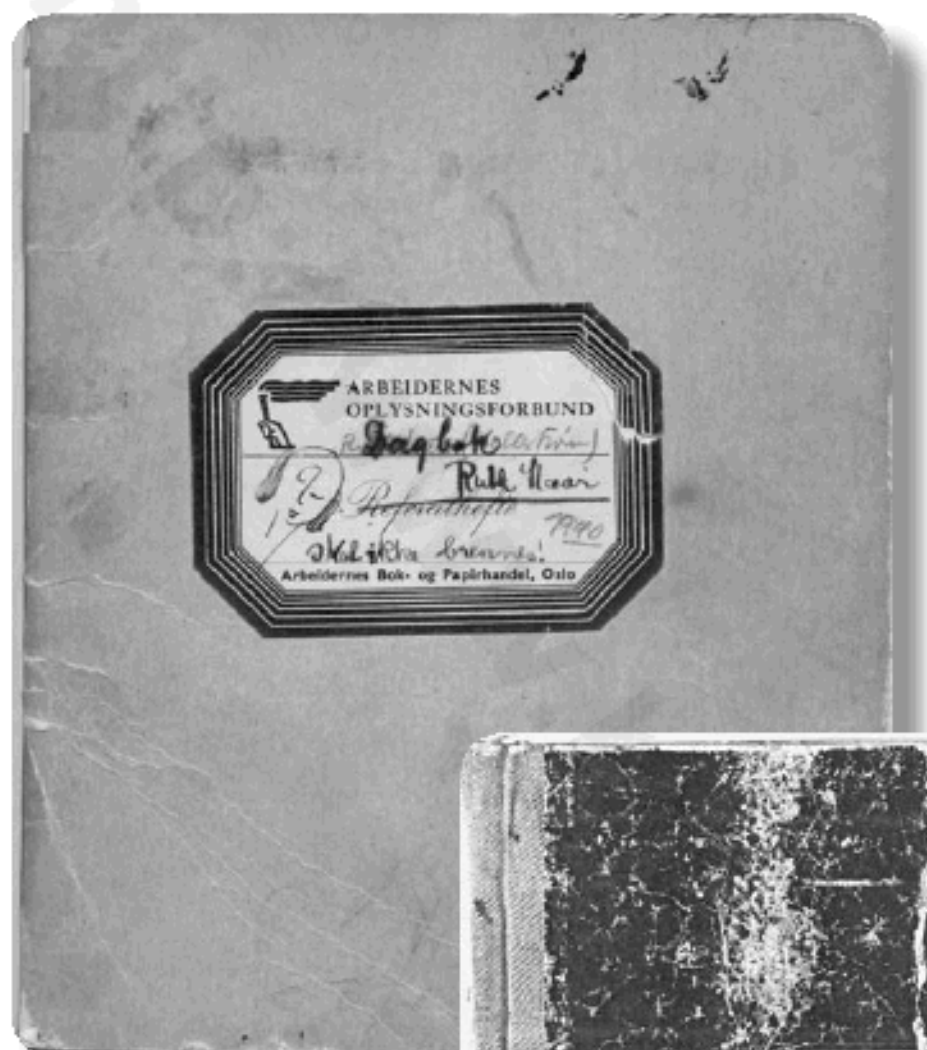
мне ужасно нравился. Я встретила его на Карл-Юхан и... он снял шапку... а я пробормотала «привет!», и... он оглянулся... и я оглянулась, и... людской поток увлек его прочь. У него такие красивые черные глаза. Смотришь и не можешь оторваться.

Написать тебе что-нибудь красивое про «любовь»? Я видела очень хороший спектакль – «Юхан Ульфстерна». Речь идет о Финляндии в период русского господства. Но это не важно. Там одна девушка (Агда, красивое имя, да?) говорит, что мужчины должны сражаться за любовь... а женщина просто ждет, совершенно ничего не делает, и в один прекрасный день «любовь» падает с неба ей в руки. Ни с того ни с сего. Ее любят такую, как она есть. Понимаешь? За то, что она такая, как есть, ее любят. По-моему, это прекрасно. По-моему, в любви прекрасно то, что люди так близки друг другу. Что в каждой улыбке, в каждом легком движении видишь «душу» другого. Вот так я любила Виллигера. Когда он улыбался, я чувствовала за этой улыбкой *его*. Когда он трепал меня по плечу, *он* был мне близок. И когда тоскую, я тоскую по этому самому глубинному, обнаженному *ему*, который мне близок (или был близок).

Вы не пришлете мне фотографию бабушки?



Анна Гроссман (1867–1942) с внучками Рут (слева) и Юдит



Норвежские дневники Рут Майер. Один охватывает период с 10 апреля до лета 1940 г. Второй – толстая тетрадь, почти 350 страниц – с нового 1941 г. до ноября 1942-го. Обе тетради исписаны полностью

III

Война

НОРВЕЖСКИЕ ДНЕВНИКИ

1940–1942

В оккупированной стране

АПРЕЛЬ–ИЮНЬ 1940 г.

Из записей, сделанных Рут в Норвегии в дни войны, мы располагаем двумя дневниковыми тетрадями, хранившимися у Гунвор Хофму, и небольшим количеством писем. Первый дневник начинается с вторжения немцев и заканчивается летом 1940 г. Это тетрадь в четвертушку листа, в мягкой обложке, около 90 страниц, исписанных убористым почерком, с пометкой «Не сжигать!».

Утром 9 апреля бомбят аэродром Хьеллер, неподалеку от Лиллестрёма. Объявлена воздушная тревога. Позднее в тот день Стрёмы на машине уезжают в Сетерстёа в Ромерике, между Орнесом и Скарнесом, где живут в крестьянской усадьбе. Во время краткого визита в Лиллестрём перехватывают разные слухи, в том числе ложные. Через некоторое время возвращаются обратно в город.

Рут вспоминает «хрустальную ночь» в Вене, когда она записала в дневнике: «Вчера был самый страшный день за всю мою жизнь».

Школьные занятия возобновляются, но проходят нерегулярно. Рут продолжает посещать Университетскую библиотеку. Она получает аттестат, но о школе ничего не пишет. Упоминает об этом задним числом, через год. Вспоминает своего старого венского латиниста.

В Южной Норвегии идут бои, пока английский флот 2 мая не покидает Ондалснес. 10 июня 1940 г. все норвежские войска сложили оружие. На континенте немцы оккупировали Голландию и Бельгию, вот-вот одержат верх над Францией.

СРЕДА 10 АПРЕЛЯ 1940 г., СЕТЕРСТЁА

Два дня промелькнули жутко быстро. Слушай.

8 апреля мы ничего не знали. Директор пришел в класс бледный. Громко сказал: «Вы слышали... семичасовые новости...» – «Нет?!» И он сообщил, что англичане установили минные заграждения. На школьном дворе парни чуть не дрались за экстренные выпуски газет. «Дагбладет» вышла с громадными шапками. Я жертвую 20 эре на газету. А потом иду в Университетскую библиотеку. Учю историю. Рядом сидит еврей с курчавой черной шевелюрой и бледным тонким ртом. Он мне симпатичен, и я порой замечаю, что он смотрит на меня.

«Дома» в Лиллестрёме мы рассуждаем и так, и этак. Г-н Стрём считает, что англичане правы, я тоже.

На следующий день начинается. Я не желаю знать, что происходит. Не желаю думать, что может стать еще хуже, чем в Австрии. Нет!.. Я надеюсь. Не знаю на что. На миг воспоминания снова захлестывают сознание. Внезапно.

Дальше. День начинается в полшестого утра. Памятный день.

Ой! Сажу тут и думаю. Ровно год назад я сидела за письменным столом и с серьезнейшим видом писала: «Это самые страшные дни, какие мне довелось пережить!» И вот опять. Никакой разницы. Я одна. И всё... это много.

Да, и вдруг г-жа Стрём закричала: «Рут, воздушная тревога, всерьез!» Я вскочила с постели. Сперва подумала, что сплю. Бегу вниз и застаю г-жу Стрём в розовой ночной рубашке, а г-на Стрёма – в халате. Вид у обоих испуганный. Я подхожу к окну, спрашиваю: «Воздушная тревога? Да? Наверно, надо собрать одежду... что случилось-то?» В душе я улыбаюсь: истеричные люди толкуют об эвакуации, а сами даже не знают, вправду ли объявлена воздушная тревога. Мы с Эдлой стоим у кухонного окна. На улице снег, на заднем дворе, как обычно, запаркована машина.

В кухню врывается г-жа Стрём: «Скорее в убежище! Бомбардировщики!» ...Немного погодя я оглядываю бомбоубежище и думаю: впервые. Женщины жмутся по углам. Многие плачут. Сбиваются в кучку, держат друг дружку за руки. Хорошо, что нас много, поэтому я спокойна. Только коленки дрожат, помимо моей воли. Я сжимаю руку Эдлы, когда снаружи рвутся бомбы.

Да, мы действительно слышали, как «рвутся» бомбы. Отвратительно. Пулеметы строчат мягче, будто песок бросают в стекло. Г-жа Стрём на грани обморока. Лицо мертвенно-бледное, глаза закрыты. Турид уткнулась головой ей в колени. Ёрдис молча обмякла. У мужчин рассудительные голоса, поэтому на них можно смотреть. Стрельба, разрывы бомб – ужасно. Неожиданно гаснет свет. Г-жа Гулбраннсен, вечная паникерша, громко кричит: «Неужто настал наш последний час!» – и призывает всех молиться. Лиллеба, ее светловолосая дочка, плачет.

Сейчас все это кажется мне сном. Немцы опять настигли меня! Порой эта мысль меня поражает. Немцы представляются мне скорее природной катастрофой, чем людьми.

Г-н Стрём очень молчалив.

Потом становится потише, вместе с Эдлой я подхожу к окну, и мы наблюдаем, как люди выбираются из подвальных убежищ, толпятся на улицах, с детскими колясками, пледями, младенцами. Народ разъезжается прочь на грузовиках, телегах, такси и частных автомашинах. Точь-в-точь как в кинохронике: финские, польские, албанские, китайские беженцы – выражаясь красивее: эвакуированные. Так просто и так печально: «эвакуируются» с пледями, со столовым серебром, с ребенком на руках. Бегут от бомбежек.

Вот так это было. Мы поднялись наверх, собрали чемоданы. Странно даже, что ничего не изменилось. Ведь ощущение такое, будто мы вернулись из долгого путешествия.

Зеркало на месте, постель так и не застелена. Воздух куда свежее, даже унылый вид из окна вроде бы стал интереснее.

Да, мы собираем вещи. Эвакуируемся. Г-н Стрём сядет за руль. По радио сообщили, что Берген, Тронхейм и Осло заняты германскими войсками.

Мы уезжаем на хутор в Ромерике. Там синее небо, коровы, поросенок и крошечный котенок. Парни там крупные, сильные. В армию их пока не призвали. Они доят коров, возят навоз, все там тихо-мирно. Ничто не напоминает о войне. Линия горизонта четкая, ясная. Теленок лижет мне руку.

ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ 1940 г., СЕТЕРСТЁА

Опять!

Самолеты с черным крестом прошли высоко над нами, как стая мерзких хищных птиц. Черные, толстые на фоне синего неба. Скотники подходят к окну, жмурятся на солнце. Заслонив глаза грязной рукой. Девятнадцать самолетов пролетело. И за штурвалами немцы. Даже ненавидеть их не могу. Удрученно констатирую: они снова здесь.

Потом г-же Гулбраннсен понадобилось в Лиллестрём, и мы поехали туда на машине. Лиллестрём выглядит совсем иначе. Чужой какой-то со своими фабриками и красной церковью. Мы настораживаемся, поглядываем на небо.

Едем по Лиллестрёму. Останавливаемся возле дома, и г-жа Стрём спешит наверх за моими сапогами.

На улицах много народу. Какой-то учитель подходит к машине и веско сообщает: Хьеллер оккупирован. Потоплен «Бремен» с 30 000 людей на борту. Англичане заняли Берген. Пятая норвежская дивизия на марше в Лиллестрём.

Потом едем обратно, в Сетерстёа. По дороге нас останавливают норвежские парни: «Узнали что-нибудь новое?» Они кучками стоят вдоль дороги. Не мобилизованы. Ждут...

ПЯТНИЦА 19 АПРЕЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Снова «дома».

Сперва было странно. Лиллестрём и мой так называемый дом. У меня в комнате на отрывном календаре по-прежнему 8 апреля. Трогательно, словно время здесь стояло на месте.

По улицам Лиллестрёма ходят люди, очень сдержанные, очень благоприличные – по-моему, даже чересчур благоприличные. На углу вывешено воззвание. На норвежском языке население призывают вести себя лояльно, в противном случае будет открыт огонь. Вот так защитники разговаривают с подзащитными.

Часто у воззваний стоят мужчины, читают с тупым безразличием. У них нет оружия... сегодня объявлен запрет на ношение норвежской военной формы. Совсем недавно несколько солдат, размещенных на телеграфе, вышли на улицу, в штатском... Мне казалось, они голые... Лиллестрёмские витрины заклеены серой бумагой. Возле окон – мешки с песком.

А жизнь продолжается... как всегда... и я... что будет со мной?.. не знаю.

Иногда я мысленно возвращаюсь в Сетерстёа. Тоскую... Перед глазами мелькают картины.

Как я впервые увидела немцев вблизи... совсем близко. Моросил дождь, под ногами слякоть, небо серое, я стояла у изгороди, вместе с Лейфом. И с крестьянином по фамилии Фолберг. На грязной, раскисшей проселочной дороге, отделенные от нас только изгородью, стояли немецкие солдаты в серых мундирах. Лица жесткие, «немецкие», так мне кажется, в жестянках, подвешенных на шею, у них ручные гранаты. Они разговаривают... и тут я чувствую, как я их ненавижу. Они говорят: «Назад!», «Так нельзя». И как раз оттого, что я при всей моей ярости невольно наостряю уши, прислушиваюсь к их немецкой речи, – как раз оттого я их и ненавижу.

Ненавижу всей душой, могла бы, не моргнув глазом, перестрелять их одного за другим.

Я крепко обнимаю Лейфа за плечи. Он совсем мальчик... и мне так грустно. У Лейфа светлые волосы, детское лицо... сжав губы, он серьезно смотрит на серые мундиры. У крестьянина тоже серьезный взгляд, а лицо такое доброе, что я готова его расцеловать.

В другой раз я видела двух немцев, которые промчались мимо на мотоциклах. Оба в желтых касках... брызги фонтаном летели из-под колес... я

видела только спины, они все уменьшались и в конце концов исчезли из виду... Я выбежала со скотного двора, стала в дверях и глядела им вслед.

Хозяин сидит у радиоприемника, большой, сильный, с острым носом, добрый. Потом он стоит возле скотного двора вместе с остальными... разговаривает. Ноги в снегу. Трубка в зубах. Говорит: «Не могу робить... стою тут да пялю глаза... раньше запросто мог валить лес... а теперь... только со скотиной управляюсь». У него всегда есть в запасе новости, всегда припасена надежда, и сердцем он не очерствел. Когда двое немцев мчатся прочь по проселку, он говорит: «Жалко мне их... простые смелые парни... не воротятся они... наверху затаились финны да норвежцы... пристрелят их...» Завязывается дискуссия, я пытаюсь убедить его, что глупо «жалеть немцев».

Кстати, странно: все время встречаешь людей, которые твердят: «Жалко мне их». Карин, одна из эвакуированных, говорит: «Господи, вид у них такой усталый, такой голодный, мне вправду их жалко». Эдла говорит: «Дядя мой видал, как в Осло-фьорд заходили суда с убитыми немцами на борту, и говорит: Боже мой, жалко их... двадцатилетние мальчишки... многие три года не были дома. Воевали все время, хочешь не хочешь. Если не попадали под пулю!»

Слыша об убитых немцах, я думаю: «Вот и хорошо». Никаких других человеческих эмоций у меня нет.

Стоим в Сетерстёа на железнодорожной платформе... г-жа Стрём, Стрём и я. Стрём едет в Лиллестрём... мы остаемся здесь. Разговариваем – о книгах, которые Стрём сожжет, думаем, что телеграф заняли немцы. Я чувствую: все как прошлый раз. Снова надо жечь книги, снова договариваемся о тайном пароле, который г-н Стрём должен назвать по телефону (если немцы заняли телеграф)... Вокруг тишина. Небо ярко вызвездило... Я думаю: до чего же люди обнищали, раз вынуждены бояться друг друга.

СРЕДА 24 АПРЕЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Я была в Осло. Там полно немецких солдат. Они болтают по-немецки, и мне больно. Ведь я люблю немецкий язык, на котором Гейне писал свои стихи, но немцев я ненавижу. Хотя ненавижу недостаточно, я знаю.

Один стоял на площади Йернбанеторг, покупал сласти, я слышала, как он сказал «шоколад». И это немецкое слово причиняет боль, берedit какую-то рану, приходится взять себя в руки.

Немцы ходят в свето-зеленых мундирах, у них широкие бычьи затылки. Когда они проходят мимо, я опускаю глаза.

Норвежцев на улицах тоже много. Улицы слишком уж кишат народом... так мне кажется.



«Пленные норвежские офицеры в Университетском саду. – Рисунок сделан с холма Ниссбергет Туролфом Клоуманом». «Дагбладет» от 22 апреля 1940 г. Взято из тетради Рут, куда она помещала вырезки

За университетом арестованные норвежские офицеры в форме расхаживают взад-вперед. Как огорченные дети. Два покалеченных немца с винтовками на плече стоят в охране.

ПЯТНИЦА 10 МАЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Я то и дело плачу... думаю о мамуле, о Дитль. В голове мелькает: увижу ли я когда-нибудь бабушку?

Ужасно. Опять нужно ждать... ждать... в полном одиночестве.

Когда плачу, я широко открываю рот, чтобы не закричать. Так больно.

Часто брожу по ословской пристани. Там масса народу, глазят на военные корабли, похожие на чудовищ из ночных кошмаров.

Сегодня Германия вторглась в Голландию и Бельгию!

ВТОРНИК 14 МАЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Здесь, в Лиллестрёме, много австрийских солдат. На шапках у них эдельвейсы. Речь мягкая. Один останавливается возле коляски с очаровательным малышом. Говорит по-австрийски: «Карапуз». Голос ласковый. Я думаю: «Может, у него дома есть сынишка...» Он сует руку в сумку, достает карамельку, говорит, тоже по-австрийски: «Конфетка!» Мать смеется.

Двое солдат в колониальной лавке, один молодой... с веселыми глазами. Покупает пиво, а когда продавщица не понимает, сколько ему бутылок, он говорит: «Две»... И мне сразу слышно, он из Австрии.

Многие расквартированы через дорогу, в средней школе. Играть в футбол... развешивают на солнце подштанники для просушки... иногда поют, играют на гармонике... «Как пойду я, как пойду...»

Безработные мужчины торчат у ограды, глазят.

Из открытого окна доносятся командные оклики.

На пристани в Осло тоже полно солдат. В белых плавках загорают на палубе огромного военного корабля. Щурясь от солнца, смотрят на людей, что глазят на корабль. Из громкоговорителя несется: «На Англию в поход».

На вид солдаты упитанные. Когда они строем шагают мимо, лица мелькают как коричневые пятна, ноги в такт топают по земле. Мне вспоминаются слова Раушнинга⁹¹: «Каждый народ нашел свою мелодию, немецкий народ марширует».

Немецкий солдат разговаривает на пристани с норвежцем. Я останавливаюсь. Внешность у норвежца еврейская. Бледное лицо, темные, сентиментальные глаза. У немца лицо загорелое, открытое. Ему лет тридцать с небольшим. Глаза светло-карие. Говорят они по-немецки.

Я не все запомнила из их разговора. Норвежец показывает на «Дагбладет», которую держит в руке: «Как думаете, что мы чувствуем, читая такую газету... нехорошо это... – Он говорит негромко, с упреком: – А что прикажете думать о вашем фюрере... он обещает, но слово не держит... говорит, что не хочет оккупировать Чехословакию, Польшу, Норвегию...»

«Мы и правда этого не хотим, да-да, не хотим», – отзывается другой немец, светловолосый, с водянисто-голубыми глазами и первыми морщинами на лице. И тут кареглазый говорит: «Мы действительно хотим лишь одного – мира, но когда малявка вроде Чехословакии с неслыханной наглостью... тогда, конечно... мы себя в обиду не даем», – уголки рта у него дергаются, когда он это говорит.

Насчет Польши он сообщает: «Мне и в Польше довелось побывать, знаете ли. Поляки расстреляли там 60 000 гражданских немцев. Перед войной. Да».

⁹¹ Раушнинг Герман (1887–1933/34) – нацистский президент Сената Вольного города Данцига.

Я невольно смеюсь.

Он оборачивается ко мне: «Вам смешно, барышня?»

«Да».

«А наш фюрер! – В его глазах появляется влажный блеск. – Ясное дело, он тоже человек, но лучший, лучший во всей Европе».

Тот, что с водянистым взглядом, кивает, у него глаза тоже увлажнились: «Лучший... лучший!..»

Подходят еще несколько человек – послушать разговор.

Норвежец говорит: «Мы что же, вправду должны верить, что вы пришли нас защищать... как здесь написано!» – Он опять тычет в газету.

«Не-ет, защищать вас мы не станем».

Тут светловолосый одергивает его. И он, опомнившись, говорит: «Ну, если вдуматься... мы защищаем вас от англичан».

Норвежец: «Вы в это верите?»

Толстяк в очках бесцеремонно вмешивается в разговор. Кричит бледному норвежцу, который впрямь производит впечатление слабоумного: «Не воображайте, будто говорите от имени всех норвежцев. Вы слабак и глупец!»

Немец тоже кричит: «А ну, полегче!» Толстяк-норвежец исчезает.

Теперь разговоры происходят по-другому. Долговязый «застенчивый» гимназист чуть ли не горящим взором сверлит какого-то очкастого плотного немца, который намеревается разъяснить ему немецкую манеру защищать.

Солдаты, который словно бы попал сюда напрямик из отцовской пекарни, подробно излагает германские аргументы, а под конец, загнанный в угол, говорит: «Я солдат и должен выполнять приказы!»

Здесь многие трактуют подобные заявления так, будто они означают: «Я против нападения на Норвегию, но если не стану подчиняться приказам, меня расстреляют».

Но это неверно. Говоря: «Я солдат и должен выполнять приказы», немец использует эту фразу как последний аргумент, когда не способен логикой мысли оправдать свои действия. Поэтому обыкновенно так говорят самые бездарные.

По улицам разъезжают грузовики. В кузовах сидят загорелые мужчины в рабочей одежде. Это пленные, выпущенные на свободу и едущие домой. Они улыбаются, и вид у них вполне довольный.

Смешно, однако мне хочется записать почти каждое слово, услышанное от немецких солдат. Вообще-то во мне нет ненависти, когда они останавливаются передо мной и говорят по-австрийски: «Барышня, где я могу купить сосиски?» И одновременно я бы, глазом не моргнув, их перестреляла.

Вон один стоит в почтовой конторе. Здоровяк, с обручальным кольцом. Крестьянин из Нижней Австрии, думаю я. Он покупает марки: «Барышня,

пускай будет серия... Нет-нет, дайте другую, эта подпорчена».

Странно. На поясе у него кобура с револьвером. Завтра он пойдет убивать норвежцев, которые защищают свою родину, сегодня – покупает серию марок и клеивает их в альбом.

На военном корабле в Осло поют матросы. Выглядят они очень забавно в матросских шапках и голубых воротниках. Один играет на гитаре, другие смеются... пьют вино... поют сильными мужскими голосами. Кормовые пушки целятся в ярко-синее небо. Чайки кричат... группа норвежцев глазет на немцев как на сказочных зверей. У девушек накрашенные губы... они ждут... они готовы.

Бьёрг из Сетерстёа, дерзко и по-детски гордо покачивая бедрами, сказала норвежскому парню: «Я гуляю только с немцами...»

ПЯТНИЦА 17 МАЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Снова «национальный праздник». Солнце светит ярко, как и год назад. Но за этот год столько всего произошло.

Сегодня даже флагов не вывесили. Да! Эдла купила торт «наполеон» и надела красивое платье. А г-н Стрём пришел с гоголем-моголем: «Все ж таки 17 Мая».

В «Афтенпостен» фотография цветущей вишни, снежные горы, озеро. Внизу подпись: «Бог, благослови нашу прекрасную родину».

На Западном фронте люди убивают друг друга.

17 Мая!

СУББОТА 18 МАЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Разумеется, смешно плакать потому только, что Курт прислал телеграмму: «Is Ruth safe? Cable»⁹².

И тем не менее! Я плачу. Потому что мне так одиноко и кто-то обо мне беспокоится... далеко-далеко... в Америке.

Ненавижу Лиллестрём. Хочу уехать... уехать!

Весна... я тоскую по тем немногим людям, которых люблю, которые так далеко и порой думают обо мне. Как бы мне хотелось, чтобы Дитль была со мной... мамуля... Курт... Сузи... Эгон... все, все мои друзья. Мы бы все вместе провели эти фантастические весенние ночи. Может, Курт пожал бы мне руку... весна ведь. И мы бы забыли отвратительные бомбардировщики

⁹² Рут в безопасности? Телеграфируйте (англ.).

и войну на Западном фронте... Мы вместе... знакомые, любимые лица, которые смотрят на тебя... нравятся тебе. Люди...

Господи! Я стала так непритязательна. А ведь мечтала о миссиях, которые ждут меня, о служении человечеству... о работе, которая наполнит мою жизнь. О! Сейчас я мечтаю только о доме... о четырех стенах, нескольких книгах и клочке неба за окном... и о милых людях, с которыми хочу жить бок о бок. Я буду работать, чтобы не голодать, чтобы покупать зимой уголь. Готова мыть полы и окна, лишь бы заработать денег... вот и всё. На кой-какие мечты!

То, что есть у всех других, – дом – я должна себе заработать. Здесь, у Стрёмов, не дом, я – чужая. Совсем-совсем чужая!

И никакой работы у меня тоже нет. Я читаю. Учю английский, французский. Мне 19, и до сих пор у меня еще не было... возлюбленного.

Нет смысла утешать себя тем, что таково наше сумасшедшее время. Верно, нынче играют во всемирную историю. Сражаются за несчастные идеалы, за тривиальные идеалы: гуманность, личную свободу и т. д. Звучат они печально и горько. Но обладают силой, убеждающей противников Германии в оправданности такой борьбы.

Весна... как я уже говорила... иду на улицу, бесцельно брожу. Мимо проходит парень. Лицо у него простое, и он без обиняков спрашивает:

«Может, прогуляемся в лесок, барышня?»

«Нет, спасибо!»

Он улыбается.

«Значит, ты гулена или?»

«Никакая я не гулена!»

«Хм».

Он так и идет рядом. Мы выходим на людную улицу. Поэтому мне не страшно.

И тут он говорит:

«У тебя небось есть фика!»

А я не знаю, что это такое. И говорю:

«Не знаю, что это».

Он добродушно ухмыляется:

«Менструации-то у тебя давно были?»

«Заткнись», – говорю я со злостью.

Но он начинает снова, и, по-моему, никто в жизни не говорил со мной так бесстыдно.

Он меня *приглашает*, вполне, так сказать, добродушно, хочет оказать мне услугу – пойти с ним в лес, это мой последний «шанс». Вечером, одна в постели, я буду жалеть, что не...

Я не жалела, но думала о том, что очень хочу родить ребенка... так почему

бы нет? Я ведь всего-навсего человек... мне хочется «спариться»... хочется... хочется... родить.

Мимо окон строем шагают солдаты. Цокают копыта лошадей. Потом солдаты запевают. Поют бодрыми мальчишескими голосами.

Весна ужасна, когда ты один, а ночи такие светлые.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

В городе я видела пленных. Они в желтых штанах и куртках, под мышкой у каждого шерстяные одеяла. Насвистывают и маршируют в такт. Немцы в зеленой форме, с винтовками наперевес, конвоируют колонну. Война.

На пристани стоят немецкие матросы, раздетые до пояса. С виду такие здоровые, молодые, загорают на солнце. «Пушечное мясо!» – думаю я и иду дальше.

Фьорд серебристо-голубой. С массивного транспортного судна сгружают серо-стальные автомобили. Крепость Акерсхус сохранила прежний облик. Башня четко вырисовывается на фоне голубого неба. На шпигеле развевается флаг со свастикой.

Какой-то солдат окликает: «Барышня». Я не оборачиваюсь, медленно иду дальше. Но думаю: «Почему бы нет?»

Любить я могу только мужчин, перед которыми можно раскрыть свое Я. Не опасаясь женского соперничества. Так что любить я могу стариков или мальчишек вроде Лейфа.

ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

«Фронтовые сводки» из Германии по радио. Какой-то лейтенант рассказывает о взятии Булони. Голос берлинского парня. Рассказывает он вот что.

Им пришлось брать штурмом земляной вал. Они пробились в двух местах. Взобрались на вершину. И... теперь самая соль: «Оттуда мы все расчистили ручными гранатами».

Он говорит это веселым, бодрым голосом.

Я пишу, а по радио передают Моцарта.

ВТОРНИК 4 ИЮНЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Представляю себе, что Виллигер в эту минуту, может статься, находится на фронте во Франции. И, может статься, убивает и однажды сам может

оказаться убитым. Ведь все происходит так быстро. Осколок гранаты, пуля в легкое... и жизнь кончена. Думая об этом, я думала только, что хорошо бы это записать так, как есть. Запишу как сказку. Эпизод, если угодно. Во мне даже тепла нет, когда я думаю о нем, лишь отдаленная печаль, никакого аромата... лишь пустота.

Три года минуло с тех пор, как я брала у него уроки латыни! Его порекомендовал д-р Браухбар.

Я тогда была очень застенчивая, по-моему, и очень строптивая. Когда ходила к нему, я даже губы не красила, всего-то ведь шестнадцать лет. Надевала голубую вязаную кофту и перед уходом быстро смотрелась в зеркало. Волосы причесывала на косой пробор... и понятия не имела, что такое «флирт» и т. п. Помню, на первый урок латыни я пошла после гимнастики. С папкой под мышкой, там лежал Саллюстий – нет, Цезарь, в тот раз мы читали Цезаря. Виллигер жил на шестом этаже, в доме рядом с кинотеатром «Колизей», на Верингерштрассе.

Прохладный, благоприличный воздух веет навстречу, когда открываешь высокую дверь подъезда. На каждой стене по зеркалу, я удовлетворенно смотрю на себя, снимаю очки. Ужасные шесть этажей. Он живет на самом верху. Возле двери кнопкой пришпилен листок: «Виллигер – 3 звонка».

Открывает высокий блондин в белом рабочем халате. Надо подождать. Г-н профессор еще не пришел. Меня проводят в его комнату. Она светлая и просторная, как студия. Большие окна. За ними видны грязные дома, несколько крыш с открытыми дымовыми трубами да лоскуток неба. Стены пустые, лишь кое-где кнопками пришпилены рисунки: какие-то древние руины, античная женская головка, бюст Цезаря.

Фотография молодого мужчины: красивое лицо... может, это он?.. Еще там стоит диван, а справа от окна – стол вроде теннисного, заваленный линейками и прочим. Книжки? Маленькая полка – «Alice in Wonderland», «Живой труп» Толстого (позднее он рассказывал, что у него была хорошая библиотека, но она сгорела). В темном углу – другой стол, на нем хлеб, немного чая, я наливаю в чай молока и чувствую себя таким неземным домашним духом, заглянувшим в гости, недобро улыбаюсь и радуюсь.

Вот и он. Да-да. Я вроде бы помню клочки седых волос, торчащие из-под шляпы. Но это воспоминание – обман. Он же был лысый... как выяснилось, когда он снял шляпу.

Фигура у него высокая, худая, руки узкие. Худоба не производила впечатления «природной», нет, он был худым «просто от старости», как говорит бабушка. Лицо наверняка было когда-то очень красивое... по причине «одухотворенности». Неприятно, что он теперь лысый и с кривыми зубами. Он выказывал огромное рвение... спросил, как меня зовут... назначил время следующего урока и отправил меня домой. Он начал заниматься со мной,

и я жутко в него влюбилась, потому что он был добрый и благородный... и потому что умел быть добрым ко мне. Мы сидели там наверху, вдвоем... и чувствовали, как хорошо жить... вероятно, он опять чувствовал себя молодым.

В губы он никогда меня не целовал. Но иногда клал мою руку на спинку стула. И тогда я чувствовала запах его рук... его тела. Теплый запах. Брал меня за подбородок и крепко-крепко стискивал мне зубы, до боли, такая была ласка. Потом спрашивал: «Не хочешь?» Он был добрый и молодой. Когда разговаривал со мной, часто опускался на колени или садился на корточки, опираясь руками в половицы. Совершенно естественно и замечательно, потому что такой уж он был. Часто я невольно улыбалась чему-нибудь милому и приятному, обнаруженному в нем. А он тогда спрашивал: «Почему ты смеешься?» Я не отвечала.

Там, наверху, было так здорово, я чувствовала, что он любит меня, как никто другой раньше не любил. Однажды он украсил стол цветами. Сказал: «Я поставил на стол букет. Видишь?»

«Да».

А он попросил: «Можешь сказать мне что-нибудь приятное, Рут?»

Я покраснела.

Он радовался моему приходу – да, как ребенок радуется дню рождения. «Когда придешь опять, Рутле?» Да, он звал меня Рутле. И при воспоминании об этом внутри до сих пор теплеет.

Иногда он звонил мне домой. Говорил: «Ты опять забыла тут своего Саллюстия. Да... и как твои дела... о, большое спасибо!» Голос у него был приятный.

Временами он провожал меня домой: «Не возражаешь, если я тебя провожу?» – «Нет!» Дома тянулись мимо нас, и на всем свете никого больше не было, только мы.

Мы говорили очень о многом. Он спрашивал, я отвечала, он рассказывал, я рассказывала. Возле памятника Фейербаху, этой серой каменной колонны с обнаженной мужской фигурой наверху, я рассказала ему, что хочу купить книгу: «Однокашников» Франца Верфеля. А на Ауманплац, возле зеленого сквера, где всегда играют дети, а на лавочках дремлют старики, он вдруг показал на окно, сверкавшее красным, потому что в нем отражалось вечернее солнце: «Смотри! Как красиво! Правда?! Надо непременно замечать все красивые мелочи, какие только есть на свете».

Он говорил мне много приятного, хорошего. Рассказывал, что очень страдал, оттого что женщины не понимали его, все они «отвыкли» от своих юношеских идеалов. А я этого не сделаю. Да, он был хороший. И я все слушала, слушала, сидела тихонько, ловила его слова, вбирала в себя и влюблялась. Однажды в разговоре он спросил, что бы я выбрала – прожить всю

жизнь в тюрьме или умереть. Я сказала: «Нет, умирать я, во всяком случае, не собираюсь».

А он стоял, долговязый, худой, лицо теряло отчетливость. И сказал, что предпочел бы умереть. «Представь себе, я бы никогда больше не увидел Рут... никогда. А ты, ты хоть немного скучала бы по мне?»

Я правильно реагировала на его признание, теперь я знаю. Молчала, только слушала, слушала... Чтобы не спугнуть его. И он сказал: «Один человек, который тебя не знает, сказал, что ты первая женщина, которая правильно обращалась со мной».

Щеки у меня вмиг вспыхнули огнем.

Но мне хотелось нравиться ему. Я знаю. Я вдруг выбежала из комнаты, чтобы в коридоре посмотреться в зеркало. О-о, я была счастлива.

Когда он пригласил меня в театр, я не могла сказать «да». Стыдилась и хотела помучить его. Мы стояли у входа, и он сказал: «Рут, почему мы не можем всегда быть искренни друг с другом? А? Почему не можем быть искренни?» Я не ответила, и он огорчился.

Есть у меня еще одно бесценное воспоминание о нем. Да. Воспоминание, спрятанное глубоко-глубоко и сияющее, когда я его вынимаю. Я надела золотой браслет – наверно, чтобы «сделать ему что-то приятное». И спросила себя: интересно, он заметит? А он сказал: «Ты раньше надевала этот браслет?» И я самым безразличным тоном, но внутренне ликуя, ответила: «Нет!»

Кажется, я мало говорила, когда бывала у него. Говорила «да» или «нет» – смеялась без причины. А когда он спрашивал, молчала. Как-то раз. Да, как-то раз откуда-то долетали звуки расстроенного фортепиано. А мне показалось, ноты звучат так чисто... на самом деле ужасные... но красивые, *оттого что* ужасные. Он сказал: «Идиотизм!.. Это фортепиано». – «Нет», – сказала я. А он спросил: «Почему нет?» Но ответить я не смогла... просто чувствовала себя счастливой.

Потом пришла женщина, видимо прислуга, спросила, сколько купить молока и хлеба. Когда она ушла, я невольно улыбнулась, потому что мне показалось до смешного замечательным, что ему приходится думать о хлебе и молоке... ему, милому, симпатичному старику, а он спросил: «Почему ты смеешься?» И опять я промолчала.

Однажды, когда я пришла, у меня был кашель. Тогда он заварил чай. Так мило с его стороны. Поставил чашку на стол. Я заметила, что ногти у него желтые от табака, руки пахнут трубкой и мылом. Не неприятно, вовсе нет!

Потом он как-то раз пришел к нам на Хоккегассе. Там ему было не место, я чувствовала, а потому боялась его визита. Я встретила его на лестнице. Он принес шоколад и сунул его мне в руки. В ту пору я ужасно стеснялась. Он сидел в столовой, разговаривал с мамулей, а я не хотела выйти

к нему. Боялась. А когда остался там один, он позвал: «Рут, выходи, посиди тут... я целую неделю радовался, что увижу тебя». И я чувствовала: он не лжет. Целую неделю радовался, что увидит меня. И я обрадовалась, подумав об этом. Лежала на кровати в детской. Он взял мою руку, поцеловал. У меня тогда была еще совсем детская рука, по-моему... смотрю сейчас на свою пишущую руку... Он ее поцеловал, и он еще жив.

Я показывала ему книги, стояла на верху библиотечной стремянки, сняла с полки книгу и чувствовала его пристальный взгляд. Приятно... я замерла не шевелясь.

И в другой раз я заметила его взгляд. Стояла возле магазина, он шел следом и остановился за спиной. Смотрел на меня мягким, улыбчивым взглядом. Мне было видно его отражение в стеклянной двери... он ушел.

Можно сказать еще многое. И все же я сообщу лишь мелкие детали. Но все это была его ясная, красивая личность, его глаза, его рот со мной, там наверху, в его комнате. Его слова приходили ко мне из близкого мира. Я знала, этот человек желает мне добра, человек в благороднейшем смысле слова. И этому человеку мне дозволено дарить радость уже одним моим присутствием. Он обратил внимание на мой тонкий золотой браслет, поставил на стол полевые цветы, чтобы порадовать меня. Показал мне огрызок желтого карандаша, сказал: «Ты забыла его здесь, ты грызла его... я сохраню его на память». Что тут ответишь?

Я сломала его авторучку. Он жутко перепугался, сказал: «Ничего страшного!»

Я была светлым пятном в его жизни: Рут. У него в календаре были отмечены дни, когда я приходила. Там стояло «Рут», и больше ничего... Если я приходила через неделю с лишним, он ужасно скучал. Правда-правда. Говорил: «Не скоро я увижу тебя снова. Ты понимаешь, как ужасно, что ты платишь за эти уроки?»

Я понимала.

Как-то раз он кое-что рассказал о себе, позволил увидеть в глубине кусочек своего «я», а потом сказал: «До сих пор я никогда не говорил об этом ни одному человеку». И еще: «И почему говорю девочке?» Мне тогда было 16.

В конце концов настал последний «урок». Мы переводили Саллюстия. И он сказал: «Нет, не переводи больше. Я слишком нервничаю». Я собрала свои вещи. Взяла пальто... хотела уйти. «Ты знаешь, что сегодняшний урок последний?»

«Да. До свидания!»

И я вприпрыжку сбежала вниз по лестнице.

Да, вприпрыжку. А теперь вспоминаю, что он вышел за мной в коридор, мы попрощались, и он бодро сказал: «А теперь беги!» Внизу я оглянулась — он стоял наверху, смотрел на меня. Да. Спокойно, с улыбкой. Да.

И еще он говорил: «Рут, не смотри на меня. Когда ты смотришь, я не могу думать».

Вспоминая об этом теперь, я думаю, как чудесно, когда мужчина говорит женщине: «Когда ты смотришь на меня, я не могу думать».

Немцы занимают Париж

ИЮНЬ–ИЮЛЬ 1940 г.

Гитлеровские войска повсюду ведут победоносное наступление. Италия вступает в войну на стороне Германии. После нападения на Норвегию переписка Рут Майер с семьей почти прекращается, надежды на скорое воссоединение почти не остается. Дневник отмечен безнадежностью по поводу хода войны, увеличения ее размаха, страхом насчет того, кто одержит победу: «О, я боюсь дня, когда газеты напечатают: подписан германско-английский мир».

Рут замечает австрийский говор солдат на улицах Лиллестрёма. Рассказывает об эпизодах на ословской пристани.

Кроме того, пишет о весьма шустром еврейском кавалере, которому с трудом дала отставку. Огорчения накапливаются, учитывая будущее и выбор профессии. По окончании школы Рут ищет работу – и в конце июля ей удается устроиться в крестьянскую усадьбу поблизости от Лиллестрёма.

Единственный светлый момент за лето – она познакомилась с девушкой Агнес, и обе ходят рука об руку. На шестнадцатилетие Агнес она покупает шипучку и пирожное с кремом. Прислуга Эдла испекла вафли.

Среди дневниковых записей появляются стихи.



Продвижение немецких войск. Карта найдена в тетради с вырезками.
«Дзгбладет», 17 мая 1940 г.

ПЯТНИЦА 14 ИЮНЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Сегодня немцы взяли Париж. Исторический день.

Я ощущаю дуновение из будущих учебников истории. Маленькая, апатичная, сижу и ем сосиски. Г-н Стрём нарушает наше многонедельное молчание вопросом: «Ты слышала?» Мое лицо кривится от страха, сперва я думаю про Елисейские Поля, про немецкие мундиры... потом: нам будет плохо, нам будет плохо.

Настроение у меня очень пессимистическое. Если Америка не вступит в войну, Германия победит, а тогда... О, я боюсь дня, когда объявят: подписан германско-английский мир.

Когда слышу о боях на Сене, Уазе, Эне... голова абсолютно пустеет. Я вижу умирающих людей, молодые тела, истекающие кровью, руки, вздрагивающие и замирающие без движения, глаза, которые уже ничего не увидят. Война.

Италия тоже вступила в войну, победа в которой заставит распрощаться с тем или иным мировоззрением. «Бесконечное ликование!» – лейтмотив в объявлении войны, провозглашенном дуче. О да. Мне оно знакомо, это ликование – сначала оно ножом вонзается в сердце, а потом ты с растерянной улыбкой присоединяешься к нему. В Вене тоже ликовали. Я только спрашиваю: *почему* они ликуют? Чему радуются? Ответ лишь один: мир, наверно, еще молод... Наверно, еще молод... Все время, прошедшее с тех пор, когда наши далекие пращурь убивали друг друга каменными топорами, ничуть не изменило моих видовых собратьев. Такие понятия, как человечность и любовь к ближнему, для них не более чем личины, прикрывающие варварские, звериные морды.

Хотя нет! Таковы уж люди – они и злые, и добрые. Добрые, когда в театре поднимается занавес, а они стоят на сцене с накрашенными губами и... играют. Добрые, когда создают картины и стихи, когда, зажав подбородком скрипку и закрыв глаза, творят музыку.

И злые, когда убивают друг друга.

Я постараюсь примириться с тем, что люди не ангелы и не дьяволы – именно так я стараюсь смотреть на немцев. Они злые люди. До того злые, что мне хочется всех их перестрелять, всех! Я их ненавижу, ненавижу до глубины души, когда прямо воочию вижу их, в коричневых мундирах у Сакре-Кёр, у Триумфальной арки, на Монмартре. У них с собой фотоаппараты. Они смеются, хихикают... о-о... Но я не хочу говорить, как г-н Стрём: «Этот народ нужно истребить». Немцы тупые, злые люди, сегодня они звериным ревом встречают своего фюрера... а позднее... позднее... среди них вновь появится Гёте.

Даже Гейне в его могиле на Монмартре нет покоя от немцев. Он совсем притих.

ЧЕТВЕРГ 20 ИЮНЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Я готова разорвать на куски всех голубоглазых оптимистов-норвежцев вроде г-на Стрёма. С улыбкой и «но» они отметали все осторожные возражения, только и знай талдычили о неприступной «линии Мажино»...⁹³ об отличных французских солдатах! Теперь эти оптимисты утешают себя тем, что немцы пробили не саму «линию Мажино», а ее продолжение.

Нет ничего смехотворнее, чем разочарованный оптимист, ничего безнадеежнее, чем оптимист, превратившийся в пессимиста.

Франция просит перемирия. Британская империя стоит в одиночестве – великая и трагическая минута.

Вряд ли Великобритания сможет устоять. Мне кажется, маленький остров – прекрасная мишень для немецких бомбардировщиков. У немцев невероятно много авиабаз. Из Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции они, как хищные птицы, набросятся на «блестяще изолированный» остров. Без колебаний станут бомбить беззащитные гражданские города и деревни, чтобы побыстрее закончить войну. Высадят в Англии десант, и, даже если англичане будут бомбить и топить транспорты и плавбазы, все равно достаточно многие дойдут до английских берегов... Английские военные корабли, как мне совершенно справедливо сказал один швейцарский еврей, почти сплошь устарели, служат всего-навсего отличными мишенями для немецких «хейнкелей» и «мессершмиттов». А один немецкий адмирал во всеуслышание объявил по радио кое-что, весьма похожее на правду: театром военных действий станет Ла-Манш, где английские военные корабли, построенные для операций на просторах мирового океана, ничего не смогут сделать. Я, конечно, не морской спец, но звучит это вполне логично.

Вполне логично! О Господи! Гитлер аннексирует весь мир. Ну, по крайней мере, английские владения, французские колонии и т. д. Никто меня не убедит, что вся остальная империя продолжит войну, когда маленький английский остров, чего доброго, превратится в груды развалин. О нет! Мы же видим: французские колонии нисколько не помогают Франции – ни Рейно⁹⁴,

⁹³ «Линия Мажино» – система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгюйона длиной около 400 км. Строилась в 1929–1934 гг. Названа по имени военного министра генерала А. Мажино. В 1940 г. немецко-фашистские войска вошли в тыл оборонительной линии, обогнув ее с моря, и ее гарнизоны капитулировали.

⁹⁴ Рейно Поль (1878–1966) – французский политик, в марте–июне 1940 г. – премьер-министр, в 1942–1945 гг. сидел в немецком концлагере.

ни Гамелен⁹⁵ не думают «бежать» в Северную Африку или в Америку.

Нет, как только Великобритания будет завоевана, прекрасному Британскому содружеству придет конец!

Вот так я думаю и боюсь, мои мрачные предчувствия сбудутся. Немецкий народ победит, потому что он «молод». По-моему, так. «Более молодой» народ, потому что он ближе к варварству. Английская молодежь, выросшая в демократической стране, отравленная пацифистскими, гуманистическими и демократическими идеями, не имеет той жизненной силы, какой обладает немецкая молодежь, с ее энергичной жаждой действия, марша в ритме самой жизни. Но и эта динамическая сила не выстоит под натиском грядущего восстания угнетенных и поработенных народов. Это восстание непременно состоится. Я знаю.

Немецкий солдат подходит ко мне. Спрашивает: «Барышня, вы не знаете, где госпиталь?» Рядом с ним шагает еще один, в зеленом мундире, с серебряными орденами, хромой. «Нет», – отвечаю я.

«Вы тоже не местная, да?»

«Да!»

«Жалко!»

В самом деле, стоило бы их перестрелять, этих мужчин в форме, с их чуждой совестью и ртами, вечно разинутыми в песне. Если посмотреть на историю в художественном аспекте, можно громко воскликнуть: какая грандиозная драма! Немецкий солдат, посланец нового порядка, дитя грядущей великой державы, завоеватель Франции и Бельгии, стоит сейчас перед Британской империей, которая в «splendid isolation»⁹⁶ собирает силы и бесстрашно восклицает: «Потомки скажут о нас: это была их величайшая минута».

Очень может быть, что это величайшая минута для Британской империи. Быть или не быть – вот главный вопрос, не только для Англии, но для всей европейской цивилизации.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮНЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Сегодня ничего не происходило, если не считать, что я надевала красное платье, ведь было воскресенье, я собиралась пойти купаться, а еще нарвала цветов! Рвать цветы! Только одинокие люди рвут цветы или вдовы да сироты, так и представляешь себе анемичных служанкиных детей с белыми губами.

⁹⁵ Гамелен Морис Гюстав (1872–1958) – французский армейский генерал, в 1931–1935 и 1938–1939 гг. – начальник Генштаба, до мая 1940 г. – главнокомандующий союзными войсками во Франции. В мае 1940 г. арестован как виновник поражения французской армии; после капитуляции французского правительства в плену у гитлеровцев.

⁹⁶ Блестящая изоляция (англ.).

Вчера я была в Осло. В целом там все хорошо. Можно делать что угодно, я знаю, никто не обращает на меня внимания.

Я сидела на пристани, читала Якоба Вассермана. Корабли так весело сверкают в морской синеве. Небо искрится. Немецкие солдаты садятся рядом, спрашивают: «Барышня, вы читаете по-немецки?» Я встаю, иду прочь. Думаю: нет, я пока не дошла до того, чтобы связываться с ними. Нет-нет, так низко я пока не пала.

Но замечаю, что в каком-то смысле немецкие солдаты меня притягивают. Может, моим первобытным женским инстинктам импонируют завоеватели в мундирах. Порой вечером мне ужасно охота принарядиться и прогуляться к аэродрому Хьеллер, просто пройти мимо в нарядном платье.

Я твердо решила не вступать с ними в разговоры. А вчера все-таки вступила. Подслушала разговор какого-то блондина-норвежца и пожилого немецкого солдата с обручальным кольцом на пальце, вмешалась, и в итоге только мы двое и спорили, третий присоединился позже. Я сама поразились, с какой легкостью опровергала аргументы этих нацистских отцов семейств. Сами по себе они умом не блистали, но их до такой степени оглупила немецкая пропаганда, что у меня просто сердце разрывалось. По дороге домой я только и твердила: мой бедный народ. И не из аффектации. Я и сейчас испытываю такое же чувство: мой бедный народ! Забываю, что мой народ – евреи.

Господи! Какую же чушь они несли! А когда попадают в тупик, то невинно хихикают.

Мы и о евреях говорили. Под конец один, узколицый, остроносый, сказал... мундир тем временем исчез в тумане... о чудо!.. он заговорил вроде как еврей. «Понимаете, что касается моего прежнего шефа, то ничего плохого я о нем сказать не могу. У него жена... сражался на фронте... при всем уважении... но раз уж решили навести чистоту!»

Второй продолжает: «Все большие магазины, они ведь принадлежали евреям...»

О бедный народ, думаю я! О бедный народ. Один из них протягивает мне руку, хочет представиться. Я отшатываюсь. Нет, не надо руки. Пока не надо!

СРЕДА 26 ИЮНЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Одиноко. Конечно же одиноко. Вечерами мне ужасно хочется мужчины... какого угодно. Тогда я иду на прогулку, на улице светло, и люди такие спокойные, светлые. Я иду, иду.

Какая-то девушка обращается ко мне, когда я сижу у ограды, закрыв лицо руками. Говорит: «Бедняжка», думает, я плачу. Мы начинаем разговор. Она

проститутка. Смеется довольно вульгарно, но не без известного шарма, волосы назойливо-светлые, она привлекательна не духом, но своей юной чувственностью и доверительными манерами.

Спрашивает: «Сигаретки не найдется?» Потом: «Слушай, одолжи пудру, нос надо припудрить». И еще: «Зеркальце есть? Надо посмотреться, а мое больно маленькое».

Она рассказывает про немецкого солдата, с которым вчера «познакомилась». Он спросил: «Прокатить тебя на велосипеде?» А она ответила: «Да!» Странно. Она ответила: «Да». У нее уже есть его фото. Он лейтенант.

С восторгом шепчет: «Они такие симпатяги». Я пробую ее образумить: «Вы забываете, они пришли убивать!»

Она уверенно кивает: «Это *верно*, только...»

Да. Я даже сердиться на нее не могу. Хорошо ее понимаю, я ведь все понимаю, потому что меня *все* мужские брюки гипнотизируют.

ЧЕТВЕРГ 27 ИЮНЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Немного прогулялась. Познакомилась с другой девушкой, и под конец мы с ней шли рука об руку: ей 16 лет, беленькая, светловолосая. Светится чистотой и прелестью. У нее сияющая улыбка. Зовут Агнес.

В ее присутствии я чувствую себя грязной. Рядом с нами парнишка лет 19. На миг он исчезает, и она говорит: «Знаешь, этот блондинчик, он липнет ко мне как муха».

Я невольно улыбаюсь. Ведь вообразила, будто он шел рядом из-за меня.

«Симпатичный».

«А мне он не нравится. Не мой тип... У него, видишь ли, есть друг».

Она восторженно улыбается. А я опять словно в грязи. Думаю: когда я-то буду высматривать свой «тип»? Мне-то просто нужен мужчина... и всё... остальное безразлично.

И еще: замечательно идти рука об руку – тепло и хорошо!

СУББОТА 29 ИЮНЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Сон: Виллигер – германский посол в России. Стоит у телефона, говорит: «Я больше не могу работать, я болен». Худой, долговязый, он выходит из комнаты, не сказав больше ни слова. Я спешу за ним, говорю: «Могли бы хоть “доброе утро” сказать!» А он начинает меня бранить, ему тошно смотреть на меня, он кричит, что я только мучаю его своими безумными письмами.

Вечером гуляю с Агнес. Она такая чистая и очень чуткая. Улыбка у нее

порой очень женственная, и все же она совсем-совсем юная. Она меня любит. Мы рвем цветы, глядим на вечерние деревья, на людей. Ее рука спокойно лежит в моей, я чувствую ее тепло. Она говорит сплошь приятные вещи, говорит, что у меня добрые руки, что все наверняка сразу полюбят меня.

У нее лицо немецкой Мадонны. А говорит она как ребенок. Вернувшись вечером домой, я думаю о ней... Не могу написать ни слова. Я рада, потому что нашла человека... боюсь проснуться и обнаружить, что Агнес всего лишь сон. Что будет так, как после приятных сновидений, когда тело горячее от пригрезившихся ласк и нежности, а потом я просыпаюсь, вижу эту мерзкую комнату, где «живу», и на меня обрушивается тяжесть: это был всего лишь сон!

Теперь расскажу про те два раза, когда я сказала «да», и под этим коротеньким словечком «да» подразумеваю «предала».

Первый раз так случилось из-за одного парня. Я несколько раз видела его в Университетской библиотеке. Видела, что он еврей: черные курчавые волосы, роговые очки, высокий лоб, невероятно красивый рот. Руки короткие, пухлые. Я часто смотрела на него.

Однажды дело было в Дайкманской библиотеке. Подле гардеробщицы, которую я учила немецкому. В его норвежском я сразу уловила немецкий акцент. И посмотрела на него. А пока я смотрела на него, он приподнял брови, губы удивленно дрогнули и через секунду раздвинулись в широкой улыбке. Смеясь, он спросил: «Вы можете показать мне, где расположена техническая читальня?» Я совершенно растерялась, ответила по-немецки, что... увы... «не знаю!», но откуда он, я – из Вены. Все с тем же неопределенным смехом он завел разговор... конечно, нам было что рассказать друг другу. Он иммигрант, я тоже. Он был секретарем в Женеве, кажется, тогда я услышала папино имя. Он владеет искусством делать комплименты... украдкой, так сказать. Нет-нет вставляет в разговор «друг мой». Поначалу я приняла его неопределенный смех и приподнятые брови за застенчивость. Но скоро обнаружила, что эта застенчивость простирается не слишком глубоко. Мы бродили по улицам. Я показала ему, в частности, могилу Вергеланна, а он, заметив, что я зябну, гладил меня по спине (а иногда обнимал). Говорит он не закрывая рта, рассказывает какие-то эпизоды, переживания, события, где играл центральную роль. Когда он говорит, рот выпячивается, брови дергаются, и он прямо-таки брызжет на меня слюной.

Когда он рассказывает, что норвежских девушек легче вовлечь в разговор, потому что они ждут приятного сюрприза, а вот женевских девушек надо сперва твердо в этом убедить, я отвечаю самой что ни на есть банальной фразой: «У вас, должно быть, большой опыт по части вовлечения девушек в разговор!»

«Да?..» – Он вскидывает брови.

Когда не хихикает, он красивый, думаю я, глядя на седые прядки в его волосах.

И-да. И разговор принимает теперь самый необычный оборот, какой только можно себе представить.

Он, смеясь: «А вы так неопытны?»

«Ну... – Мне стыдно, когда я думаю о своей «целомудренной» жизни, я фыркаю и отвечаю: – По крайней мере, я никогда не реагировала на приставания».

Он хихикает.

Затем: «Вид у вас не настолько... неопытный...»

Я: «Это наглость с вашей стороны».

Он: «Нет. Комплимент».

И так далее, и так далее. В конце концов он намекает: мол, зря ты так уверена, что я хочу тебя. Говорит: «Главное, хочет ли завоеватель завоевать объект».

Я спрашиваю: «Значит, я для вас объект?»

«Да».

«А вам не кажется, что не менее важно, хочет ли объект дать себя завоевать?»

«Пожалуй». Смешок.

Ну-ну. Я думаю, что, если у меня есть хоть капля гордости, я больше никогда его не увижу. Его манера вдруг на несколько секунд уставиться влажным взглядом прямо в глаза начинает действовать мне на нервы.

Я говорю ему, как неприятен этот дешевый взгляд и что он вообще не производит на меня впечатления.

«Стало быть, вы должны защищаться от того, что *производит* на вас впечатление?»

Тут мне становится совсем противно.

Наконец настало время распрощаться.

Он: «Итак, мне *позволено* увидеть вас снова?»

Я смотрю неуверенно. Мы стоим на Хенрик-Ибсенс-гате, у входа в Народный дом. Для меня всегда ужасно отвечать на такие прямые вопросы. Я чуть отстраняюсь от него. Улыбаюсь... мямлю... «Может быть!»

Он накидывает пальто и уходит.

Мне тошно и стыдно, я устала. Иду наверх, в Организацию молодежи Рабочей партии. Там собрание, я хочу участвовать. Но поскольку я давно не платила членские взносы, меня не пропускают. Злая на весь мир и на себя, бреду обратно в Дайкманскую библиотеку: ох, какая же идиотка! Какая самонадеянная дура! Интеллигентный, умный человек, немецкий иммигрант, как и ты, еврей, которого ты энное количество раз встречала в Дайкманке, о котором думала: был бы он *моим*! – этот парень хочет встретиться с тобой

снова, и внутренне тебя тянет к нему, но ты упираешься, просто потому, что он не образец мещанства. Какая же идиотка!

Сажусь на каменные перила возле Дайкманской библиотеки. Смотрю в пространство и думаю о нем... Как вдруг – о чудо! – он опять проходит мимо. Внутренне я опять непоколебима. Говорю:

«Думаешь, наверно, я ждала тебя».

Задним числом я не понимаю, как могла назвать его на «ты», явно просто оговорились. Он проводил меня на поезд. Говорим о политике... избегая всех сентиментальных тем. Я твержу себе: если он спросит, ты ответишь «да». Да! Да! Дикость какая-то: вместо «да» я бы могла ответить целой фразой или встречным вопросом. Но нет. До этого я не додумалась.

Ты должна ответить «да», твердила я себе.

На вокзале он опять спросил: «Так я увижу вас снова?» Теперь-то я знаю, что спросил он из вежливости, прошлый раз не знала... Ноги у меня подкосились. Сердце забилося... я закрыла глаза и после «внутренней борьбы», продолжавшейся лишь несколько секунд, ответила до смешного слабым голосом: «Да!»

Открыла глаза и вижу: он стоит, подавшись вперед, с довольной улыбкой. А затем, с улыбкой, очевидно выражающей счастье, говорит: «Да?»

Я ответила, уже в ловушке, храбро глядя на него: «Да!»

В этот миг загудел паровоз. Лицо его вдруг огорчилось, и, не задерживая меня и не договариваясь о времени и месте, он позволил мне войти в вагон. Я села у окна, давая ему последний шанс. Но он только взмахнул пальто. Повернулся на каблуках и исчез, с улыбкой, вылитый донжуан!

И второй раз я сказала «да» и унизилась. Этот «эпизод» расскажу совсем вкратце. Поскольку я решила стать медсестрой, я написала в больницу Богородицы, попросила анкеты. Мне ответили, что я должна лично представиться настоятельнице. Я поехала в город. Приехала в больницу, и меня провели в маленькую, украшенную розами приемную. На стенах – лики святых... скоро пришла настоятельница, в черном монашеском облачении, с распятием на груди. Лицо бледное, увядшее, весьма сдержанное. Кожа серая, глаза тусклые, невыразительные. Глухим голосом она начинает меня расспрашивать. Ведет разговор к религии.

Спрашивает: «Вы верите в Господа?»

К этому вопросу я была более-менее готова. Заранее нагло решила соврать.

И соврала, но не нагло, скорее трусливо... и потому никогда себе не прощу этого ответа. Глаза у меня неуверенно забежали, ища опоры.

Потом я тихо и робко сказала: «Да...»

Я подумала о том, как Ясон Филипп в «Человеке с гусями» (у Якоба Вассермана) приходит на вокзал, чтобы насладиться видом отставного Бисмарка, а когда тот смотрит на него, кричит «ура!».

ПОЛДВЕНАДЦАТОГО ВЕЧЕРА,
ПЯТНИЦА 29 ИЮНЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Каждый вечер, в 7 часов, я захожу за Агнес. Когда она издали улыбается мне навстречу и я вижу ее личико Мадонны в рамке светлых волос, мне кажется, будто я не видела ее несколько лет. Она могла умереть, думаю я... а теперь восстала из мертвых. Она дарит любовь всем, кто с нею соприкасается. Поэтому все любят ее. Я пробыла в Лиллестреме больше года, и она – первый человек, полюбивший меня... сама она здесь всего три месяца. Когда я с ней, люди все время здороваются с нами и улыбаются. Какой-то ребенок окликает: «Агнес». Один парнишка останавливается, другой идет рядом, разговаривает с ней. Маленький блондин обожает ее, глаза у него светятся теплом, когда он смотрит на нее.

Чистая и целомудренная, проходит она мимо мужчин... а я погибаю от тоски. Она все время твердит: «Я замуж не выйду». Когда мы вдвоем, она заявляет: «Я не могу!» Понятно. Ее чувства еще не проснулись, она еще не хочет иметь мужчину.

Мы идем вместе, проходим мимо солдата, охраняющего кухню. Он в каске и с ружьем. Лицо доброе. Строгое, у рта легкие насмешливые складки. Светловолосый парнишка, шагающий рядом с Агнес, останавливается, затевает разговор. Жестом показывает солдату: мол, снимай мундир, переодеваясь в штатское. Тот отвечает дрожащими губами: «Мы бы до потолка *подпрыгнули*, если б могли это сделать. Уже сыты по горло».

Норвежец показывает на кожаную сумку: «Что там?»

«Ручные гранаты. Погоди-ка!»

Из сумки он достает фотографию: развалины дома, на переднем плане множество немецких солдат. «Польша!» – говорит немец. Опять насмешливо улыбается. Выглядит он хорошо, думаю я. Мой народ! – думаю я.

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Мы ездили отдыхать. В летний домик в Ниттедале, обедались вареньем, и пирогами, и бутербродами, а сейчас уже снова в Лиллестреме. Я сделала несколько хороших рисунков. Г-жа Стрём их сожгла. Ну-ну.

Я опять сижу здесь, радуюсь, что вечером снова увижу Агнес, а внутри у меня пустота. Снова размышляю, какую работу найду. Чем буду заниматься? Читаю книги. Это хорошо. Но недостаточно. Хочу почитать об истории Англии. Читаю все вперемешку. Ничего... но какую работу я найду? В мае я получила аттестат и теперь безработная. Все время взвешивала разные возможности, обсуждала их сама с собой и т. д.

Сперва хотела заняться языками. Здесь нельзя сдать на гимназического учителя. И я хотела сдать на немецко-норвежского переводчика. Всё обегала и попала в министерство торговли. Там мне сообщили, что экзамен на переводчика, к сожалению, разрешено сдавать лишь с 25 лет. Ладно.

Обхожу лиллестрёмские парикмахерские, мучаю их вопросом, не возьмут ли меня ученицей. За место ученика надо платить, к тому же летом работы вообще мало, говорят: заходите осенью.

Читаю объявления в «Афтенпостен». Пишу художнику, которому нужна натурщица, фотографу, которому требуются ученики в лабораторию, портнихе, ищущей учеников. В крестьянской усадьбе в Хедмарке нужна молодая девушка для несложной домашней работы. Я пишу.

Ответов не получаю. Записываюсь в норвежский Трудовой фронт. Хочу выучиться на медсестру.

Ничего не происходит. И я уже отчаялась. Мне 19 лет, я должна найти работу.

Думаю я вот так.

I. Продолжаться по-прежнему не может. Я должна найти работу и непременно найду. В Англию уехать невозможно, сообщение между Норвегией и Англией прервано, потому что идет война. А поскольку она может затянуться еще на два-три года... надо искать работу.

II. Работа наверняка будет бесплатная, потому что у меня нет норвежского разрешения на работу. У г-на Стрёма могут возникнуть неприятности, если я нарушу местные предписания. Меня это не огорчает, потому что мне кажется, вряд ли на меня обратят внимание, вдобавок я уже давала платные уроки немецкого: стало быть, хочу получить оплачиваемую работу.

III. Лучше бы, конечно, вместо работы научиться чему-нибудь практическому. Но это стоит денег, а г-н Стрём платить не станет. И все-таки я посмотрю, вдруг появится такая возможность.

IV. Чему учиться?

а) Я пыталась получить место медсестры. Шансов мало. Мне еще нет 20, в школе домоводства я не училась. Если меня примут, будут большие трудности с оплатой учебы. Может, удастся добыть денег у моих родственников в Брно.

б) Читать объявления в разных газетах. Искать ученические места. Это тоже стоит денег... а именно денег на поездки в Осло.

в) Учиться парикмахерскому делу: стоимость 30 крон в месяц.

г) Поместить в газете объявление: молодая девушка хочет научиться домоводству. Без оплаты.

д) На один семестр пойти в университет, послушать лекции по истории. Стоимость: деньги на поездки в Осло.

V. Кем я могу работать?

а) В общем-то, домашней прислугой. Но не выйдет, я ведь почти ничего не умею.

б) Трудовой фронт.

VI. Что же мне делать?

Во вторник спрошу у г-на Стрёма, может ли он оплатить поездки в Осло, если я пойду в университет. Если он согласится, начну с 15 августа и посмотрю, как получится. Если откажет, дам объявление в газете.

[Продолжение во вторник.]

Почему один только Виллигер занимает место в моем дневнике? Почему не другие? Мамуля, Дитль, Эгон, Сузи.

ЧЕТВЕРГ 18 ИЮЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Вчера у Агнес был день рождения. Впервые она поднялась в «мою комнату». Я накрыла стол. На последние деньги купила шипучки и пирожных с кремом. Эдла испекла вафли и угостила нас. Мы пили кофе, немного покурили.

Вся комната светилась от ее присутствия. Ей исполнилось 16. Когда она, стоя перед зеркалом, причесывает свои белокурые волосы, я целиком погружаюсь в созерцание.

Потом мы сидим на диване. Я положила голову ей на колени и совершенно счастлива. Она рассуждает своим звонким голосом. Я не слышу слов, только смотрю на нее.

Даже жутко холодные дни бывают хорошими.

Только вот кончаются так...

СУББОТА 20 ИЮЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

В Лиллестреме совершенно невыносимо. На каждом шагу немецкие солдаты. Всегда самоуверенные, подмигивают молоденьким девушкам, а те, всегда падкие до военной формы, улыбаются в ответ. Это причиняет боль.

Потом по дороге идут два норвежских солдата. Пока что в форме. В темно-зеленых шинелях. В руках чемоданы, явно приехали из Швеции... их там интернировали. Они напоминают о тех днях, когда еще существовало норвежское правительство.

Да, и газеты напоминают об этом, бедные газеты, которым заткнули рот. «Дагбладет» вообще исчезла. Может, иногда вздох храброго патриота.

Но в общем и целом: привыкаешь к этому.

Несколько стихотворений:

БОЛЬ

*Отчего все разом хорошо и плохо?
Сладко пахнет сирень, и вместе с ароматом
грудь наполняется глубокой болью.
Цветы вишни тихонько колышутся в синеве неба,
словно нежными пальцами касаются
грудь, причиняя боль.*

ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

*Серые дома проходят мимо, точно старухи.
Люди – куклы с замкнутыми лицами.
Роза алеет в разбитом окне, делает знаки небу,
тяжко нависшему над землей, словно крышка из синего стекла.*

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ

*Рослые мужчины бродят в светлой весенней ночи.
Меж пальцами украдкой светятся сигареты, как мечта о счастье.
Они проходят совсем рядом с девушками, стоящими на углу,
в ярких платьях, с сияющим видом.
Когда они смеются, смех улетает к небу
как храбрая мольба о радости.*

МОЛИТВА ДЕВУШКИ

*Смотри, Господи, как солнце скользит по моим стройным ногам,
озаряет белые бедра, играет
в светлых моих волосах.
Смотри, Господи,
я до боли сжимаю юную грудь,
наклоняюсь, выпрямляюсь,
потягиваюсь,
чтобы ощутить, как соки бродят по телу...
...я стою перед зеркалом
смотрю на себя как на чудо и...
...плачу, о Господи...*

...плачу и вопрошаю:

*зачем, Всемогущий, зачем Ты создал мое тело
как сказку, когда вечерами,
лежа в постели, я кусаю подушку, чтобы не закричать
от тоски по мужчине?*

Раз у меня опять есть «подруга» = девушка, которую я люблю, хочу вспомнить и других девушек, которые тоже были моими подругами. Вспомню Кэте. По-моему, Кэте трогательная. В ней так много стремлений, так много любви, так много преданности, что остается мало места для ума, для импульсов разума. Ее разум пронизан потоком сентиментальных ощущений. Может быть, Кэте изменилась с нашей последней встречи. Стала старше. Да. Последнее воспоминание о ней связано с разговором в коридоре на Обере-Донауштрассе. В сумерках. Я знала, что она скоро уедет, а она стояла передо мной, и мы разговаривали о будущем, которое ее ожидает. Говорила она шепотом: «Я ужасно боюсь забыть все замечательное, когда стану старше. Боюсь, что позднее слепо пройду мимо всего, во что верю сейчас». И при этих словах глаза у нее вправду наполняются слезами. Она смущается, отворачивается.

Что она тогда вправду плакала, оттого что боялась позднее очерстветь, стать «заурядной», это все-таки здорово. Показывает, что за ее восхищением искусством и музыкой, «благородными подвигами», «социализмом» и т. д. видна она сама, частица ее души. Или погоди, может, это показывает, что она в боязливом предугадывании чувствует, что искусственно вызванная экзальтация не сохранится надолго?

Что только Кэте не восхищало! Затаив дыхание, в напряжении она смотрела «Медею», «Короля Лира», «Потонувший колокол», «Ганнибала». Широко раскрыв глаза, прижавшись друг к другу, мы стояли перед картинами Дюрера. Замирали от восторга перед бюстами Микеланджело. Но в ее восхищении сквозило что-то болезненное, хрупкое. Ее ум не выдерживал сердечного темпа, отставал. Поэтому она производила несколько хилое впечатление. Замечательно, что она вполне сознавала, что ей недостает интеллекта. Но со смиренной улыбкой все более увлеченно предавалась искусству и разным идеалам. Порой меня неприятно задевали ее непомерные восторги. Но большей частью мы вдохновляли одна другую. С нею я провела замечательные часы. Мы вместе стояли в очереди у Бургтеатра, по шесть-семь часов стояли у огромной входной двери, с книжкой в руках, читали, учили, смотрели друг на друга глазами, полными ожидания. Перед нами лежал озаренный солнцем Ринг, прямо напротив – Ратуша, серая, красивая... Сквер возле Ратуши... Крохотные люди снуют туда-сюда. Наконец двери открываются, мы внутри, меж перилами, впереди и позади молодежь.

Получив билеты, устремляемся к стоячим местам в партере, прямо у железной пожарной лестницы, с затертой картиной, изображающей Шёнбрунн и собор Святого Стефана, смотрим на открытые красные ложи, на золоченые перила, слышим приглушенные разговоры в партере – и мы счастливы... очень счастливы. С упоением вдыхаем воздух, не напоминающий о политических дебатах, еврейском вопросе, латинских вокабулах и домашних заданиях, воздух, полный того, что делает жизнь замечательной.... полной искусства, культуры. Наши сердца учащенно бьются, когда поднимается занавес, когда раздаются три звонка, когда гаснет свет, и вдруг затихает гомон, и мы стоим одни в темноте, чтобы слушать, чтобы видеть, как актеры играют для нас, только для нас. Мне кажется, часы в Бургтеатре – из самых прекрасных в моей жизни. Больно думать об этом, ведь я знаю: так никогда больше не будет. Я и Дитль говорю: «Вот были времена...» Вспоминая Бургтеатр, я вспоминаю и Кэте... вспоминая Художественно-исторический музей в Вене, вижу перед собой Кэте... Она всегда рядом со мной, пухленькая, пышногрудая, невысокого роста... Кудрявые волосы закрывают шею. Лицо типично еврейское. С высокими дугами бровей, белой кожей и красивым ртом. Немного чересчур пухлое, как мне вдруг подумалось.

Поначалу я думала, что мы с ней даем друг дружке одинаково много. Но скоро поняла, что превосхожу ее. По-моему, она за многое должна благодарить меня, поскольку я немало «воспитывала» ее. Я улучшила ее плохой вкус, давала ей хорошие книги и благодаря нашим разговорам ориентировала ее на нужный курс. Было время, когда мы расходились и когда снова сближались, очень сближались. Четыре года мы учились в одном классе, потом Кэте перешла в школу прикладного искусства. Там она могла сосредоточиться на работе, которая ей нравилась, и таким образом выработала твердый характер.

Когда Гитлер вошел в Вену, мы опять сблизились. Лишь изредка повторялись периоды, когда она подступала ко мне так близко, что я инстинктивно отшатывалась.

Но одно так и не изменилось: Кэте стыдилась своего окружения. Стыдилась отца и матери, людей совершенно неинтеллигентных, державших магазин спиртного на Хоккегассе. Оба евреи, до ужаса ограниченные. Кэте прекрасно это понимала и... стыдилась... Мне это в ней никогда не нравилось.

Кэте уехала из Вены раньше меня, в Англию. Писала мне нечасто. Я знаю, она опять посещает школу прикладного искусства и у кого-то там живет. Однажды она написала: «Впоследствии жизнь здесь будет казаться мне дурным сном». Вероятно, ей живется так же, как мне.

Забыла сказать: Кэте страдала комплексами неполноценности. Причем ярко выраженными. Она не привлекала мальчиков – комплекс неполноценности. Сознавала ограниченность родителей и их неинтеллигентность –



Весной 1940 г. Рут получила аттестат зрелости. Из-за военных действий экзамены отменили и аттестаты выдали 10 мая на основании годовых оценок. Фото из альбома Рут: «Я после аттестата, 18 лет». Снимок из той же серии, какую использовала Гунвор Хофму, когда в 1948 г. в журнале «Виндуэт» опубликовала статью «Рут Майер»

комплекс неполноценности. Чувствовала, что сидит в тени, и слегка стеснялась, порой бывала вздорной, особенно передо мной.

Кэте – целый отрезок моей жизни. Агнес – другой. Я пережила достаточно дурных привычек, идеалов и своеобразностей. И хочу только тепла. У Агнес оно есть. Когда прячу голову под ее длинными светлыми волосами, чую теплый и такой «интимный» женский запах.

ВТОРНИК 23 ИЮЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

В последний раз сижу в этой комнате за шторами затемнения. Странно.

Дело в том, что я нашла работу в крестьянской усадьбе, у женщины, страдающей ревматизмом, противной старушенции. Хозяин тоже старый, с плохими зубами. Еще там есть светловолосый сынок, который мне нравится... Да, усадьба называется Нюланн. Я несколько раз там бывала, купалась неподалеку. Тогда и видела сынка.

Возни там будет много. Кормить свиней и коров, доить, мыть полы и окна и проч. Но раз другие справляются, справлюсь и я!! В душе я ужасно рада, нисколько не грущу, что расстанусь с Лиллестрёмом, с г-жой Стрём и

ее мужем. Я рада, потому что буду работать и вечером уставать после дневных трудов.

А мамуле, любимой моей мамуле, я могу храбро посмотреть в глаза и сказать: я тоже кой-чего достигла, доила коров, мыла кастрюли и чаны. Спасибо.

СРЕДА 24 ИЮЛЯ 1940 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Сегодня я, стало быть, начну новую жизнь. Надолго ли – не знаю. Но все равно радуюсь!

Правда, кое-что омрачает мою радость. Мысль о мамуле, Дитль, бабушке. Они в Англии. Гитлер выступал с речью, и, по-моему, будет ужасно. Они будут бомбить города и деревни... бомбить города и деревни.

Мама мне улыбается.

Не падай духом, Рут. Выше голову.

Я бы предпочла быть в Англии. Да-да.

Они будут бомбить английские города и деревни.

[Здесь заканчивается предпоследний дневник Рут Майер. Писем от конца лета 1940 г. тоже нет. Она записывается в женский Трудовой фронт, который как раз организовали. В ее фотоальбоме есть несколько фотографий из лагеря в Свартскуге, к югу от Осло. Нижепомещенный снимок она называла «Лёувинг». Рут – третья слева.]



Знакомство с Гунвор

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 1941 г.

334 плотно исписанные страницы линованной тетради форматом в четвертушку листа, в твердом переплете, оклеенном зеленой мраморной бумагой, с надписью «Дневник Рут Майер, 1941, 1942 гг.» – последний и самый объемный дневник, оставленный Рут. Начинается он в первых числах года. К тому времени она уже познакомилась с Гунвор Хофму в женском Трудовом фронте, начавшемся поздней осенью 1940 г. в усадьбе Фейринг в Биристранне на северо-западном берегу озера Мьёса.

В начале тетради несколько страниц занимают переписанные стихи, с комментарием: «Несколько стихотворений Улафа Булла, любимого поэта Гунвор»⁹⁷. Здесь бросается в глаза, что стихотворение «Камень» начато рукой Рут, а продолжено рукой Гунвор. «Метопя» переписана Рут, до трех первых строк последней строфы («Я, человек живой, и на земле мой дом...»), которые она зачеркивает. То есть Рут Майер предпочитает такой конец:

Ты обними меня покрепче, милый,
Надежды проблеском твое объятье будет.
Лучистый жаркий миг вернет мне силы,
Иную вечность он во мне пробудит!

В разных трудовых лагерях Рут встречает друзей своего уровня. В одном она познакомилась с той, кого они зовут Петтер (на самом деле – Лив), в Бири встречает говорящую по-датски Карен, которая замужем за норвежским летчиком-истребителем. И умеет хорошо фотографировать. Именно Петтер знакомит Рут и Гунвор: «Вот знакомьтесь, вы будете очень рады друг другу».

⁹⁷ Булл Улаф (1883–1933) – норвежский поэт.



Oppfordring til alle norske kvinner!

Alle norske kvinner over 14½ år som kan komme fra, og som ikke har arbeid i jordbruket, oppfordres til å delta i frivillig arbeidstjeneste i år.

Landet venter nettopp din innsats. Matforsyningen må økes, men bøndene mangler arbeidshjelp, derfor bør alle de som kan ofre noe av sin tid, bruke den i frivillig arbeidstjeneste.

Deltakerne får fri reise frem og tilbake (fri frakt av sykkel og bagasje), fritt opphold i hus, fri kost og arbeidsdrakt, hodetørkle og ulltepper i leiren. Har De sovepose, så ta den med!

Fri trygd. Dessuten i lommepenger 25 øre dagen den første måned, 40 øre 2. måned og 60 øre dagen 3. måned og senere.

Arbeidet varer i 7 timer daglig og består i lettere landbruksarbeide. Sport, lek og underholdning i fritiden. Fast luge og øvet kokke.

Deltakerne må binde seg for minst 14 dager. Aldersgrense nedad 14½ år, oppad ubegrenset. Venninner som ønsker det, kan komme på samme leir.

Frivillig kvinnelig **ARBEIDSTJENESTE**

Pilestredet 10, Oslo. - Telefon 12 888

AT-4119

HERNEDEN

После прекращения военных действий в Норвегии создали так называемый Трудовой фронт для мужчин призывного возраста. Были привлечены около 70 000 норвежских мужчин. Женский Трудовой фронт был добровольным и не приобрел столь большого размаха. Участницы были заняты на страдных полевых работах и в социальной службе. Круглым счетом 3000 молодых женщин приняли в нем участие. О Рут Майер нам известно, что она побывала как минимум в трех таких лагерях – в Свартсуге, в Бири и в Тёу в Рюфюльке

ПЕРВЫЕ ЧИСЛА ЯНВАРЯ 1941 г., БИРИСТРАНН

Не могу описать, как мне тепло с Гунвор. Я люблю ее глубокие глаза. Люблю ее сдержанную манеру разговаривать.

Гунвор – человек, полный достоинства. Я много бы отдала, чтобы сделать ее счастливой.

У меня возникает мерзкое ощущение подлости жизни, когда я думаю, что ей приходится зарабатывать деньги, что у нее даже нет времени поставить себе хоть маленькую цель в жизни, просто потому, что она должна искать себе «работу». Я отчетливо чувствую, что она пойдет далеко, если получит возможность учиться. Она мыслит не шаблонно. Просто отчаяние берет, когда мы говорим об этом.

Дома у нее плохо. Отец такой нервный, что ему надо жить самому по себе. Главная проблема – как ему заработать на хлеб. Она чувствует себя обязанной вносить свою долю наличными.

«Все остальное значит куда меньше. Ты понимаешь?»

Впору помереть. И опять невольно смотришь на нашу «компанию» с особенной горечью.

Одаренная девушка должна надрываться в конторе, потому что нет денег на учебу в университете или на другое образование.

Наши разговоры у печки так приближают меня ко всему этому, что я просто сижу с ней, беспомощно и молча.

ПИСЬМО СЕМЬЕ В АНГЛИЮ ВЕЧЕР, ПЯТНИЦА 3 ЯНВАРЯ 1941 г., БИРИСТРАНН

Последнее письмо от вас датировано сентябрем 1940 года. Сейчас январь 1941-го. Вы понемногу превращаетесь для меня в неземные сказочные фигуры. Воссоединение нас четверых представляется почти невероятным. И все же именно мысль о вас рождает во мне при слове «будущее» такие... боязливые ощущения. К чему столько слов? Вы меня понимаете. Мы вчетвером были бы вроде как маленьким островком. Ха-ха! Мне хочется только, чтобы все у вас было хорошо.

У меня все относительно блестяще. Я в зимнем лагере в Бири. К северу от Осло у озера (Мьёса), которое вы наверняка найдете на карте. Мы занимаемся вязанием и тканьем, работаем на ближних хуторах. Все девушки замечательные. Я вместе с другими и не чувствую себя несчастной. Они меня не обижают, со многими я дружу. Одна девушка мне ужасно нравится... как в свое время Лиззи Кантор. Она такая хорошая. Мы разговариваем друг с другом... часто причиняем друг дружке боль. Наверно, потому, что слиш-



Вид на север вдоль берега Мьёсы, из усадьбы Фейринг в Бири, где познакомились Рут Майер и Гунвор Хофму. Из фотоальбома Рут

ком любим друг дружку. Ты знаешь, как это бывает.

Я часто рассказываю ей о тебе, бабушка. Как здорово ты умеешь вязать и как хорошо рассказываешь разные истории. Про «Книллиллипилилли» и про то, какая ты, мамуля, храбрая! Звучит как сказка.

Пожалуйста, напишите! Так много всего происходит, и я часто так огорчаюсь. Когда вы уезжаете? Напишите особенно об этом.

По случаю твоего дня рождения, Дитль, и твоего, милая мамулечка, желаю вам того, чего желаю себе... а... если вдуматься, даже... много больше. Думайте иногда обо мне... и я буду с вами.

Пишите, что делаете. Дитль, ты по-прежнему у мисс Гриффит? А ты, мамуля, по-прежнему поварихой?

ЧЕТВЕРГ 9 ЯНВАРЯ 1941 г., БИРИСТРАНН

У нас с Гунвор опять все хорошо. Она тоже меня любит. Старается любить, и мне тогда очень тепло.

Глаза у Гунвор синие. Бездонные.

Никогда не видела такого *доброго* человека. Она и ко мне добра. Я обижала ее, била, но она все понимает, и улыбка остается прежней. Красивая

улыбка, всегда понимающая или желающая понять. Поскольку она такая милая, я осмеливаюсь показать, что люблю ее.

Дни становятся светлее, когда любишь.

Когда Гунвор рядом нет, во мне чего-то недостает. Только когда она появляется, где-то вдалеке, и находится в поле моего зрения, я облегченно вздыхаю: она опять здесь.

ПРОГУЛКА

*Какая тишь кругом,
что легкими волнами плещет на берега души
и проникает в душу,
смывает утомительные мысли.*

*Я продолжаю путь,
но отчего же ты, о сладостная тишь,
меж белыми деревьями остаешься?
Навек пребудешь там,
чтоб замереть в покое?
Одна, наедине с собой?*

ПЯТНИЦА 10 ЯНВАРЯ 1941 г., БИРИСТРАНН

Я могу смотреть на ее лицо... долго-долго! Мысли пробегают по лбу будто легкие облачка. Когда она целиком уходит в себя, лицо и взгляд отдаляются. Тогда я всей душой люблю ее.

Когда она уходит, а потом возвращается, я замечаю, как мне ее не доставало.

Я навсегда запомню ее в сером фартуке, как она стоит в дверях, а я вдруг успокаиваюсь и думаю: «Все хорошо!»

Она милая. Любит всех людей, потому что они люди.

Мне так хочется сделать ее совершенно счастливой. Когда она сидит, прикрыв руками глаза, мне хочется отместить все ее заботы.

Сейчас она говорит с Мосс, которая призналась Карен, что она клептоманка. Карен рассказала другим, и Мосс вконец несчастна... Гунвор утешает, говорит тихонько, иногда закрывает глаза руками. Потом улыбается сама себе.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ЯНВАРЯ 1941 г., БИРИСТРАНН

Квислинг⁹⁸ призывает нынче «национально-ответственных норвежцев» добровольно вступать в германскую армию.

Среднестатистический норвежец реагирует негодующим удивлением.

Это хорошо. Таким образом НС⁹⁹ вызывает ненависть к себе.

Гунвор дежурит на кухне. Поэтому дни пустые. Вчера мы вместе гуляли по Мьёсе. Светило солнце. Снег сверкал золотом. Гунвор подставила лицо солнцу. Так мы и шли. На другом берегу нам показалось, будто скоро наступит весна. Серые голые ветви деревьев тянулись к небу, словно в тоске. На Гунвор был белый свитер. Я очень ее люблю.

Почему, думаю я, такие люди, как Гунвор, совсем не борцы по натуре, очень часто впадают в смирение? Грустно видеть ее честную смиренную улыбку, когда я говорю о ее будущем. Ее тусклые глаза, когда речь идет о доверии, вере, идеалах... Я такая же, как она... Но все же я не в счет. Я непригодна для жизни, так или иначе... Когда я вижу, как она апатично слушает меня, мне ужасно хочется поставить перед нею цель: *смотри*, вот что тебе достанется... Тогда она будет счастлива.

И все же Гунвор с ее умной человечностью и нехваткой жизненных целей мне милее многих ограниченных так называемых идеалистов, которые мечтают о так называемых духовных вещах и выдвигают различные «идеалы» = навязчивые идеи, какими они просвечивают все проблемы. Зачем называть этих людей идеалистами?

Отчего не причислить к идеалистам Гунвор, и Виллигера, и папу? У них есть воля не идти на соглашения. Вот это идеалисты.

Позднее, при удобном случае, я обдумываю разговоры, которые мы вели у нее в комнате. Гунвор расхаживала взад-вперед, взад-вперед. Говорила о том, чтобы «погибнуть». Всерьез. Этот разговор, в частности, показал мне, что она не смирилась так, как я. Я обнаружила, что повод погибнуть имеют так мало людей, что говорить об этом не стоит. Те, кто гибнет, становится безучастным, тупеет, *заслужили* гибель.

Кэте плакала, когда мы об этом говорили. Виллигер грустнел. Но я тогда еще была полна веры. Веры во что? Не знаю.

⁹⁸ Квислинг Видкун (1887–1945) – организатор и лидер фашистской партии в Норвегии; содействовал захвату Норвегии Германией (1940); в 1942–1945 гг. премьер-министр правительства, сотрудничавшего с оккупантами; казнен.

⁹⁹ «Нашунал самлинг» – норвежская фашистская партия, созданная Квислингом в 1933 г.; распущена в 1945 г.

СРЕДА 15 ЯНВАРЯ 1941 г., БИРИСТРАНН

Лив Бьёрн = Петтер.

Крупная, хорошо сложенная девушка с красивыми аристократическими руками, на которую приятно посмотреть. На губах у нее всегда легкая насмешливая улыбка, заметная в глазах и... ноздрях. Улыбка совершенно очаровательная, придающая ее в общем-то заурядному лицу прелестный вид.

Я мало знаю ее внутренний мир, он прячется под иронически-удивленной... улыбкой.



Карандашный рисунок из Бири: «Комната», 19.12.1940 г. Найден в бумагах Гунвор Хофму

Вечером.

Такой, как я, трудно любить... девушку или юношу.

Весь день я радуюсь вечеру... Гунвор тогда свободна. Тогда она, может быть, сядет на диван рядом со мной, вытянет ноги и что-нибудь скажет.

Позавчера она рано ушла спать. Вчера мы провели вместе всего-то минут пятнадцать. А потом она исчезла.

Сегодня: она спросила, не пойду ли я в кафе с ней и еще несколькими девушками. Я сделала вид, будто мне все равно, но на самом деле было приятно. Она спрашивала снова и снова, а я снова и снова отвечала: «Не знаю». Потом сказала «да», а немного погодя «нет». Я с ними не пошла. Хотела отплатить за те четверти часа, которые она у меня отняла, чтоб побыть с другими. А мне так хотелось поговорить с ней!

Потом я сидела и поневоле плакала: думала о том, как радовалась вечеру, а теперь она уходит вместе с Бьёрг... без меня, и завтра, наверно, уйдет куда-нибудь еще.

Не думаю, что моя любовь к ней противостоит естественна. Я ведь так люблю ее просто потому, что люблю в ней человека, как было и с Виллигером.

Я думаю, какая радость охватывает меня, когда я могу заштопать ей чулки, посидеть в ее комнате. А если она спрашивает, не хочу ли я прогуляться с ней, безразлично пожимаю плечами. Когда же она уходит, обливаюсь слезами.

Вот мы вместе идем по дорожке за домом. Дорожка крутая, некоторое время ведет по лесу. Потом выходим на равнину. Останавливаемся. Внизу под нами снег, озеро, и мы чувствуем себя «единым целым». Окутанные одной мыслью и настроением.

Потом сидим в кафе. Это маленькая комната со старинными фотографиями и цветами в горшках. Сидим, пьем кофе, разговариваем, иногда молчим, и я смотрю на ее лицо. Я думаю: потом будет приятное воспоминание, когда я останусь одна.

Я останусь здесь и на следующий заезд. Без Гунвор будет тяжело. Любое местечко станет напоминать о ней.

ЧЕТВЕРГ 23 ЯНВАРЯ 1941 г., БИРИСТРАНН

Рисую: светлая картина («Одна»). На переднем плане обнаженная женщина, заслонившая глаза рукой. Желтая проселочная дорога, широкая, дугой идет вдаль. На заднем плане дом. Дерево. Ребятишки. Этот рисунок у Гунвор.

«Бомбежка»: черная точка – самолет. На улице (четыреугольники домов с черными пятнами окон) люди, преимущественно женщины, жмущиеся друг к другу.

Два пейзажа: «Весна», «Осень».

Есть у меня и другие рисунки. Портреты Гунвор и Карен. Гунвор в своей «каморке», съездившаяся на стуле. Этот рисунок я подарила Гунвор.

По-моему, рисунки не очень хорошие. Но я чувствую, в них есть кое-что от меня, и потому люблю их... Особенно я люблю рисовать красками. Я как бы пишу музыку. Желтый и красный рядом дарят мне душевную радость.

В последнее время очень полюбила музыку. Могу подолгу слушать Моцарта и Бетховена. Мне необходимо следовать за музыкой, узнавать мелодию. Часто я прямо-таки готова застонать, вот до чего приятно.

С Гунвор хорошо. Сидим у печки, разговариваем. Больше ничего не делаем. Она рассказывает о своей семье. Сестры ее матери, все до одной, совсем с ума сошли. Твердят, что ее мать – внебрачный ребенок. Раньше она не верила, но *боялась* этого.

Я рада, что она мне это рассказывает. И знаю, для нее это тоже хорошо.

Она рассказывает о Рейдаре, своем друге. Простые вещи и все же такие сложные: что они надоели друг другу, что она больше не любит его, но он упорно верит в их любовь, рассчитывает жениться на ней. И она спрашивает, порвать ли ей с ним. Я размышляю и говорю: «Да!» Разговор продолжается. Приходит тетя Клара, гасит свет, она терпеливая, не мешает нам разговаривать. В комнате полумрак. Моя соседка спит. Гунвор рассказывает. Потом говорит: «Дура я, что рассказываю тебе все это. Больше об этом разговоров не будет».

Гунвор ставит и требования к любовным «отношениям». Я хочу такие, чтобы они избавили меня от онанизма. *C'est tout*¹⁰⁰.

Рисовала обнаженную натуру: Герд-Марит, веселая девушка, с пухлым круглым ртом и маленькими быстрыми глазками, служит мне моделью. У нее красивое тело.

ВОСКРЕСЕНИЕ 2 ФЕВРАЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Снова здесь. Не стану писать почему. Противно и без толку. Кстати, почему бы не воспринимать естественные вещи естественно? Причина – своего рода душевная болезнь: *debilitas neurosa*. (Запомнилось, поскольку училась в классической гимназии.)

Гунвор помогала мне, когда я заболела. Никогда этого не забуду. К врачу я ходила вместе с ней. Она утешала меня улыбкой. Эти минуты вместе с ней я сохраняю в памяти. Она показала мне, как бесконечно много значит, когда в трудный час рядом с тобой есть человек.

¹⁰⁰ Вот и все (*фр.*).

Я помню... помню каждый миг. Гунвор стоит и вся светится. Вижу ее в белом свитере... в синей юбке, в сером фартуке. Вижу ее глаза, нос... нос, рот, волосы.

Последний вечер! Почему я не в силах сберечь настроение, царившее в маленькой тесной каморке: я уезжаю!

Почувствовав, что заболела, я пошла к ней. Все случилось внезапно. Она стояла в прачечной, в подвале... с мокрыми руками. Милая Гунвор. Нет, лучше бы утаить эти мгновения, не марать словами эти минуты, чье содержание никто не воссоздаст, ведь никто не чует тогдашнего аромата и тепла.

Последний вечер. Я смотрела ей в лицо. Только не забыть эти черты!

Было темно. Мы разговаривали. Разговаривали о будущем, о том, что нам *нельзя* ускользнуть друг от друга.

«Наверно, Карен снимет комнату. Тогда мы сможем поселиться вместе с ней».

«Да».

Пришла г-жа Хельтене, прогнала нас. После ее ухода я тихонько пробралась к Гунвор в постель. Угадывала там ее тело.

Я подавляла нежность, всколыхнувшуюся в душе. Нервничала, дрожала. Вот я рядом с ней. Гунвор подсунула мне под голову подушку. Я знала: она здесь! И нервозность как ветром сдуло.словно приятный сон. Свет мы погасили. Мои руки, тонкие, светлые, высунулись из-под одеяла, потянулись к окну.

Гунвор засмеялась, я ткнула коленкой ей в живот. Она засмеялась еще громче.

Потом стало тихо. Помню, я сказала:

«Сейчас мне так хорошо».

Она была рядом. Не боялась меня, хотя я вела себя до ужаса болезненно.

Послезавтра ложусь в больницу. Мысль, что Гунвор обещала меня навещать, придает мне храбрости.

Я очень тоскую по ней. Даже чувства к Агнес были не столь глубокими, Гунвор дала мне намного больше.

Под конец я набралась смелости показать ей мою любовь. У Карен был день рождения. Мы угощались пирожными. Настроение в комнате, в каморке «Беззащитных», было замечательное. Около одиннадцати девушки спустились вниз, в гостиную, потанцевать. Только мы двое сидели на кровати, вытянув ноги... я пощекотала ее за поясом, ногтями, чуть-чуть.

Вечером накануне отъезда погладила ее по руке. И подумала: все должны относиться к тебе так же хорошо, как я. Всем нужен рядом человек, чтобы любить его так же, как я люблю тебя. И в самом деле, среди темноты от Гунвор исходил свет.

Сегодня я читала старые письма. Читала то, что Дитль и мамуля писали

мне до 9 апреля. Видела, как мамуля любит меня, какой прекрасный человек Дитль, моя милая сестренка. Дитль не такая, как Гунвор. Гунвор очень умная. Когда она говорит, сразу заметно, что она думает. К тому же она во многом разбирается. Глаза у нее видят. Она добра, сама о том не ведая, не ожидая благодарности взамен.

Дитль, прости, что я думаю о Гунвор. Я люблю ее совсем иначе. Рассказать тебе, какая она, Гунвор?

Она высокого роста, сильная. С маленькой грудью. Когда видишь ее впервые, она не производит впечатления. Лицо кажется почти ничего не говорящим. Но затем обращаешь внимание, что голос «чистый», детский, чуть-чуть ломкий. Брови беспокойные. Глаза – да, лишь немного погодя видишь, какие они изменчивые. Взгляд часто такой отдаленный, и порой она в задумчивости устремляет его куда-то вглубь. Ее лицо красиво своей беспокойностью, своей живостью. Другие, наверно, назвали бы ее мимику гримасничеством. Походка у нее тоже своеобразная. Она ходит наклонясь вперед, покачивает бедрами, размахивает согнутыми в локте руками.

Ты даже не представляешь, как мне приятно описывать ее.

Она так по-особенному улыбается, даже надоедливой, скучным вещам. Улыбка добрая. Эта улыбка была меж нами, с самой первой прогулки вдвоем. Эта улыбка нас сдружила. Сделала «друзьями»! Ах! Если б знать, считает ли она себя моей подругой. Она такая странная. Я все время боюсь обидеть ее. С Май было по-другому. Я могла положить голову ей на колени, поиграть ее волосами.

Теперь нам пришлось попрощаться. Ты знаешь, каково это. Время вдруг становится врагом. Часы идут.

Она спрашивает: «Сколько времени?»

«Не спрашивай!»

Смотрю на нее. Она шьет. Голова склоняется вперед. Я хочу только смотреть. Рисую тебя глазами. Вот ты какая. Вот мы стоим у печки. Улыбка между нами... долго ли еще осталось?

«Да, да!»

Она и еще несколько человек провожают меня на автобус. Я вижу одну только Гунвор.

Она держит меня за руку, дольше обычного. Не отпускает. Существуют только ее глаза. Я сижу в автобусе и сквозь заиндеветое стекло вижу, как она оборачивается. На ней коричневое пальто, над которым я так часто подтрунивала. Она откидывает голову назад.

В ЗАДУМЧИВОСТИ

Если бы ты сейчас, в эти тихие минуты, сидела здесь, рядом со мной, в красном кресле!

Как бы осветились эти голые стены! Лучились бы приглушенным, задушевным счастьем. Лампа, стол, терпеливые книги, ждущие тебя, бросали бы свой свет. Цветы и горы, небо и земля подошли бы к окну и легли у твоих ног.

Почему тебя здесь нет, рядом со мной, в эти тихие минуты, в красном кресле?

ПРОЩАНИЕ

*Ты провожала меня на автобус.
Дорожка круто спускается вниз.
Земля, лес, озеро вдруг стали такими странными.
Им холодно, как и нам.
Ты провожала меня на автобус. И вот мы здесь.
Ни слова больше.
Лишь улыбка, что везде и всюду с нами.
Что нам сопутствует всегда, куда бы мы ни шли.
Робко меж нами трепещет, испуганная тишиной.
Умоляющая.
Я села в автобус.
Ты делалась все меньше и в конце концов пропала.
Улыбка на моих губах... одинокая улыбка.
Бездомная... скоро она умрет.*

ВСТРЕЧА

*Ты никогда не думаешь о нашей встрече,
какой она будет?
Будет ли солнце светить
или дождь стучать
по оконным стеклам?
Ты вдруг возникнешь
на углу улицы,
как сон, падающий в мою пустоту?
Или я буду ждать тебя, робко,*

*с часами в руке, считая часы
до твоего прихода?
Ах ты.*

*Может быть, жизнь уведет тебя прочь,
сделает нас чужими?
И мы с терпеливой улыбкой
быстро кивнем головой и поспешим дальше?
Или все будет как раньше?*

ТОСКА

*Мои мысли – маленькие и слабые, большеглазые, слишком бледные дети.
Вечерами они ходят, вечерами ходят повесив голову, большеглазые, ве-
черами они выходят на улицу. Ищут, блуждают, жалуются, пробуют най-
ти твое окно. Плачут...*

*А подойдя наконец к окну, заглядывают печально внутрь... чтобы уви-
деть тебя.*

Бедняжки! Малышки!



«Гунвор читает Улафа Булла» – так Рут назвала этот снимок из фотоальбома. На фото комната Гунвор в усадьбе Фейринг, где располагался лагерь Бири. Снимала Карен, которая тоже была в Бири

*До крови разбивают пальцы, стуча в окно.
Стучат тихо, стучат осторожно.
Ждут, ждут, что ты откроешь! Ждут напрасно.*

К ГУНВОР

*И если я обидела тебя слишком поспешными жестами,
противным смехом и резкими словами, не сердись, но пойми...
И если я ударила тебя по лицу, обидела
притворным равнодушием и презрительной миной, не сердись,
но пойми, что я причиняла боль и себе...
И если я оскорбила тебя, погладив твой лоб
ладонью, прости, это было от любви.*

В больнице

ФЕВРАЛЬ–МАРТ 1941 г.

В конце зимы 1941 г. Рут Майер – пациентка VI отделения Уллеволской больницы в Осло. Она сама обратилась за психиатрической помощью, после нервного срыва в трудовом лагере. Гунвор Хофму иногда приезжает из Биристранна навестить ее. Рут получила несколько писем от родных из Англии и отвечает на них, однако умалчивает, что находится в больнице.

В дневнике Рут описывает других пациентов и драматические события в больничной палате. Пытается слушать, пытается утешать других. Пишет акварели. Художники, которых она ценит особенно высоко, это Мунк и Ван Гог, Гоген и Дега. Она читает письма Камиллы Коллетт¹⁰¹ к Эмили Дирикс – и находит подругу более умной и симпатичной, нежели поэтесса. С женщиной-еврейкой обсуждает сионизм и еврейство. Читает немецкого романтика Новалиса и норвежского модерниста Клеса Гилля¹⁰².

Рут записывает в дневнике сны, свои и соседок по палате. Анализирует их, прочитав в Бири Фрейда. С нетерпением ждет от Гунвор писем – или посещений. Думает о Гунвор, об отношениях с Гунвор, вспоминает песенку, которую напевала Гунвор:

*И ты был ребенком на женских руках,
Но дней грядущих не увидишь.
Аллилуйя, аллилуйя.*

Согласно больничному журналу, Рут пробыла в больнице с 3 февраля по 27 марта.

¹⁰¹ Коллетт Камилла (1813–1895) – норвежская писательница, прозванная норвежской Жорж Санд.

¹⁰² Гилль Клес (1910–1973) – норвежский поэт и театральный деятель.



Карандашный рисунок «В коридоре», Улево-лская больница, 1941 г.

ВТОРНИК 4 ФЕВРАЛЯ 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Кажется, будто я здесь давно-давно. Но попала-то сюда только вчера. Целую вечность пролежала в этой белой постели, глядя на безмолвные голубые стены. Потолок белый. Наверху светится матовая лампочка.

Палату делит со мной одна женщина. Ей 38 лет. Рассказывает мне свою «историю». У всех людей есть своя история. Счастливых людей мало.

Здесь однообразно.

Люди выглядят «стандартно». В большой палате лежат в белых постелях одиннадцать человек. Медсестры все молодые, красивые. Тихо снуют туда-сюда. Дважды в день приходит врач. Некоторое время стоит возле койки. Главный врач, чем-то похожий на бритву, заходит дважды в неделю. Быстро идет мимо со свитой бледных белых ординаторов, врачей и медсестер, которые смотрят на каждого пациента как на сказочного зверя.

С двух до трех – час посещений. Тогда к моей соседке приходит сын, ему четырнадцать с половиной, он приносит с собой аромат жизни *вовне*. Он любит свою мать, притаскивает печенье, газеты и т. д., улыбается.

В паузах, которые случаются часто, я думаю, как все будет, когда придет Гунвор. Она сядет на край кровати. На губах будет играть улыбка. Я радуюсь. Она – светлое пятнышко, на которое я нацеливаю всю мою жизнь.

СРЕДА 5 ФЕВРАЛЯ 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

В общем-то люди имеют трогательную склонность чем-нибудь заниматься. Вот и я тоже не в силах лежать в постели и глазеть на стены. Я рисую.

«Шестое отделение»: девушка неподвижно сидит на койке. Старая женщина с безвольными руками и измученным лицом стоит перед нею, в профиль. (Этот рисунок я подарила д-ру Мунку.) «Больничный сад»: дорожка, окаймленная голыми деревьями, по дорожке идут люди, многие – спиной к зрителю. На переднем плане девушка в очках, в профиль, и парень, анфас. «В коридоре»: две женщины идут по коридору, в полосатых платьях, их видно со спины. Одна девушка стоит у окна, другая – на переднем плане. (Этот рисунок у Гунвор.)

Я нашла свой «стиль». Под влиянием Эдварда Мунка.

Еще один рисунок: «Тоска». Аллея голых деревьев, равнина, большой дом. По равнине идет человек. В небе птицы. Когда будут краски, напишу в цвете.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ФЕВРАЛЯ 1941 г.,
УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Как было бы хорошо иметь здесь этюдник. Я бы могла рисовать по-настоящему! Чтобы другие люди увидели сочувствие, какое я испытываю, глядя на больных в сине-белом.

Молодая большеглазая девушка нюхает белый крокус, окутывает его своим взглядом.

Франк в яркой, вовсе не белой одежде сидит на краю маминой койки. Когда он шевелится, слышен хруст, потому что под пальто у него газеты – для тепла. Он похлопывает мать по спине. А я будто сама состарилась, ведь ему-то всего-навсего четырнадцать с половиной.

Снаружи, в большом саду, и в ясную, и в пасмурную погоду гуляют люди. Мужчины в синих полосатых штанах. Больно смотреть.

Иногда выглядывает солнце, тогда по большой палате пробегает томительное беспокойство. Медсестры приоткрывают окно и вздыхают: «Уфф, я не выдержу. Свежий снег! Как подумаю о прекрасной лыжне». По-моему, зря она так сказала, нам ведь тоже неважно.

А я знакоюсь с людьми. С г-жой Шмидт. Ей 38 лет. Когда она спокойно лежит на белой подушке, по лицу видно, что в свое время она была красива. Рот когда-то был яркий, чувственный, благородной формы. Брови тонкие, кожа бледная, нежная. Сейчас на лице печать прожитых лет, печать болезни. Когда она встает и бродит вокруг, то на вид просто старуха. Ходит ссутулясь, осторожно, словно боится упасть. Рассказывает о своей жизни. У нее два сына. Один, Франк, навещает ее каждый день. Она очень его любит. Совершенно спокойно рассказывает, что других подруг у него нет, только она.

«Мы вместе гуляем. Мне приходится наряжаться, выглядеть красивой ради него. Если покупаю новое платье, беру его с собой».

У другого ее сына после какого-то несчастья «изменился характер». Она день и ночь думает о нем. Он мать не навещает, он ее ненавидит.

С мужем они живут отдельно.

«Он слабохарактерный. Чуть что – убегает. Нет у него сил сопротивляться. Никого другого у него нет, потому и любит меня».

С собственной матерью она в вечном конфликте. Г-жа Шмидт не зла на жизнь. Она милая, и этой смесью приятности, сочувствия и интеллигентности напоминает тетю Аду. И точь-в-точь как тетя Ада хочет быть любимой. «Ты рождена быть любимой! – сказал мне в юности один из друзей». Несчастливая жизнь вооружила ее улыбкой, которая ко всему снисходительна. Гунвор улыбается иначе: судорожной улыбкой человека, который, не видя выхода, погружается в себя и находит улыбку там, как сюрприз.

Забавно, с чего бы ни начала, я все равно прихожу к Гунвор.

Еще тут есть барышня Вик. Ее всегда словно бы окутывает благоуханное покрывало. Она похожа на фиалку. Старая... сравнительно... 38 лет. Лицо, хотя и сплошь в морщинах, все равно изящное. Ходит она как беременная, осторожно, словно лунатик. Полгода назад она родила внебрачного ребенка. Лицо светится, когда она говорит про своего Бьёрна Руала. Мой сынок!

Она не знает, как справиться с ребенком, потому что отец платить алименты не желает.

Иногда она со сдержанной, очаровательной улыбкой на губах «навещает» нас в нашей «собственной палате». Говорит:

«Вчера я была у сына. Он совершенно прелестный!»

Когда она уходит, я смотрю ей вслед, и мне очень хочется узнать, понимает ли она, как обогащает людей своим присутствием.

Мне кажется, я могу сделать для этих людей что-нибудь хорошее. Грустно думать, что где-то люди убивают друг друга, ведь все и без того ужасно сложно.

Еще Ёрдис. Она боится смерти. У нее бывают припадки, когда она «неспокойна рассудком». Я видела один такой припадок вблизи. Держалась спокойно, старалась помочь, ласкала ее, пела колыбельные. И ей это шло на пользу, я видела. По этой причине она мне рада.

Невыносимо видеть, что она больна, а ты ничем не в силах помочь. Под глазами у нее темные круги. Вокруг сжатых губ резкие, горестные складки. В ней сквозит стремление выздороветь, стать счастливой... как я. Она рассказывает о своем убогом детстве, о пьянице-отце, о мрачной квартире... о своем друге. Говорит о смерти, которой боится. Я спрашиваю, не утешает ли ее мысль о том, что у нее могут быть дети.

«Да. У меня есть друг, и я просила, чтобы он... но все кончилось тем, что я, мол, слишком молода».

Она показала мне письмо, которое друг написал ей в утешение. Замечательное письмо, свидетельствующее о добром сердце. Пишет он о весне, об осени, о том, что листья увядают, и т. д. Когда он приходит, смотреть на него не слишком приятно, зато голос у него уютный, она начинают шептаться. Его низкий голос смешивается с высоким, вкрадчивым голосом Ёрдис.

Порой она улыбается, и я вижу, как ее глаза светятся и взгляд скользит по нему. Однажды я подслушала их разговор. Речь шла о самой обыкновенной жизни. Она возбужденным резким голосом жаловалась на житейские невзгоды, он пытался объяснить. В палате было уже темно. А между словами повисала тишина. Я думала обо всех молодых людях, которые в этот миг разговаривают о жизни.

Нередко Ёрдис ведет себя отвратительно. Будь она здорова, то, наверно, мне бы не нравилась. Но сейчас я ей сочувствую.

Нини: светловолосая восемнадцатилетняя девушка. Ей бы скорее подошло имя Дорис... у нее светлые волнистые волосы, карие глаза, кофейного цвета радужка на фоне белых-пребелых белков. Вздернутый нос и маленький алый рот придают ей пикантность. Лицо избалованной роскошной женщины.

Выросла она в приюте. Рассказывая о пяти проведенных там годах, она выходит из себя и с нервным смехом говорит: «Во мне вскипают такие волны. Впору убить кого-нибудь». Всем своим существом она ненавидит приютскую начальницу. По разным намекам я догадываюсь, что мысль о мести стала у нее своего рода навязчивой идеей. Начальница требовала, чтобы девочки звали ее мамой, и вечно твердила: «Какие же вы, девочки, неблагодарные!» Нини решила убежать вместе с двумя подружками.

О побеге она рассказывает так драматично, что я прямо воочию вижу все это. Нини вообще мастерица рассказывать. Говорит ужасно быстро, но успевает замечательно создать настроение, выделить мелкие детали.

Побег удался, и несколько дней они отлично прожили у кого-то из знакомых... пока полиция не напала на их след. Нини посадили в женскую тюрьму. Ее рассказы об этом напоминают романы, которые читаешь со скептической усмешкой. Заключение – проститутки. Перед едой им велели читать «Отче наш». Каждое воскресенье в камеру приносили книгу – о франко-германской войне. Целыми днями им приходилось стирать. У окна – сосульки... печки в камере не было. Нини целую неделю непрерывно плакала. И ее привезли в отделение VI, не прямо сюда, а в первое подотделение, оно называется «пост № 1». Там содержатся «буйные». Она понятия не имела, куда ее привезли, пока ночью ее не разбудили вопли безумцев. Тогда только она начала понимать.

У Нини унылая манера по-детски приходить в отчаяние от людей и мира. Тогда она смеется: «Такова жизнь».

Нини и Ёрдис сегодня перевели из большой палаты. Ёрдис была в глубоком отчаянии, и я видела, что она любит меня.

Мне это приятно. Нини тоже плакала, все лицо было в красных пятнах.

ВТОРНИК 11 ФЕВРАЛЯ 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Как песня может передать настроение, которое живет лишь в памяти. Сегодня утром я вдруг вспомнила песню, которую любила напевать Гунвор: «И ты был ребенком на женских руках, / Но дней грядущих не увидишь, / Аллилуйя, аллилуйя!» Я напевала эту песню, и было так грустно, я пыталась

подражать звучанию ее голоса. Видела, как наяву, ее лицо, брови, мимику, губы, старающиеся спрятать улыбку.

Жду от нее писем. Она мне уже писала... что ей меня недостает: «Здесь все по-старому, только мне недостает тебя».

ПИСЬМО СЕМЬЕ В АНГЛИЮ ПЯТНИЦА 14 ФЕВРАЛЯ 1941 г.
[УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА]

Передо мной на столе ваши милые строчки. Ваши мысли. Господи, как вы можете быть так далеко?

Рассказать вам о себе? Как вы знаете, я в Трудовом фронте. И мне это по душе. Я понимаю, что стала «лучше», ведь так многие здесь мне симпатизируют. Здесь я познакомилась с одним человеком. С Гунвор. Я вам рассказывала о ней... мысленно. Подруга. Да, Дитль. Ты права, именно этого мне очень не доставало. Вы уж извините, что я пишу о ней. Она очень много для меня значит. Да, здесь есть и другие девушки. С «практической» точки зрения, разумеется, весьма прискорбно, что я в жизни не «продвинулась». Но вы знаете, я по-настоящему никогда не любила слово «будущее». И если просто сохраняю достаточную молодость, чтобы любить сию минуту, то плевать я хотела на прочное положение и т. д.

Прочное положение я связываю с работой, которая мне не нравится: прислужой и т. д. Ясное дело, мне хотелось бы научиться чему-нибудь интересному. Да, с «человеческой» точки зрения здесь, в трудовом лагере, я достигла многого. «Зарабатываю» ровно столько, что иногда могу купить небольшую книжку. И здесь Гунвор. Одно время я любила ее прямо-таки до боли. Но теперь знаю, что тоже нравлюсь ей. У нее есть комнатка, где мы часто сидим и разговариваем.

Насчет Америки можно сказать, что консул визу давать не хочет и что Куртль прилагает все усилия, чтобы Э. Фокс гарантировал мне аффидэвит. Я жду. Маттелин как-то сообщил мне, что все здоровы. Так хочется *почаще* слышать о вас. Куртль как-никак там!!! Беспокоиться обо мне не нужно, об этом вряд ли стоит говорить. Денег мне *не* требуется. Такая вот у меня жизнь.

Твой первый поцелуй, Дитль! Меня тоже целовали. Я просто позволила, потому что хотела знать, как это бывает. Он был противный и женатый. После я его не видела. Да-да.

Несколько ваших писем лежат на ночном столике. Любимые мои бабушка, Дитль и мамуля. Желаю вам всего хорошего по случаю дня рождения. Время идет жутко быстро. Я счастлива, когда у вас все хорошо. Всем от меня огромный привет. Поцелуй и самые горячие мои помыслы. Ведь вы *люди*.

Дитль, меня очень радует, что тебе нравится Ван Гог. Ты непременно должна прочитать его письма к брату. И «Grapes of Wrath»¹⁰³ тоже прочти. Джона Стейнбека!!! Замечательная книга.

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ФЕВРАЛЯ 1941 г.,
УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Время шло. Вчера заходила Гунвор. Я целый день ждала ее. И мало-помалу, с приближением часа посещений, становилось теплее. Нет-нет я даже говорила себе вслух: я рада.

Сидела я в гостиной. Она пришла в своем коричневом пальто. С обиженным выражением в круглых глазах остановилась в дверях. Рядом с ней – Бьёрг, еще одна девушка из Трудового фронта. Я видела только Гунвор. Сперва она быстро сказала:

«Слушай, не сердись, что я не одна, как договаривались. Мы с Бьёрг встретились здесь».

Мы садимся. Возникло настроение какой-то отдаленности... пустое и радостное одновременно. Она сидела со мною рядом. Коричневое пальто. Синяя юбка.

«Ты такая большая».

«А ты не знала?»

И опять улыбка. Я так близко от нее, что не могу посмотреть ей в глаза. Говорим мало.

Когда она уходит, остается неизбывное чувство, не сожаление, просто мысль: нам нужно больше, мы же любим друг друга – потому и нужно больше – было недостаточно.

Это чувство всегда мучило меня, когда мы были вместе. Но именно эта неудовлетворенность придавала нашим отношениям свежесть. Поэтому мы не стали равнодушны друг к другу уже через три месяца, проведенные бок о бок, ведь мы никогда не позволяли чувствам завладеть нами. Между нами оставалась недосказанность. Да. Так-то вот, по-настоящему мы разговариваем, только когда сидим и молчим.

Мне хочется запомнить и взгляд, такой благотворный. Мягкий взгляд, когда глаза словно бы прячутся за вуалью... смотрят чуть вбок и вдаль. Тогда я люблю ее больше всего.

¹⁰³ «Гроздь гнева» (англ.) – роман (1939) американского писателя Джона Стейнбека.

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ФЕВРАЛЯ 1941 г.,
УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Только что приходила Гунвор. Она часто приходит. В посетительные часы я хожу взад-вперед по коридору, жду. Хорошо, что она приходит. Я радуюсь.

И все же! «Кое-что» меня мучает: она ушла, а пока мы сидели, то заметили, что отдалились друг от друга. Так много всего разделяет нас: больничный настрой, люди, врачи, вид из окна, цветы на ночных столиках. «Золотая Рыбка», моя подруга. Ёрдис, которую гложет ревность. Сюннёве, которая бледная и притихшая лежит в постели после тяжелейшего припадка. Всё и вся отделяет меня от нее. Так больно. И ее жесты, ее улыбка трогают меня как память о былом. Мы сидим, разговариваем об этом, делаем намеки, но скрытое в глубине души остается незатронутым. Прямо хоть плачь. Я думаю о минутах в лагере Бири, о последнем тамошнем вечере. Тогда она предсказала, что так будет. Я страдала, обозвала ее «лентяйкой», «нерадивой». А она все-таки была права. О! Особенно больно, что я не в силах перепрыгнуть через эту пропасть.

Но стоит выстроить все снова. Поговорю с ней об этом, и если она скептически улыбнется, тогда пусть не возвращается.

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 МАРТА 1941 г.,
УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

В большой палате теперь лежит еврейка. Ей 43 года, но выглядит она гораздо старше. Лицо худое, испитое, почти кожа да кости. Вся такая резкая, угловатая, с крупным носом и яркими, глубокими глазами. Эти глаза напоминают глаза детей, которые уже сознают, что значит «жить». Когда она рассказывает о своей болезни, то выглядит так, будто с нею обходятся ужасно несправедливо.

Глаза горят, она кивает головой, словно уверена, что мы все ей сочувствуем. Потом вдруг на лице появляется победоносная улыбка.

Мы с ней разговаривали. Она говорит на идише. Поскольку по-норвежски она объясняется очень плохо, я спросила, откуда она. В ответ – сияющее лицо!

«Так я же еврейка!»

Она держит мою руку в своей, обводит взглядом мое лицо, словно ищет в нем «еврейские» черты.

Для нее само собой разумеется, что евреи чувствуют себя как дома только среди евреев и друзья у них только евреи.

«У тебя есть друзья?»

«Да».

«Евреи?»

«Нет».

«Как – нет? Не понимаю».

Узнав, что я живу у «христиан», она удивленно качает головой.

«Не понимаю. Они не евреи, а кормят тебя, позволяют у себя жить. Нет! Тебе надо пойти в еврейскую общину. Скажешь там, что родителей у тебя нет, ты в Осло совсем одна, тогда сможешь жить у евреев. Жить у евреев лучше, чем у христиан».

Еще в большой палате есть эмигрантка из России. Маленькая, бесцветная от старости. Лицо совсем серое. Кожа вся дряблая, обвислая. Глаза, спрятанные за слезными мешками, поблескивают добродушно.

«Заходи еще, поболтаем. Хоть какое-то удовольствие». С большой любовью она говорит о Париже.

«Там сейчас кусты уже зазеленели. Солнце повсюду. Снега нет! Ненавижу снег».

Она с упоением рассказывает о России. О черных южных ночах.

«Ненавижу здешние светлые ночи. Ждешь не дожدهшься, пока станет темно».

Взгляды у нее невероятно ограниченные и заносчивые. Типичная представительница «обеспеченного класса». Называет себя «культурной женщиной». Русский народ считает глупой добродушной чернью, которую «культура» испортила. Я сама удивляюсь, что уверенно объясняю ей социалистическую идею, удивляюсь, почему она не может аргументировать против социализма. Чем дольше она рассуждает о преступных коммунистах, тем больше я уверяюсь в правильности своих позиций.

Частная собственность! Социализм! Обобществление! Эти слова порхают по палате. Я волнуюсь, жестикулирую. Русская старушка сидит в постели как сова и говорит на своем певучем немецком:

«Чушь! Чушь все это. На слух замечательно... в книгах... да, в книгах...»

ВТОРНИК 4 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Я вижу здесь множество страдающих людей. И думаю об одном: помочь.

Барышня Вик, не в меру стройная барышня со старым и вместе молодым лицом, плачет, как младенец: «Я не спала последние ночи. Мне нужно сновтворное... Я не выдержу».

Доктор не разрешил ей посещать ребенка, и она совершенно несчастна.

Ёрдис стоит у окна, смотрит темными глазами в пространство, по щекам текут слезы.

ПЯТНИЦА 7 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Молодой ординатор, чья задача в больнице – сновать туда-сюда в белом халате, порой забегал ко мне обсудить разные «вопросы».

Он в восхищении от Ван Гога и, хотя считает, что Ван Гог и Эдвард Мунк похожи, все равно, по-моему, очень милый.

Например, забавно смотреть, как он в ходе спора непременно старается докопаться до сути вещей. Большие серо-зеленые глаза пристально всматриваются куда-то, а мозг медленно формулирует аргументы. Суждения у него тем не менее очень поверхностные. Обыкновенно обмен мнениями кончается ничем, и он, пряча глаза, смущенно бормочет:

«В ваших словах кое-что есть. Да, кое-что есть».

И мы переходим к другой теме.

Нини зовет его Веником, потому что волосы у него стоят торчком, да и вообще видом он напоминает веник, плоский и жесткий.

Сюннёве, нашу бывшую соседку по палате, перевели в другое отделение. Сюннёве четырнадцать, хорошо сложенная, пухленькая девочка. Лицо безвольное, а когда узнаешь ее получше, она напоминает добрую Мадонну. Все ее существо дышит юностью, безудержной бодростью. Но психическое состояние крайне переменчиво. После горьких пятиминутных рыданий она вдруг принимается хохотать, а затем вдруг опять рыдает.

В нашей палате (там жили Ёрдис, Нини и я) часто вспыхивали ссоры. Во время одной из перепалок Нини ударилась головой. Сюннёве расплакалась. Плач перешел в судорожные всхлипы. Она вцепилась в подушку, в одеяло... все тело дергалось, скрючивалось. Сюннёве сидела на койке. Схватила меня за руки, крепко, до боли. Потом совсем потеряла сознание и начала бредить.

Никогда не забуду эти часы. Дело было вечером. Медсестра позволила нам не гасить свет. Мы сидели на койках, напряженные как струна. Помочь Сюннёве ничем не могли, только смотрели, как ее руки скрючились и пальцы одеревенели. Тело корчилось, словно сквозь него пропускали электрические разряды. Врач пришел позднее и, как мы и ожидали, ничего сделать не мог. То есть Сюннёве получила укол и успокоилась.

Но как раз этой ночью, когда я сидела подле нее и мы ждали доктора, меня захлестнул такой гнев, такое безграничное бешенство, что случается вот такое, что невинные люди, дети становятся жертвой ужасных болезней. Тут я вспомнила, что есть люди, которые верят в «Бога», и моя злость нашла объект – я набросилась на этого Бога, про которого христиане говорят, что Он есть любовь. Никогда я не чувствовала этого Бога так близко, как в эту ночь. Этого Бога, в которого не верю.

СУББОТА 8 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Два стихотворения из книги, которую мне дала Гунвор.

[Здесь переписаны стихи Клеса Гилля «Из жизни слепого» и «Игра в полночь» из сборника «Фрагмент магической жизни»¹⁰⁴.]

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 МАРТА 1941 г.,
УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Сейчас на улице светит солнце. Небо ярко-голубое. С крыши капает тающий снег.

Так хочется на воздух. Я думаю о пристани. О лодках во фьорде, о веселых людях, расхаживающих туда-сюда... рабочих. С удовольствием бы полюбовалась чайками вместе с Гунвор, посидела бы на солнышке.

Когда светит солнце, я непременно думаю о Гунвор. Она так благоговейно любит солнце. Черты лица устало разглаживаются, тянутся к теплу. Без Гунвор я бы не смогла жить. Она словно привязывает меня к существованию. Если я мысленно абстрагируюсь от нее, все сереет, и мне становится страшно.

Я здесь ужасно много читаю. Сегодня читала по-настоящему замечательную книгу – «Фома Гордеев» Максима Горького. Каждая сцена человечна и изображена так, что думаешь: да! Именно так, а не иначе все наверняка и происходило. Перед нами человек очень эмоциональный, а разум его не привык доискиваться смысла в жизни. И эмоции берут верх над разумом и тиранизируют того, у кого в мире нет корней. Ни социалист Ежов, ни эгоистичный материалист Маякин не могут своими речами освободить его. Проблеск лучшего мира он видит только в общении с рабочими у лагерного костра.

Фома *лучше* других. Поэтому он чувствует бессмысленность и беспощадность, а если человек чувствует бессмысленность, как Фома, он оказывается на грани безумия. Быть может, Горький именно этими шатаниями и полным отчаянием Фомы хочет охарактеризовать русского человека, точнее, русского человека, принадлежащего к классу, который не имеет права на существование. (Горький имеет в виду купеческое сословие.) Вообще-то безразлично, чего хотел Горький. «Фома» бессмертен, потому что показывает страдающего человека, и назвать эти страдания мировой скорбью значит слишком все упростить. Сцены, когда Фома отталкивает от берега паром, полный людей, или когда на корабле впервые любит женщину, навсегда останутся в моей памяти.

¹⁰⁴ Сборник 1939 г.

Spill ved midnatt

Ulaes Gjel

Magisk mørke din stue
 du åpner ditt vindu;
 sommernatten der
 hvit henover din hud

og us i ditt blikke
 du nitet; et kjølig
 drag av himlens lys
 grønne har langt i vest

mot ditt hår; mot krattets mulm,
 tett av dyrs pust. Tu!
 Nei, du kasper ditt vindu
 og ser ikke; o kval

Рут любила переписывать в дневник литературные тексты, стихи таких норвежских поэтов, как Улаф Булл и Эмиль Бойсон, Эверлани и Поше Осен, а также немецких поэтов – Гейне, Германа Гессе и Ины Зайдель. Здесь воспроизведены несколько строф стихотворения Клеса Гилля «Полуночная игра»

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 МАРТА 1941 г.,
 УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Так проходят дни. И нынче на улице почти весна: слепяще яркое солнце, ярко-голубое небо. Мы с Нини гуляем в парке. Здесь слышны новые, весенние звуки: капает вода, снег и сосульки шлепаются с крыши, первый птичий щебет. Меня охватывает томительная тоска.

Гунвор приходила и сегодня, хотя была здесь вчера. Мы теперь добрые друзья. Она говорит, что, наверно, опять поедет в Бири. Грустно, ведь ее по-

сещения так много для меня значат. Я охотно поддаюсь на ее уговоры, что у меня нет причин отчаиваться... я часто отчаиваюсь! И тогда жизнь высится передо мной, как грозное чудовище, защищаться от которого просто смешно. Или нет! Как черная ночь... а у меня даже свечи нет. Только и остается стоять на месте и делать вид, что почти совсем не боишься.

Приходит врач, говорит, что я должна перестать гримасничать и постараться вести себя лучше. Тогда я сижу и думаю обо всех, кто корил меня за то же самое. Думаю о тех, что отчетливо видели все мои изъяны и все же любили меня: о Виллигере, о Гунвор, о Сиссель!

Вместе с нами в палате теперь тринадцатилетняя девочка, Сольвейг. У нее темные волосы и большие глаза с серо-зеленым отливом. Окруженные темными тенями. Высокий лоб – детский, смуглый. Рот и нос, немножко широковатый, напоминающий утиный клюв, тоже детские. И все же, глядя на нее, я думаю о мужчинах, которых она будет любить. Маленькая, хрупкая, еще не развитая фигурка дышит очарованием юной девушки, в чем она пока не отдает себе отчета. Ее нервозность лишь подчеркивает это впечатление: над смуглым лбом часто витает тень какой-то мучительной мысли, две резкие складки возникают на переносице, тонкие брови подрагивают, тонкими пальцами она нервно теребит вещи. Сольвейг – прелестное существо.

ВТОРНИК 11 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

Сон. У меня есть друг. Вполне симпатичный. Наша дружба, так сказать, платоническая. Мы с ним гуляем, и он говорит: мне так хочется познакомиться с девушкой. Я думаю: вот я иду с ним рядом, а он хочет познакомиться с девушкой, значит, не видит во мне женщину... Наступает вечер, и мы укладываемся неподалеку от не то туалета, не то ванной. Он в другой комнате, не в моей. Я думаю: только бы он не пришел! Ночью кто-то входит в мою комнату. Я слышу звуки, замечаю присутствие чужака, но не могу поднять глаз. Вокруг словно бы серый туман. Незнакомец похож на Ленни из «О мышах и людях»¹⁰⁵. Идет к моей кровати. Я думаю: он хочет меня. Пусть берет. Он подходит ближе, и я думаю: хочет убить меня. В руке у него нож. Я пугаюсь, начинаю защищаться. Вырываю у него нож и медленно вонзаю ему в горло, под кадыком. Приходится убивать его медленно, потому что нож тупой. Кровь течет неторопливо, густо.

¹⁰⁵ Сборник рассказов (1937) Дж. Стейнбека.

ЧЕТВЕРГ 13 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Маленькая старушка бродит взад-вперед по коридору, плачет. Хочет домой... Большая стройная девушка, улыбающаяся без причины, держит в руке носовой платок, тихонько прижимает его к глазам... Г-жа А. упала в коридоре, рано утром нас разбудил ее нечеловеческий крик. Что это? Г-жа А. упала. Ох, слава Богу, я думала, кто-то «помутился рассудком».

Вот так здесь бывает: женщина, которая бродила взад-вперед, как все остальные, вдруг в слезах бежит по коридору и дико кричит. Мы смотрим на нее с глубоким сочувствием и пониманием. Полосатые синие платья делают нас товарищами. Не знаем, когда настанет наш черед.

Вчера я сидела с Золотой Рыбкой, учила ее немецкому. Вдруг слышим крик, дикий, протяжный, потом еще один, и еще. Слова, выкрикнутые в беспредельной ярости, в умопомешательстве.

Мы вздрагиваем. Бросаемся к двери. Крик, до того приглушенный дверью, режет уши! У Герд случился припадок. Три медсестры тащат ее по коридору, она в полуобморочном состоянии. Рыжеволосая голова свесилась почти до полу... Целый день она кипела злостью, швыряла в стену чашки и стаканы. Под вечер приступ достиг кульминации.

Герд – «обыкновенная» рыжая девушка. Лицо нежное, бледное. В разговоре она производит очень самодовольное впечатление. Две недели назад ее оперировали. (Теперь у нее никогда не будет детей.) Операция подействовала на нее, ходит она осторожными, шаркающими шагами, словно боится, что все внутри развалится на куски.

После припадка ее отправили на пост № 1.

Все еще разгоряченная, стоя в коридоре и думая об этих окаянных болезнях, я вспоминаю одно высказывание Эмилии Дирикс, подруги Камиллы Коллетт. Она пишет подруге в письме:

«Для смертного нет большего несчастья, чем любить Вельхавена»¹⁰⁶.

Ох эти самонадеянные, глупые бабы! С каким удовольствием Герд или Сюннёве поменялись бы с ними несчастьями, когда в безумии кричат: «Я не хочу! Не хочу!», а люди разбегаются от них, как от диких зверей.

ПИСЬМО СЕМЬЕ В АНГЛИЮ

ЧЕТВЕРГ 13 МАРТА 1941 г. [УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА]

Письмо вам. Что оно значит – для вас, для меня! Я шлю мысли, остающиеся невысказанными, любовь и нежность, лежащие *внутри* меня, вне достижи-

¹⁰⁶ Вельхавен Юхан Себастьян (1807–1879) – норвежский поэт и критик.

мости! Начинаю сентиментально. Но погодите, я постараюсь писать «напрямик». Дитль. Мамуля. Бабушка. Не знаю, в каком порядке произносить. Вы значите для меня невероятно много.

Я снова в Лиллестрёме. Да, я имею в виду, как бы это выразиться? Мамуля, спроси у Дитль, каково это – жить, так сказать, с/о¹⁰⁷ (и вдобавок без работы). Но я надеюсь в скором времени преодолеть и этот этап.

В Трудовом фронте мне очень-очень нравилось. Как вам известно, я нашла там подругу. Это чрезвычайно важно. Как бы вам описать: она ведь еще и привлекла мое внимание к моему же «лучшему Я». Сознание, что *она тоже* существует, придает жизни гораздо больше смысла. Да-да. Я экзальтированная, знаю. Но вы поймете лучше, если учтете, что я ужасно одинока. О моем будущем думать нечего, т. е. вы единственное обетование, на какое я смею надеяться. Господи Боже, звучит словно произнесенное дрожащим голосом восьмидесятилетней старухи. Но так оно и есть: я ничего не жду! Если на пути встретится что-нибудь приятное, буду только рада.

Нет, нельзя продолжать в таком духе, расскажу о чем-нибудь приятном. А приятное, о чем я хочу рассказать, это надежда. «Приятная» надежда, стало быть: весной собираюсь в Западную Норвегию. Вместе с четырьмя-пятью девушками, в том числе с Гунвор. Я ужасно рада. Если эта надежда пойдет прахом... Но нет! Мы с Гунвор всегда строим настолько фантастические планы, что вы просто не поверите. Забавно, но мы в свои планы верим. Мы жутко похожи. Иногда люди считают нас сестрами. Мамуля, если ты любишь меня, то наверняка полюбишь и Гунвор.

Знаешь, я чувствую, что она останется со мной, коль скоро будет возможность. Да. Как вам известно, возможностей не очень-то много. Курт, между прочим, сегодня сообщил, что Э. Фокс гарантировал мне аффидэвит. Надо надеяться, что это приведет к цели (моему отъезду в США). Как вы замечаете, я стала весьма осторожна. Надежда уже безлична.

Кстати, скоро весна, а в Норвегии весной прощаются со всеми огорчениями. Да, это верно: весной долг, энергия и все такое ощущаются как тяжелое бремя. Весной живешь текущей минутой. Вы понятия не имеете, какая бывает весна, ведь живете южнее. Подумайте о нас. Здесь пока лежит снег, хотя уже середина марта. Но погодите, скоро придет май, а с ним возобновятся пешие прогулки.

Любимые мои, напишите поскорее. Я бы чаще получала письма, если бы вы прилагали чуть больше усилий. Мамулечка, бабушка, Дитль: *пусть* наша встреча когда-нибудь состоится. Знаете, встреча настолько же фантастична, насколько разлука ужасна. Надо бы написать стихотворение о встрече, как пишут стихи, когда тоскуют.

¹⁰⁷ Здесь: на положении третьего лишнего (англ.).

Да, вот я и поговорила с вами немножко. Так больно поневоле откладывать перо. Но надо. Да-да. *So long*¹⁰⁸.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ПИСЬМА
ПЯТНИЦА 14 МАРТА 1941 г. [УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА]

Новый день. Солнце светит. А сказать, собственно, нечего. По-прежнему лежит снег, небо синее.

Я радуюсь предстоящей поездке и первым письмам от Гунвор. Завтра она уезжает из Осло. Вчера мы попрощались. Но меня будет навещать Карин. Маленькая белокурая датчанка, очень чувствительная, милая и уже замужняя. Еще есть Нини, светленькая норвежка. Стало быть, у меня есть друзья. Работу и проч. я получить не могу. Я вообще не могу себе представить, что когда-нибудь позднее у меня будет так называемое существование. Кстати, я пришла к выводу, что это не так уж и важно. Большинство существований ведь строятся на работе, приносящей удовлетворение. Я намерена предаться философии «*dolce far niente*»¹⁰⁹. Нет-нет. Не настолько все скверно!

Не стану повторять, что тревожиться обо мне не нужно. Еды и проч. у меня больше чем достаточно. Твой день рождения миновал, мамуля. Скоро твое девятнадцатилетие, Дитль, 27 марта. Куплю цветы и буду думать о тебе. В следующий раз. Кто знает? *Qui vivra, verra*¹¹⁰. Да. Всеми помыслами с вами!

ПЯТНИЦА 14 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Только что повздорила с Нини, и вдруг поразились, как сильно Гунвор и в этом смысле отличается от других девушек. Гунвор не умеет ссориться. Я не слышала от нее ни одного неприличного, дурного слова. Она не умеет ни ссориться, ни скандалить, к тому же в ней всегда жива улыбка. Часто выходит так, что скандалю с ней я. Но тут дело в другом. Все потому, что хотела уязвить ее, от избытка любви. Всегда виновата я.

Гунвор никогда бы не смогла говорить так гадко, как Нини. Гунвор говорит, она слишком ленива, чтобы с кем-то ссориться. Нет, Гунвор слишком умна, слишком добра.

Вчера мы опять попрощались. Она едет в Бири. Будет писать. Здесь без нее станет пусто.

¹⁰⁸ Пока (*англ.*).

¹⁰⁹ Приятное ничегонеделание (*ит.*).

¹¹⁰ Поживем – увидим (*фр.*).

Каждый день с двух до трех я ждала. И во мне возникало жаркое беспокойство, если она запаздывала хоть на пять минут. Я чертила буквы, нервно теребила пальцы. Потом она приходила. Я издалека видела коричневое пальто. Меня охватывало приятное тепло. Я шла ей навстречу.

Чистая правда: замечательное чувство – желать своему другу более счастливой жизни, чем себе. Гунвор оживила то хорошее, что есть во мне. Показала, напомнила, что значит *жить*. Не тем, что, трепеща, выложила передо мной свои идеалы, скорее потому, что слегка усталым голосом говорила о жизни, какова она есть, что и она уже ни во что не верит, но в ее смиренных словах мне слышалось стремление не соглашаться с этим. Материальная обеспеченность не должна иметь значения, когда речь идет о вещах, за которые внутренне не можешь взять на себя ответственность. То, что она думает так же, вновь вдохнуло в меня мужество. Мужество, которое здесь, в VI отделении, мне без надобности. Здесь мне нужна человеческая любовь. Когда другие плачут, мне тоже всегда хочется плакать. Когда я слышу, как барышня Вик жалобно кричит или как Сольвейг ударяется в слезы, все замирает, и я вдруг делаюсь ужасно маленькой, и остается вопрос: что делать, чтобы им больше не понадобилось плакать? И иногда я подхожу и разговариваю с теми, кто плачет. Как ни странно, почти все немного успокаиваются, когда с ними говорят мягко и дружелюбно. Даже Ёрдис, у которой однажды случился жуткий припадок, стала спокойнее, когда я легонько поглаживала ее по плечу и пела.

Ах! Здесь столько настроений! Один плачет, другой молча сидит у окна, третий... столько горя видишь. Вот только что Нини плакала. Ей здорово досталось в жизни. Переводили из одного приюта в другой, а теперь она вынуждена недели и месяцы томиться здесь, потому что сбежала из последнего приюта. Она с ужасом думает о возвращении туда. Врач не хочет подыскать ей работу. И она говорит:

«Скоро ночи будут светлые, а я должна сидеть тут... нет, убегу я однажды ночью. О, я так устала от всего... так надоела эта жизнь. Хоть в петлю лезь!»

На душе у меня препаршиво, когда я думаю, что скоро уеду отсюда... в Лиллестрём! Мне страшно возвращаться туда. Предчувствую, что тогда снова захвораю. *Эта* обстановка! *Эти* люди! Единственное утешение, что вместе с Гунвор, Карен, Петтер, Бьёрг, а может, и с Нини пойду в поход в Западную Норвегию. Если б не эта чертова болезнь, все бы выглядело не так беспросветно. Но болезнь караулит прямо за углом. Только Гунвор дает небольшое утешение. Она ничуть не боялась, когда я в неописуемом ужасе жалась к ней. Правда, один раз она сказала:

«Ты жутко меня пугаешь».

Однако она взяла эти слова обратно и пошла со мной к врачу. Я заметила,

как заботливо она ко мне относится. Это был последний вечер, мы сидели у нее в комнате. В темноте. И она, думая, что я бы предпочла свет, сказала невзначай, с большой нежностью:

«Мы ведь можем зажечь свет!»

СУББОТА 15 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Кое-кто говорит, что я такая жесткая, просто невозможно представить меня плачущей. Другие же, наоборот, называют меня мягкой. А поскольку время здесь течет ужасно медленно, попробую вспомнить, когда я плакала в Норвегии. Это было нечасто.

Летом 1940-го. Мы со Стрёмами отдыхали в летнем домике в Ниттедале. Г-жа Стрём велела мне жарить печенку, пока она сама сходит за водой. Я жарила-жарила, и печенка вместо коричневой стала серой. Г-жа Стрём вернулась и приторным голосом сказала:

«Тебе ничего нельзя поручить. Ты вообще... При том, что продукты теперь такие дорогие».

Тут я разрыдалась. И ушла подальше в лето. Лужайки были ярко-зеленые. А я все плакала и думала: я должна отсюда уехать. Как мне здесь жить? Уеду в Швецию. Я зарылась лицом в траву. Тогда у меня не было никого, кто бы меня утешил.

О-о, как я ненавижу Лиллестрём. Какие мерзкие воспоминания всплывают в душе.

Мне надо было укоротить светло-красное платье. И я укоротила его больше, чем хотела г-жа Стрём. Ну и скандал она устроила из-за этого. Сказала:

«Если еще раз случится что-нибудь подобное, я больше не желаю тебя видеть».

А я должна была сидеть и слушать. Думала: куда бы уехать? Куда? Я же знаю, что я для них обуза.

Время в Лиллестрёме, когда не было ничего, кроме книг, а я не смела выйти на улицу и атмосфера в комнатах мучила меня, потому что я знала: здесь один лишний!

Когда приходили гости: с улыбкой на губах протягивая руку, я бормотала свое имя. Несмотря ни на что, радовалась, что вижу людей. Людей, совершенно мне безразличных, как и я им.

Когда начались занятия в школе, я возвращалась домой не раньше шести-семи вечера. С шестью кусками хлеба в школьной сумке проводила единственные хорошие часы в Дайкманской или в Университетской библиотеке. Самое большое и самое замечательное переживание тех дней – книга Троцкого «История русской революции». Вечером на меня бросали косые взгля-

ды, когда я быстро заглатывала еду на кухне у плиты. Затем вечер продолжался опять за чтением или на поздних прогулках с собиранием цветов.

В школе одиночество сделало меня чуть ли не прокаженной. На переменах я отсиживалась в туалете, боялась людских глаз, которые все время видели меня в одиночестве, в одиночестве.

Горькие, болезненные воспоминания! Школьный сторож, противный, заносчивый, на вид по-настоящему злой, угощал меня какао, думал, у меня нет денег на буфет. Я говорю:

«Нет, спасибо, я не люблю какао».

Гассман, учитель религии, похожий на гнома с длинной бородой, подкарауливает меня в коридоре, сует яблоко. Я говорю: «Спасибо, не надо».

Он обижается, ведь я лишила его повода быть «любезным».

Маленькая краснощекая «немка» подзывает меня к себе, набивает полную сумку фруктов и спрашивает:

«Те люди, у которых ты живешь в Лиллестрёме, они вправду симпатичные?»

Я отвечаю:

«Да, очень».

Еще я плакала, когда Гитлер аннексировал Чехословакию. Сидела вместе со Стрёмом у стола. И когда читала газету и увидела этот заголовок, вскоčila и ушла в свою комнату. Бросилась на диван, и все было сплошная боль, и я видела бессмысленность и беспощадность мира. Так же было и когда я спросила Стрёма, что мне нужно делать, чтобы выехать из страны, а он ответил:

«Нужно ждать».

И я увидела, что опять должна ждать, как и тогда, только в одиночестве. И заплакала.

Не знаю, зачем я, собственно, пишу об этом.

Завтра Гунвор уезжает в Бири. Может, и я поеду туда.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Читала сейчас письма Камиллы Коллетт к подруге Эмилии. По-моему, эти письма ничуть не лучше писем многих других заурядных людей. Местами взблескивает изящная мысль, естественное, глубокое чувство. Тем не менее бросается в глаза напыщенная форма выражения, особенно в первых письмах: «Эмилия, эти слезы заклинаяют тебя: пиши!»

Томительное беспокойство, находящее свое выражение в письмах и побуждающее ее восклицать: «Ах, если бы мне родиться в другую эпоху!», по-

казалось бы мне смехотворным, если б исходило не от нее, а от кого-нибудь другого.

Ее подруга Эмилия мне куда симпатичнее. Она сдержанна, в патетику не впадает, и мне это нравится. Но, Господи, какая же она скромница. Ведь полностью растворяется в подруге. Отражается в ней, обе отражаются друг в друге. Как искренне звучат ее увещевания.

Обеим в общем-то свойственна позиция высшего класса. Очень странно, что ни та ни другая ни секунды не поднимаются в мыслях над узким горизонтом своего класса. Вращаются исключительно в обществе, на вечерних приемах и т. д. И во время пребывания в Гамбурге мысли Эмилии ни единого разу не обращены к тем, кто голодает за дверью.

Их письма прежде всего продемонстрировали мне если не идеальную, то все-таки глубокую дружбу. И пока читала, я думала о Гунвор.

Один сон, который рассказывает Камилла, начинается так [*письмо к Эмилии Дирикс, датированное 24 июля 1835 г., орфография слегка осовременена*]:

Я находилась в просторном гроте, по стенам вокруг кушетки, покрытые, как и пол, чем-то вроде мха, только много более мягкого и нежного свойства, нежели обыкновенный, посредине углубление, бассейн – мне кажется, мраморный, но особенно пленительный оттого, что сверху по каплям изливаются несчетные ключи, которые, будучи по порядку расположены вокруг бассейна, взблескивали в свете ламп, прямо-таки усеивающих стены; однако ж светились эти лампы блекло, подобно луне, все предметы приобретали серебристый глянец. А упомянутые капли, падая, производили диковинный, меланхолический звук: усиленные эхом, все они звенели в прекраснейшей гармонии. Из трех неземных существ, окружавших меня, два стояли у самого бассейна и словно бы приготавливали купание, так как выливали туда большие кувшины и что-то бросали; третье существо стояло подле меня, с задумчивым взором – зеленый, как водоросли, покров окутывал его, на челе венки из водяных лилий; черты лица у них были не более правильные, чем обычно у нас, только до бесконечности превосходящие наши ясностью, эти существа казались столь воздушными, едва ли не прозрачными, что я ждала: вот-вот они растают туманом. Гладкие длинные волосы были светлые, почти белые. Поэтому, на взгляд смертного, я решила, что это молодые девушки, лет 20–25. Ближайшая ко мне вполне красива, двух других я не могла хорошо рассмотреть, а когда удивление мое сменилось любопытством, я схватилась за лорнет, дабы приглядеться, но, увы, лорнета со мной не оказалось. Наконец они ушли, показывая на воду; приглашение слишком очевидное, и я поднялась, хотя ступала по этой странной почве с некоторою опаской; вскоре я сбросила

одежду и прыгнула в бассейн. Новый, удивительный огонь пронизал меня в этой божественной купальне, к воде были подмешаны благовонные травы, мне неведомые. Меж тем как тело мое как бы обновилось, душа моя с упоением предалась размышлениям, что горячее желание исполнилось; то, что могла вообразить разве что самая дерзкая фантазия, обернулось ослепительной реальностью, но при мысли о том, чем закончится эта сказка, меня невольно охватывало возбужденное беспокойство.

В лагере в Бири я читала Фрейда и валяла дурака, толкуя сны посредством символов. А тут Камилла рассказывает сон, что немедля заставляет меня вспомнить фрейдовскую интерпретацию снов и поражает меткостью его символов. Ведь этот сон становится понятен, как только (по Фрейду) принимаешь, что число 3 есть число мужское, а соприкосновение с водой означает рождение. *Три* помогают Камилле в купальне. Входя в воду, она чувствует, что *самые ее горячие желания* сбылись. Свое тело она ощущает обновленным. А что девушки, приготавливая купание, что-то бросают в воду и что она не находит лорнета, когда хочет получше рассмотреть девушек, наверняка тоже имеет в этой связи глубокое значение.

Камилла с ее строгими суждениями о нравственности, любви, общении полов прибегает в своих снах к символике – это опять-таки, по-моему, весьма примечательно: должно быть, и цензура снов у нее была сильно развита.

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Ну что это за жизнь! Мало того что у меня нет ни малейших перспектив получить работу, заработать денег, самостоятельно устроить свою жизнь, так я еще и с болезнью должна сражаться, которая караулит за стенами больницы, а нередко терзает меня и здесь.

Если разговариваю с врачом, то после всегда сижу в полной апатии. Все вокруг совершенно серое. В такие минуты мысль о Гунвор – чистая радость. И мне непонятно, как я выдержу без нее.

После ее отъезда я словно чего-то лишилась...только не знаю чего. До моего сознания как бы не доходит, что ее нет. Поэтому боли во мне немного, лишь беспокойство, когда я думаю о ней.

Здесь я пробуду еще месяц. Единственное разнообразие – рисовать.

«Парк»: очень здорово. Зеленые лужайки по обеим сторонам дорожки. Пестрые участки с цветами. По дорожке, сворачивающей влево, идут люди. Люди сидят на лавочке. Одна женщина смотрит прямо перед собой.

«Весна»: на переднем плане иссиня-черное дерево с растопыренными ветвями. Перед деревом – маленькая стеночка. Левее дерева – три куста на светлой лужайке. В глубине – три темно-синие ели. Два голых дерева на пригорке возле домов.

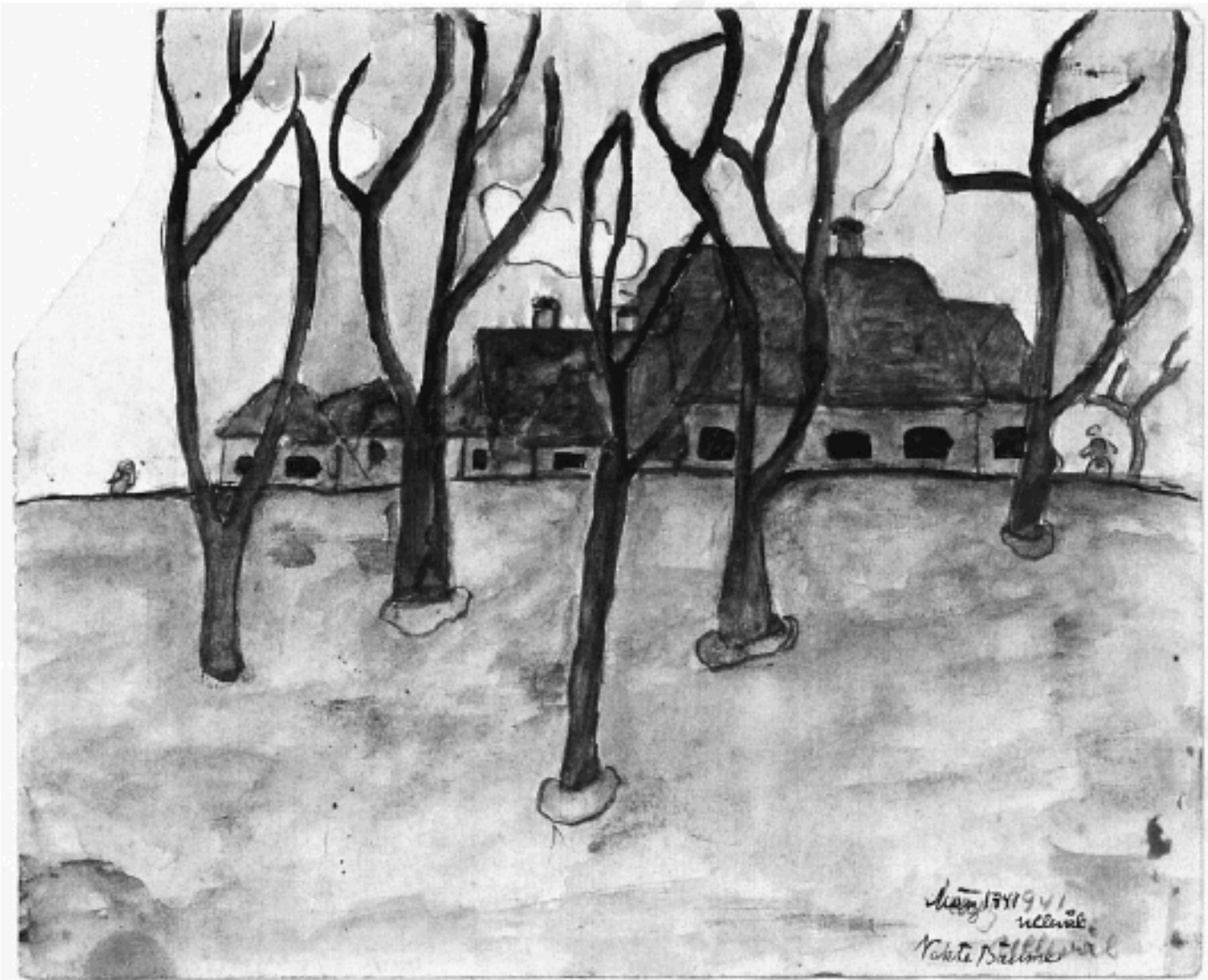
И еще одна «Весна»: миниатюрные люди ходят туда-сюда по дорожке. Несколько голых деревьев.

«Голые деревья»: пять безлистных деревьев перед вереницей домов.

Все мои рисунки мысленно посвящены Гунвор.

Настроение скверное. Как ни подумаю о своем будущем, становится тошно!

А как подумаю, что придется еще сидеть в VI отделении, внутри закипает ужас. Солнце прогревает, снег тает, ноги промокают, когда мы с русской эмигранткой гуляем по дорожке. В левом углу парковой лужайки, где снег сошел, обнажилось серо-зеленое пятно. Дни становятся длиннее. В половине восьмого еще светло. Иногда мы не жмуримся, смотрим на серебряную луну. Если думаю об этом, мысль о дальнейшем пребывании здесь стано-



Акварель «Голые деревья», Уллевола, март 1941 г.

вится вконец невыносимой. Будь здесь Гунвор, она бы меня навещала, мы бы прогуливались взад-вперед по коридору! Все было бы иначе. Но нет! С тоской думаю о пристани. О кораблях, нереальных, сказочных на светлой водной глади. На набережной людская толчея, а над всем этим – ясный купол неба. И меня охватывает жгучее желание: прочь отсюда!

Мысль о возвращении в Лиллестрём налетает словно кошмар. Я вижу комнату с серыми стенами, зеркало в желтой раме, благоприличную столовую, людей, с которыми у меня нет ничего общего. Страх внутри, страх снаружи. Мои обычные прогулки: по Стургате до моста через реку, затем через железнодорожный виадук к цветам, моим друзьям минувшего лета. А дни продолжают все в том же сером однообразии. Что-то во мне упрямо рвется вон.

Почему жить так трудно? Иногда все совершенно теряет смысл. Только когда рисую или думаю о Гунвор, мне хорошо.

Или другая возможность: снова поехать в Бири. Но хочу ли я туда? Девушки и все остальные там знают, что со мной было. Г-жа Хельтене с приторной улыбкой примет меня, как опасного зверя. Все будут удивленно глядеть на меня, анализировать мое поведение, делать выводы. Тогда я буду далеко от города, а когда «это» начнется в следующий раз, придется ломать ту же комедию. Но если еще подумать, мне все ж таки хочется быть там. Тогда бы я провела весну вместе с Гунвор. Мы бы вместе гуляли среди весны. Так и вижу нас: сидим притихшие, слушаем первый птичий щебет, под окнами тает снег. Вечерами мы в комнате. Я бы рисовала, показывала Гунвор рисунки. О-о, как было бы замечательно. Ужасно, однако все это опирается больше на фантазии, чем на реальность.

ВТОРНИК 18 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Сегодня ночью видела чудесный сон про Диту. Она была очень маленькая, очаровательная и нарядная. Пухленькая такая, личико очень умное, ко мне относилась заботливо. Вместе с Гунвор я находилась вроде как в больнице. Тут-то и пришла Дита, по-моему, с сумкой в руке. Я познакомила ее с Гунвор. И Гунвор она ужасно понравилась. Дитль пошла к врачу и очень решительно спросила, как мои дела. Она ожидала ответа, а я отвела ее в сторону и сказала: «Они ничего сказать не могут». Мы с Гунвор единодушно решили, что Дитль хороший человек и что мы никогда не сможем сделать ее несчастной.

В большой палате плакала молоденькая беленькая девушка, волосы у нее как былинки, глаза зажмурены, будто она боялась солнца. *Нечто* беспощадное держит ее в кулаке, сжимает, все сильнее и сильнее, она бросается на

пол, вдруг сведенная судорогой, лицо окаменелое, словно она увидела что-то жуткое. Кричит: «А-а!» Медсестра рывком поднимает ее с пола, ведет в ванную. Такие сцены здесь не редкость. Я к ним пока не привыкла.

СРЕДА 19 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Дни уже длинные. Светлыми вечерами меня жжет внутренний огонь. Вместе с Финном, шестнадцатилетним мальчиком, после бомбежки страдающим от контузии, я гуляю по участку, где до сих пор лежит снег. Из окон IV отделения девочки кричат нам по-немецки. У них накрашенные губы, в большинстве они проститутки, с венерическими болезнями.

Они кричат: «Ты еще не спятил?»

Голые деревья выглядят изголодавшимися. Уже свечерело, но пока совсем светло.

Я рисую. Голодное дерево на яркой лужайке. Дома на карминно-красном холме. Рисунок – «Одиночество». Аллея вдоль белой дороги. Дальше в глубине карминно-красные лужайки, синие ели. Черная мужская фигура идет по лужайке.

Г-жа Стеффенс – она апатично лежала в большой палате, без единого звука. Худущая, до такой степени, что, когда она вставала умыться, я боялась, как бы она не переломилась. На губах ни тени улыбки, ни словечка... Тусклый, страшный, ушедший в себя взгляд устремлен в пространство, губы чуть шевелятся. Она тоже человек, думала я. Ее перевели на пост № 1. Я почти забыла ее, а на прошлой неделе она вдруг появилась снова. Я так обрадовалась, увидев, что она лежит на койке и улыбается. Лицо округлилось, и она улыбалась. Улыбка делала ее совсем другой. Она еще и заговорила. А я сказала, два раза подряд: «Нет, надо же, вы стали такая симпатичная».

Потом я видела, как она ходит взад-вперед по коридору. Улыбается, разговаривает. Когда улыбается, лицо молодеет. Голос у нее низкий, спокойный, симпатичный. Надо бы сделать для нее что-нибудь хорошее.

У ОКНА

В саду, туда и обратно, гуляют те, кто скоро выздоровеет. На фоне синего неба они выглядят такими печальными и бледными. Идут медленно... останавливаются возле кустов, которые скоро зацветут, склоняются к первым буро-зеленым проталинам в снегу.

Там гуляют те, кто скоро выздоровеет.

В ПОСТЕЛИ

Когда лежу тихо, совсем тихо, мысли бродят по блекло-голубым стенам, тщетно ищут, на чем бы задержаться. Только бродят по голубым стенам, сами по себе, в одиночестве.

ЕВРЕЙ И ФИАЛКА

*Ты все еще моя, фиалка, синяя, душистая?
Невинными ручонками ребенка машешь, манишь нагнуться?
Ты милая, прелестная, чуть не единственная мне подружка.
Прощаешь, что в отчаянии я бранился,
что в поисках злодея-человека проглядел тебя.
Безмолвно я тебя сорву. И спрячу на груди.
И, преклонив колени, попробую молиться.*

ЧЕТВЕРГ 20 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Вчера Нини сказала, что Сюннёве поместили в Дикемарк, в другой приют. Я думала о ней. Как мы пугались, когда она беспокойно металась в постели, приняв лекарство. Наутро ходила как во сне. С далеким взглядом. Ее перевели в большую палату. Она радовалась, когда я заходила к ней туда. Ее прелестная, как у Мадонны, головка, бледная, покоилась на подушке. Влажные руки держали мои пальцы. Она улыбалась как после серьезной болезни – слабо и нежно. Ее перевели на пост № 1. Мы гуляем взад-вперед в больничном парке. Когда вспархивает голубь, когда сосулька падает с крыши, она вздрагивает. Перед уходом она заплакала и сказала: «Я больше не могу».

Да-да. Финн с бездонными глазами напевает:

Дики-Дики-Дик, Дикемарк,

Дики-Дики-Дик, Дикемарк.

ПЯТНИЦА 21 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Меня ненадолго отпустили. Была в городе. Повсюду весна. На Карл-Юхан солнце. Грязный снег кучами лежит вдоль тротуаров. Девушки прямо-таки вдвойне красивые. Я словно захмелела от людей, которые все куда-то идут, идут. Мне совершенно не хотелось возвращаться сюда. Думала, как было бы здорово, если б рядом со мной шла Гунвор. Спуститься к фьорду не было

времени. Зашла в Университетскую библиотеку, поменяла книги. В тамошних залах все та же приятная тишина. Потом я прогулялась по Карл-Юхан. Все как новое. Я смотрела на витрины магазинов, полные печений и пирожных, на книги, на очаровательное черное платье. Прохожие девушки такие хорошенькие. Тут и там немецкие солдаты! В некоторых местах, возле голых деревьев и тесных проулков, хотелось остановиться и рисовать. Покупаю две открытки – Гогена и Дега. Ужасно красивые. Потом отправляюсь восвояси. Нини встречает меня радостным возгласом. Она сидит у окна. Время посещения закончилось. Я натягиваю полосатое синее платье – вернулась.

СУББОТА 22 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Читаю Новалиса. Тонкий, чувствующий поэт. Очень душевный. Вот несколько стихотворений.

[Цитируются стихотворения Новалиса: из «Разных стихотворений», 7; «К... (Шляйермахеру)»; «Духовные песни 3, 4».]

Хуже всего, что я больше не могу представить себе жизнь вне VI отделения. Болезненное беспокойство охватывает меня при мысли о жизни там, «снаружи». Я вижу себя в *одиночестве*! (Какое кошмарное значение приобрело для меня это слово.) На глухих тропках, что ведут меня туда-сюда, во тьму, на свет. Энергия, воля защищаться тоже пропала. Я очень хорошо понимаю Ван Гога, когда он пишет брату, что не в состоянии «привести свою жизнь в порядок» и оттого ищет прибежища в приюте Сен-Реми... Вот и здесь тоже прибежище. Покой ценою свободы передвижения. Но что значит для меня свобода передвижения, когда мне *страшно* двигаться...

Больше всего мне хочется, чтобы рядом была Гунвор и улаживала мою жизнь, а я бы рисовала и читала. «Фотографировала», как говорит Гунвор.

Господи, ничего плохого не случится. Я же не сошла с ума. И скоро наступит весна. Светлые ночи, которые обостряют чувства, распустятся листочки. Хочу рисовать. О, иногда мне кажется, что я вправду могла бы чего-то добиться своей мазней. Не то чтобы думаю, будто мои рисунки могут что-то значить для *других*. От рисования я хочу и жду, чтобы оно высвободило мое внутреннее стремление – потребность творить. Раньше я была совсем другая. Хотела стать актрисой, писательницей, не столько ради себя, сколько ради других. Хотела показать, кто я есть, хотела стать знаменитой. Это «стать знаменитой» забивает голову многим семнадцатилетним. Позднее отходишь от «мечтаний о славе» на расстояние, и это знак внутреннего раз-

вития. Я тоже отхожу от этого «стать кем-то». Желание стать кем-то живет во всех «здравомыслящих» людях. Но ведь это не что иное, как представление о жизни-лестнице, где надо взбираться на самый верх. Неправильно. Речь не о том, чтобы взбираться по воображаемым ступенькам, а скорее... н-да. Тут передо мной великая загадка. Может, надо как раз не взбираться – в знак протеста против, увы, поставленной лестницы! Может, эта мысль, руководящая мною, рождена комплексом «гроздь винограда высоко висит и кислая к тому же». Вероятно, так и есть!

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Сон Нини.

«Толпа девчонок и я в походе, в лесу возле Форнебу. Местность холмистая, просека, горы, деревья. Вдруг навстречу трое немцев. Мы жутко перепугались, схоронились за пнями. Но в конце концов подружились с ними, завели разговор. Вместе ели пироги. Видели, как падают самолеты. Побежали туда, наперегонки – кто вперед. Считали, сколько самолетов нашли. Задание у нас было такое – считать самолеты, поэтому мы радовались, что нашли несколько».

Сон Сольвейг:

«Я вошла в лес, сперва дорога была широкая, но постепенно все сужалась и сужалась. Лес густел. Дорога кончилась у озера. Погода была замечательная. Две пары птиц прилетели и опустились на берегу. Потом послышалось сопение, жуткий шум, треск. Носорог. Он вдруг проснулся. Начал озираться по сторонам. Из пасти с боков торчали длинные острые, очень острые зубы. Он увидал озеро. Заметил тюленя, который высунул голову из воды. Тюлень был маленький, пухлый, пятнистый. Носорог встал и, подняв фонтаны брызг, бросился в воду. И заглотал тюленя. В пасти у носорога было совсем светло, и я думала, что моя голова вполне там поместится. Потом все затянулось туманом и исчезло. Я проснулась, сидя на лестнице».

Эти сны поразили меня своим символическим смыслом (по Фрейду).

Сон 1: лес, прогалины, холмы и т. д. означают женские гениталии. Трое немцев заходят туда. Три – число мужчины. Нини боится, прячется. Потом завязывает с ними дружбу. Вторая часть сна, по-моему, связана с первой. Она испытывает удовлетворение, считая упавшие самолеты, занимающие теперь место мужчины.

После обсуждения второй части сна (с Гунвор) результат таков: самолет (мотор!) – это инстинкт, похоть, сексуальное влечение. Она считает падающие самолеты (падение сиречь расслабленность после полового акта). Счи-

тает она, сколько раз была с мужчиной. Радует падению самолетов.

Сон 2: дорога, ведущая к озеру, – это путь к тайнам, какими для нее окружена сексуальная проблема. Дорога идет через лес. Лес – символ женских гениталий. У озера происходит и половой акт, представляющийся ей чем-то жутким и пугающим. Острый рог носорога символизирует мужское начало. Пухленький тюлень – женское. Затем носорог, проглотив тюленя, исчезает в воде. Все тонет в тумане.

Сольвейг часто видит во сне мужчин, преследующих ее.

Нини уехала. Она очень красивая в простом ржаво-красном платье, в белом шарфе и коричневом пальто. Последние часы она слонялась туда-сюда, быстрые бойкие глаза тревожно поблескивали. Губы вдвое краснее обычного, крепко сжаты. Светлые волосы блестели. Красивая, как никогда. Маленькая толстуха, начальница приюта, куда ее поместили, приехала за ней в три часа. Мы пожали друг другу руки. Улыбаясь, с разругавшимися щеками и горячими руками, она ушла.

Нини – хорошая девушка. Она несет с собой жизнь. Улыбается, жестикулирует, все ее тело участвует в разговоре. У меня она научилась вздергивать брови. Без нее тут ужасно тихо. Мы часто ссорились, я часто удивлялась ее грубой речи. И поняла: ей никогда не жилось хорошо, она сталкивалась с множеством людей, и многие говорили так, как она. Нини владеет неотразимым умением подольститься. В смысле: я подлизываюсь, потому что ты мне нравишься! Она не дура. Напротив. У нее острое восприятие, она очень смышленная. Живет, впитывая в себя все. Как и вообще люди, она родилась для счастья. И так жаль, что ей плохо жилось.

В среду она приедет навестить меня. И позднее мы тоже будем встречаться. Пойдем в кондитерскую, посидим на солнышке в Дворцовом парке. Все будет хорошо.

ВТОРНИК 25 МАРТА 1941 г., УЛЛЕВОЛСКАЯ БОЛЬНИЦА

Жду писем от Гунвор. Надеюсь получить письмо сегодня. Но никаких писем не пришло. И меня охватывает беспредельная горечь. Знаю, через два часа эта горечь уйдет. Но все равно больно. Я бы с удовольствием написала:

«Слушай! Может, мое предыдущее письмо было слишком сентиментально. Я рассказывала о благоговейных воспоминаниях, писала, что мои рисунки принадлежат тебе. Может, это тебя обидело, я тебя обидела.

Я всегда боялась тебя обидеть. Трудно не впасть в сантименты, когда жизнь так ужасна и одна только ты даришь мне свет, когда самое лучшее, что я могу, – написать тебе. Потому и ты должна писать. Ты не представляешь себе, как я рада, когда вижу на конверте твой почерк».

Думаю о том, как замечательно она пишет письма:

«Осе поет латинский псалом. А мы – слушатели неблагодарные, это все равно что метать бисер перед свиньями. Лица и глаза подрагивают от сдерживаемого смеха. Но поет она все равно красиво».

И я прямо вижу, как она улыбается и говорит:

«Но поет она все равно красиво!»

Звучит как целый рассказ. И воспринято всем сердцем.

Или:

«Чего мне будет более всего не доставать, так это маленькой комнатки, и кафе, и тех минут, когда мы все сидим прямо-таки до краев переполненные удовольствием, по совершенно пустяковой причине, а то и без причины. Зажженная свеча, убого-странное настроение в кафе».

Я воочию вижу ее перед собой, как она сидит в кафе. У нее чудесные глаза, видящие, понимающие. Убого-странное настроение в кафе! Как замечательно звучит. Она словно благодарит за то, что может ощутить это «убого-странное настроение».

Н-да, дневник выполнил свое назначение. Ведь я рассказала о Гунвор и ее письмах, и мне стало легче. И я уже спокойнее жду завтрашнего дня, который – быть может – принесет мне ее письмо.

Долгие вечера

МАРТ–АПРЕЛЬ 1941 г.

В конце марта 2-жа Стрём забирает Рут из больницы домой в Лиллестрём. Рут занимают подружки и литература. И мысли о давних венских друзьях. Наброски писем к Гунвор включены в дневник. Написано три письма в Англию, помещенные между дневниковыми записями.

В первый день после выписки Рут встречается с группой подруг в ословской кондитерской – кафе «Ансгар» на Мёллергата. Девушки узнают, что Юн, муж Карин, погиб. Карен с ними нет. Они долго обсуждают гибель Юна. Гунвор в кафе тоже нет. Рут тоскует по ее обществу, по ее письмам. Пишет стихи о тоске по Гунвор.

Подружки скоро уедут с новым заданием Трудового фронта в крестьянскую усадьбу в Рюфюльке. Рут радуется, что покинет Лиллестрём. Перед отъездом она перечитывает письма, в свое время полученные в Норвегии: «...строки, написанные любимыми руками, были как чудесный дар. Зазвучали голоса, я видела, как приходят и уходят люди, друзья, которых разбросало по всему свету».

Этой весной она пишет целый ряд стихотворений в прозе.

30.3.1941

Lilleström

Kjære Gunnar.

Jeg tenker bestandig på
deg når jeg hører den musikken. Som nå. De står
det er godt opp i meg. Jeg søker utløsning for
gjeldet der utløsning for jeg ved å skrive til deg. Det
Det er sånn at jeg bestandig på
deg når jeg ser eller hører noe godt. Det er jo sånn
det skal være. Ikke sant. Nei, nei. Jeg gir ^{deg} ~~gjør~~ ^{skad} ~~skad~~
på at du skal tenke på meg når du "fotografere"
når, når du har i vår forening eller les
blad Bull. Jeg er best i foresten et fint
stykke av Østlandet. De måtte jeg smile for
di jeg tenkte på deg. Og du var meg meget nær.
Å du, det er ikke akkurat godt
her. Nei det er det ikke. Derfor synes jeg du burde
skrive litt oftere. Den første du har meget be-
vare dine betyr for meg ville du nok gjøre
det. - Jeg tror du ser jeg har godt om deg. Og
jeg råder deg å tre godt om et ~~forening~~ ^{forening} ~~forening~~
og. Det er ganske så fint å tre godt om et
~~forening~~ ^{nær} ~~forening~~. Ja, jeg har godt om deg. Jeg vil

Набросок письма к Гунвор из дневника Рут. Рут быстро освоила норвежский и говорила вполне бегло. Письменный ее норвежский тоже идеоматически правилен, с небольшими отклонениями. Особенно осенью 1942 г. многие записи в дневнике сделаны по-норвежски

ВОСКРЕСЕНИЕ 30 МАРТА 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Г-жа Стрём забрала меня из больницы. Со сладкой улыбкой, стройная, даже несколько чересчур стройная, она стоит в коридоре. Я сижу в гражданской одежде, мое синеполосатое платье будет носить кто-то другой. В парке ждет такси. Ёрдис смотрит, как мы выносим чемоданы. Она такая прелестная, когда стоит там, маленькая и нежная. Я беру ее за руку. Думаю: вправду ли мне хочется уехать отсюда? Что я буду делать там, вонне? Когда вернусь сюда? Но сейчас надо уезжать. Сажусь в такси. Думаю: Финн просил написать ему. И я напишу. Такси напоминает мне о детстве. О папе. Мы с г-жой Стрём тщетно пытаемся вести беседу. Наступает тишина. Серые улицы, голые деревья тянутся мимо.

Я замечаю, что в больнице зрение у меня обострилось. Все предметы видятся намного ближе. Деревья. Люди. Предметы слишком уж близко. Обжигают.

Лиллестрём, как всегда, производит на меня удручающее впечатление. Стрём на месте, Турид тоже. Эдла. Гости – это «вечеринка». Все едят, все довольны. Курят сигареты, купаются в лучах собственных суждений. Я думаю: нет, это не фантазия, что среди людей есть недовольные собою, такие, что в разговоре демонстрируют другое Я, чем когда говорят об Англии и о свинине. Я знаю Гунвор. И я чужая среди этих людей, потому что говорила с Гунвор о жизни, а после разговора в нас обеих были только тоска и боль, а еще счастье, что мы нашли друг друга. Теперь сижу здесь. Пока я помню о ней, мне ничего не стоит быть в одиночестве.

Перед отъездом меня навестила Нини. Она прелесть. Подвела губы красной помадой. На голове красный тюрбан. Она ужасно меня любит. Такая сдержанная и одновременно добрая. Мы ходим взад-вперед. Я рассказываю, что уеду и непременно ее навещу. Мы ходим взад-вперед. Я удивляюсь ее красным губам и красному тюрбану. Она словно жаждет радости. Так и хочется купить ей красивое шелковое платье. Я пригласила ее в кондитерскую. Потому что руки у нее холодные от тяжелой работы.

Позавчера я была в городе. Девушки из Трудового фронта встречались в кафе «Ансгар». Петтер. Ингрид. Бастер. «Ансгар» – любимое кафе Гунвор. Там чудесно. «Уютно». Приятно вновь увидеть давние милые лица. Петтер с улыбкой, трепещущей в глазах, и кокетливым носиком по-прежнему точь-в-точь девчушка из пансиона. Фигурка у нее ужасно стильная и выглядит жутко «эротично». Впору влюбиться. У Ингрид на голове пятнистый платок. Смех все такой же теплый, все тот же прелестный французский профиль. Бастер – хохотушка, по-прежнему полудитя, хотя ей уже 18. Такая

милая. Смех у нее очень симпатичный... Мы сидим, «болтаем». О национал-социализме, о хирде¹¹¹, о войне, о походе в Вестланн, об Англии.

Где Карен? Карен, чувствительная белокурая Карен, не пришла. Она узнала, что Юн погиб в Англии. Он летчик. Это сообщение Ингрид – как бомба.

Мы не можем его осмыслить. Как такое возможно? Юн и Карен – они ведь одно целое. Юн для Карен – вся жизнь. Юн, чьей фотографией мы все любовались. Юн. Юн! Что Карен будет делать без Юна? В 16 лет она с ним обручилась, в 20 – вышла за него. Когда она говорит о нем, глаза сияют. Возможно ли, чтобы они убили Юна? Мы не в силах понять. Как мы посмотрим Карен в глаза, когда встретимся снова?

Вот так мы разговариваем, о Юне, о Карен. Время идет так быстро. Иногда кто-нибудь упоминает о Гунвор. Ее все любят.

Бастер сказала: «Мне очень недостает Гунвор. Она сидела тут, размахивала руками, улыбалась, таращила глаза».

Я подумала: мне тоже недостает Гунвор.

Лишь теперь я сознаю, что значит иметь друга. Когда слышу или читаю слово «друг», во мне загорается внутренний свет. И я думаю: да, здорово иметь друга, подругу.

Знаю, Гунвор чувствует наши отношения не так глубоко. Ну и ладно. Может, так оно и лучше. В этом смысле я умаляюсь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 МАРТА 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Дорогая Гунвор!

Все время думаю о тебе, когда слышу красивую музыку. Как сейчас. Во мне поднимается что-то хорошее. Ищет выхода. А этот выход в том, чтобы написать тебе.

Так уж получается, что я постоянно думаю о тебе, когда вижу или слышу что-нибудь хорошее. Но так и должно быть. Верно? Нет-нет. Я не требую, чтобы ты думала обо мне, когда «фотографируешь», когда чувствуешь весну или читаешь Улафа Булла. Кстати, вчера я прочла прелестное стихотворение Эверланна. И невольно улыбнулась, так как подумала о тебе. И ты была совсем близко.

Знаешь, здесь отнюдь не *хорошо*. Вот именно. Поэтому мне кажется, ты должна бы писать почаще. Если б ты знала, как много значат для меня твои письма, ты бы наверняка писала чаще... Ты ведь видишь, я думаю о тебе по-доброму. И советую тебе тоже по-доброму думать о каком-нибудь человеке.

¹¹¹ Хирд – фашистская организация штурмовиков в партии Квислинга в 1940–1944 гг.

Так замечательно – по-доброму думать о ком-нибудь. Да, я думаю о тебе по-доброму. И буду думать по-доброму, если ты не сделаешь мне больно и не натворишь каких-нибудь безумств. Но ведь совершенно невозможно, чтобы ты меня разочаровала. Я буду все время думать: да-да, наверняка ей *пришлось* так поступить. Иначе она бы этого не сделала. И вообще, я тебе доверяю. Вот видишь. Когда мне плохо, я думаю о тебе. Тогда становится лучше. Не понимаю, как народ выдерживает без друзей. Но дело в том, что лишь маленькие и слабые не терпят одиночества. «Мудрый человек менее всего одинок, находясь в одиночестве». Это я где-то прочитала. Но Боже мой, я вовсе не рвусь в мудрецы, когда у меня есть ты.

У тебя, наверно, все в порядке. Когда мне плохо, я думаю: да-да, вероятно, мне нужно через это пройти, чтобы тебе было хорошо. Тогда становится легче.

Твоя Рут

[Далее следует список стихотворения «Мизантропу» Арнулфа Эверланна.]

ВТОРНИК 1 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

На деревьях лежит снег, на улице, на крышах – снег. Вечера долгие, но снег приводит меня в отчаяние из-за весны.

И писем от Гунвор нет. Как она думает, кто я? Мне хочется возмутиться.

Ведь ожидание письма, которого нет как нет, поработывает. О нет! Где те времена, когда я хотела возмутиться. Теперь я тихая и радостная. Думаю: у меня есть подруга! И всё. Как некогда во мне вспыхивал Виллигер, так теперь – Гунвор.

Письмо все-таки должно бы прийти.

Юн, муж Карен, в самом деле погиб. Больше всего в эти времена страдают женщины. «Молодая женщина 1940 года».

Спрашиваешь себя: чего ради? Этот вопрос задавали миллионы до меня и будут задавать миллионы после меня. Карен – одна из тысяч, чья жизнь внезапно потеряла смысл из-за разрыва бомбы, из-за попавшего в цель выстрела. А потом уже и не спрашиваешь. Люди дальновидны. Жизнь их не заботит! То, что Юн больше не обнимет Карен, мало что значит. Речь идет о подводных лодках, о транспортах, о стратегических пунктах.

Многие говорили так до меня. Многие скажут после меня.

Но Карен – реальность. Карен, которая с улыбкой говорит: «Мой муж». Карен, мечтательно роняющая: «Юн».

Женщины страдают от смерти, страдают от жизни. С детьми она страдает от жизни, с мужьями – от смерти.

СРЕДА 2 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Писем нет. Звучит так просто. А я так тоскую по ее строчкам. Не выйду из дома, пока не получу письма.

Ночью мне приснилось, что Гунвор тоже была в VI отделении. Д-р Мунк разговаривал с ней. Расспрашивал, качал головой. А Гунвор была очень возмущена. Говорит: «Нет, с этим я не примирюсь». А я ужасно злилась на врача, который обидел Гунвор. Подхожу к нему и так прямо и говорю. Поспешно, запальчиво и страстно заявляю ему, какова Гунвор. Что он ошибается, плохо о ней думая. Она сдержанная и добрая. Рассказываю про Рейдара и их ссоры. Говорю долго. А закончив, намереваюсь поговорить с Гунвор. Но она вместе с другими и, кажется, сердита на меня, потому что я говорила о ней.

Я не виновата, что испытываю к ней такие глубокие чувства. Врачи наверняка бы решили, что в этой связи у меня проявляются противоестественные наклонности. Но это не так. Мои чувства к ней вполне естественны. Я ощущаю душевную связь с нею. Во мне нет ни малейшего намека на плотское желание. Но, может статься, я испытываю потребность в любви, которая требует выражения, и тогда Гунвор – желанный объект.

ЧЕТВЕРГ 3 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Мне так странно слышать, что многие девушки называют себя моими подругами. Есть только одна, которая себя так не называет, но к ней я питаю дружеские чувства, замечательные, уникальные.

Нини подписывала свои письма: твоя подруга. Хотя я люблю ее, связывает меня с нею не дружба.

После того как я попыталась в письме утешить Карен, потерявшую мужа, она пишет: «Дорогая подруга».

Чудесно, что у меня есть все эти люди. Карен я попробую помочь, Нини постараюсь поддержать, Гунвор буду беззаветно любить.

ПЯТНИЦА 4 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Дорогая Гунвор!

Полагаю, ты не знаешь, как обидно, что от тебя нет писем, я жду, а их нет... Иначе бы написала. Или, если честно, писать мне слишком обременительно? Ты опасаясь, что мои ответы обидят тебя, проникнут сквозь панцирь, каким ты любишь себя окружать? Не знаю, не хочу знать.

НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ

У немецких солдат тоже тихие голоса, когда они гуляют с девушками, которые исподволь наполняют вечер радостью. Когда их руки дрожат от любви, немецкие солдаты не убийцы, а мальчишки, что стоят в сияющей наготе, с невинной улыбкой. И девушки тоже улыбаются, застенчиво, мечтательно. Никогда прежде не бывало так ясно, как сейчас, что значит быть человеком.

ВОСПОМИНАНИЕ

О-о, воспоминание! Трупный смрад! Отравляющий жилище. Когда ты прекратишь высасывать мне сердце, отнимать силы, без которых я не могу жить? Ты слепишь мне глаза, и я не способна даже разглядеть яркий солнечный свет сквозь яркий глянец твоих стекляшек. Далекими унылыми голосами ты навеваешь сон, погружаешь в бессилие, и я сижу, ковыряясь дрожащими пальцами в золе. О воспоминание! Порабощающее меня, когда же ты оставишь меня в покое?

ТВОЕ ИМЯ

Когда кто-нибудь называет твое имя, холодными равнодушными губами произносит твое имя, во мне тихо, с тоскою звучит желание: быть с тобой.

К АГНЕС

Когда твое лицо, дышащее умиротворением, склоняется к голубому вечеру, все твои черты струят мне в сердце тепло. И вечера, и твое лицо сплавляются воедино, и я понимаю, как одинока была до встречи с тобой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Дорогая Гунвор!

Ты права. Не балуй меня, ведь я могла бы счесть совершенно естественным, что ты пишешь, пишешь мне письма. А это нехорошо. Вот почему я должна ждать... И все-таки, думаю, ты бы написала, если б знала, как я жду.

Сегодня ночью я спала плохо и знаю: это оттого, что ты не пишешь. Так ужасно – ждать. Гунвор. С 9 до 5, с 5 до 9 утра. Поэтому мне кажется, ты напишешь... Так хочется увидеть твой почерк. Мне нравятся твои письма.

Но раз ты решила не писать, наверно, у тебя были важные причины для такого решения. Или нет, ты просто не в состоянии писать. Все дело в весне – шум вокруг тебя, жизнь, новые люди. И *писать* тебе очень обременительно.

Господи, Гунвор, ты через день навещала меня в VI отделении, а теперь не находишь времени написать раз в неделю!.. Да нет, пожалуйста, можешь и не писать. Ведь куда хуже думать, что ты боишься писать, чем что не пишешь ты потому, что тебя вынуждают обстоятельства.

Мне хотелось бы так много тебе рассказать, но ничего не выйдет, поскольку ты не пишешь.

Может, тебя пугает не столько само писание писем, сколько получение *ответов* от меня... Послав тебе письмо, я постоянно задним числом мучаюсь, что написала не то, что лучше бы не писала о том или об этом. Мелочи, какое-нибудь слово, звучащее слишком ласково. Слишком бесцеремонно, сентиментально. Мне бы хотелось, чтобы, выражая чувства, язык непременно оставлял в душе хоть что-то, хоть немного. Когда я говорю: я тебя люблю, – внутри у меня остается полная пустота, слова отнимают у меня все тепло. Но когда говорю: я не выдержу твоего вида, – внутри становится вдвое лучше, поскольку я не знаю, что имела в виду. Тебе это понятно. Я уверена, что понятно. Постоянно, Гунвор, когда я говорю тебе что-нибудь, чего не говорила раньше никому, я чувствую, что ты понимаешь. А всем нужен человек, который их понимает.

Закончу на сегодня. Помни, я буду ждать, постараюсь стать маленькой и смиренной, если и сегодня писем от тебя не придет.

Рут

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Нет. Тебя ничуть не беспокоит, что я сижу тут, что я существую, что я тоскую. Ты вызвала во мне цветение. Минуты, проведенные с тобой, цветут во мне, не увядая. Но тебя это не заботит. Как же так? Разве ты не знаешь, что тысячи вещей во мне ждут, чтобы я сказала их тебе? Наша жизнь, наше будущее, все, о чем мы говорили лишь изредка. Разве ты не знаешь, что целый мир во мне ждет возможности раскрыться перед тобой? Знаю, у тебя чуткие пальцы, ты не обидишь. Всё ждет. А ты не пишешь. Мне бы очень хотелось увидеть: Дорогая Рут! Я преувеличиваю. Позволь мне преувеличивать, позволь: мне хочется преувеличивать. Мое чувство к тебе, я хочу

сделать его больше, расцветить всеми красками. И оно станет больше, станет сиять всеми красками. Сияет уже сейчас. Сияет, когда я слышу музыку, сияет, когда курю сигарету.

Часто я спрашиваю себя: почему она меня терпит? А что ты терпишь меня – хорошо. Ты терпела меня, когда я дралась, терпишь, когда я пишу, что радуюсь твоему приходу. И долго ли ты еще выдержишь? Я чувствую: ты уйдешь от меня. Просто уйдешь. Уйдешь, потому что я сбиваю тебя с толку. Понятно. Точь-в-точь как еврейчик Каин сбил с толку весь род человеческий, я сбиваю с толку тебя. Когда говорю, что ничего не требую, это смущает тебя. А скажи я, что требую всего, собью тебя с толку. И если ничего не говорю, все равно результат такой же. Ведь тебе, наверно, достаточно себя самой. А что я хочу разделить, тебе непонятно. Я хочу разделить. Мои письма говорят об этом, и мои слова тоже: раздели!

А ты не желаешь.

Дорогая Гунвор, возможно, я к тебе несправедлива. Ты другая. Но как мне смотреть тебе в глаза, раз я так много о тебе думала. Пишу тебе письма, которых ты никогда не прочтешь. О-о. Это пройдет. Я твержу себе, что пишу только от тоски. От тоски... не знаю по чем.

С Карен у меня странная дружба. Мы с Гунвор были вместе, но она стояла рядом. Нас было двое, а она – третья. Она еще и ревновала, потому что очень любит Гунвор. Возможно, симпатизировала и мне, получая совсем-совсем слабый отклик. Я была с ней, чтобы дать Гунвор почувствовать: не только ты! Другие тоже!

У Карен есть черты, которые мне по душе. Она переоценивает себя. Собственное Я для нее нечто неслыханное, исключительное. Она слишком много значения придает интеллектуальному. Высокомерно ставит себя над обыкновенными людьми, равнодушными к литературе, искусству и т. п. Поскольку она потрясена романом «Кристин, дочь Лавранса»¹¹² и покупает книги по 20 крон, она считает себя выше других. И одновременно производит на всех чрезвычайно симпатичное впечатление. Светлые глаза, красивый приоткрытый рот, белокурые волосы, непричесанные, сколотые сбоку заколкой, создают впечатление, что она человек умный. При более близком знакомстве испытываешь разочарование. Ждешь-то «особенного». Когда я уехала из Бири, она навещала меня, сияющая, с красивой улыбкой на губах (у Гунвор улыбка некрасивая). Стояла, словно свечка, и говорила: «У меня все хорошо». Всегда в движении, полная мыслей о своей жизни и о Юне, любимом муже, она кажется счастливой. Это «идеалы», за которые она каким-то неясным манером намерена «бороться», исходя из мысли: я вот

¹¹² Исторический роман (1920–1922) норвежской писательницы Сигрид Унсет (1882–1949).

*Nini.*

*Рут очень интересуется окружающими людьми, в больнице – пациентками.
В дневнике она нарисовала Нини*

такая, не как другие. (Она ищет своего рода тайной общности с людьми, которых считает «важными».) И еще Юн.

Юн погиб. Она написала мне в письме. Я думала, Карен не справится с этим. Пыталась утешить. Написала: у тебя есть друзья! И в ответ она написала: дорогие друзья! Да, я бы сказала ей: многие тебе сочувствуют! Она говорит: ты – моя подруга. И я была слегка озадачена. Поскольку не чувствую близости с ней.

Но когда она пишет: я буду жить ради тебя, ради Гунвор, – то мне нужно заслужить, что она хочет жить и ради меня. А о гибели Юна она пишет так,

что я думаю: да, наверно, она вправду дала себе такое обещание, наверно, я действительно могу быть ей подругой. Без притворства.

Нини хорошая. Я навестила ее в пятницу, когда ездила в город. Она в детском приюте на ословской Холтегата. Показывает мне дом, где все вверх дном. Мимо проходят тихие девочки-подростки. Нини моргает своими красивыми карими глазами. Белокурые волосы сияют. У нее было мало времени. Я вскоре ушла. На ней был голубой фартук, туго обтягивавший грудь. Смотреть больно. Ведь этот тесный фартук вполне типичен для Нини. Ей бы ходить в красивых платьях и каждый вечер есть шоколад. Ладно.

В пятницу же я встречалась с девушками из Трудового фронта. С Петтер, Бастер, Ингрид. Посидели вместе. Все четверо мы смотрелись отнюдь не дурно. Когда смотрю на Петтер, на ее большие мечтательные глаза, на полуоткрытый бледный рот, на свежую кожу, мне всегда представляется распускающаяся или только что распустившаяся почка, которая распустится еще пышнее. На Ингрид мужчины оборачиваются. Бьёрг – девушка скромная, со звонким смехом. Бьёрг очень любит Гунвор. Переняла у нее манеру жестикулировать. С обожанием произносит имя Гунвор.

Мне так хорошо с этими девушками. Мы чувствуем, что молоды. Все четыре. Говорим о хлебных карточках, о новом хлебе, об Америке. Иногда вставляем: «Помнишь?»

Говорим о предстоящем походе в Вестланн. Порой кто-нибудь роняет: «Странно, что Гунвор сейчас не с нами».

В половине десятого расходимся. Г-жа Стрём встречает меня кислой усмешкой: «Поздненько пожаловала!»

Я много пишу о себе. А ведь вовне так много всего происходит: история – вот таким звучным словом любят именовать это свинство. Гитлер занимает Прагу – история. Бьют евреев – история. Гибнет Юн, вместе с «Атенией» тонет Хильдегард Эрлих. История! История!

У германского духа здесь есть отпрыски. Болтливые, жалкие. Однако ж есть и НС¹¹³ как норвежский отросток НСДАП¹¹⁴.

Хирд, приблизительно соответствующий гитлерюгенду, с его крикливой формой и еще более крикливыми речами, из кожи вон лезет. Они усердно орудуют резиновыми дубинками, воображают себя лихими парнями. НС пытается вербовать членов с помощью шантажа и т. д. Гестапо начеку. (Беврефьорда, знакомого, арестовали.) И другие тоже сидят за решеткой. Нельзя много писать об этом. Давно привыкли. Разобщенность. Побуждает к доносительству.

Наперекор мрачной пропаганде и т. д. норвежцы ведут себя достойно.

¹¹³ НС – «Нашунал самлинг».

¹¹⁴ НСДАП – Национал-социалистская германская рабочая партия – официальное название гитлеровской партии.

Часто встречаешь людей, которые скорее рискнут работой, чем опозорят себя. Поэтому норвежцы мне очень симпатичны. В них есть что-то несгибаемое. Никогда и нигде я не чувствовала таких крепких рукопожатий.

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Я веду дневник не затем, чтобы записывать «рефлексии», увековечивать глубокие мысли. Пишу, чтобы высвободить чувства, которые иначе засядут во мне и будут беречь открытые раны.

Помню, как Гунвор улыбнулась, когда я спросила: «Писать будешь?»
Ответила: «Нет! *Не буду*». И улыбнулась.



На Пасху 1941 г. Эдла, прислуга Стрёмов, пригласила Рут в Энебакк, в свои родные места. На снимке Рут, Эдла и сестра Эдлы. В первый день Пасхи Рут написала в Энебакке три хороших прозаических текста

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 АПРЕЛЯ 1941 г., ЭНЕБАКК

ВЕЧЕР

*Откуда ты приходишь со своим приветом, светлый вечер?
Несешь привет из той страны, куда мне не уехать?*

*С бледной улыбкой, дающей мне понять, что тебя мне не назвать своей?
Что ты безжалостно закрыла дверь меж нами.*

*А у меня вдруг возникает замечательная мысль: открою эту дверь и
разом попаду к тебе.*

ПОДРУГА

Первый раз, когда я отпрянула, ослепленная твоим взглядом, не был первым. Нет! То была новая встреча. Прекрасная, как некогда давно. Мне казалось, в незапамятные времена мы уже бродили вместе по светлым стёжкам. Были столь едины, что слова «ты» не знали. Ты – это я. А я – ты.

МИР

Перед моим взором в снегу лежат... дома. С серыми крышами, словно песня, трепеща стремящаяся к небу. За крышами деревья, точно дети, тянут руки-ветви к могучим очертаньям гор. Я стою и смотрю. Долго-долго стою и смотрю, пока во мне не рождается осознание: я тщетно искала мира среди людей, а он здесь – в небе, в горах, в деревьях.

[Здесь цитируются два немецких стихотворения: «Утешение» Ины Зайдель и «Девушке» Германа Гессе. Первое снабжено комментарием: «Сравни со стихотворением «Метона» Улафа Булла».]

ПЯТНИЦА 18 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Гунвор вернулась в город. Я так рада. Теперь она близко. Я вижу, как она машет руками. Смеется... Прощение. В следующую пятницу я снова увижу ее. Жду всем моим существом! Жду ее взгляда. Глуховатого смеха, низковатого голоса.

Не имеет совершенно никакого значения, что я только и пишу о Гунвор. Я не могу не писать о ней. Ведь я никому не *говорю*, как люблю ее. У меня нет потребности писать, что сейчас весна или что югославская армия сегодня сложила оружие, а вот о том, что я радуюсь возвращению Гунвор, не написать не могу, так как должна поведать кому-то эту свою задушевную радость.

СУББОТА 19 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

«Когда возвышенное представление о человеческой натуре пронизывает тебя, не сомневайся, оно истинно».

Беттина фон Арним

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Перечитываю письма Беттины к Гёте. В жизни не читала таких проникновенных писем. В них столько любви, столько духовности, невероятно чуткая душа!

Она высказывает множество прекрасных мыслей о музыке:

«Музыка делает душу телесным органом, каждый звук трогает душу. Музыка чувственно воздействует на душу. Тот, кто не одинаково подвижен в игре и в композиции, не способен создать что-то хорошее».

Вечером, после небольшой прогулки:

ДЕТИ ИГРАЮТ

От играющих детей тебе навстречу улыбается бодрая мудрость, улыбается над тем, что ты стоишь тут, бедный и богатый, в чуждой одежде, чуждый для самого себя. И все же вместе с этим к тебе подступает мировая загадка, подобно осколку стекла, отражающему все небо.

ВЕСНА

Как робкая улыбка губ, воспрянувших после серьезной болезни, бесценнее ликующего смеха цветущих губ ребенка, так и этот грязно-бурый цвет, пробивающийся из-под снега, мне куда дороже, о-о, стократ дороже освещенной солнцем сочной летней зелени деревьев.

ВЕЧЕРНИЙ БРИЗ

Когда с вечерним бризом до твоего слуха долетают людские голоса, эти голоса добры. И пока тихонько веет вечерний бриз, ты никогда не поймешь, что люди не всегда говорят человеческими голосами.

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Мне подумалось, что, когда я звонила в дверь, сперва подвигали стул, а вслед за тем я видела в узкую почтовую щель его длинные тощие ноги, приблизившиеся к двери.

И еще: когда обижался, он говорил «вы» и «барышня».

Порой по-прежнему случается, что, когда подобное воспоминание воскрешает радостные краски и запахи, до той поры оцепенело лежавшие в душе, оно, вспыхнув, падает в сердце и заставляет его биться учащенно.

Милая,

такие минуты, как эта, волей-неволей побуждают меня писать. Да и зачем сопротивляться? Я так по тебе тоскую. И могу обуздать эту тоску, лишь взявшись за перо. Тогда во мне возникает великий покой, и мой дух склоняется к твоему. Вот и всё. Да и что тут скажешь? Н-да, тем не менее я только и делаю, что «говорю». Только и выдыхаю в пространство слова, а ты зовешь это говорливостью. Ладно. Так позволь мне быть говорливой, при том что я безмолвно называю твое имя, позволь мне быть маленькой, и я сделаю тебя большой, позволь быть глупой, и ты сможешь звать себя умной. Что еще сказать? Ты. Завтра я увижу тебя. Уже завтра. Завтра. Завтра. Ты наверняка радуешься не так, как я. Я говорю в пространство, что увижу тебя, и толком не могу этого понять. Когда я вижу человека, которого люблю, со мной всегда так: мне кажется, будто он вернулся из мертвых. И завтра я увижу тебя с таким же чувством. Увижу и невольно поблагодарю: слава Богу, она не умерла!

Я до того говорлива, что больше не могу усидеть на месте. Для тебя я не загадка. Потому-то мне с тобой хорошо. Другие говорят, что не могут во мне разобраться. Но ты разбираешься. А я-то уже боялась, что люди будут проходить мимо меня. И тут ты пришла прямиком в мои объятия.

Теперь буду радоваться.

ПИСЬМО СЕМЬЕ В АНГЛИЮ
ПЯТНИЦА 22 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Вчера была в американском консульстве. Там мне сказали, что до конца войны я американской визы не получу. Ладно, по крайней мере, я хотя бы знаю ситуацию.

Вчера пришли вести от вас, через Красный Крест. Декабрьские! А сейчас апрель. Так почему же вы больше мне не пишете? Для меня это действительно загадочно. Напрашивается мысль, что вы поддерживаете контакт с

Куртом и т. д. А в Америку вы пишете так редко действительно потому, что это дорого? Фраза получилась с норвежским синтаксисом. Но это так, между прочим. Помните, в моих мыслях *каждый день* идет в счет.

Да. Что до меня, вам незачем тревожиться. Я тоже выдержу... до тех пор. А выдерживать придется, наверно, пока все не минует. Ничего не поделаешь, так уж выходит. Ха-ха. Гунвор сказала бы: «Крупинка золота». Кстати, Гунвор! Я вам рассказывала, она моя подруга. Странная дружба, чувства распределены очень неравномерно. Вчера мы были вместе. Может быть, скоро вы ее увидите. Вот будет радость. Ах да. Удивительно, что для вас и для меня есть вчера и есть завтра. И что ваше вчера не таково, как мое. И сегодня у вас другое. Господи, я впадаю в философствование, а ведь мне нужно сказать вам столько реального. О Гунвор я бы могла написать не одну страницу. Да, и еще: в воскресенье (сегодня вторник) я опять покину очаровательный городок Лиллестрём. Некоторое время не увижу столь дорогих мне лиц семейства Стрём. Я могла бы оставить вас в иллюзии, что эти лица мне вправду дороги. Но я злая и не стану этого делать... Вам не терпится узнать, куда я собираюсь. «Пожалуйста». Вместе с Гунвор, Петтер и Бьёрг я опять отправляюсь на Трудовой фронт. В Вестланн, то бишь в Западную Норвегию. Оттуда двинем дальше. Стало быть, когда вы получите это письмо, я вместе с тремя молодыми, нет, молоденькими норвежскими женщинами буду где-то в Норвегии. И Лиллестрёмом этим, и почтенным семейством Стрём я, мягко говоря, давно сыта по горло!

Что Трудовой фронт дает мне возможность «продвинуться», как красиво пишут в хрестоматиях, это правда. Но, скажу я вам, на «продвижение» мне глубоко начхать. Деньги я в последнее время получала от подруги, которую зовут Карен. С одной стороны, это отвратительно, с другой – очень практично. Пока у меня есть деньги на маленькую книжку или на подвязку для чулок, все хорошо. Да-да. Я знаю, что надо бы, мне надо бы... А что, собственно, мне надо? Большой вопрос. Гунвор тоже качает головой, когда мы говорим об этом. Но когда двое качают головой, все куда лучше.

Ах, милые мои, тут я закончу. Ведь я впрямь несу всякую чепуху, а о моей любви, о тоске по вас ни слова не сказала. Но вы прочтете все между строк.

ПЯТНИЦА 25 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

В воскресенье утром уезжаю из Лиллестрёма. Вот здорово! Вместе с Петтер, Бьёрг и Гунвор еду на Трудовой фронт – в Ставангер. Там мы пробудем все лето. Этот Лиллестрём я просто ненавижу. Грязный, противный городишко, который причинил мне бесконечно много боли, все время причиняет

боль. И что я его покину – чувство избавительное. Тогда я больше не увижу и г-на Стрёма с супругой. Эти люди для меня сущий кошмар. Рядом со мной г-жа Стрём все время чувствует себя приниженной. Как вышло, что мы больше ничего друг для друга не значим, уму непостижимо. Когда люди отходят друг от друга, причины так многообразны, так сложны, так вздорны, что понять их невозможно, как вообще невозможно понять взаимоотношения двух людей. Одно ясно: если отход начался, спасения нет.

Я немножко тревожусь, поскольку не знаю, что произойдет, и беспокойная жизнь, какую я, собственно говоря, веду, слегка действует мне на нервы. Но Боже мой! Все-таки я невероятно рада. Я виделась с ней во вторник. В больнице она зачастую производила на меня неэстетичное впечатление. Я могла заметить крошечный прыщик у нее на носу и разозлиться. Сейчас такого ощущения нет и в помине. По-моему, она похорошела. Лицо загорелое. А порой, когда она поворачивается, руки двигаются так... Ах, лучше не буду писать об этом. Слишком это хорошо.

Карен я тоже видела. Она не изменилась. Все та же сияющая улыбка, иногда легкий вздох, который она быстро подавляет. То, как она приняла гибель Юна, вызывает большую симпатию. Я сравниваю ее поведение с маминым после смерти папы. Меня очень отталкивала мамулина манера ударяться в слезы перед любым, кто называл папино имя. Карен никогда так не делает. Ничем не выдает свою боль. Вообще, она выглядела превосходно. В дивном голубом платье, с красивой золотой цепочкой. Волосы она отпустила, и это придает ей куда больше женственности и мягкости. Разговаривали мы о будущем. Она предложила мне осенью переехать к ней в мансарду. Вот было бы здорово. Слишком здорово, чтобы осуществиться. Тогда бы у меня появилось что-то вроде «дома». Который мне необходим. Я завидую людям, которые могут жить и без этого.

День сегодня чудесный – еще и потому, что я получила письма от мамы и от Дитля. Они очень меня любят. И их любовь обязывает... только не знаю к чему. Думаю, я никогда, *никогда* не сумею утолить их любовь. При мысли об этом становится совсем грустно. Любовь взыскательна. Тот, кого любят так крепко, как Дитль любит меня, может принести только разочарование.

Вчера было вправду замечательно! Министр Лунде (НС) выступал с речью на площади в Лиллестрёме. «Нашунал самлинг», единственная разрешенная партия, ожидала большой поддержки... Народу пришло минимальное количество. Маленькая кучка обступила ораторскую трибуну. Смешно и весьма ободряюще. Мы думали: вот как освобожденные приветствуют своего освободителя. Потирали руки и ходили из комнаты в комнату.

ПИСЬМО СЕМЬЕ В АНГЛИЮ
ПЯТНИЦА 25 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

В самом деле тяжело, что нельзя быть вместе, когда любишь друг друга. Но ничего не поделаешь. Не падайте духом. Помните. Я живу лишь ради того, чтобы снова увидеть вас. И довольно об этом.

Так или иначе, не стоит вам думать обо мне чересчур много. Не то разочаруетесь при встрече. Потому что будет очень трудно соответствовать вашим ожиданиям. С полным правом можете назвать меня идиоткой. Такая уж я есть, вечно норовлю найти какую-нибудь «трудность». Видели бы вы меня, когда я была влюблена в Гунвор. Я защищалась и постоянно старалась найти в наших отношениях что-нибудь, что надо изменить. Кстати, позавчера она приезжала из Бири в Осло. Мы гуляли по городу, было так замечательно. А послезавтра мы, стало быть, опять уезжаем на Трудовой фронт. Здесь, в Лиллестреме, я бы просто не выдержала. Ужасный городишко. А теперь между мной и семейством Стрём нет больше никакого контакта. Вполне могу поверить, что вам *это* непонятно. Да и у меня рассудок отказывает, когда я размышляю об этом, рассудком такое не постичь. Вы ведь знаете, люди порой «отдаляются друг от друга». Вникните – что это значит. Тогда вы поймете, как обстоит дело между мной и Стрёмами. Если я и разговариваю с ними, то просто из вежливости. Однако мамуля и бабушка заскучали, поэтому поговорим лучше о другом.

Дитль, ты спрашиваешь, рассказываю ли я о вас. Гунвор я говорю о тебе, что ты милая и сильная. Особенная. И много другого тоже рассказываю. И все знают, когда от вас есть весточки. Гунвор делает тогда большие глаза и говорит: «Вот оно что. Как у них дела?» Я отвечаю: «Пишут, что все хорошо». А Карен вставляет: «Юн тоже так писал». Юн – это ее муж и... Зачем писать об этом? Видно, я и впрямь дурочка.

Получила письмо от Эгона. Он в своем ампула. Передает тебе привет, Дитль, и поздравляет с днем рождения. Маловато при нынешней ситуации, а?

Еще я рассказываю о мамуле. Что именно – объяснить слишком трудно. И о бабушке. О тебе, бабушка, я Гунвор столько всего нарасказала. Как мы приходим домой, и ты читаешь вслух, и повторяешь каждое слово по десять раз. Много всего рассказывала. О перепалках и... Ладно-ладно. И про Тимига рассказывала. Мы гуляли по снегу. И я рассказывала про фиалки и про твои письма, Дитль. А Гунвор говорит: «У тебя очень сильные родственные чувства». Но это так, пустая болтовня. Я просто люблю вас, и родственные чувства тут ни при чем.

Ах, милая моя мамуля, свяжись с каким-нибудь кинорежиссером. Нет, извини, что смеюсь. *Те времена* миновали. И хотя я порой пишу стихи и

рисую – *те времена* миновали. В смысле, я бы охотно поступила в школу рисования. Только, мамуля, отношение, мое отношение к этой школе было бы совсем не таково, как ты думаешь. Я люблю рисовать. Иногда у меня прекрасный колорит. Два рисунка очень красивые. Я их потом окантую и повешу в *нашей* комнате. Один называется «Весна», другой – «Голые деревья». У меня много фотографий с Трудового фронта. Будет так замечательно рассматривать их сообща!

Да. Осенью я, наверно, перееду к Карен, это маленькая такая блондинка, вдова. Наверно, будет здорово. Так я смогу ждать большого путешествия. Но потребуются время. По этому поводу я связывалась с американским консульством. У меня ведь есть аффидэвит, от которого, увы, никакого толку. После войны я безусловно получу визу. Но не раньше... так что наберись терпения.

Пиши. Что целуешь меня в лоб. Дитль меня любит... Что ж. А я иногда вижу во сне и тебя. Бабушка, миленькая, держись. Целую тебя тысячу раз. И руки тоже. И тебя, мамуля. Только пиши.

А когда вы уезжаете? Насчет этого прошу самую точную информацию!!!

СУББОТА 26 АПРЕЛЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Вчера я взялась рыться в старых письмах... и казалось, попала совсем в другое место, строки, написанные любимыми руками, были как чудесный дар. Зазвучали голоса, я видела, как приходят и уходят люди, друзья, которых разбросало по всему свету.

Есть одно замечательное письмо на голубой, светло-голубой бумаге. Помню, как я его получила. Меня бросило в дрожь, я спрятала его под блузку, потом спустилась по лестнице. Нервозно снова и снова глядела на почерк, *его* почерк, и только потом вскрыла. Распечатала. Там не было ничего «особенного», и все же каждая буква обращалась ко мне, была подарком. Он писал: «Now I have the aspect of seeing you»¹¹⁵. Я прямо вцепилась в эту фразу, пробовала ее на вкус. Его почерк! Он разрывал буквы посередине. В словах было множество пауз. И все они написаны так серьезно, так энергично. И совершенно «не заряжены чувством».

Затем письмо д-ра Браухбара. У него почерк такой легкий, быстрый, чуткий. Этим письмом он мне помог. Первый рассказал мне, что я люблю его. Причем не качал головой, не тыкал пальцами. «Только любовь и имеет значение» – вот что он сказал. И хотел придать мне сил, пусть даже высопарными словами.

И другие письма...

¹¹⁵ Теперь у меня есть перспектива увидеть тебя (*англ.*).

Дитль! Как она рассказывает! Всегда хорошо, выразительно, с любовью. С огромной жаждой жизни. Жить. Такой жизнью, какова она есть. И хотя в душе у нее тоже произошло «обесценивание всех ценностей», она тем не менее не смирилась. Ее сердце по-прежнему молодо, бьется со всею силой! И она говорит: мои руки, мое сердце, мои глаза! От всего ее существа веет этим хорошим ощущением «я». Именно так и должно быть... У себя в классе она прославилась фразой: «Но я все-таки лучше останусь Юдит Майер». Ее письма – самое прекрасное, что мне довелось читать. Потому что все в них естественно, потому что пишет она без препятствий, комплексов, задних мыслей. Возможно, так она пишет мне одной. Ее письма всегда действовали на меня как бодрящий душ.

Мамуля с ее ровным женским почерком. Там столько бесконечной любви и заботы обо мне. Господи, такое чувство, что я *никогда* не сумею возместить любовь и заботу, какими дарили меня Дитль и мамуля. От этого я вконец падаю духом. Тех, кто меня любит, я отталкиваю. Или они становятся со мной несчастными. Ужасно – не уметь любить: вот письмо от Виллигера, вот от Енды, от Гунвор. Как я защищалась, защищалась от этого чувства любви, когда оно поднималось во мне.

Вот передо мной умные мысли Полины. В ее письмах столько тоски. Столько страсти, слез, а нередко искреннего отчаяния из-за того, что у меня не хватило духу продолжать переписку. Кстати, и денег не было. Но я воочию вижу Полину. Ее чуть гнусавый голос, черные курчавые волосы, прелестную фигурку. Вижу, как она сидит, целиком погрузившись в чтение Беттины фон Арним. Невольная улыбка, когда фон Штайн хулит Гейне. Мы очень любили друг друга.

Вот строки Кэте. Почерк точь-в-точь как она сама. То бишь чуть тяжело-весный (умственно), никакой дисциплины, но много фантазии, чуть слишком много чувства. Ясности нет! Она жила в Лондоне. А теперь в США.

Вот письма Курта Поллака: совершенно детский почерк. Полумальчишечий стиль. Тут и там несколько громких слов, впрочем сведенных на нет какими-нибудь остротами. Мы теперь большие друзья. Хотя в Вене вообще не дружили.

Или вот Эгон. Когда я читаю его письма, у меня всегда возникает ощущение чего-то жалкого. Хотя он нашел способ устроиться в Холиче. Но в письмах его сквозит тягостность. Усталость. Словно он дряхлый старик. И он часто прибегает к сентенциям: «Все идет к вечному пределу», – написал он последний раз. Чепуха, конечно, но я перестала его высмеивать. Без толку. Такой уж он есть. Его письма напоминают мне о по-настоящему замечательных минутах в гитлеровской Германии. Как из всех этих бед и кошмаров выросла дружба. Дружба с Эгоном. С Тауберсом. Господи. Вижу его как наяву. Всё вижу.

А Сузи! Несмотря ни на что, я не раз была влюблена в него. Когда он сидел за столом в белой рубашке, свежей, накрахмаленной. Такой сильный и симпатичный. Однажды замечательно рассказал историю. А обычно держался тихо. Осталось письмо. Почерк совсем детский. Я одинока и потому стараюсь оживить давние воспоминания. Сузи грустный.

Так странно было перечитывать его письмо. Оно показывает его с новой стороны. Сузи грустный...

Ах, писем еще так много. Четыре письма Гунвор лежат вместе с прочими норвежскими. Осторожно вытаскиваю ее письма. Боюсь повредить их резким движением. Так много надо прочитать и не меняться в лице. Чтобы не обидеть ее. И, читая, я часто вынуждена умяться, чтобы она не испугалась. Так было и в ту пору на Верингерштрассе. Когда он начинал рассказывать, я съеживалась, чтобы не спугнуть его, чтобы он забыл о моем присутствии.

Første kvinnelige arbeidsleir i år.



Igår reiste 11 friske jenter avgårde med Vestbanen til den første kvinnelige arbeidsleir i år. Den ligger ved Thou i Strand kommune ved Stavanger hvor jentene skal plante skog.

De 11 får forsterkninger underveis i Skien og Tønsberg, og noen deltagere kommer også med fra Haugesund, slik at det i alt blir 30 i leiren. Reiseleder igår var Tuilemor Johansen, og leirleder er Jarli Brund-Hendriksen fra Haugesund.

Det var fint vær ved avreisen, og humøret var på toppen.

Весной 1941 г. Рут едет в новый трудовой лагерь, на сей раз в Хьёстхейм, в Тёу в Рюфюльке. На газетном фото из «Моргенпостен» от 28 апреля 1941 г. – отъезд с ословского Западного вокзала. Три девушки слева – подруги: Лив Видт (по прозвищу Петтер), Гунвор Хофму и Рут Майер

В путь-дорогу

АПРЕЛЬ–ИЮЛЬ 1941 г.

В конце апреля несколько девушек из женского Трудового фронта отправляются на новое место работы, в усадьбу Хьёстхейм, в Тёу, район Странн. Поездом они едут до Кристиансанна, оттуда автобусом до Флеккефьорда, затем поездом до Саннеса и дальше – до Ставангера. Рут описывает южнонорвежские поселки и норвежское побережье, затем берега фьордов в Рюфюльке.

Ситуация становится драматичной, когда в усадьбу приезжает ленсман¹¹⁶ и арестует Гунвор Хофму, которая попадает в ословскую тюрьму Ботсфенгслет. (Арест, вероятно, связан с подозрениями о планах бегства в Англию. «Маттелин», которого надо навестить, сестре Юдит незнаком.) Рут, в испуге и отчаянии, пишет письма семье в Англию. Но через полторы недели Гунвор возвращается. Дружба Рут и Гунвор теперь особенно задушевна. После конфликта в лагере, когда Рут подвергается антисемитским нападениям, Гунвор постоянно берет ее под защиту. Обе покидают лагерь.

В начале июня пять подруг отправляются в поход – вверх по долине Гудбраннсдал, частью пешком, частью автостопом. В Кваме им предоставляют на несколько недель жилье и питание – взамен они помогают крестьянам по хозяйству. Поход заканчивается тем, что в начале июля Гунвор и Рут получают работу в нескольких десятках километров к югу от Тронхейма – им предстоит полоть морковь у мельхусского крестьянина. Остальные подруги получают новое задание Трудового фронта в Юле под Тингволлом в Нурмёре.

¹¹⁶ Ленсман – государственный служащий в сельской местности в Норвегии с полицейскими и административными полномочиями.

ВТОРНИК 29 АПРЕЛЯ 1941 г., СТАВАНГЕР

Позавчера мы выехали из Осло. Переночевали в Кристиансанне. Кристиансанн – красивый город. Типичный для Южной Норвегии. Дома покрашены светло-желтым, серым, розовым. Улицы прямые. Очень красивая набережная. Памятник Вергеланну работы Вигеланна¹¹⁷ – в самом центре города. За церковью. Очень красивый. На другой день ехали автобусом по Южной Норвегии к городу Флеккефьорду. Местность холмистая, краски блеклые. Серый, голубой, бурый, зеленый. Поселки, которые мы проезжали, выглядели уютно: тесные улочки, дома свежестроенные, низкие, море спокойное у всего побережья, защищенное от ветра скалами и шхерами. Городок Мандал – такой красивый, с узенькими улочками. Во Флеккефьорде – белый мост, напомнивший мне песенку Гунвор: «Под белым мостом...»

Дальше ехали поездом до Саннеса. Через Вестланн, через Йэрен! Йэрен очень своеобразен. Особенно краски – охряный пляж, темно-синее море, голубое небо. Мы совсем притихли. Лишь некоторым хватило духу воскликнуть: «Чудесно!» Дома рассыпаны по равнине – коричневые, зеленые. На деревьях распускаются первые почки. Норвежцы умеют вписывать дома в пейзаж. В Саннесе мы переночевали на барже.

На следующий день дальше, в Ставангер. Какой контраст! Переулки тесные, карабкаются круто в гору. Дома реальные и в то же время нереальные. В блеклых своих красках. Переулки живописны тем, что все время открывают новые панорамы. Море особенно красивое. Собор: уже фасад такой, что я мгновенно влюбилась, внутри готика, все устремлено ввысь, стеклянные окна украшены до того изящными дугами, что думаешь о музыке. Ставангер – как книга с картинками.

ТОТ ЖЕ ВЕЧЕР, ВТОРНИК 29 АПРЕЛЯ 1941 г., ТЁУ

Петтер, Бьёрг, Гунвор, я плюс еще две девушки поселились в крестьянской усадьбе. Местность изумительная. Рюфьольке-фьорд узкий, расширяется к устью. Скалистые горы, бурые поля, голубовато-зеленая трава, синий фьорд, голые деревья. Белые чайки над полями.

ПЯТНИЦА 9 МАЯ 1941 г., ТЁУ

Девчонки тут приветливые. И все-таки хорошо, что мы четверо вместе. Ужасно люблю Гунвор. В смысле, все искренние чувства беспредельны. Так

¹¹⁷ Вигеланн Густав (1869–1943) – норвежский скульптор, автор грандиозного ансамбля скульптур Фрогнер-парк в Осло (1900–1943).

и моя любовь к Гунвор. И я знаю, она заслуживает беспредельной любви.

Идем по дороге. Деревья здесь уже зазеленели. Я говорю: «Смотри, деревья уже распускаются». И она улыбается... я... и мир замирает. Деревья зеленые. Так бывает всегда, когда мы вместе.

И я чувствую, что для нее это кое-что значит. Мы вместе шли на работу. Я отстала от других. Шла в одиночестве. И заметила ее, она сидела у дороги, грелась на солнышке. Ждала меня. Когда я подошла, она встала и спросила: «Ты что так поздно?» И мы вместе пошли дальше.

Ночью мне приснился сон. Я рассказывала мамуле, что в полвосьмого уеду: на север Норвегии... Ужасно радовалась поездке. Петтер, Бьёрг и Гунвор будут со мной. Время отъезда приближалось, я опаздывала. И была совершенно несчастна, когда вышла на перрон и никого не увидела... Но там на чемодане сидела Гунвор; «Мы тебя ждали», – сказала она. Я была так рада, так благодарна.

ВЕЧЕР, ПЯТНИЦА 9 МАЯ 1941 г., ТЁУ

Вечером.

Мне чуть ли не больно, оттого что Гунвор так похорошела, так добра. Слишком добра.

Вот сегодня говорит: «Я люблю собак, всех собак, кроме бульдогов... Вообще-то, если б я узнала бульдогов получше, я бы и их полюбила».

Терпеть не могу здешнюю лагерную кухарку.

Говорю: «Мерзкая баба».

Гунвор: «Наверняка многие вовсе не считают ее мерзкой».

СРЕДА 14 МАЯ 1941 г., ТЁУ

Мы собрались в молельне. И как гром среди ясного неба – ленсман приехал за Гунвор. Мол, ему надо с ней поговорить. Все догадывались, что ничего хорошего это не сулит. Гунвор здесь очень любят. Мы обступили ее. А она улыбалась и нервно шевелила пальцами. Ей было страшно, когда она уходила. Потом Петтер и я сидели в комнате, ждали ее возвращения. На улице пасмурно, как осенью, туман, дождь. Красный автомобильчик ленсмана стоял перед домом, маленький, зловещий. Я думала о том, что «новое время» не может не бороться с такими, как Гунвор. Думала о нашей дружбе. Спрашивала себя: они что же, увезут ее с собой, посадят за решетку? И все было кошмарно. Потом на лестнице слышались ее тяжелые шаги. С улыбкой она сказала: «Да-да, дети мои... мне придется уехать, на три года....» Я по-

чувствовала, как вся кровь отхлынула от лица. Как рот невольно открылся. «Нет, Гунвор, – сказала я, – не говори глупости!» Говорю и понимаю, что она посмеялась надо мной. Ничего не случилось, пока что. Мы вместе пошли на работу. Под дождем, по зеленой дороге. Гунвор в коротком плащике, размахивающая руками, выглядела как птица, хлопающая крыльями. Я всей душой чувствовала: мы друзья. Говорили о возможных последствиях беседы с ленсманом. Решили во вторник уехать отсюда.

Наутро Петтер разбудила меня: «Ленсман опять явился за Гунвор». Я ждала ее. А когда она пришла, поняла: они решили ее посадить. Она собрала чемоданчик. Все происходило очень быстро. Снаружи ждал ленсман. Они дали ей полчаса. Я даже не успела толком проснуться. Сидела в спальном мешке, с очками на носу. Слова сказать не могла. Что скажешь-то? Что я чувствовала, она знала. Мы взялись за руки. На ее губах трепетала полуулыбка. Да, я попросила: «Пиши». Она ответила: «Мне наверняка не разрешат».

[Здесь цитируются стихотворения Бьёрнстjerne Бьёрнсона «Песнь Тейлора» и Арне Поше Осена «Сентябрьское солнце».]

ЧЕТВЕРГ 15 МАЯ 1941 г., ТЁУ

Дни теперь ужасно пустые, ведь ее голоса здесь нет. Нет ее улыбки. Надеюсь, ей дадут лишь несколько месяцев. Для Гунвор и для меня эти месяцы будут тянуться медленно. Но все же утешительно, что можно сказать: я подожду. Хотя, возможно, она не вернется и все ожидание напрасно.

Нужно выдержать, думаю я, нельзя совсем падать духом. В своем одиночестве она, может статься, почувствует мою силу и радость. Это придаст ей стойкости.

Глупо, что они сажают людей за решетку. Как и все ужасное, это в первую очередь тоже глупо. Ведь сидя в камере, без света, в одиночестве, человек только ожесточается. Людей, отстаивающих свои убеждения, они теперь тоже сажают. И такое возможно! Ничему уже не удивляешься. И что Гунвор посадили, меня тоже не удивляет. Мне бы только хотелось быть с ней. Кому ей теперь улыбаться?

ПЯТНИЦА 16 МАЯ 1941 г., ТЁУ

Так странно, что на сердце становится легче, когда черным по белому пишешь слова на бумаге. Когда я сижу и пишу, моя тоска припадает к строчкам и успокаивается, а я больше не замечаю боль.

С тех пор как Гунвор увезли, вокруг меня все какое-то поверхностное, незначительное. Девушки, солнце – они мне словно и не нужны. Зеленые почки, которым я бесконечно радовалась вместе с Гунвор, – теперь я их не замечаю. А если улыбаюсь про себя, мне недостает ответной улыбки на ее лице.

Если я и жалею, то становлюсь сильнее, сидя без пера в руке. Господи Боже мой, какова же будет новая встреча.

ПИСЬМО СЕМЬЕ В АНГЛИЮ СУББОТА 17 МАЯ 1941 г., ТЁУ

Сегодня, когда настроение у меня хуже некуда, от вас приходит письмо – словно чудесный подарок. (Таковы все письма, какие я получаю при любых обстоятельствах.) Ах да, когда пишу вам, мне всегда хочется написать что-нибудь более «общепринятое». Вот и сижу с пером в руке и думаю: все-таки вряд ли этого достаточно. Идиотизм. К сожалению, должна рассказать



Девушки в Тёу празднуют 17 Мая. Две березки образуют арку с буквами АТ (Arbeids Tjenesten = Трудовой фронт). Рут Майер в первом ряду, крайняя слева. Она скучает по Гунвор Хофму, которую арестовали несколькими днями ранее

вам, почему я сегодня так огорчена: мы на Трудовом фронте. Ужасно далеко от Осло, поблизости от Ставангера. Собирались отправиться дальше. Мы с Гунвор хотели провести Маттелина. Но пока ничего не выйдет. Позавчера Гунвор пришлось уехать в Осло. Потому-то я и огорчена. В голове все время мелькает, как она собирала вещи, как мы на прощание взяли за руки, как она мне улыбнулась. Только не говорите, что я сентиментальная, раз мне так ее не хватает, что все без нее кажется пустым. Видели бы вы, как мы дискутируем о музыке или о еврейском вопросе, о любимых поэтах или о хорошей книге, да, видели бы вы нас тогда, то, наверно, сказали бы: Рут ужасно счастлива! Или когда мы просто вместе. Ну ладно. Позавчера она уехала. И я не знаю, как она там. И не могу ей помочь.

Сейчас все вокруг меня затихло. Девушки – соседки по комнате – ушли ужинать. Я одна, и все мои помыслы с вами. Вообще, здесь очень здорово. Вы же знаете, как хорошо быть среди людей. Да и без дела мы не сидим: сажаем картошку и деревья. Однако останемся здесь ненадолго. Отправимся на юг. Будем наниматься к крестьянам, когда понадобятся деньги. Все было бы стократ иначе, будь здесь Гунвор. Если бы я знала, что смогу ей помочь, с удовольствием бы поехала в Осло. Вот.

Ах да, мамуля, ты прибегаешь к высокопарным словесам, рассуждая о дочери, которая «противостоит жестокой жизни». Не так уж и опасно, а звучит красиво. Что еще делать-то?.. За окном только что щебетала птица, а вечером, когда мы ложимся спать, в комнате такие чудесные сумерки. Но место Гунвор пустует. И хотя я не люблю чрезмерных излиятий, вы уж простите, что я пишу о Гунвор, даже думая о вас.

Мамуля, от всего сердца говорю тебе: не нужно так много думать обо мне. Время и без того идет своим чередом, и мы где-нибудь да встретимся когда-нибудь. Я думаю о вас, иногда мелькает мысль: может, как раз сейчас и начинается то, что Курт зовет жизнью. Но все это так далеко. А пока я, стало быть, буду участвовать в Трудовом фронте. Больше тут сказать нечего. Однажды Гунвор сказала, что мне надо работать художником. И прекрасно поняла мой ответный смех, хоть ей и по душе мои рисунки. Дело не в этом. Красивое я должна сохранить для себя.

Когда Гунвор вернется, мы, наверно, проведем Маттелина. Только вряд ли скоро.

Дитль, ты все такая же. Флакон духов, который выглядел так «ценно», ты получила. И это шикарно. «Ценность» как раз и считается. Верно? Ты так часто говоришь «прелесть!». И каждый раз я знаю, что ты так и чувствуешь: «Прелесть!». Это здорово. Но ты не говоришь «прелесть» о вещи, которая «прелестна» внешне. Поскольку для тебя это разрушает красоту. Что-то я все болтаю да болтаю. А бабушка начинает думать, что у меня непорядок с головой.

Открыть тебе секрет, бабушка? Я штопаю чулки не только себе, но и Гунвор. Причем с удовольствием. И Гунвор говорит: «Такк». Это «спасибо» по-норвежски. Когда у меня на душе хорошо, то в общем и целом все в порядке. Но когда в общем и целом все в порядке, на душе у меня зачастую нехорошо. Загадочная формулировка, но вы уж простите.

Целую вас всех.

У Стрёмов никак не получается. Меня в дрожь бросает при мысли о Лиллестрёме!

СРЕДА 21 МАЯ 1941 г., ТЁУ

На дворе чүдная весна. Деревья, которые стояли голые, хватаясь ветвями за что-то неуловимое, теперь не пробуждают ни тоски, ни жалости. Сияют зелеными почками, словно сон. А я хожу и думаю: неужели все-таки наконец-то пришла весна? И так больно при мысли, что Гунвор в тюрьме. «Тюрьма» – одно из тех слов, какие невозможно избыть. И что Гунвор сидит там в эту солнечную минуту, совершенно непостижимо. Гунвор не создана для этого, ни один человек не создан для этого, тем более Гунвор.

Господи, днем я то и дело вижу ее как наяву. Она сидит за столом рядом со мной. Идет со мной по дороге. Кричит собаке: «Стереги! Стереги!» Сует руку ей в пасть, говорит: «Ну, кусай! Кусай!»

Хоть я и страдала из-за нее, все равно знаю, что редко переживала более прекрасные мгновения, чем проведенные вместе с Гунвор. Нередко во мне столько серьезности, смертельной серьезности, которая видит, как другие смеются, но к смеху не присоединяется. Сквозь эту серьезность может проникнуть только Гунвор – словом, улыбкой. Ладно...

Вчера от нее пришло письмо. Трое суток она просидела в Ставангере, в предварительном заключении. Затем ее переправили в Осло. В своих милых фразах она написала: «Все так бессмысленно».

СУББОТА 24 МАЯ 1941 г., ТЁУ

В конце недели Гунвор вернется. Она звонила из Осло. Ее освободили. Голос по телефону был хороший. Скоро она будет здесь. Увидит цветущие вишни и синие фиалки. Н-да, Гунвор. Я рада. Наши планы опять расцветут. Все выглядит куда лучше.



Акварель из Тёу, май 1941 г. С посвящением: «Петтер от Рут»

МОЛИТВА

Пусть все во мне затихнет. Когда фьорд искрится синевой, когда бурые поля распахиваются во всю ширь, когда горы громадами вздымаются ввысь, пусть все во мне затихнет. О, если б наконец настала тишина.

ВЕСНА

Молодая женщина тихонько прошла по дороге. И все-таки я вижу в ветвях зеленый аромат, аромат женщины. И вижу ее милые влюбленные руки, ко-

торые примяли бурый торф, так что он дышит и обрел зрячие глаза.

А еще улыбка женщины, юная прелестная улыбка витает повсюду. Я вдыхаю ее. Вдыхаю глубоко и спрашиваю: где молодая женщина, что тихонько прошла по дороге?

НОЧЬ

Переменчивые краски перестали сиять, и усталые цветы колышутся на хрупких стебельках, не источая ароматов. Деревья стоят без тени, потому что ночь. Оттого-то каждое существо вздыхает во мне, потому что ночь. Оттого-то и здесь, ведь день ушел, а когда он наступит снова?

ПОЧЕМУ?

Моя тоска никак не насытится серебряною луной, висящей на бледном небосклоне, не насытится нежным, милым сердцу цветением вишен. Не насытится людьми, что ходят по лужайке, сплошь сияющей красками. Ах, моя тоска стремится проникнуть в глубь вещей, как же больно доискиваться до сути, когда она со своей древней, как мир, улыбкой все время задает один и тот же вопрос: почему?

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮНЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

После приятной поездки я в Лиллестрёме, а завтра снова в путь. Я рада.

Иные минуты мне очень хочется удержать. Так печально, что они уходят.

Как мы с Гунвор сидели на пустыре в Ставангере. Вечер! Люди кругом, ребятишки играют рядом, оконное стекло блестит на солнце. А мы просто сидим. Две старые женщины проходят мимо, одна показывает на участок с развалинами. Чуть не плачет. И нам с Гунвор становится грустно, мы чувствуем, как уходят часы. А старая женщина, со слезами вспоминающая свое детство, сближает нас.

Н-да, ведь вообще-то нас выгнали из лагеря, Гунвор и меня. По глупейшему поводу. Все началось с кухаркиной неприязни к нам, а закончилось роскошной сценой, где главными действующими лицами были руководительница Ярли и Гунвор. Нас обвинили в бунтарстве, мало того, указали на мою «расовую принадлежность», на политические взгляды Гунвор, на наши дискуссии и т. д. Тут я узнала Гунвор с совсем новой стороны. Она была искренне возмущена, говорила очень умно, и эмоции захлестнули ее. Сунув

руки в карманы брюк, она перешла в наступление, а я думала: жаль, зря она тратит энергию. Никогда не забуду, как Мод, которая терпеть меня не может, сказала:

«Расу не изменишь».

Гунвор с огромной убежденностью, чуть ли не угрожающе возразила на одну из реплик Ярли касательно Мод:

«Еще вопрос, кто тут простак».

Я благодарна всем людям, которые в еврейском вопросе занимают гуманную позицию. Поэтому благодарна и Гунвор тоже.

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮНЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

[В этот день для Рут, Гунвор и еще трех подруг начинается поход вверх по долине Гудбраннсдал. Рут сочинила походную песню.]

ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ № 1

(в Тронхейм, 1941 г. Бьёрг, Петтер, Мери, Гунвор, я)

Кто там едет, кто идет?
Чей так голос звонок?
Это мы идем в поход,
несколько девчонок.

Всю Норвегию пройдем
с севера до юга,
автостопом и пешком.
Голосуй, подруга!

Поглядеть на белый свет
никогда не поздно,
если свалимся в кювет,
поглядим на звезды.

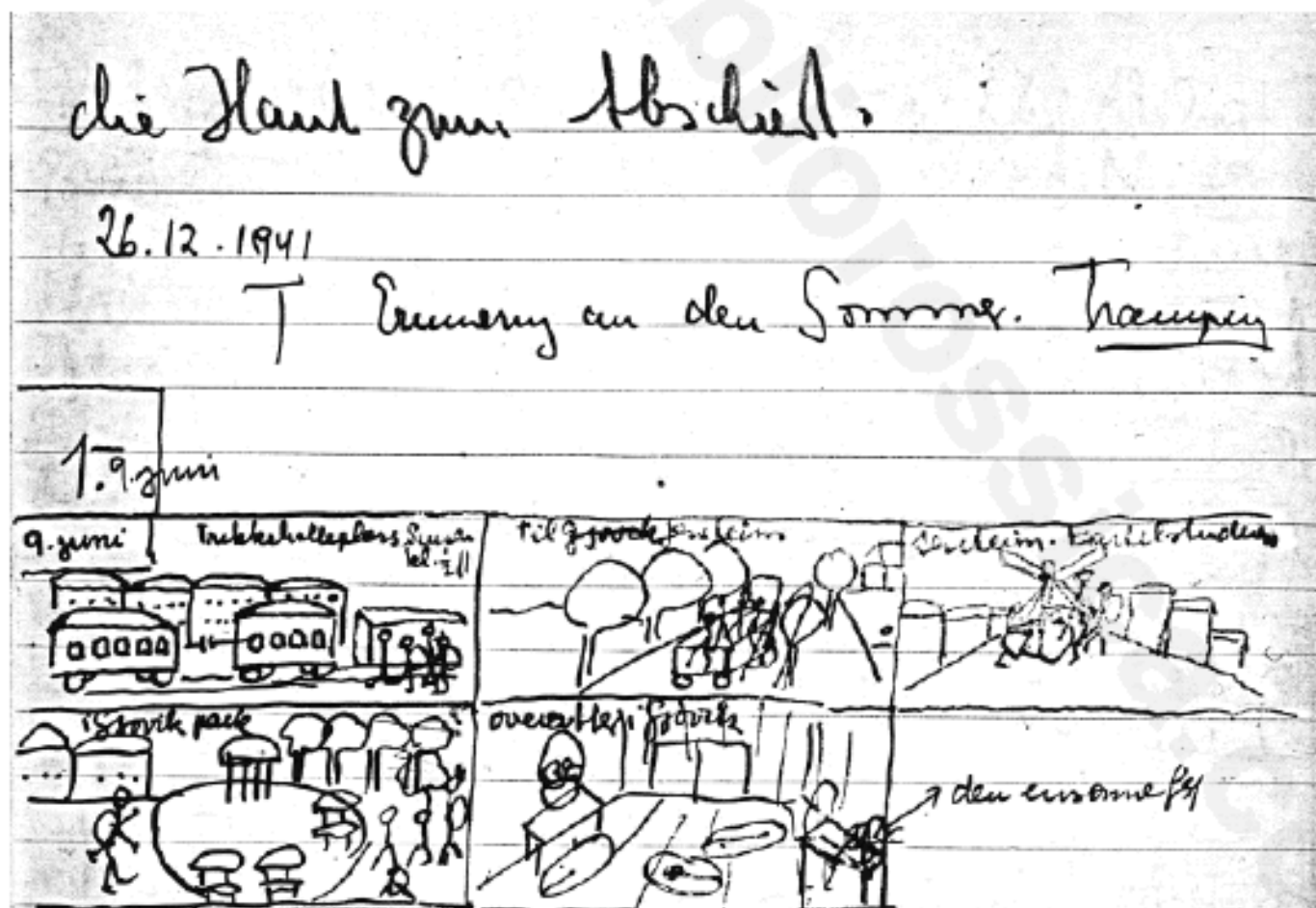
Днем и ночью мы в пути
или на привале.
Где же нам ночлег найти?
Да на сеновале.

[По запискам Рут, поход из Осло в Квам можно реконструировать таким образом.]

Старт 9 июня на трамвайной остановке Симсен. Автостопом они добираются до Эссхейма, затем до Ёвика, где ночуют у некоего «старика». Одна из них читает дебютный сборник Эверланна «Одинокий праздник». На другой день автостопом до Лиллехаммера, потом до Эйера, до Винстры, где «коней выпускают на выгон». Третий день: «Дождь». В Винстре они сидят в кафе. Заходят в усадьбу между Винстрой и Квамом. Ночуют в сенном сарае. Четвертый день: «Просыпаемся – светит солнце. Работы нет. В Кваме около четырех: братская могила английских солдат. Сожженная церковь. Располагаемся в пустой хибаре. Украшаем ее листьями. На столе – полевые цветы. Есть печка и кладовая».

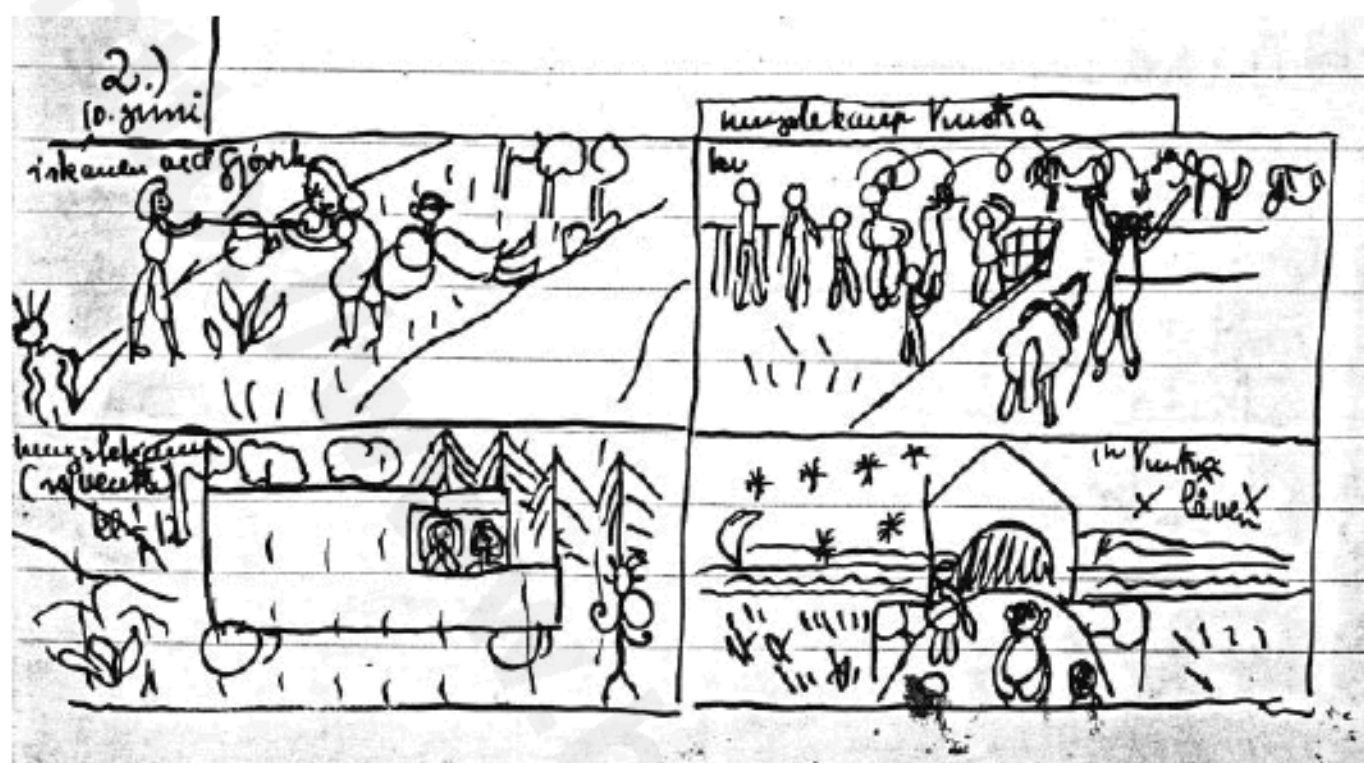
В Кваме поход задерживается на несколько недель в усадьбе Форбрейд, чтобы сделать кой-какую работу. Короткие записи Рут отмечают: «Среда 2 июля: грузовиком из Оппдала в Сёберг. Нам с Гунвор дают работу. Спим в кровати: комната! Четверг 3 июля: работаем у Ингебригта Гимсе на станции Сёберг. Пропалываем морковь. Две кроны в день».

В дневнике имеется незаконченная серия рисунков «Память о лете».]



Первый день, понедельник 9 июня.

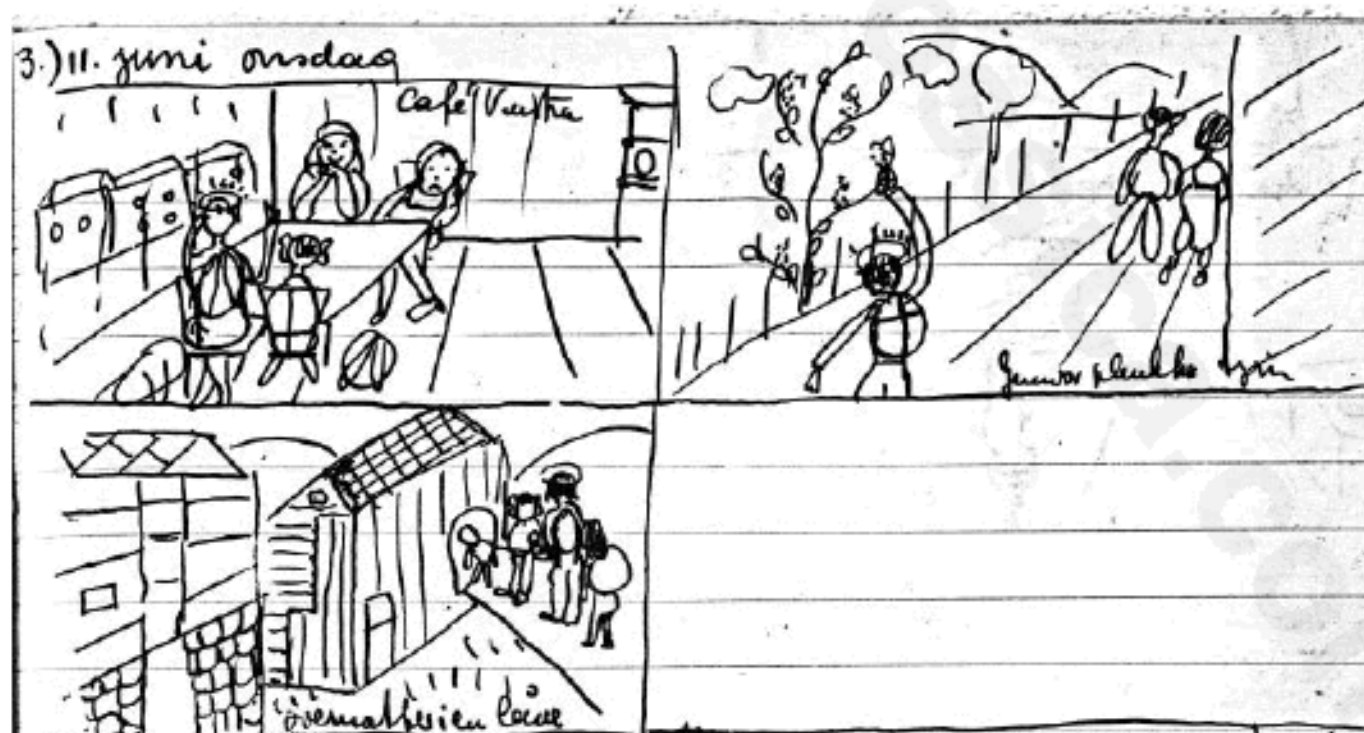
Трамвайная остановка Симсен, 10.30. — В Эссхейм. — Эссхейм. Изучаем карту. — В Ёвик-парке. — Ночевка в Ёвике. Одинокий праздник



Второй день, вторник 10 июня.

В лесу возле Ёвика. — Инподром Винстра. Инподром. (Мы ждем.) 11.30. —

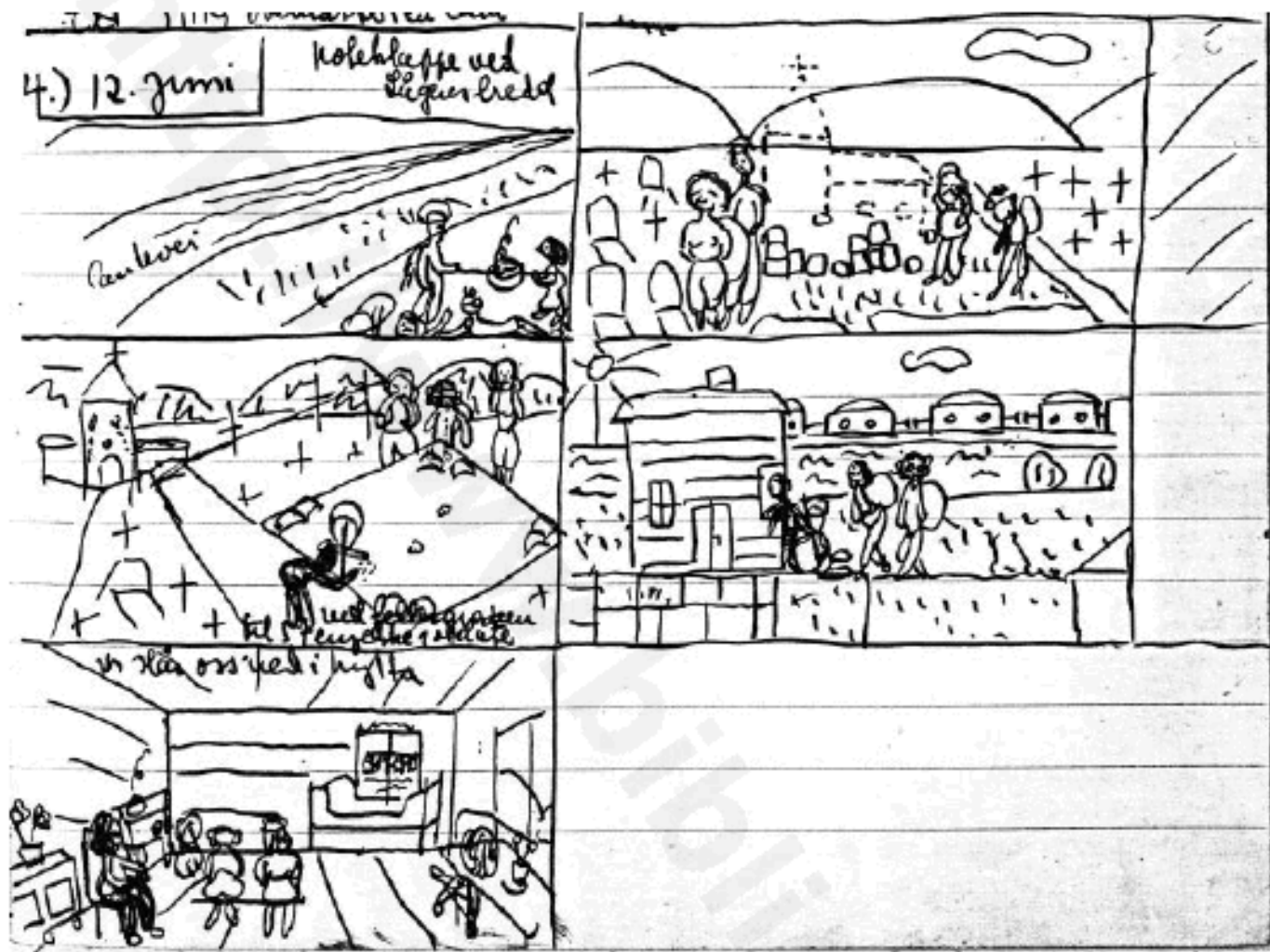
В Винстре. Сенной сарай



Третий день, среда 11 июня.

Кафе в Винстре. — Гуннвор ломает сирень. —

Ночевка в сенном сарае



Четвертый день, четверг 12 июня.

Проселочная дорога. Картофельное пюре на берегу реки Логен. У братской могилы 5 английских солдат. Мы устраиваемся в хибаре



Акварель «Красный мост». Тронхейм, 1941 г.

В Трённелаг¹¹⁸ и обратно

АВГУСТ–НОЯБРЬ 1941 г.

В начале августа Рут Майер и Гунвор Хофму получили работу в цветководческом хозяйстве «Ирис» в Тронхейме, которое занимается также садоводством. До конца месяца они живут в гостинице Христианской ассоциации молодых женщин (ХАМЖ) на Принсенс-гате, потом снимают комнату у крестьян в Недре-Сёберге, вероятно неподалеку от усадьбы Ингебригта Гимсе, где работали ранее. В Трённелаге они остаются два месяца. В начале октября поездом едут на юг, Рут – в Лиллестрём, Гунвор – в Осло. Этой осенью обе начинают посещать конторские курсы в Осло – языки и стенография.

В их отношениях возникает кризис. Гунвор хочет порвать дружбу, Рут сопротивляется. Драматическая ситуация заканчивается примирением. Рут в раздумьях. «...В душе такая боль и вместе с тем глубокая любовь к Гунвор. Каждый раз, когда вижу ее, мне хочется плакать, и ласково погладить ее, и обнять, крепко прижать к себе».

Во многих текстах поздней осени речь идет о снах и их толковании. Рут выказывает большой навык в анализе снов, где в разных сценах выступают родители Рут и Гунвор, а также бывший возлюбленный Гунвор – Рейдар.

Письмо от конца августа 1941 г. – последнее из известных нам писем Рут Майер семье в Англию.

¹¹⁸ Область в Норвегии.

ПИСЬМО СЕМЬЕ В АНГЛИЮ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 АВГУСТА 1941 г., ТРОНХЕЙМ

Во-первых, я сержусь. На самом деле сержусь и не стану ничего вам рассказывать, буду сидеть и дуться, а если спросите, в чем дело, не отвечу, потому что сержусь.

Что это за мания – не писать? Чернила по-прежнему не в дефиците, бумага тоже. Так что оправдания нет. И мне кажется, я была с вами слишком терпелива, оттого вы и стали такими равнодушными. И тем не менее упорно внушаете мне, будто думаете обо мне «день и ночь». Нет, спасибо. Думайте обо мне поменьше, но пишите хотя бы раз в две недели. Станные вы все-таки люди. И вам я должна что-то рассказывать? Вы же просто не пишете. Что я о вас знаю? Что вы вместе живете в квартире, что у вас есть горячая вода и ты, Дитль, ходишь в контору.

Бабушка, Дитль, мамочка. Ладно. Все наверняка утрясется.

У меня все прекрасно. Пока что. Прямо как во сне. Есть работа. Ну, то есть что-то вроде сезонной работы. Зарабатываю кучу денег. Каждую неделю около 70 шиллингов. Немножко экономлю и покупаю книги, опять же немного. Живу вместе с Гунвор в маленькой комнатухе в Тронхейме – далеко-далеко от Лиллестрёма. Вы знаете, что мы (пять девушек) отправились из Осло в поход. И вот очутились здесь, три другие девушки – на Трудовом фронте, а мы двое нашли работу. Здесь вообще нет недостатка в работе. Уживаемся мы с Гунвор хорошо.

Мы очень любим друг дружку. И по-прежнему не можем поверить, что зарабатываем деньги, что самостоятельны. Здесь нет Стрёма с его назидательными увещеваниями, и мне не нужно просить денег.

Я *работаю*, имею *жилье*. Могу рассказать вам о нашем житье вдвоем, о красивом городе, где мы находимся. Вечерами приходим домой усталые до изнеможения, а иногда веселимся. Делаем только то, что нравится, читаем книги, я учу Гунвор немецкому. Гуляю. Временами рисую. По субботам и воскресеньям мы обедаем, в остальные дни обходимся хлебом и молоком. Все замечательно.

Гунвор часто огорчается, она вообще в глубине души часто недовольна собой. Тогда она забирается ко мне в постель. Тогда я для нее вроде как мать.

Тем не менее мне недостает всего, что связано с вами. Даже когда все хорошо, на самом деле хорошо *не вполне*. Ведь внутри у человека не всегда так-то просто. Когда вокруг хорошо, *внутри* отнюдь нет. Нет, я сейчас явно несу вздор.

Вечер. Воскресенье. Гунвор раздевается. За окном пасмурно. Целый день шел дождь. Мы были в кафе, пообедали, ели пирожные. Я стирала, штопала

чулки. На заработанные деньги купила себе серые лыжные брюки. Ах, милые мои. Видели бы вы меня в такой вот вечер.

За окном пролетает самолет. Я думаю о давних днях. Никто этого не понимает. Даже Гунвор, которая понимает очень многое. Доброй ночи. И снова повторяю: *пишите!!*

Дополнение 28 августа.

Сегодня письмо от «вас». Мне очень грустно, потому что мама не написала ни слова. Наверно, у мамочки есть причина не писать. Хотелось бы знать какая. Я ведь не ребенок. И приветов от бабушки нет. Ах да. Вы же странные. Не получите от меня ответа, пока не пришлете подробного письма!

Til Trondheim forsyningsnemnd

Søknad om tilleggskort for mel og brød.

Undertegnede Gunnar Hofmo
(fullt navn)

K. F. W. K. Prinsengst. R. h.
(fullstendig adresse)

søker om å bli tildelt tilleggskort for mel og brød.

Hva slag arbeid: gartnararbeide

Arbeidstida: 7 feb 12

Arbeidsgiver: Iris Blomsterforretning
Forbrygd, Trondheim

Særlige opplysninger (utrusting e. l.): Vi arbeider
meget anerkend, og holder på skaffer
byen så vi får ikke anledning til
å spise middag. Derfor er vi tvunget
til å leve på brød.

Trondheim den 12. august 1941

Gunnar Hofmo
(underskrift)

At ovenstående opplysninger er riktige attesteres:
Iris Blomsterforretning
Trondheim

Controll:

Гунвор и Рут получили работу в цветочном хозяйстве «Ирис», «работодатель Форбред» – гласит ходатайство, которое Гунвор Хофму направляет в тронхеймское ведомство снабжения. Они выполняют садовые работы и «вынуждены жить на одном хлебе»

СУББОТА 13 СЕНТЯБРЯ 1941 г., СЁБЕРГ

Пять месяцев я провела вдали от Лиллестрёма. Миновали весна и лето, на улице прохладный, темный осенний вечер. По черным оконным стеклам барабанит дождь. В комнате тепло.

Живем мы в комнатухе за городом. В трех десятках километров от Тронхейма. Сняли в крестьянской усадьбе комнату, почти без мебели. Нам тут нравится. Мы свободны. Зачастую нам здесь тепло и уютно. Вечерами, по субботам и воскресеньям. Это домашний очаг. Но продлится так недолго.

[Здесь цитируются 4 стихотворения Улафа Булла: «Весенней ночью за бокалом вина», «Снегопад», «У окна в мезонине» и «Мое сердце», – а также 4 стихотворения Эмиля Бойсона: «Осенний день», «Вечер в больничной палате», «Горизонт» и «Со дня до вечера».]

IRIS BLOMSTERFORRETNING	
NAVN: <i>Ruth Maier</i>	UKEN:
Timer à	Kr.
<i>Akkord</i> 25 %	"
<i>oppgjør</i> 50 %	"
75 %	"
TREKK	Kr.
	Kr. <i>76.57</i>

IRIS BLOMSTERFORRETNING	
NAVN: <i>Gunnar Hofme</i>	UKEN: <i>18-24/9-41</i>
<i>40</i> Timer à <i>1.50</i>	Kr. <i>67.50</i>
25 %	"
50 %	"
75 %	"
TREKK <i>Skatt 13.-</i>	Kr. <i>67.50</i>
<i>Lygd 2.90</i>	" <i>15.90</i>
	Kr. <i>51.60</i>

Платежные конверты Рут Майер и Гунвор Хофму из цветоводческого хозяйства «Ирис». У Рут Майер не было в Норвегии разрешения на работу, поэтому она не зарегистрирована ни в налоговом, ни в социальном ведомстве

СРЕДА 17 СЕНТЯБРЯ 1941 г., СЁБЕРГ

В Гунвор гнездится глубокая меланхолия, которая порой завладевает ею целиком и полностью. Тогда она нуждается во мне. Тогда она, взрослая девушка, становится маленьким ребенком. Она много чего мне рассказывала, и иные вещи я записывать не стану: секрет перестает быть секретом, даже если, как кто-то сказал, доверить его всего лишь собственному пальто.

Но я никогда не встречала человека, которому довелось столько страдать от самой жизни. Который часто, глядя в пространство невероятно глубоким печальным взглядом, спрашивает: почему?.. И что же? Эти глаза, когда становятся огромными, как у несправедливо обиженного ребенка, нередко причиняют мне столько боли. И я разве только могу ласково погладить ее лоб и поцеловать ее. Ах, в душе я чувствую себя как мать, у которой болен ребенок, а она ничем не в силах помочь.

ЧЕТВЕРГ 18 СЕНТЯБРЯ 1941 г., СЁБЕРГ

Мы хорошие друзья. Целый месяц прожили бок о бок. Две недели – в Тронхейме, в гостинице ХАМЖ. В отдельной комнате. С видом на серый задний двор. Комната серая, три койки, стол, мы чувствовали себя неуютно. Гунвор иногда лежала в постели, в белой постели, и читала, пила молоко, ела толстые желтые вафли с маслом и сахаром. А я готовила еду, чтоб взять с собой на работу. Восемь кусков хлеба. Вечерами мы иногда гуляли. Однажды я ходила к красному мосту над рекой Нид, в другой раз – в зеленый, слегка пыльный парк, где ярко алели летние розы и приглушенно звенели детские голоса. Тихие улицы были вдвойне тихими, поблескивали уличные фонари. Когда я возвращалась, Гунвор встречала меня улыбкой.

Так было в ХАМЖ.

Теперь, пожалуй, даже лучше. Здесь мы совершенно свободны. В большой комнате с двумя кроватями, столом и печью. За окном – осенний пейзаж. Мы не опасаемся хозяек, которые сладким голосом допытываются, скоро ли мы собираемся уезжать. Нам не нужно испуганно красться вверх по лестнице, опасаясь столкнуться с управляющей. Здесь мы на свободе. И если Гунвор не грустит, все замечательно. Когда мы сидим за кофе и пирогами, селедкой и картошкой, по бледному лицу Гунвор порой пробегает улыбка, и меж тем как в печке трещат дрова, за окном густеют сумерки, а полумрак в комнате смягчает резкие очертания предметов, она говорит, прихлебывая кофе: «Не так уж и плохо».

Тогда я чувствую внутри улыбку и испытываю редкое ощущение, что я *молода*.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 СЕНТЯБРЯ 1941 г., СЁБЕРГ

Вдруг настала осень. Еще на прошлой неделе мы удивлялись, что деревья по-прежнему зеленые, а вечера светлые. Теперь же не меньше удивляемся, что листва разом пожелтела. Деревья в парке склоняются над нами, когда мы проезжаем мимо на трамвае. Ночи стали темными, и ночью я не вижу Гунвор, которая, как ребенок, лежит рядом. Весной и летом я видела ночью ее глаза, смотревшие на меня, глубокие, бездонные, порой несказанно печальные. Сейчас я лишь чувствую ее губы и нежную кожу и слышу, как она говорит: «Так хорошо, что ты здесь, рядом со мной. – И совсем тихонько: – Так спокойно».

СРЕДА 24 СЕНТЯБРЯ 1941 г., СЁБЕРГ

Уютные дни скоро кончатся. Мы уже слегка приуныли. Рассматриваем меланхолично этот наш «дом», который, при всей своей примитивности, очень нам по душе. Вечером у печки нас часто навещало то доброе настроение, какое принято связывать с «золотой порою юности».

Золотая пора юности, н-да. Кто ее выдумал? У шведа Яльмара Сёдерберга¹¹⁹ я прочла: «Прекрасно быть стариком, быть молодым было чертовски скверно».

Если б только Гунвор была веселее. В последнее время пальцы у нее стали бледно-красными и сморщились. Вид у нее вконец усталый, н-да – золотая пора юности.

ПЯТИЦА 26 СЕНТЯБРЯ 1941 г., СЁБЕРГ

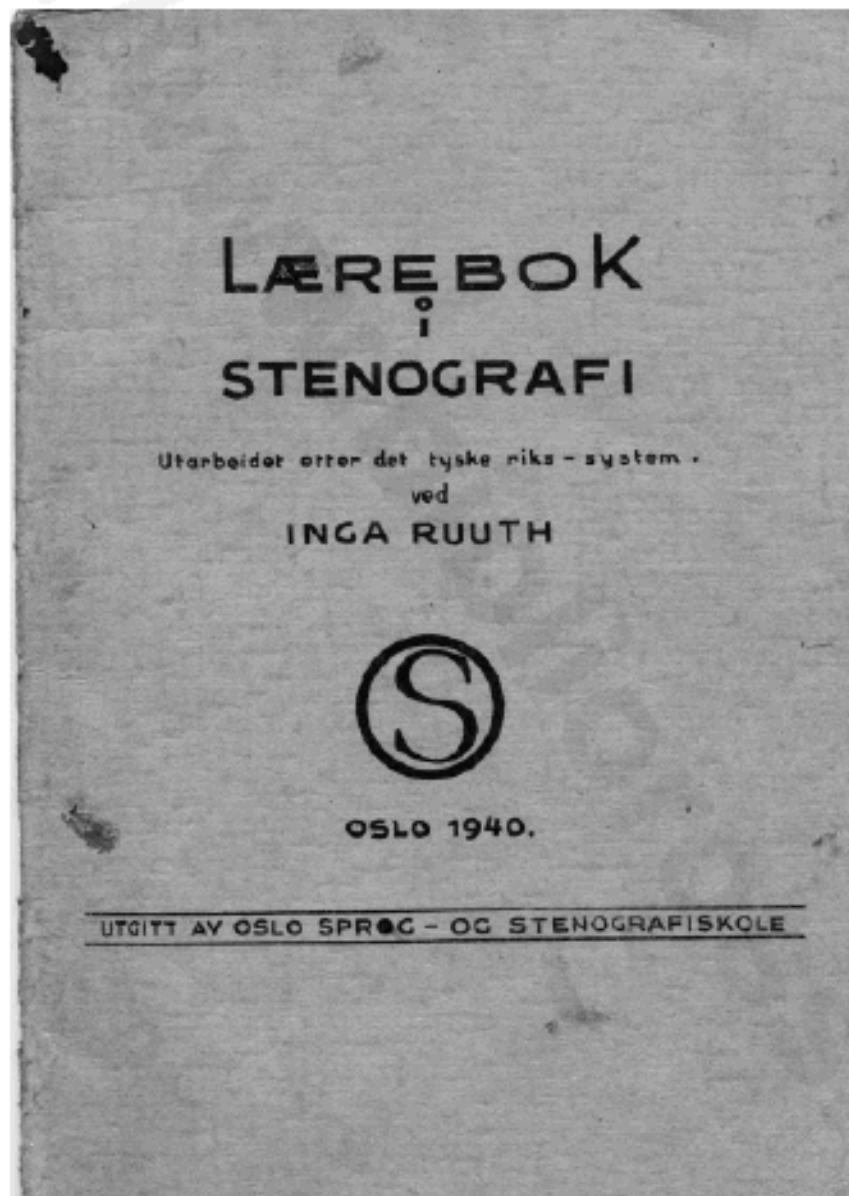
По-прежнему черкнуть несколько строк о тех днях, что я здесь. Сказать: нынче мы были в городе, впереди ждал золотой осенний день. Мы шли по красному мосту через реку Нид, издалика поблескивавшему деревом. Красивые, уютные улочки за рекой выглядят совсем по-осеннему. Мы поднялись к крепости¹²⁰, уродливой четырехугольной постройке. Оттуда открывается красивый вид на весь город: собор, река, множество крыш, а вдали фьорд. Языки пламени и дым рвутся к небу там, где горит нефтехранилище. Под ногами у меня желтые листья. Мне по душе Тронхейм, хоть я и не стала бы жить здесь всегда.

¹¹⁹ Сёдерберг Яльмар (1869–1941) – шведский писатель.

¹²⁰ Имеется в виду тронхеймская крепость Кристианстен.

ВТОРНИК 30 СЕНТЯБРЯ 1941 г., СЁБЕРГ

Здесь наши дни подходят к концу. Я сижу на коленях у Гунвор под электрической лампочкой посреди пустой комнаты. Вечер. На улице темно. С ужасом думаю о грядущих днях... в Лиллестрёме.



Пребывание в Трённелаге заканчивается в начале октября. Рут возвращается к семейству Стрём в Лиллестрём. Вместе с Гунвор начинает посещать коммерческое училище в Осло, в частности, изучает стенографию

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ОКТЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Много времени прошло с тех пор, как я последний раз делала запись в дневнике, с тех пор как мы с Гунвор жили вдвоем в большой, почти пустой комнате. Минула долгая вереница серых дней: поездка из Трохейма в Лиллестрём. Прощание прозрачной осенью, отъезд из нашего жилья, мы сняли

со стен газеты, упаковали книги, а когда ушли, комната совсем опустела. На маленькой станции в Сёберге последняя ссора с Гунвор.

Я тщетно пытаюсь убедить ее, какой с нашей стороны идиотизм уезжать отсюда, покидать наш «дом». Вдобавок сама поездка по железной дороге. Лиллестрём все ближе, я собираю вещи, выхожу в Лиллестрёме из вагона – и вдруг стою на перроне совершенно одна, в темноте... Г-жа Стрём встречает меня испуганной улыбкой, Стрём сидит и читает, берет меня за руку и в знак приветствия произносит обстоятельную речь о своих трудностях в качестве уполномоченного от телеграфа. Все по-старому.

Теперь я каждый день езжу в Осло, учусь писать на машинке, осваиваю норвежскую и немецкую стенографию (на сэкономленные деньги) вместе с Гунвор. Я очень люблю Гунвор. Не представляю себе жизни без нее. Так проходят дни. Но скоро сэкономленные деньги кончатся, а тогда станет не так-то легко. Я не выдержу в Лиллестрёме – без работы, без Осло, без Гунвор.

ВТОРНИК 14 ОКТЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Не перестаю удивляться, что становлюсь старше. 21 год. Произношу эту цифру вслух и пытаюсь осмыслить звучание слов «двадцать один». Достигла я мало чего. Получила так называемый аттестат зрелости, и всё. Что ж, скажу, как Гунвор в маленьком стихотворении, которое она сочинила в 17 лет: «Отныне буду ждать седых волос». Да! Буду ждать седых волос и есть хрустящие хлебцы.

ПЯТНИЦА 17 ОКТЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Мне так грустно. Не припомню, чтобы когда-нибудь было настолько грустно. В душе печаль, которую я пытаюсь выплакать.

В поезде я плакала, плачу в городе, на лавочке, среди холодной осени, и желтой листвы, и спешащих мимо людей и думаю: неужто все по-прежнему? Мы с Гунвор стоим у двери в лабораторию, которая дала в газете объявление, что требуются две молодые женщины. Я стояла и болтала, почему-то мне было больно, вот и болтала. Гунвор держалась как всегда, поневоле улыбнулась, потом улыбнулась ласково и тепло, взяла меня за руки, брови то взлетали вверх, то опускались, и все же! Потом вдруг сказала: «Ты мне такая же чужая, как первый встречный, ты мне безразлична, совершенно безразлична». А я ответила: «Если так, да, если так...» Я не то побледнела, не то покраснела, не знаю, искала слова, хотела сказать: «Тогда расходимся,

мы никогда друг друга не знали». И она поняла, что я хотела сказать. Ответила: «Я тоже так считаю».

«Как же так получилось? – спросила я. – Совершенно внезапно?»

«Нет, уже некоторое время назад».

Настала тишина.

Мне сразу же вспомнилось, как утром она сказала: «Сегодня я последний раз иду с тобой в город».

Я очень обиделась и огорчилась. Но понимаю, что это всерьез. И ухожу от нее, хоть она и останавливает меня, иду вниз по лестнице, выхожу на улицу, чтобы... ждать ее шагов за спиной. Но следом никто не идет. И я иду прочь, потом сижу на лавочке, потом в библиотеке. И слезы текут снова и снова, и масса мыслей кружит в голове... Сейчас сижу тут, в Лиллестрёме, и все-таки не понимаю. Это непостижимо для меня. Мне кажется, это не может быть правдой. И когда я пишу, мне тоже кажется, что это не может быть правдой. Мне просто пригрезилось, это нереально.

Я не могу мысленно выбросить ее из своей жизни. Все бессмысленно без нее. Как я буду учить стенографию, ходить в театр, искать работу? Она, Гунвор, дает мне... можно сказать, силу... чтобы... выдержать. Звучит ужасно сентиментально и отвратительно. Но так оно и есть. Во мне бьется мысль, что у меня отняли опору... ах, зачем распространяться об этом. Толку-то никакого.

На прошлой неделе я по-прежнему была с ней вместе, у нее дома, она, как обычно, была ласкова. Показывала мне свои стихи. Пришел ее брат, потом сестра, милые люди. Я была благодарна ей, что она привела меня к себе домой, хоть я этого и не выказывала. Вечером вместе пошли домой. Она показала мне Эсткантен¹²¹, «Ист-Энд». Улицы, места, знакомые с детства, школу, «пустырь», маленькую ложбинку в световой шахте, где она в три года имела сексуальные отношения с маленьким же приятелем. Мы разговаривали. Я чувствовала себя защищенной.

Невозможно, что это *было*, что она никогда больше не будет со мной. Мне страшно, ужасно страшно при одной мысли о зиме без Гунвор. Я не смогу без нее. Так трудно держаться гордо, когда готов сделать все, что угодно. Завтра я опять увижу ее, в училище. Мне будет трудно выказать гордость, ведь я готова наплевать на себя, ноги Гунвор целовать, лишь бы она по-прежнему была со мной.

Не могу сосредоточиться на чем-либо другом, кроме вечной мысли о ней, о минутах, проведенных с нею. Раньше у меня никогда и ни с кем не было такого глубокого единения. Все в ней мне хорошо знакомо, каждый жест мил вдвойне. Как уверенно я себя чувствовала, когда она утешала меня, уверяла:

¹²¹ Район Осло.

все уладится. Все пройдет. А те разы, когда она, всхлипывая, шмыгая носом, лежала рядом, прижималась ко мне, они не связали ее со мной? Целый год мы прожили бок о бок – разве это не сблизило нас настолько, что она не сможет бросить меня одну? Разве она не поняла, что значит для меня быть в одиночестве? Неужели она так слепа и глуха, что не видит, не слышит, что именно она дает мне силы вынести жизнь здесь, в Лиллестрёме? Что мне делать, если впереди будет завтра и послезавтра без Гунвор? Когда я вместе с другими – с Карен, с Нини, – некто по имени Рут разговаривает, смеется, дурачится. Вместе с Гунвор я нахожу свою суть. И она этого не понимает? Не понимает, что необходима мне? Господи, кто станет возмущаться тем, что она больше не понимает? Ведь ее любовь ко мне вдруг ушла. Хотя она тоже любила меня, сама часто говорила. Ласкала меня, как... словом, любила. И вот всему конец. Еще в среду она сказала: «О, если б мы снова могли поселиться вместе». Мы вместе голодали, вместе страдали, вместе плакали. И все это кончилось. Нет, я не хочу этому верить, *не хочу*, пусть даже что-то во мне и твердит: она говорила всерьез. Но я буду утешаться тем, что она и раньше однажды говорила «всерьез». Вспомню. Запишу, потому что больше ни на чем сосредоточиться не в силах.

№ 00234

Trondheim, den

K. F. U. K.^s HJEM
PRINSENS GT. 10 - TELEF. 2529

Mottatt av *Fek. Hofmo og R. Måren*

for *Kagi for 11 dager à kr 1.25 + ? -*

Kr. 27.50

Anna. Gasse
K. F. U. K.
Hjem & Hospits

Большую часть августа 1941 г. Гунвор и Рут делили комнату в «ХАМЖ. Гостиница и пансион» на Принсенс-гате, 10, в Тронхейме. На снимке первая из нескольких квитанций об оплате

В общем, мы вместе жили в ХАМЖ. Через хозяйку познакомились с толстой косоглазой особой. Мы тщетно искали жилье в Тронхейме или поблизости. Совсем пали духом. Невелико удовольствие – трое суток (крайний срок) оставаться без крыши над головой. Вдобавок в мерзкую осеннюю погоду. Забойный дождь, пасмурно, противный ветер. На работе мы продрогли и вымокли до нитки, а работа тяжелая – копать каменистую землю на 50 сантиметров в глубину. Гунвор надоело в Тронхейме. Мы сделали последнюю попытку: в Сёберге, в трех десятках километров от Тронхейма, обошли крестьянские усадьбы, спрашивая насчет комнаты. И в одной усадьбе поблизости от Гимсе сдавалась комната без мебели. Я согласилась, обещала хозяевам заселиться в течение двух дней... Гунвор решила затем уехать в Осло. Не хотела жить так далеко от города, ей надоела работа, надоел Тронхейм. Я хорошо помню, она подробно объяснила мне все в маленьком кафе в Мельхусе. Я пришла в полное отчаяние, вот как сейчас. Мы заказали пирожные, между нами вдруг повисла тишина, я нервно барабанила по столу, в душе было столько боли и слез, что я встала и пошла прочь... Пошла куда глаза глядят. Гунвор по доброте душевной догнала меня с моим пальто в руках, с улыбкой: «Все всерьез». Я с ней не разговаривала, шла впереди, остановила грузовик и уехала в Тронхейм, не дожидаясь ее. Следующая «сцена» разыгралась в ХАМЖ. Гунвор по-прежнему твердо намеревалась уехать в Осло. На все ее оправдания, на все попытки объясниться со мной я не отвечала. Только просила ее помолчать. Она снова и снова старалась поговорить со мной. В комнате темно, я штопала чулки, слушала ее, в душе дрожа от бешенства. Я ненавидела ее, считала подлым с ее стороны бросить меня в Тронхейме на произвол судьбы. Каждое ее слово причиняло боль, и все-таки: когда она молчала, я тосковала по ее голосу, просто затем, чтоб бросить ей в физиономию: «Заткнись!» Внезапно меня захлестнула ярость, багровая тьма, уверена, в ту минуту я могла бы убить ее. Я была *совершенно* вне себя. В бешенстве закричала, вернее, прошипела: «Заткнись!», отшвырнула ее на кровать, схватила за горло, хотела придушить. Потом выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Пошла в пыльный скверик на Эрлинг-Скаккес-гате. Сидела там. И плакала. Как и сейчас, боялась будущих дней в полном одиночестве, в чужом городе. Через некоторое время пошла назад. Гунвор по-прежнему была в комнате. Удивленно смотрела на меня своими большими, глубокими глазами. Потом спустилась к хозяйке, чтобы рассчитаться. Когда она вернулась, я заметила в ней вроде как некую перемену. Она тихонько села на край кровати. А я все штопала свои чулки. И невольно рассмеялась. Потому что уверилась: она останется, останется! Долго царила тишина. И вдруг Гунвор сказала:

«Когда ты поедешь в Сёберг?»

Я заставила себя ответить сердито и рассеянно:

«Завтра, ты же знаешь».

Снова тишина. И обе мы едва не улыбнулись. А потом она сказала:

«Скажите, барышня... – Она смутилась и широко улыбнулась. – Можно ли к вам присоединиться?» Внутри у меня все заливало. И я ответила: «Не говори глупости». Но с той минуты все было хорошо. И я была так рада, так счастлива. А Гунвор, когда я спросила, почему она передумала, честно ответила. Да, ответила. И была мне очень-очень близка. А взгляд был еще глубже обычного.

«Ты разве не понимаешь, что я слишком тебя люблю, чтобы уехать?» – вот что она сказала.

Могу еще много чего вспомнить...

Во-первых, чудесные дни в Бири, потом ее милые визиты в больницу. И, наконец, наша поездка в Тёу. Замечательная поездка на поезде. Я хорошо помню, как она по-матерински опекала меня, как чудесно было находиться рядом с нею, как в Тёу мы во всем держались друг за друга, как нас обеих выгнали из лагеря. Тогда постоянно твердили: Рут и Гунвор, Гунвор и Рут. Никогда только Рут или только Гунвор.

Как ее арестовали. Я тоже много выстрадала из-за нее. Когда пришлось уехать от нее из Бири, потом когда ее арестовали. Мне было так больно за нее. Я думала, она не выдержит заключения в камере. Лил дождь, когда ее увезли на автомобиле. Потом она вернулась. Сперва телефонный звонок и теплый голос в трубке: «Я свободна!» О, а когда она приехала, я лежала под вишнями и читала, с ощущением преданности Гунвор я держалась в стороне от других девушек. Лежала в саду и читала, когда мне крикнули: «Гунвор приехала!» Я поднялась по лестнице. Она сидела на Петтеровой кровати, а я только смотрела на нее. Даже за руку не взяла. Только смотрела.

Так много картин возникает в памяти. И все это лишь воспоминания, потому что никогда больше у нас не будет новых милых минут, проведенных сообща. Быть такого не может!!!

СУББОТА 18 ОКТЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

У нас с Гунвор опять все хорошо. На сей раз пришлось туго. Но я ужасно рада. Хотя чувствую, догадываюсь, что наша дружба теперь продлится недолго. Поэтому в душе такая боль и вместе с тем глубокая любовь к Гунвор. Каждый раз, когда вижу ее, мне хочется плакать, и ласково погладить ее, и обнять, крепко прижать к себе.

Вчера мне было прескверно. Без конца наворачивались слезы, а ведь я так редко плачу. Но вечером, когда ложилась спать, и утром, когда встала, я думала лишь о Гунвор. И о том, как внезапно настал конец. Всколыхнулось



Поход на вершину Кулсос, 2 ноября 1941 г. Гунвор и Рут

множество мыслей: может, у нее была тайная причина оттолкнуть меня. Может... она хочет покончить с собой... *в одиночку*. Множество мыслей, и я решила спросить: скажи, назови мне причину, по какой ты знать меня больше не хочешь!

Я встретила с ней в училище. В красном свитере и синем пальто, с мягким выражением лица она, улыбаясь, шла мне навстречу. Коленки у меня сразу стали как ватные, голова пошла кругом – думать нечего задавать вопросы. На уроке я сидела далеко от нее. Один раз пришлось выйти, чтобы утереть слезы. И после я тоже поневоле плакала. Ужасно: Гунвор сидела, внимательно слушая урок, сидела далеко от меня и болтала с соседкой. Я с трудом взяла себя в руки, чтобы не сделать что-нибудь опрометчивое.

Когда урок кончился, я вышла за нею в коридор.

«Хочу поговорить с тобой».

«Что?»

«Хочу знать причину и серьезно ли твое решение». Она смущенно улыбнулась. По-детски схватила меня за руки:

«Я не знаю... ну, наверно, это просто вздор!»

«Почему ты так со мной обращаешься? Думаешь, для меня это забавно?»

«Я подожду тебя после стенографии, тогда и поговорим».

После стенографии я ждала ее в коридоре. Поговорим. О, что же я скажу? Так грустно. Гунвор была в коридоре, и я спросила: «Мне уйти?» – «Как хочешь, – ответила она. И тут же: – Нет, не уходи». – «Все уладится». – «Я не виновата, что вот такая». Я стою, а она улыбается и говорит: «Ты любишь сцены, выяснение отношений, это напоминает театр, праздник, верно?» А я все стою и по-прежнему не знаю, как будет с нами. Читаю надпись на табличке: «Милостыню подают только после консультации с обществом вспомоществования “Кристиания”». На улице дождь. Гунвор берет меня за руки. «Не можешь ничего сказать? – спрашиваю я. – Ты меня мучаешь». Так мы переговариваемся. «Мне милостыни не надо», – говорю я. А Гунвор смотрит детским взглядом, произносит: «Все уладилось, правда уладилось. – И добавляет: – Так уж вышло, ты ведь знаешь, я сумасшедшая. Зачем ты говоришь такую чепуху?» От этих слов меня охватывает отчаяние, я чувствую, как все внутри цепенеет, мгновенно: «Ты ведь знаешь, я сумасшедшая». И я повторяю про себя: я ведь знаю, она сумасшедшая, зачем я говорю такую чепуху? И, как всегда раньше, все ей прощаю, говорю: «Ладно, скажем так». Потом мы вместе съедаем шоколадку, которую я купила для нее.

Отныне моя любовь к ней станет вдвойне болезненной. Я была слишком в ней уверена – теперь наступит расплата. Всё, всё в ней будет причинять мне боль, в том числе и ее ласки, потому что я буду все время думать: она уйдет от меня. Пока что она меня любит. А завтра уйдет. Слезы наворачиваются, когда я вижу ее.

ПЯТНИЦА 31 ОКТЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Сны (мои собственные).

1) Я хочу купить губную помаду. Стою в магазине. Продавщица показывает мне разные тюбики. Я пробую цвет на белой салфетке. Ни один тон мне не подходит. В конце концов крашу губы красным. Делаюсь жуткой уродиной, хочу стереть помаду, но только размазываю ее по губам. А ведь мне надо спешить, чтобы успеть на поезд. Поезд останавливается не у обычной платформы, а напротив. Туда ведет узенькая тропинка в траве. В поезде сидят мама и папа. Я радуюсь, что папа там, хочу сесть с ним рядом.

Анализ. Губная помада – мужской половой орган. Я пробую разные цвета помады, и ни один мне не нравится: я недовольна противоположным полом. Он не освобождает меня «духовно». В конце концов крашу губы. То бишь: вступаю в половой контакт. Помада меня уродует, я пытаюсь ее стереть. Мне надо спешить, потому что меня ждет поезд. То есть: я должна высвободить сексуальное влечение, прежде чем умру. Иными словами, время

идет, а я все еще «девица». В поезде я вижу мамулю и папу. Ассоциация: папы нет в живых, мне хочется, чтобы и мамуля тоже умерла.

2) Я сижу в кафе. Там Гунвор и много молодых мужчин. По радио передают превосходный джаз... Неожиданно я вспоминаю, что вообще-то нам бы не стоило сидеть здесь, ведь владелец кафе, наверно, нацист, раз у него есть радиоприемник.

Анализ. Кафе = музыка = половой акт плюс наслаждение. В этом участвует Гунвор, отсюда ощущение: это под запретом.

3) Сижу с Гунвор. За другим столом – парень. Мне он нравится. Я бы не прочь, чтобы он захотел меня. И вдруг он рукой делает мне знак: встретимся в 3 часа. Я в восторге.

Анализ. 3 = мужское число. Я счастлива, что он даст мне повод удовлетворить сексуальное влечение.

Гунвор в Тронхейме приснилось вот что.

Рут и маленький мальчишка, работавший вместе с нами, не хотели сажать картошку!

Анализ. «Сажать картошку» – очень остроумный символ полового акта!

1) Рут, стало быть, девушка, вместе с 2) маленьким мальчиком, и они не желают иметь с ней половой контакт. Первое было бы гомосексуализмом, второе опять-таки противоестественно. Эти сны подводят к заключению

[Текст обрывается. Следующие страницы вырваны. Дальше фраза начинается с середины.]

проанализированы причины. Мы стояли и спрашивали: разойдемся или останемся? Думаю, вчера мы так ничего и не решили. Но наутро встали с холодными глазами, и я уверилась: конец. И за это очень-очень любила ее, когда в городе мы попрощались. Просто сказали: «Пока!» Ее словно вырвали из моего сердца, и там, где была она, остались только боль и слезы. А под ними – жуткая пустота. Я откладываю перо и думаю о том, как ее оторвали от меня, и мне так ужасно. Без причины, без причины. Причины вообще больше нет. Ни в чем. Сейчас я чувствую себя как тогда в больнице: все тонет во мраке.

И я постоянно думаю о ней, о том, как она беспомощна со своей склонностью к слабости. Ей плохо, а я не могу ее утешить. Нет, я этого не выдержу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

После чудесного осеннего похода с Карен и Гунвор. Гунвор стоит за всеми моими поступками. Любовь к ней переполняет мою душу. Думаю, я никого не любила так, как ее. Разве что Виллигера и папу.

ВТОРНИК 4 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Сон Гунвор.

1) У Рейдара праздник. Комнат больше обычного. Рейдар накрывает на стол. Украшает стены цветами. В одну из комнат входит *сестра* Рейдара. Он просит ее остаться. Она уходит. Рейдар просит ее остаться. Она говорит: не могу.

Анализ. Комнат больше обычного: сексуальная жизнь предлагает много возможностей – гомосексуализм. В комнату входит сестра: половой акт. Просит ее остаться. Она уходит. Гунвор уходит. Рейдар просит ее остаться. Она не может.

Мой сон.

Я в театре. Буду слушать концерт Бетховена (музыка). Занавес поднимается. У рампы стоит Хорст. Я думаю: что он здесь делает? Он исчезает в глубине сцены. Концерт начинается и оказывается вовсе не концертом, а оперой, составленной из разных мелодий. Сперва виден заснеженный пейзаж. Девушка начинает петь. Мелодия из «Богемы»¹²². Я разочарована, потому что ждала музыки Бетховена.

Анализ. Я жду полового акта, как прекрасной музыки (музыка = наслаждение). Но меня разочаровывают банальные мелодии, которые совершенно не звучат. Хорст, исчезающий в опере, не дал мне того, чего я ждала.

Сон матери Гунвор:

«Мне приснилось, что за мной шли мужчины и бросали ножи!»

Символ: ножи (острые!). Бросание ножей – символ полового контакта.

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ

Лишь серо-белая рука матери касается мертвой пустоты этих улиц, потом рука отводит в сторону белую гардину – и видит.

ОДИНОЧЕСТВО

Под синим небом ходят люди, чьи бледные усмешки говорят только одно: они не ты. Усмешки, похожие на широко распахнутые дыры черных окон, где, наверно, стоят ивы, отблеск которых не достигает тебя. Хотя ты тоже видишь.

¹²² «Богема» (1895) – опера Джакомо Пуччини (1858–1924).

93/41

Rapport*) om Ruth Maier

1. Er tilstanden siden utskrivningen bedret, uforandret eller forverret?
bedret

2. Hvori består i tilfelle forandringen?
Føle meg helt frisk

3. Er der arbeidsførhet, full eller delvis?
full arbeidsførhet

4. Særlige meddelelser: *Letter ikke å være alene.*

(Navn) Ruth Maier
Undertegnet av den som utfyller skjemaet.

Til psykiatrisk avdeling,
Ullevål.

*) Innsendes den 11/11-41.

7/11-41 11/5 42

O. K. S. Bl. 13, V-46, 2000. H.

«Не люблю быть одна», – пишет Рут Майер 7 ноября 1941 г. в анкете Уллевогской больницы. Такие анкеты ей присылали каждые полгода после выписки в марте 1941-го. Везде она пишет: «Чувствую себя вполне здоровой»

НЕВИННОСТЬ

Ничьи губы не целовали ногу, топчущую сейчас нежные лепестки сирени, чей аромат давным-давно улетучился.

ТОСКА

О-о, отчего железная решетка закрывает мне свет! Несказанно мягкий свет. Стою без сил. И руки мои не чуют аромата алых роз, потому что не достают туда, где свет?

КОМНАТА

В комнате четыре границы, и лишь окно указывает на то, что бы могло быть. Поэтому ты неизменно чувствуешь себя защищенное в комнате, где четыре границы громко кричат, где ты находишься, а стул и стол говорят тебе простые слова: вот таков смысл. Защищенное, нежели там, где деревья, цветы и небо предоставляют тебе возможность стать – всем.

РОЖДЕСТВО

И здесь, на пустынной улице, тоже пел ангел. Я еще чувствую взмахи его крыльев и золотой их след в бездонной глубине окна. Его нежная рука коснулась унылых порядков серых домов, и они чуть ли не улыбаются. И голоса у маленьких детей теперь звенят-трепещут. Оттого-то я думаю, что ангел и здесь тоже пел.

ВТОРНИК 11 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

ПЕРЕМЕНА

(к Гунвор)

Даже маленькое кафе сегодня к тебе жестоко. Ведь ты знаешь белую, запятнанную скатерть на столе и улыбающуюся толстуху-официантку. И серые пыльные цветы в горшках знаешь, и небо снаружи. Запах пирогов и свежих вафель вдруг вызывает у тебя отвращение. Тебя тошнит. А когда-то это кафе наполняло тебя дивной маленькой радостью. Теперь ты замечаешь: это было давным-давно.

КАРЕН

Ты играешь на гитаре и на скрипке, и это тоже чудесно. Чудесно и что на столе так благочестиво горит свеча. Что лампа на столе бывает чудесной, я знаю.

ТЮРЬМА

Деревья здесь тоскуют по мне, и снег тоже. Любой черный цвет здесь для меня красный, любой синий – желтый. Древесные стволы смотрят на меня большими глазами, а птицы поют песни, что, нелюбимые, долго дремали во мне. Так все оборачивается ко мне, пока я не уверяюсь: вещи хотят прийти ко мне, ведь я не могу выйти к ним.

Сны (мои).

1) Я у Гунвор дома (у них всего одна комната и кухня). Но теперь рядом живет кто-то, у кого несколько комнат. Я тихонько обхожу комнату. В углу радиоприемник. Я думаю: они определенно нацисты. Кто-то здесь включает радио.

2) Я получила место в магазине. Там темно. Я должна продавать одежду. Дневной заработок 2½ кроны. Приходит Гунвор, и я думаю: ну вот, у меня есть работа. Теперь все между нами, наверно, кончится, ведь у нее пока работы нет. Приходит Дита, с ведром воды, собирается мыть пол. Выглядит она плохо. Я хожу вокруг, ощупываю платья. Одно вроде костюма для за-



Вершина Колсос, 1941 г. Карен и Гунвор. Фотографии Колсоса из фотоальбома Рут

гара: брюки и лиф. Ощупываю брюки. Меня посылают на работы по хозяйству: стирать пыль, чистить кастрюли. Вообще-то работать по хозяйству я не нанималась.

Той же ночью: вместе с Гунвор иду на станцию. Там какие-то мужчины в мундирах. Наверняка русские, говорю я. Мы останавливаемся, слышим, что они говорят по-русски, очень красиво. На крыше поезда, стоящего обок, сидит русский, крутит радио. Слышна русская речь.

В еженедельнике один учитель пишет о «необъяснимом переживании» детских лет. Они с отцом стояли на пригорке. Как вдруг он услышал неземную музыку. Отец ничего не заметил. А он так и не сумел объяснить, откуда доносилась музыка. Как известно, музыка – символ наслаждения.

Вчера мы были у Карен. Играли в такую игру: один говорит соседу какое-нибудь слово. Тот называет два слова, которые ассоциируются с первым. Я говорю Карен: ЛЕСТНИЦА (символ совокупления). Два слова, ассоциирующиеся у нее с лестницей: ЖАЖДА, ОБЛЕГЧЕНИЕ.

Лучшего доказательства, что этот символ вправду коренится в подсознании, по-моему, не найти.

Натурщица

НОЯБРЬ 1941 г. – МАРТ 1942 г.

Теперь семейство Хофму считает Рут и Гунвор парой и на дни рождения приглашает обеих. Рут зарабатывает на жизнь, позируя в Осло художнику Осмунну Эсвалу (1889–1971), у которого той же осенью состоялась большая выставка в Доме художников. Студия его расположена на Толлбугате, 30. Рут поражается, что ее отношение к ословскому художнику напоминает отношение к венскому латинисту. Сбрасывая одежду, Рут думает об Эсвале: «Ты знал, что ты первый мужчина, который видел меня обнаженной?»

Живет Рут по-прежнему в Лиллестрёме. Переписка с Англией оборвалась. После нападения японцев на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года США вступают в войну. Всплывают воспоминания из Тронхейма, где немцы цеплялись на улице к норвежцу. Подруги рассказывают друг другу свои сны, анализируют их. Рождественским вечером в лиллестрёмском поезде Рут встречает финского солдата. Он был на фронте и со слезами восклицает: «Мои ребята, все до одного!» Рут слушает.

Регистрация евреев в Норвегии осуществляется путем заполнения анкет. Из ответа Рут от 4 марта 1942 г. следует, что она вышла из иудейской конфессии, к которой принадлежала по рождению. И что она закончила курс стенографии. Теперь она посещает шестимесячный курс в коммерческом училище.

Гунвор Хофму опубликовала свои первые стихи. Отношения между нею и Рут стабилизировались. Хотя Рут боится, что ненадолго. В конце зимы она пишет: «Я сплю. И не стремлюсь к пробуждению».



*«После бани». Эрлинг Т. Хофму, отец Гунвор, сделал этот снимок в апреле 1942 г.
На заднем плане квартал Odd-Felloу на Драмменсвейен*

ПЯТНИЦА 14 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Работаю натурщицей. Напишу об этом, потому что писать об этом легко. Ведь, по-моему, несложно поймать настроение, царящее в маленькой квадратной студии, где я стою обнаженная и неподвижная. Прежде всего: позирование – это эротическое переживание, и, когда пишу об этом, я испытываю что-то вроде сладострастия. Наверно, писать так бесстыдно, наверно.

Я получила ответ на объявление в газете: «Приходите, пожалуйста, ко мне в студию и т. д.». Я пошла. И Гунвор со мной. Сердце у меня стучало как безумное. Дверь открыл маленький, очень маленький старичок с усталым, ужасно печальным лицом, робкими слезящимися глазами, чуть кособокий в походке и осанке. Начинать можно было сразу же.

«Вы знаете, что такое – стоять без одежды? Вас это не смущает?»

«Но ведь это, наверно, не опасно».

Я лихорадочно и ужасно рассеянно разделась. И в конце концов оказалась нагишом. Белая. И не стыдилась. Стояла на коричневой оберточной бумаге. Думала: ты знал, что ты первый мужчина, который видел меня обнаженной? То-то и оно! Я ощутила что-то вроде гордости. Удовольствие. Стыд? Не знаю. Стояла целый час. С небольшим перерывом. Временами думала, что упаду в обморок. Очень устала. И пока стояла, мозг совершенно опустел. Стояла вот так. Нагишом. Пытаюсь сочинять, что угодно. Совершенно нелепое: «Стою в маленьком четырехугольнике, нагишом, сияющая – я и не я», и т. д.

Последний раз. Запишу, так как мысль об этом по-прежнему неприятно и больно задевает меня. У меня начались месячные. Я ничего не сказала, боялась потерять работу. Деньги! Трусы испачкались совсем чуть-чуть, я подумала: пронесет. Никто не заметит. Сейчас совершенно не понимаю, как я могла так думать.

Я старалась. Простояла первые полчаса, спокойно, не шевелясь. Порой цепенела от ужаса, от страха, холодела в душе. Мелькала мысль: «Вот сейчас капнет...» Кошмар. Думала о Марии, не знаю почему. В перерыве вытерла кровь. Вторые полчаса еще хуже. Страх совсем меня одолел. Даже вспоминать не хочу, как я думала: вот сейчас, сейчас! Пускай случится.

Я заметила, как упала капля. Похолодела. Стояла как каменная. Прямо история болезни. Ну, вот и все... – подумала я. А он сказал: «Сделаем перерыв?» Я спросила: «Уже прошло полчаса?» Он ответил: «Да, почти». Пока мы говорили, я так и стояла окаменев. Потом выпрямилась и отправилась на перерыв. На коричневой бумаге осталось кровавое пятно.

Сегодня была вместе с Гунвор. Мы немножко погуляли. В лесу будничная тишина. Краски до сих пор большей частью осенние. Но уже холодно. Гунвор идет рядом. Человек, в эту минуту самый любимый и близкий на всем

свете. Никогда я так не плакала, как в тот раз, когда думала, что между нами все кончено.

Мы шли, смотрели. В маленьком кафе выпили кофе. Там не было ни души. Она поцеловала меня. А в глазах читалось: «Ну, успокойся». Люблю ее глаза. Глубокие, впору утонуть. Печальные и предупредительные. Если б я умела сочинять стихи, я бы написала о лице Гунвор. Мы пошли домой. В замечательном настроении.

В тот раз, когда на другой день после решения расстаться Гунвор пришла ко мне и объявила, что, по ее мнению, мы наговорили друг другу глупостей, я так устала от слез и боли, что даже толком не *обрадовалась*. Скорее на меня низошли покой и умиротворенность. И мягкая грусть. Ну, вроде как: сколько мне еще страдать из-за тебя? Сколько страдать без конца по твоей милости? Сейчас все опять хорошо, а то, что наговорили тогда ночью, уничтожили своей надеждой.

СУББОТА 15 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Иногда мне кажется, дневник изжил себя. По-моему, я из него выросла, повзрослела. То, что имела сказать, сказала. Разделалась с собой. Мне словно бы сорок лет – настолько я лишена иллюзий. Зачем продолжать писать? Нет во мне ни богатства, ни избытка чувств, требующих выхода. А то, что осталось во мне от доброты, от молодости, проявляется, когда я вместе с Гунвор.

Зачем по-прежнему нужны эти страницы, я не знаю. Пишу больше по привычке. Запечатлеть приятные минуты, чтобы заполнить время. Чтобы позднее сказать: я по-прежнему могу кое-что написать, о себе и о своей жизни. Писать, писать. Много можно написать.

Но наши отношения с Гунвор слишком священны, чтобы затрагивать их словами. В остальном же нет ничего достойного упоминания. Если не считать, что у меня еще нет дома. Но это отнюдь не новость. И когда я думаю, до какой степени бесприютна, то думаю как посторонняя, но чуть ли не испытываю боль.

Кстати: вот о чем давным-давно следовало написать. Дело было в Тронхейме. Мы шли с работы. Нет, лучше напишу по-норвежски.

Мы шли с работы. Усталые, измотанные. Шли по Принсенс-гате, унылой Принсенс-гате. Уже были у дверей ХАМЖ. Народ обступил нескольких немецких солдат... и? Мы подошли ближе. Ну да. Маленький немецкий солдат в зеленом мундире орал на пьяного, который даже прямо стоять не мог. Только лукаво хихикал, меж тем как немец бранился.

Солдата это раздражало. Он пихнул пьяного, тот ничком распластался на мостовой.

Столпившиеся зеваки беспокойно встрепенулись. Молодой парень, стройный, с умным лицом, шагнул вперед. Никогда не забуду выражение его лица, когда он сказал:

«Aber erlauben Sie...»¹²³

Солдат рассвирепел еще больше. Повернулся к парню:

«Schauen Sie, dass Sie fortkommen»¹²⁴.

Норвежец понимал по-немецки. Но не пошевелился. Солдат угрожающе шагнул еще ближе, замахал руками у него перед носом.

«Verstehen Sie nicht deutsch?»¹²⁵

Парень сделал большие глаза:

«Nein. Ich verstehe nicht»¹²⁶.

Солдат взбесился. Я думала: нет, он ничего не сделает. А он все-таки сделал. Ударил парня по лицу. Да так, что все услышали.

Толпа ахнула. Но стояли все оцепенев, серьезные. Зевак было много. А солдат один. Один-единственный.

В глазах у норвежца возникло горькое выражение, во всей фигуре было что-то чистое, мягкое. Он лишь проговорил:

«Aber erlauben Sie...»

Подоспевшие немцы увели солдата.

По-моему, все это было ужасно. Не припомню, чтобы инциденты подобного «жанра» причиняли мне такую боль. Странно. Гунвор не сочла случившееся очень уж скверным.

В последнее время случилось кое-что еще: сын г-жи Хельтене, нашей «руководительницы» из зимнего лагеря в Бири, погиб на Восточном фронте. Ему было всего 16 лет. Я читала его письма: он совершенно неправильно воспринимал национал-социализм, идеализировал его так по-детски восторженно, что это невольно вызывало улыбку. Он записался добровольцем в СС. Для г-жи Хельтене он был единственным утешением, огромной любовью.

Хильдегард, Юн, а теперь вот этот мальчик. Так происходит каждый день. Но рассказывать о чем-то другом, помимо фактов, просто идиотизм. Да и неправильно вылезать с чувствами насчет «священной бойни». Мне кажется, так получается со всеми, кому сообщают о погибших и арестованных за день. Чувства пропадают. Наверно, порой думают так: они убивают друг друга. Да-да. Когда же это кончится?.. И больше ничего. Вот до чего все притупилось. Уже не удивляешься. И происходящее в Норвегии как-то ближе.

¹²³ Но позвольте... (нем.)

¹²⁴ А ну, убирайтесь отсюда (нем.).

¹²⁵ Вы что, по-немецки не понимаете? (нем.)

¹²⁶ Нет. Не понимаю (нем.).

И все-таки: горечь и потрясение после смертных приговоров (к смерти приговаривают опять же *рабочих*) длятся не больше часа.

СРЕДА 19 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Реальные события! Факты!

Небольшой перечень фактов, норвежская дневная сводка.

Ситуация с продуктами питания.

Хлеб: некоторые не довольствуются rationом по карточкам. Занятые на тяжелых работах получают дополнительные карточки.

Молоко: до октября сего года не рационировалось. Теперь взрослым полагается $\frac{1}{4}$ литра, а детям до десяти лет – 1 литр в день. Все молоко уходит в Финляндию, Германию и т. д. Рационирование молока сразу же привело к забастовкам на ряде ословских фабрик, в результате двое норвежцев (Вигго Ханстеен, Ролф Викстрём) были расстреляны, а еще несколько человек приговорены к «пожизненному» тюремному заключению.

Масло: уходит в Германию. Фабричное сливочное масло достать невозможно. Маргарин тоже мало-помалу становится дефицитом. Народ жарит на ворвани. Ждут вместо маргарина какой-нибудь эрзац-жир.

Мясо: по карточкам. И (почти) отсутствует. Вероятно, вывозится в Германию.

Рыба: начинается нехватка.

Картофель: купить трудно. Но люди запаслись заранее, так что с этим более-менее неплохо.

Яйца: полностью отсутствуют.

Шоколад: отсутствует (очереди).

Сигареты: отсутствуют.

Кофе: очень мало, по карточкам. Скоро и по карточкам не будет.

Какао: отсутствует.

Сахар: немного, по карточкам.

Одежда: карточки на одежду по 300 пунктов (пара рукавиц – 10 пунктов).

Обувь: надо искать. Часто по разрешению.

СУББОТА 22 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Что касается одиночества. Сейчас я уже не одна. У меня есть Гунвор. Я все поставила на нее. Потому и была ужасно несчастна, когда думала, что потеряла ее. Плакала. Редко я так плакала. Если б не Гунвор, мне бы не выдер-

жать без мужчины. Поэтому то, что у меня нет мужчины, причиняет лишь мягкую боль.

Всякая, даже совсем коротенькая беседа с мужчинами запечатлевается во мне. Часто я люблю смотреть на лица мужчин, которые проходят мимо и которых я мельком видела в Дайкманке и в Университетской библиотеке.

В столовой сейчас стоит Тоббен. Брат г-жи Стрём. Я бы очень его полюбила, будь у меня такая возможность. Его лицо и его рукопожатие я ощущала как боль и смотрю на него так, словно он был моим возлюбленным. Тоббен очень хороший человек. У него милая, спокойная манера разговаривать, он словно старается никого не обидеть, не задеть. Сказал слегка нараспев:

«Ну... как дела?»

Ужасно мне это понравилось.

Иногда вижу евреев, и они всегда действуют на меня – как бы поточнее выразиться – эротически? Вызывают у меня чувство любви. Я испытываю притяжение. Сегодня видела маленького хилого еврея. Он из Германии, говорил по-норвежски с немецким акцентом. Разговаривал со светловолосой девушкой ростом вдвое выше его. По-моему, он очень одинок, ведь на губах у него блуждала скромная, боязливая улыбка, чуть неуверенная. Ужасно некрасивый. Очки, здоровенный нос и крохотный рост.

«Я книжный червь», – сказал он.

Кривая улыбка, потом:

«Ну да, я немножко нервный».

Ах ты, маленький еврейчик. Неприятная у евреев привычка говорить о себе: «Я немножко нервный».

Другой еврей, в библиотеке. Тоже из Германии, большой, сутулый, лицо замкнутое. Глубоко посаженные глаза под нависшим лбом. Смотрит в себя невидящим взглядом, двигается нервно, будто из-за плохого зрения, кивает головой.

Люблю евреев. Охотно подошла бы и сказала: «Я вас люблю». Охотно бы поцеловала.

И еще один еврей в библиотеке. Учился со мной в одном классе. Во Фрогнерской школе. Он из Англии. В лице тоже сплошная боль. Нос с горбинкой, чувственный рот, глубокие глаза. На вид совсем юный, будто ему всего-навсего 18, и выглядит так по-еврейски, так уязвимо, до боли уязвимо. Я часто украдкой поглядывала на него в школе. Однажды он сказал мне: «Cheer up!»¹²⁷ И своему брату: «She is always so sad»¹²⁸. Мне очень хотелось поцеловать его, но он смотрел на меня только мельком.

Вот такие мужчины в моей жизни. Теперь еще и старик, которому я позирую. Только жду, чтобы моя любовь прошла торжественное посвящение.

¹²⁷ Развеселись! (англ.)

¹²⁸ Она всегда такая печальная (англ.).

Он такой маленький, сторбленный. Первый мужчина, видевший меня обнаженной. Нынче я чуть в обморок не упала. Когда ухожу от него, мне всегда кажется, будто я расстаюсь со старым другом, что-то нас с ним роднит. Хотелось бы мне знать, что прячется в его лице. Разговариваем мы ужасно мало.

«Холодно?»

«Так темно сегодня!»

«Отведите правую руку чуть дальше влево».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 НОЯБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Ужасно безнравственно не иметь дома. Ужасно безнравственно трусить от замечаний г-жи Стрём.

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ДЕКАБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Позировать очень интересно. Вступаешь в контакт с так называемыми художниками. Учишься. Видишь: вот они, профессионалы, создающие искусство. Однако эти «произведения искусства» весьма часто оказываются чем угодно, только не искусством.

Эсвал, маленький, сторбленный, ужасно мил. По-моему, в глубине души он очень добрый. Лицо у него потасканное, морщинистое. А в глазах и в улыбке сквозит что-то детское.

Он рисует меня, карандашом на обычной газетной бумаге. Порой передает позу невероятно удачно. Однако собственное восприятие, собственный *стиль* никогда не находят выражения в рисунках. Картины, стоящие у стены, очень скверные. Искусством их не назовешь. Но он милый человек. Вчера заплатил мне пять крон сверх обычного и с дружелюбной улыбкой сказал: «Я так много продал». Мило с его стороны. Не только по причине пяти крон.

На днях меня рисовал другой художник. Кажется, его фамилия Рефсум. Рисовал и быстро раскрашивал рисунки. В первую очередь у него чудесный колорит. Однажды у меня одна рука лежала на груди, а другая просто свисала вниз. На рисунке вышло чудесно. Хотя «чудесно», может, и слишком сильно сказано. Точнее, в его рисунках был свой *шарм*, особенно в цвете.

Сегодня я позировала трем женщинам. Две «писали» ужасно. На холсте. Одна – ярко-красными красками (Енсен), а рисовала просто жутко. Еще хуже рисунок у второй (Нурдал-Лунн), она все время отпускала глубоко-мысленные реплики, особенно насчет искусства. Третья работала вполне здорово (Рефсум). Забавно было слушать, как они рассуждали о своей ра-

боте. Между прочим, я думала: кажется, скоро эти так называемые художественные круги мне опротивят.

1) Несколько дней назад опять расстреляли пятерых норвежцев: саботаж.

2) К продовольственному вопросу теперь приплели политику: строптивые и лентяи будут получать меньше, чем прилежные, и т. д.

3) Немцев эвакуировали из Ростова.

4) Норвежцы держатся стойко. Я их люблю. Храбрый народ. Их не заставишь стать нацистами.

ВТОРНИК 9 ДЕКАБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Странно, газеты больше ничего не значат. То, что там пишут про «прорывы, отступления, число убитых, бомбежки», меня больше не трогает. Я отказываюсь об этом думать... толку-то никакого. Поэтому избегаю всего, что заставляет меня вдвойне почувствовать бремя собственной слабости. Либо нужно что-то «делать», а коль скоро это невозможно, то в «политику» лучше вообще не вникать.

Я слышала в церкви Святой Троицы, как поют так называемые Олафовы мальчики. Очень красиво. Под конец они исполнили «Да, мы любим». Все встали. Звенели чистые голоса, и никогда я не чувствовала с такой отчетливостью, как люблю норвежцев. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не заплакать. К Австрии я никогда не испытывала таких чувств. За спиной у меня какой-то мужчина тяжело вздыхал. Одна женщина, сидя на скамье, расплакалась, ее всю трясло. Рядом со мной стояли три немки. Я чувствовала, что все мы как бы слились воедино. А хор пел: «Отстояли мы и право, и покой страны...»¹²⁹ Очень сильное впечатление.

Сон Гунвор:

«Я спускаюсь с пригорка. Навстречу идет Рейдар. Просит меня остаться с ним. Я говорю: не могу, мне надо в город».

ПЯТНИЦА 12 ДЕКАБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Моя жизнь проходит в тиши между «училищем», позированием и Гунвор. Дни у нее дома – самое лучшее. Ребячливая мечта снова зашевелилась во мне: рисовать, писать красками, жить ради «искусства». Если б я могла это реализовать, жизнь моя не прошла бы напрасно.

¹²⁹ Перевод В. Левика.

Иногда я тоскую по собственному дому. По месту, где я наверняка никому не буду обузой. Там мамуля и Дита. Но до этого очень далеко. Теперь, когда и Америка вступила в войну, я никогда о них не услышу...

Надо бы написать побольше. Но во мне полная пустота.

Кстати, Туролф, брат Гунвор, назначил мне свидание. Он мне не нравится. Лицо у него гладкое, как детская попа. С одной стороны, он ужасно занят собой, доволен своими банальными сентенциями и скверными остротами, с другой же – ужасно неуверен перед женским полом, и вообще: я ничего ему не позволила, он определенно страдает комплексами неполноценности. Когда я согласилась пойти с ним в кино, он наверняка почувствовал себя «на коне». Сел рядом и прижал свои колени к моим. Мне и понравилось, и не понравилось. Как в тот раз с Рейдаром, я не могла посмотреть Туролфу в глаза. Слишком мало симпатии он у меня вызывал.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ДЕКАБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ

Сон (мой).

Эсвал в какой-то комнате. Маленький, сторбленный, как в жизни. Пишет мне письмо, открывает дверь, кладет письмо на порог. Из письма я вижу, что он в меня влюблен. В частности, пишет: «Мне недостаточно бумаги и карандаша, чтобы написать тебе больше». Я рада, что он мне написал. Хочу показать, что люблю его, и дарю ему бумагу и карандаш.

Анализ – я говорила об этом с Гунвор. Она анализирует очень верно (четко, проницательно): Эсвал, который ведь намного старше меня и тем не менее всегда оставляет далеко не мужественное впечатление, говорит: я недостаточно мужествен. Бумага и карандаш (если вдуматься, символ весьма мудрый). Я (молодая) дарю ему мужскую силу.

СРЕДА 24 ДЕКАБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЁМ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР)

На сей раз я одна. Но не хочу писать об этом. Идет война. Я часто думала о ней, однако никогда не чувствовала этого так, как сегодня. До ужаса близко.

Поездом поехала в Лиллестрём, чтобы встретить Рождество наедине с собой. В вагон вошел парень в сопровождении пожилого норвежца. Выглядел он не по-норвежски, скорее славянин, глаза слегка раскосые, очень тонкое лицо. Мне показалось, пьяный, поскольку он разговаривал сам с собой. Причем сумбурно. Размахивал руками. И говорил не по-норвежски, а на другом языке, часто вставляя немецкие слова. То хохотал, то улыбался.

Спутник его пояснил: «Мы из Финляндии. Вы думаете, он пьяный. Но у него просто нервный шок».

Я ничего не сделала. А тот парень просто сидел... что-то бессвязно бормотал, закрывал лицо руками. Взбодрился, козырнул, язвительно рассмеялся. Временами испуганно оглядывался по сторонам. Потом устремил бегущий взгляд в пространство. Заплакал, горячими слезами.

Сказал: «Мои ребята, все до одного».

Лицо как мертвое.

Он изобразил, будто заряжает винтовку, потом, раскинув руки, упал назад.

А я думала: война, и всё.

Я бы не променяла воспоминание об этом финском солдате на уютный рождественский вечер дома. Как по его носу скатилась слеза, когда он произнес: «Мои ребята, все до одного». Как он стукнул себя в грудь и повторил: «Мои ребята, мои ребята», а потом коротко хохотнул, меж тем как глаза были мертвые от скорби.

Мне бы хотелось запечатлеть в своей душе его образ, как образ еврея, который пытался покончить с собой и в результате ослеп.

Хотелось поцеловать его.

И все время это ощущение бессилия: кто ты и что ты можешь сделать? Они там убивают друг друга, заставляют друг друга умирать. Погибают, молодые мужчины, 16-летние мальчишки, никогда не прикасавшиеся к женщине. Погибают. Слишком слабые сердца сходят с ума и молятся в пространство, со слезами. Невозможно себе представить. Это ощущение бессилия причиняет неутолимую боль. Чем старше становишься, тем она, похоже, сильнее.

Я знаю одно: я социалистка. Вот и об этом мне бы хотелось сказать этому плачущему человеку: мы должны сражаться за социализм. «Сражаться» – старинное слово.

Ах, ощущение бессилия тоже полезно, когда чувствуешь его глубоко в душе. Бессилие оборачивается силой, когда обладаешь непоколебимой, глубинной убежденностью. Плохо только, что и это ощущение бессилия, как и прочие глубокие чувства, пройдет. Что образ плачущего солдата уже через день поблекнет. Поэтому он так важен и его необходимо иметь под рукой – тогда одинаково интенсивное ощущение не оставит тебя годами, ведь несправедливость можно чувствовать и когда она не нова. Из таких людей должны получаться борцы. Но мы, люди, которые, чувствуя несправедливость, утешаются тем, что максимум через неделю справятся с этим чувством, – мы не вправе жаловаться.

Да, нас больше потрясает увлекательная книга про войну, чем жуткое сообщение в газете: «1000 погибших». «Дошло до рукопашной. Много уби-

тых». Что говорит нам слово «рукопашная», что значат 10 000 павших? Да будь это и 1 000 000, мы бы только сделали большие глаза. Попытались бы сосчитать: «Один, два, три...» – но вскоре бы бросили. Один и два – просто цифры. Наверно, дело в том, что нам не хватает фантазии. Что мы слишком ленивы, чтобы представить себе написанное черным по белому. И кроме того, мы привыкли. Ах, эта окаянная привычка. Сколько помню, к завтраку нам все время преподносили мертвых. Мы что, поседели по этой причине? Какое мне дело до других? Я – это я, целый мир в себе. Я их не знаю. Они – тени.

И вот является один и говорит: «Товарищи, все до одного». И плачет. А меня вдруг пронизывает счастливая уверенность: нет, я – это не только я. Чтобы быть «я», мне нужно впустить в свое сердце всех остальных. Всех, кто, вскинув руки, падает наземь. Ведь они все просто жертвы привычки. А в душе добрые. Иначе не могли бы плакать.

Во мне кипят эмоции, что не вяжется с моим возрастом. Мне полагается быть разочарованной, как и всему нашему поколению. Нет, просто принимать это спокойно.

Господи, как же они виноваты передо мной! Всё-всё, малейший клочок веры они растоптали, пока внутри у нас не стало холодно и пусто. Не дали нам никакого идеала. Когда у тебя нет небес, думаешь, это потому, что приходится жить на земле. В свои 21 год мы все смирились. Смирились перед тем, что жизнь такова, как есть, смирились перед насилием, несправедливостью, войной. Война повсюду. Даже ради чего-то бесконечно хорошего человек не должен так страдать. Так бессмысленно, так гнусно, что от его жизни нет никакого проку. Человеческие трупы, оттого что Германия жаждет колоний, оттого что великие державы привыкли загребать сырье себе. Оттого что... оттого что... оттого что... Как всегда, и здесь тоже: страдание существует на свете ради страдания. Евреи страдали в Германии, они не поняли смысла своего страдания, поскольку смысла в нем не было. Никогда страдание не способно оправдать причины страданий. И как-никак, наивысшая цель – не создавать страдание. Да! Лучше страдать со страждущими, чем причинять другое страдание.

ЧЕТВЕРГ 25 ДЕКАБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Вместо так называемых дневниковых записей лучше рассказывать сны о наших конфликтах.

Сон: я в компании молодежи – юношей и девушек. Парни ужасно женственны. Мне нравится один из них, и я нравлюсь ему, он выглядит очень ранимым, похожим на девчонку. Между нами завязываются превосходные

отношения. Симпатия развивается параллельно физическому сближению. Он целует меня. Это чудесно. Наши губы слипаются – не разомкнешь. В моем присутствии о нас говорят как о женихе и невесте. Я говорю ему (в течение сна он становится все больше похож на девочку): «Не будь тебя, я была бы с Гунвор». Говорю лишь затем, чтобы увидеть его реакцию. Он отвечает: «Знаю». Я объясняю, что у меня гомосексуальные наклонности. Он не удивлен. Говорит: «Теперь у тебя есть я, стало быть, надо с этим кончать. Посмотрим, как пойдет. Можно будет пожениться, если ты продержишься месяц». Тут появляется Гунвор. Обнимает меня за плечи. Я это обожаю и думаю: надо сказать ему, что ничего не получится, не могу я с этим покончить, оттого что встретила парня.

Сон: я раздета донага. И ужасно стыжусь. Люди кругом, а я голая. Наконец мне удастся спрятаться в кустах, так что никто не видит моей наготы. Но так или иначе надо выбираться оттуда, и я тихонько говорю Дите: «Поймай такси». Мимо проезжает экипаж, запряженный парой лошадей. Мы едем. Едем по аллее, обсаженной по обе стороны кустами. Какая-то девчонка снует вокруг экипажа, хочет залезть внутрь, но не может. Я думаю: да садись же ты! Навстречу ей идет толстяк. Залезает в экипаж. Девчонка берет велосипед, катит дальше. Я замечаю у нее на запястье мои часы. И говорю: «Отдай часы». Едем дальше. Я совершенно голая, прошу кучера остановиться – тогда я смогу в кустах одеться. Но он едет дальше. Подъезжаем вроде как к пещере, там несколько девушек. Одна чуть не падает в пропасть. Появляются немецкие солдаты, говорят, что взорвут эту пещеру в горе. Мы жутко перепугались, я боюсь смерти. Немцы говорят: «Будет всего десять взрывов». Мы насчитываем три. Мне страшно, я спускаюсь по лестнице в помещение, где девушки снуют вокруг какого-то сыплющего искрами аппарата. (При каждом взрыве выскакивает искра.) Я брожу среди этих девушек в помещении, находящемся чуть повыше. И каждый раз, когда хочу войти в комнату еще выше, меня кусает собака.

Думаю о солдате из поезда. Я его люблю. Ужасно видеть, как плачет мужчина. Хотелось бы мне выказать ему тогда мою любовь, поцеловать его. Так и вижу все время его мокрое от слез лицо.

Он сидел прямо напротив меня. Внезапно затих, выпрямился, сплел руки, зажмурил глаза... и посмотрел на меня. На прощание он пожал мне руку.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ДЕКАБРЯ 1941 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Была с Туролфом. Сплошное сексуальное возбуждение. Терпеть не могу Туролфа, и все же приятно, когда он дотрагивается до меня. Вот до чего дошли вообще все поражения, теперь еще и это.

Наверно, так бывает, когда любишь. Мои чувства при мысли о солдате в поезде. Я тоскую по нем.

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ЯНВАРЯ 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Меж двумя людьми чувства без устали переходят туда-сюда. Я по-прежнему люблю Гунвор. Но боюсь, в ней скоро не будет любви. Это ужасно. Часто мне казалось, что уже так оно и есть. Я видела ее лицо, такое же милое и доброе, как обычно, но все же как бы лишь воспоминание о том, что было когда-то. И я смотрела на нее, смотрела, пристально, но без толку. Хуже нет – смотреть на человека, стремиться любить его и не мочь; куда хуже, чем смотреть и испытывать мучительное чувство, что любишь без взаимности.

Плохо было, уже когда я вчера сказала ей об этом. Но когда она просто сидела на кухне, все это вдруг отпало, а ее глаза – глаза были серьезны. Тогда я любила ее как раньше. Да, никогда я не любила ее так, как вчера. И на душе у меня стало светло.

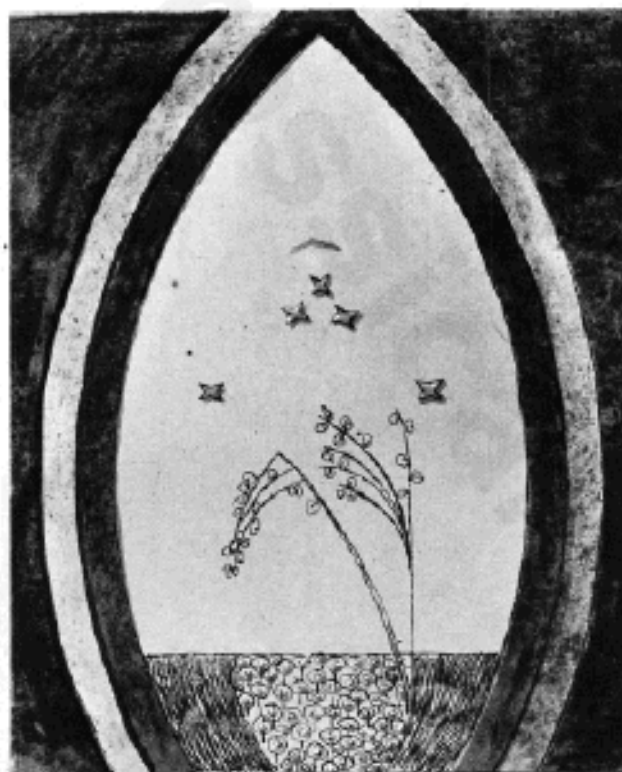
Я люблю ее. Но чувствую, что она любит недостаточно. Раньше ни один человек никогда не был мне так дорог, как Гунвор. Она – подруга и люби-

ORDENE

Ordene, lysende stille
skal jeg finne
gi dem til deg,
hamre noen øyeblikk sammen
inn under evighetsrammen
så aldri du glemmer meg.

Billeder, ånd og jord
det som er deg,
smerte, uro og håp
det som er meg:
Vidne ved ordenes ord
som vi aldri skal finne,
vidne ved våre øyne
søkende i blinde
at ilden kan ikke dø!

GUNVOR HOFMO



Tegn. av Trygve Mosebekk.

Одним из самых первых опубликованных стихотворений Гунвор Хофму было стихотворение «Слова», напечатанное в «Магасинет фор алле» 19 июля 1941 г.

мая. Она – вся жизнь все хорошее и доброе... Большого не скажешь. И Гунвор пишет стихи.

[Здесь переписаны два стихотворения Гунвор Хофму: «Слова» и «Великое терпение». Последнее вошло в дебютный сборник Хофму под названием «Старики». Факсимиле первого воспроизведено выше. Напечатано в сборнике «Посмертные стихи» (1997).]

НАЧАЛО 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

[Здесь из дневника вырвано несколько страниц. Нижеследующая запись начинается вверху страницы.]

[Эсвал как] друг. Он показывает мне свои картины, и мы разговариваем обо всем на свете. Он относится ко мне с симпатией, а я «флиртую» с ним, причем охотно, поскольку стою высоко, поскольку он не «актуален».

Эсвал/Рут вправду напоминает мне ситуацию Виллигер/Рут. Только Виллигер безусловно значительнее Эсвала. И я любила Виллигера. Почему он никогда меня не целовал? Во всяком случае, он был высокий. Эсвал отваживается разве только приобнять меня за плечи, и для этого ему приходится стать на цыпочки. Тогда он оказывается на уровне моего лица. *C'est ça*¹³⁰. Но о картинах с ним говорить интересно.

Сон (мой), проанализированный Гунвор.

Дядя Оскар, Стрём, папа и я сидим за столом. Г-жа Стрём тоже здесь, стоит. Стол – возле двери. Всем нам ужасно неловко, потому что стол больше двери. Двигаем его к двери и поднимаем торцом вверх. Заходит Фоссли (здешний сосед), и мы знать не знаем, как бы скрыть неловкость.

Анализ. Стол больше двери – препятствие. Вокруг этого «препятствия» сидят Стрём (женатый), папа (мой отец), дядя Оскар (мой дядя). Трое «актуальных» мужчин сидят вместе со мной за столом, который больше двери, т. е. входа, т. е. сексуального общения.

СРЕДА 21 ФЕВРАЛЯ 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Сон Эсвала:

«Я несую лыжи, собираюсь сесть в лифт. Но потом оказывается неловко садиться в лифт, ведь подняться мне нужно всего на один этаж... Поэтому иду с лыжами по улице, хочу сесть на трамвай. Однако получается полный сумбур, сесть на трамвай не удастся. В конце концов иду к мастеру, который

¹³⁰ Вот так (фр.).

Skjemaet utfylles i 3 eks.
Høst maskinskrivet!

Dato... 4/3, 1942.

Spørreskjema

for

jøder i Norge

fra

Romerike

politidistrikt.

Etternavn	Maier		
(For kvinner også pikenavn)			
Samtlige fornavn	Ruth		
(Braknavnet undertrykkes)			
Født (sted, datum, år)	Wien 10/11, 1920	I hvilket land	Østerrike.
Privatadr. (gt., nr., by)	Storgaten 7, Lillestrøm		
	Privatlif	2	
Nuværende religionssamfund	Intet	Siden når	1926.
Tidligere religionssamfund	Mosaiske ved fødselen.		
Familieforhold: (Ugift, gift, enkestand, skilt)	Ugift		
For- og etternavn på ektefellen			
(For kvinner pikenavn)			
Ektefellens fødested, datum og år			
Har ektefellen jødisk innslag i familien?			
Antall barn:	(Navn)	(Alder)	(Oppholdssted)
Nuværende erhvervyrke	Intet.	Selvstendig? Ja/Nei	
Yrke av fag			
Event. byrker			
Teoretisk og praktisk utdanning	Artium. Eksamen i stenografi. 6 år f. t. på 1/2 års handelsskole.		
Militær utdanning	Ingen.		
Offentlige tillitshverv	Nei		
Medl. av fagl. organisasjoner før	Nei		
Medl. av fagl. organisasjoner nu	Nei		
Medl. av andre foreninger og organisasjoner	Nei		
Har De vært frimurer?	Nei.	Fra.	til.
Hvilken grad?	Hverv		
Nasjonalitet	Tysk	Statsborgerkap	Tysk.
Når kom De til Norge	30/1. 1939.		
Siste oppholdssted utenfor Norge	Tyskland.		

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

В начале 1942 г. все евреи Норвегии получили по почте анкету из полиции, которую надлежало заполнить в трех экземплярах. Анкета Рут Майер, заполненная на пишущей машинке 4 марта 1942 г., направлена в полицейское ведомство Ромерике

починит мне лыжи, они совсем изношены. Он говорит, что, пожалуй, справится с починкой. Гнет носок лыжи и обламывает его».

Все ясно: лыжи и носки лыж – символы гениталий. С лыжами он хочет сесть в трамвай – символ полового акта. Не получается. Поэтому он идет к мастеру, чинить изношенные лыжи. Тот говорит, что сумеет их починить, но в итоге ломает носки. Делает лыжи совсем непригодными.

Что он идет с лыжами к лифту, вполне понятно, но почему ему кажется, что неловко подниматься лифтом всего на один этаж? Может, это означает: ему кажется, что неловко садиться в лифт, поскольку выше одного этажа он не поднимется?

СУББОТА 14 МАРТА 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Время от времени издалека приходит воспоминание. Мое отношение к Эсвалу напоминает отношение к Виллигеру. Иной раз до такой степени, что я невольно улыбаюсь и думаю, что сплю. Недавно Эсвал сказал: «Этот карандаш вы грызли... памятка о вас... пожалуй, я его сохраню». Виллигер на минутку задержался возле конторки, с огрызком желтого карандаша в руке, и сказал: «Этот карандаш я сохраню. Ты его грызла». Порой мысль о Виллигере до сих пор дарит тепло.

Я позирую. Такая у меня теперь жизнь. А вдобавок тешу себя маленькой невинной мечтой – стать художницей. И что эта мечта сбудется. Скоро весна, но с какой стати я должна радоваться? Нет. Мне страшно, и радует меня только то, что не холодно. Когда наступает весна, приходит неизъяснимая тоска, великая неудовлетворенность. Прочь отсюда! Но куда? Лето – и остаться в Лиллестреме? Совершенно немыслимо. Тогда мне придется по-прежнему быть без мужчины. Поэтому я рада, что до сих пор зима. Я сплю. И не стремлюсь к пробуждению.



Акварель «Площадь Хьелланс-плас», Осло, 1942 г. 27 марта 1942 г.
Рут пишет: «Этот рисунок очень нравится Гунвор»

Во власти весны

МАРТ–ИЮЛЬ 1942 г.

Записи в дневнике Рут теперь делает реже. Живет в Лиллестрёме, ездит в Осло позировать, еще и скульптору Густаву Вигеланну, которым восхищается. «Руки у него до сих пор молодые. Но, по моему впечатлению, умным человеком его не назовешь».

Весна. Рут в озорном настроении. Целуется в поезде с незнакомым мужчиной. Эротически провоцирует Осмунна Эсвала. Свои отношения с Гунвор комментирует мало.

Пишет акварели на городские сюжеты, часто на кладбищах. Одна, от марта 1942 г., изображает Кладбище Христа, неподалеку от Дайкманской библиотеки и шведской церкви Св. Маргареты. Другая – две женские фигуры возле жилых домов, – вероятно, изображает окрестности Александер-Хьелланнс-плас, поблизости от местожительства Гунвор. Обе продолжают вместе заниматься немецким. В учебнике последний «урок» помечен датой: Несодден, 15 августа 1942 г.

Семья Хофму проводит отпуск в летней вилле в Несоддене. Рут иногда приезжает туда на выходные. Вся «несказанная боль» этого лета запечатлена в нескольких стихотворениях в прозе, написанных Рут позднее. Рут недостает ощущения общности с евреями – ощущения, которое было у нее когда-то.

КОНЕЦ МАРТА 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Наступает весна, очень медленно. Сегодня она чуть ли не опьянила меня. Воздух такой мягкий, все вдвойне черно – деревья, люди. Я иду, еле-еле передвигая ноги. И состою словно бы из одних только глаз. Предметы обступают меня... и я как бы «теряю сознание».

Прелюдия: в поезде. Стою, смотрю в открытую дверь вагона. Ландшафт снаружи белый, мягкий... уже в полумраке. Рядом стоит мужчина, массивный, широкий. Говорит: «Чудесная погода, чудесный воздух». Я говорю: «Да, чудесно». И замечаю, как он наклоняется ко мне. Чувствую: мы во власти весны. В нем и во мне – одинаковое желание.

Он поцеловал меня. Я поцеловала его. Чертовски приятно. Но, увы, недостаточно. Иногда желание во мне ужасно сильное.

Даже позируя Эсвалу, я могу подумать: почему ты не поцелуешь меня, почему не возьмешь? Но ему не хватает духу. И все-таки он любит меня. Сидит, расслабив руки, и так по-доброму глядит на меня. А я только и могу, что смеяться, глядя на него. Такая уж я есть. В эту среду, поскольку буду позировать ему последний раз (я нашла другую работу: лакировать что-то пасхальное), я, может, поцелую его. Но изо рта у него дурно пахнет, а лоб сухой и морщинистый.

Еще я позирую у Вигеланна. К нему я питаю высокую любовь: его «Мужчина с женщиной на коленях», «Мать и дитя», памятник Камилле Коллетт, памятник Вергеланну и т. д. Он старый, толстый, волосы совсем белые. А руки до сих пор молодые. Работает над женской фигурой для своего спорного моста во Фрогнер-парке.

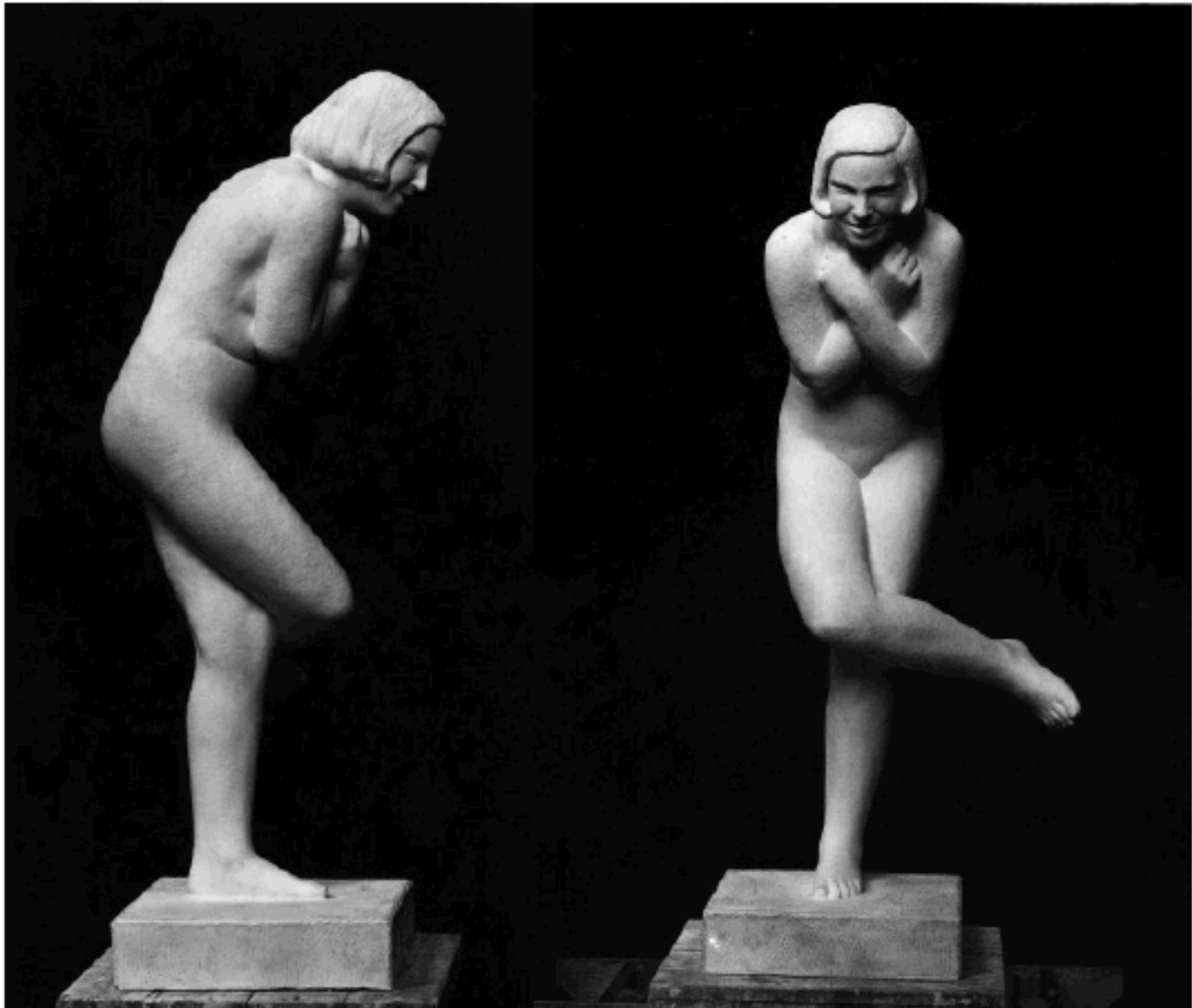
Со мной он приветлив. Рассказывает забавные эпизоды из своей жизни: про улиток, которых ел во Франции, и про натурщика для изображения Христа, который его обманул. Но, по моему впечатлению, умным человеком его не назовешь.

ПЯТНИЦА 27 МАРТА 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДИТЫ)

Сегодня была в полном бреду. А виновата весна. Пришла к Эсвалу. Была с ним неприветлива. Смотреть на него не хотела. Сидела на стуле, а он рисовал обнаженную натуру. Во мне кипело жуткое беспокойство. По всему телу мурашки. Я едва владела собой: хотела, чтобы он делал попытки сближения, и более того. Я тяжело дышала. И в то же время терпеть его не могла.

Я его заводила. Апеллировала к его мужскому инстинкту:

«Ничего-то вы не умеете. У женщин позволения не спрашивают».



Весной 1942 г. Рут позировала Густаву Вигеланну. На фото гипсовая фигура «Неожиданность», созданная по работе, которую Вигеланн начал в 1904 г. Как говорят, лицо фигуры он лепил со своей тогдашней натурщицы Инги Сювертсен. В 2002 г. скульптура отлита в бронзе и стоит сейчас во Фрогнер-парке чуть юго-западнее моста. © Vigeland-museet/Bono 2007

А он сидел и становился все меньше. Я продолжала. Смеялась над ним. В конце концов рассказала о мужчине из поезда, который поцеловал меня, не спрашивая позволения.

Внезапно он положил эскизный блокнот на стол и бегом устремился ко мне. Сунул голову мне между ног, хотел поцеловать. Даже чуточку успел. Жадно так: мол, наконец-то!

Я его оттолкнула. Он снова взялся за карандаш, начал рисовать и сказал: «Вы сами виноваты».

Я была довольна. Он сиял как новорожденный младенец. А у меня в душе все успокоилось. Я добилась, чего хотела. И перестала его дразнить.

Эдла сказала: «Тебе ведь нравится быть одинокой. Такой же одинокой, как первые два года. Нормальный человек нипочем бы не выдержал».

Я помню... Народ смотрел на меня как на чудачку. Вечерами я рвала цветы. Потом стояла перед зеркалом и мечтала о мужчине. Ах, как мечтала!

Ходила гулять. Одна. Разговаривала сама с собой. Нет, не с собой. С кем-то другим, невидимым, шедшим рядом. Когда мимо проезжал автомобиль, я отступала на обочину. Я помню. Однажды автомобиль вырвал меня из размышлений. На глаза набежали слезы. Вот тогда я была одинока.

Воспоминания! Наверно, их ворошит весна.

Я просто не могу не писать. Пусть даже окно закрыто и рольгардина опущена. И вечером было вконец промозгло. Не могу не писать. Может, о моих рисунках. Я нарисовала акварелью черное кладбище с церковью на заднем плане. Черные деревья среди надгробий. Церковь желто-коричневая, небо голубое. По-моему, вышло хорошо.

Еще я нарисовала площадь Александер-Хьелланнс-плас (акварель). Этот рисунок очень нравится Гунвор.



Акварель «Кладбище за Дайкманской библиотекой», март 1942 г.

ВТОРНИК 31 МАРТА 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Сощутив глаза, Гунвор говорит:

«Чем больше я думаю о том, чтобы стать кем-то, тем абсурднее кажется мне эта идея. Стать кем-то невозможно... Ну, разве только стать по-человечески лучше».

Когда она это говорит, мне становится как никогда ясен идиотизм требования «стать кем-то». Будто это самое главное: та или иная профессия, тот или иной доход. Будто человек – некая постоянная величина... Будто мы можем остановиться на том или ином месте и удовольствоваться тем, чего достигли. Будто нам незачем стремиться дальше и дальше. Будто это «стать кем-то» вообще имеет значение для нас, для нашего внутреннего «я».

Весна пока заставляет себя ждать. Вечера холодные, хотя уже совсем светлые... «весьма». Может быть, именно весна пробуждает во мне новое ощущение. Хорошее, по причине своей новизны.

СУББОТА 9 МАЯ 1942 г.
В ПОЕЗДЕ МЕЖДУ ЛИЛЛЕСТРЕМ И ОСЛО

НЕЗНАКОМЕЦ

То один, то другой незнакомец вдруг напоминает о тебе. Глаза, рот – и твой рот, твои глаза. Жесты рук, что будят горькие воспоминания, они двигаются, прикасаются ко мне, словно я любила тебя когда-то... Может быть, именно поэтому я [неразборчиво] тебя, милый умерший мужчина.

Нам бы нужно больше сказать друг другу.

Ах, я забыла. Вот видишь. Забыла, сколь многое нас разделяет, и опять начинаю причислять тебя к живым.

«Нам бы нужно больше сказать друг другу». Звучит прямо как надежда. А я не надеюсь.

Всего тебе доброго. Может быть, я пишу последний раз. Может быть, настанут другие времена.

МАЙ 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Недавно я посмотрела фильм. Прямо как раньше: на следующий день я ходила точно во сне, окутанная чем-то теплым, неопишуемым. Все это навеяно воспоминаниями о фильме. Целое событие.

Фильм был шведский. Под названием «Преступление»¹³¹.

Я снова и снова вспоминала эпизоды, которые мне особенно понравились. Как убийца вдруг совершенно упавшим голосом говорит своему отцу: «Я должен тебя простить?» – и плачет.

Как он, когда жена пришла навестить его, ощупью хватает ее за руки и говорит: «Еще».

¹³¹ Фильм шведского режиссера А. Хенриксона (1940).

И прекрасные любовные сцены между убийцей и его женой.

Актеры играли так, будто они не люди. Вернее, именно как люди, *человеки*.

ИЮНЬ 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

СВЕТАЛЫЕ НОЧИ

Кто-то словно открывает мне глаза и не дает их закрыть – вот так действуют на меня эти ночи. Жуткие, безумные, словно я родилась слепой и никчемной. Я все время стремилась прочь от этого вечно жуткого, светлого мрака к другим, черным, милосердным ночам. Тогда только я вдохну суровую, давно желанную тишь и блаженно усну у твоей груди. О ночь. И ничего не видеть.

СУББОТА 20 ИЮНЯ 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Я побывала в синагоге. Очень странно. Евреи, нарядные, в шляпах. Мужчина в белой шали и черной шапочке молился перед подобием алтаря. Молился и пел. Евреи часто подхватывали, нараспев, речитативом. (Словно в улье находишься.) Закроешь глаза – и будто оказываешься на Востоке. Несколько раз я различила слово «адонай». По-древнееврейски это значит – Бог.

Я чувствовала себя там не на месте. Была чужой. Евреи сплошь черноволосые, невысокие и смуглые. Я видела в них евреев, а в себе... нееврейку. Что-то отталкивало меня от них. Раньше было иначе.

Австрийский солдат мне снова так близок. Хотелось бы с ним поговорить. Мой народ – хочу я сказать. И все же это не мой народ. Их язык трогает меня до глубины души. В поезде я утешаю одного. Он разговаривает с девушкой-норвежкой. Она спросила, откуда он родом. Из Австрии, ответил он. Мне стало так хорошо. Позднее я видела многих в зеленых фуражках. Такие знакомые. Их речь – словно колыбельная песня.

Я пришла к странному выводу, что все ж таки не знаю евреев. Грустно. Мне бы хотелось вновь воссоединиться с ними. Любить их, целиком и полностью. Как в тот раз, когда я с Дитой была на собрании сионистов. Они пели еврейские песни. В тот раз я поняла, где мое место.

ИЮНЬ 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Прочитала хорошую книгу. Английскую. «The Life of Oscar Wilde»¹³² Фрэнка Харриса.

ИЮЛЬ 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Минул год с тех пор, как мы отправились в Тронхейм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮЛЯ 1942 г., НЕСОДДЕН

ТАК БУДЕТ ВСЕГДА

Вот так будет всегда. Как сегодня, ты будешь стоять у полуоткрытого окна. Поверх шеренги буков будешь испуганными глазами смотреть, просто смотреть туда, где остальные. Никогда не выйдешь под растопыренные ветви голых деревьев. Никогда не сорвешь цветы, ждущие, чтобы их сорвали. Потому что боишься встретить под растопыренными ветвями самое себя. Боишься увидеть собственное лицо, словно в зеркале, скривившееся в усмешке.

НЕТ НИЧЕГО

Нет ничего, кроме дрожащей пустоты в моей груди. Ах, высокие слова, какие ты дал мне, – где они? Окно, распахнутое настежь светлым летом, рдеющее облако над золотой кроной трепещущего дерева – чего еще мне желать, кроме этого? Чего я желала? И все же, Всеведущий, – пустота, откуда она явилась, если не из несказанной боли светлого лета.

СЕРЕДИНА ИЮЛЯ 1942 г., ГУДБРАННСДАЛ

[Новый поход по долине Гудбраннсдал начинается в Осло в середине июля 1942 г. На сей раз участвуют Гунвор, Карен и Рут. Рут сочинила новую песню.]

¹³² «Жизнь Оскара Уайльда» (англ.).



*Река, змеящаяся от Квама на юг. Вид из усадьбы Форбригт на восточном склоне долины.
Из фотоальбома Рут*

*ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ № 2
(в Квам. Гунвор, Карен и я)*

*Машины по шоссе летят,
несутся вдаль, как птицы.
Одна беда, что не хотят
они остановиться. – Траляля.*

*Шурум-бурум, шурум-бурум –
грохочет не на шутку.
Одна беда, что этот шум
у нас в пустом желудке. – Траляля.*

*Есть цель хорошая у нас,
в поход мы вышли вместе.
Одна беда, что целый час
мы топчемся на месте. – Траляля.*

*Ура! Нас захватил один
веселый дальнобойщик.
Одна беда, что он один,
а нас намного больше. – Траляля.*

[Во время похода они посещают Форбригт в Кваме, где побывали год назад, затем идут вверх по долине к горному приюту. 1 августа находятся в Мюсусэтере, через две недели – снова в столице.]



Рут, Гувор и Карен в Рондане, август 1942 г. «Восхождение на Стурронден» – так Рут озаглавила последнюю страницу своего фотоальбома.

Собственное жилье

АВГУСТ–НОЯБРЬ 1942 г.

Осенью у Рут появилось собственное жилье в пансионе для молодых женщин в Санкт-Хансхёугене, в центре Осло. На жизнь она зарабатывает декорированием сувениров и берет уроки рисунка в Училище прикладного искусства. Иногда к ней заходит Гунвор. Целый ряд текстов написан по-норвежски, в том числе четыре последних стихотворения в прозе. Несколько коротких записей сделаны по-французски.

В дневнике Рут описывает большую облаву 25 октября 1942 г., когда по всей стране арестовали евреев-мужчин. И упоминает, что Тербовен¹³³ проверяет, кто живет в пансионе. Записи продолжаются до 12 ноября.

Вторая облава на евреев начинается в столице рано утром 26 октября, в этот день хватают женщин и детей. 532 еврея депортируются на борту «Донау» из Норвегии в Штеттин, откуда их в товарных вагонах везут в Освенцим. 186 мужчин направляют на работы, как узники они получают номера. Выжили только 9 человек. Женщин, детей и нетрудоспособных мужчин убили в газовых камерах сразу по прибытии.

Гунвор Хофму рассказывала, что хотела подняться на борт вместе с Рут. Немецкий солдат остановил ее, крикнул: «Стой! Уходи!» Он гонит ее прочь, а она отвечает: «Это твоя подруга или моя?»

¹³³ Тербовен Йозеф (1898–1945) – нацистский партийный деятель, руководитель (рейхс-комиссар) оккупационного режима в Норвегии, обергруппенфюрер СА; после капитуляции Германии покончил жизнь самоубийством.

ВТОРНИК 18 АВГУСТА 1942 г., ЛИЛЛЕСТРЕМ

Скоро я наверняка уеду отсюда. И «начнется» жизнь: знай вкалывай ради еды, ради хлеба насущного, как говорится. Все не так, как я думала, когда была маленькая. Сейчас мне двадцать два... продолжаю заниматься этой лепной работой. Еще мне кажется, можно кое-что предпринять, чтобы поучиться живописи.

Совсем недавно я ходила как во сне. Что-то во мне то и дело нашептывало: я буду писать картины! В душе словно вновь настала весна. У меня не было уверенности, смогу ли я писать картины, есть ли у меня способности, но была уверенность, что это наполнит меня, даст своего рода право на существование. Все ж таки это было давно. Глядя сейчас на свои рисунки, я отшатываюсь назад. Меня тошнит.

Чтобы заполнить возникшую пустоту, я набрасываюсь на книги. Читаю как одержимая. Ну и «работаю». Да-да.

Хорошо бы война кончилась. Тогда я уеду. Вот. Уеду от себя самой. Кто сумеет?

Еще я думала пойти в университет. Но и это не то. Что толку? Сидеть над книгами, зубрить. Мне хочется жизни. И все-таки. Знать больше. О, я наверняка слишком взрослая.

ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 1942 г., ОСЛО

ДОЖДЬ

Иду по улице, иду, потому что дождь и волосы мои намокли. Другие испуганно стоят с зонтиками в руках, жмутся к стенам домов и смотрят, а я иду под дождем. Лишь дерево отражается в лужах. Все остальное стерто. Ах да. Мне вспоминаются другие дождливые дни, когда я была маленькая. В комнате было только окно. И дождь был совсем не такой, скорее соленый.

В ПАНСИОНЕ

Наконец-то! Войти в комнату. Закрыть дверь. Вот так. Закрыв дверь, отгородиться от мира. Мир, он там, снаружи. А здесь – здесь ты. Не плачь оттого, что ты наконец-то одна. Тут твои книги! Стоят как свечи, как священные свечи, и улыбаются. О вечная улыбка книг. Вот твое окно. С крестом, который вечно самоотреченно, укоризненно требует, чтобы ты без жалоб терпела эту муку. Молчи об этом. И не вздрагивай

всякий раз, как где-то отворяется дверь. К тебе не придет никто. К тебе не придет никто!

СРЕДА 2 СЕНТЯБРЯ 1942 г., ОСЛО

УЛИЦЫ

Улицы. Они повсюду. Не как здесь, где грязный задний двор, как уродливый старикашка, издевательски пялится на тебя. Есть улицы залитые солнцем и заснеженные, улицы близкие и знакомые, как женщины весной под вечер, с мягкими улыбками, и другие улицы, по-осеннему темные. О, эти любимые улицы, никогда не испытые до дна. Кто вас опустошил?

ОБО МНЕ САМОЙ

Ты все еще пишешь стихи? Хочешь из внутренней тишины или через окно бережно поднять дерево?



*Карандашный набросок площади Вестбюэ-Эгебергс-плас,
прямо к востоку от кладбища Спасителя*

СЕНТЯБРЬ 1942 г., ОСЛО

Некоторое время назад я переехала из Лиллестрёма в Осло. Живу здесь в маленькой комнате с видом на задний двор. Живу внизу. Прямо перед окнами желтая стена, неба вообще не видно. Очень тихо. Возле кровати полочка с книгами. Здесь темно, а лампа, белая больничная лампа высоко под потолком, ничего не освещает. Иногда заходит Гунвор, в своем сером пальто. Я сижу и читаю.

Читаю сейчас очень много. До трех работаю: ...лепка... деревянные вещицы. В шесть возвращаюсь домой.

Хожу в училище рисования. Зачем? Во мне дремлет мечта: стать художницей. Художницей! Что это – тщеславие, судорожная попытка извлечь что-то из всеобщего коллапса? У меня белый рабочий халат. Но есть ли внутренняя сила созидать, выдержать, пожертвовать всем? Ах, я могла бы пожертвовать всем во имя многих вещей – во имя социализма и мира, во имя науки и ми-



Акварель, 1942 г. вероятно, вид из окна пансиона.



Акварель «Тоска», 1942 г.

ровоззрения. Но пожертвовать всем ради искусства? Именно ради *искусства*. А не ради жертвы! И есть ли у меня энергия, сила, чтобы сделать ставку на это одно – на живопись? *Видеть мир глазами художника*. Это трудно. И нужно быть до краев переполненным своим искусством. О, я чувствую себя такой маленькой и не понимаю, как осмеливаюсь мечтать о таком. И все же: когда у меня есть краски, и я рисую, и что-то выходит. Синим и красным! И все сплавляется. Создается настроение. Тогда я счастлива.

Иду по улице. Вижу дом, дерево. Небо. Думаю: вот это я напишу, позднее... Но это самое «позднее» и вызывает сомнения. Почему я говорю «позднее»? Будь я художником (а я должна быть художником теперь, если вообще им стану), будь я художником, я бы писала все, что вижу, все, что трогает меня. Но я боюсь. Да, боюсь. В каждой акварели, которую пишу, ставкой является мое будущее. И если работа не удастся, то... н-да. Не скажу, чтобы меня пожирал внутренний огонь. Я обладаю маленьким талантом и лелею его, бережно культивирую.

Но тем не менее! Пусть бы мой талант был в тысячу раз меньше, чем он есть. Пусть бы никто не говорил, что у меня хорошее чувство цвета! Для меня это не главное. Главное, насколько ты способен наполнить этим себя

целиком и полностью. Писать так, как другие люди едят и пьют. Потому что это необходимость. Не подталкивать себя, не просто вынуждать себя говорить: сейчас я попробую, надо доказать себе, что у меня есть талант. Буду писать. Нет, я не рождена стать художницей.

Часто я думаю так: я – некий типаж. Читала о себе в книгах. Я – одна из тех, кто... о да, у них есть талант, они пишут стихи, небольшие стихотворения, читают хорошие книги, однажды выйдут на сцену. И они пишут маленькие картины. С красивым колоритом, они любят картины, интересуются литературой и поэзией, одному Богу известно, чем они только не интересуются. Их легко переоценить. Возможно, они выглядят малоинтересно. Слегка заучившимися. Некоторые говорят, что они умные, поскольку ходят в очках. И порой в споре они говорят кое-что... хорошее. Ведь они любят поспорить. Но за всем этим нет глубины. Все поверхностно.

О, раньше я твердо верила, что у меня, по крайней мере, есть способности чем-нибудь заняться, думала, что у меня есть *воля* глубоко вникнуть во что-нибудь. Может, учиться в высшей школе. Вникать в суть. Оказывается, у меня даже этого нет. Хожу в училище рисования... возможно, из стремления судорожно удержать иллюзию. О, как я порой ненавижу себя самое за это окаянное рисование! До чего же ты тщеславна, думаю я. Пишешь акварельки и воображаешь, будто они дают тебе право... ну, ты чувствуешь «призвание» стать художницей. Как другой хочет стать сапожником.

Я сумею не меньше других. Сумею рисовать так же хорошо, как тысячи других, живущих продажей картин. Сомневаюсь я не в этом. Я сомневаюсь в своей способности *воспринимать*. Воспринимать мир глазами художника. И нужно не просто уметь воспринимать, видеть его, как видит художник, но испытывать потребность выразить свое восприятие. Если бы я не так любила краски, если бы не писала акварельки, которые люблю. Порой я замечаю, что стремление стать «художницей» утомляет меня, изнуряет. Сознание, что увиденное будет превращено в картину, лишает меня способности переживать.

О нет, стоит мне начать анализировать, и... Копаться в себе – сущее проклятие.

Туролф, брат Гунвор, наверняка уедет в Дикемарк. Так-то.

ПЯТНИЦА 25 СЕНТЯБРЯ 1942 г., ОСЛО

Сегодня был воздушный налет. В честь национального слета, назначенного на сегодня.

Когда объявили воздушную тревогу, я была в городе. Обстановка жуткая. Маленький Осло совершенно изменился. Народ сбивался кучками по



Акварель «Дворцовый парк», осень 1942 г.

углам. На улице разбитые окна и витрины. Из разбомбленного дома валил дым. Еще один дом бомба пробила насквозь. Этажи висят на честном слове, окна выбиты. Страшное зрелище. Много убитых. Пожарные и санитарные машины мчались по Драмменсвейен.

Позднее явился хирд: крестьянские парни, подпевалы, тупые недоумки, плечистые, с бездумными физиономиями. Пытаются копировать немцев, как обезьяны: маршируют, поют... На Карл-Юхан яблоку негде упасть. Некоторые вскидывают руки. У некоторых значки НС. Большинство просто стоит и глазеет.

Мне нравятся норвежцы. Не только потому, что они активно борются против нацизма. Они не такие, как я думала. Я уже и надежду потеряла увидеть людей, которые мыслят и действуют самостоятельно, без санкции сверху. Почти каждый день происходят события, свидетельствующие об отношении норвежцев к «новому порядку». Случились нападения на контору государственной полиции на Хенрик-Ибсенс-гате, на Восточный и Западный

вокзалы. Учителя и священники отказались платить взносы в так называемый профсоюз, руководимый нацистами. (В результате многие сотни учителей были высланы в Нурланн.) Некоторые священники сложили с себя сан в знак протеста против новой власти. Ненацистов увольняют с работы и т. д.

Норвежцы не сдаются. Не устраивая шумихи вокруг «борьбы за свою страну». Как всегда, сидят в пригородных поездах, грязные после работы, в шерстяных свитерах под пиджаками, с чуть усталыми глазами. Хлебные карточки они взяли авансом, в очередях стоят с раннего утра до позднего вечера. Не сдаются.

Особенно я люблю их, когда они возвращаются с работы. И измученные жены рабочих мне нравятся, когда стоят в очереди. У них слишком много морщин. Разговаривают о продуктах по карточкам, о картошке и овощах... «Эх, помню, эх, как было до войны».

Мне кажется, война была всегда.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕНТЯБРЯ 1942 г., ОСЛО

Тербовен написал запрос в наш пансион: кто здесь проживает? И теперь я жду, что со дня на день меня выставят на улицу.

Постараюсь принять это спокойно. Никто не увидит, как я плачу или спрашиваю разрешение остаться. В такие минуты я солидарна со всеми в стране, кто «страдает» за свою родину. Жаль, что нас делает мучениками лишь принадлежность к еврейскому народу.

ПЯТНИЦА 23 ОКТЯБРЯ 1942 г., ОСЛО

Время идет ужасно быстро. Больше ничего не скажешь. Я убегаю в книги.

Скоро Рождество. Год прошел с тех пор, как я видела финского солдата. Два года – с времен Бири. Я так устала. Хочу выкурить сигарету. Чтобы прогнать пустоту.

Хочу лечь и уснуть. Когда-нибудь я приду к ясности? Когда-нибудь посмотрю в лицо себе самой? Или всегда буду убегать от себя?

J'ai envie de commencer écrire en français. Le jour passe si vite. Je me lève à sept heures et demie. Je déjeune et commence à travailler huit heures et demie. Je décore des boîtes, des serviettes etc. Je n'aime pas mon travail. Mais je gagne bien, 70-80 kr. par semaine. Après avoir dîné je vais à l'école. La classe commence à quatre heures et dure en deux heures. À six heures et demie je suis chez moi. J'apprends le français, le suédois et lis des livres. Je me couche à onze heures. C'est toute ma journée.

[Мне хочется начать писать по-французски. День проходит так быстро. Встаю в половине восьмого. Завтракаю и в полдевятого принимаюсь за работу. Декорирую коробочки, салфетки и т. д. Не люблю эту работу. Но за нее хорошо платят, 70–80 крон в неделю. После обеда иду в школу. Урок начинается в четыре и продолжается два часа. В половине седьмого я уже дома. Занимаюсь французским, шведским и читаю книги. Ложусь спать в одиннадцать. Вот и весь мой день.]

ЧЕТВЕРГ 29 ОКТЯБРЯ 1942 г., ОСЛО

Они арестуют евреев. Всех евреев-мужчин от 16 до 72 лет. Еврейские магазины закрыты. Меня это не удивляет. Только тошнит. Я больше не «горжусь», что я еврейка. Могу пройти мимо еврейского лица – и ничто во мне не дрогнет. Но во рту возникает тошнотворный привкус от слов «еврейский вопрос». Меня охватывает усталость, когда я слышу, что опять идут аресты евреев. Думаю: *охота* им. Сионизм, ассимиляция, национализм, еврейский капитализм. О-о! Да оставьте же нас *в покое!* Тошно слушать о желтых знаках и евреях-мучениках. Отвратительно. Напоминает о мерзких червях, о скользких, противных червях.

Людей притесняют за убеждения. Люди убивают друг друга, защищая отечество. Но нельзя карать, нельзя убивать людей за то, что они *такие*, как есть. За то, что их деды – евреи. Во всем этом сквозит что-то нелепое, идиотское. С ума можно сойти. Это противоречит здравому смыслу.

Не понимаю, как евреи выдерживают. Не теряют рассудка. Я уже не люблю их с энтузиазмом 17-летней девчонки-подростка. Но буду с ними заодно. Что бы ни случилось.

Если отгораживаться от внешнего мира, если смотреть на эти гонения и пытки евреев только глазами еврея, *тогда* наверняка медленно, но верно погибнешь душевно от того или иного психического комплекса. Спасение в том, чтобы смотреть на еврейский вопрос вот в такой перспективе: в рамках нынешней ситуации в мире. В рамках угнетения чехов и норвежцев, в рамках рабочего вопроса. Тогда сионизм утратит важность, сам собой отступит, станет неинтересен. Мы станем богаты, только уразумев, что *не мы одни* народ мучеников. Что рядом с нами страдают другие, которым *нет числа*, и будут страдать до скончания времен, как и мы... если... если мы не будем сражаться за лучшее... О нет! Я слишком взрослая, слишком усталая, чтобы в это верить.

Это еврейское мученичество ползет ко мне мерзким червяком. Который гложет мои мысли. Нелепость какая-то. Я думала, во мне все-таки больше бесчувственности. Почему я не так волнуюсь, когда хватают норвежцев и

расстреливают их десятками, как недавно в Тронхейме? От избытка эгоизма? От недалёковидности? Думаю, боль мне причиняет безумие, присущее всему этому. Норвежцы сражаются за свою родину. Они социалисты, патриоты. Нас мучают за то, что мы евреи. Мне хочется взорвать границу, делающую евреев евреями. Хочется видеть евреев без ран. *Абсолютно без ран.* Они больше не должны лить слезы. Они должны *распрямиться*.

О, моя собственная мамуля. Четыре года прошло после отъезда из Вены. А боль все та же. Все то же волнение, все то же еврейство.

Мне отвратительно это вечное избиение беззащитных. Словно бьют что-то мягкое. Мерзко. Может, заберут и меня. *Qui sait?*¹³⁴

НОЯБРЬ 1942 г., ОСЛО

Когда-нибудь все кончится, и все тогда будет хорошо.

В груди у меня беспокойная дрожь. Злость: кто ты? Чего ради живешь?

Все мои начинания оказались неудачны. Все словно было слишком поздно, словно в моей жизни упущено что-то существенное.

Единственное утешение – прижать ладонь ко лбу. Искать покоя в собственной боли.

НОЯБРЬ 1942 г., ОСЛО

J'ai décidé d'écrire en français. J'ai encore de m'exercer en écrivant français. Je vais écrire de petits notes chaque jour. Je vais raconter ce que je fais comment je m'occupe toute la journée. Si j'ai vraiment besoin d'écrire je vais écrire en allemand.

Aujourd'hui nous allons voir "Vildanden" par Ibsen. Je me rapelle ces jours a Vienne quand nous allons au théâtre. Je me rapelle si bien.

[Решила писать по-французски. Надо постоянно упражняться и писать по-французски. Буду каждый день делать короткие записи. Рассказывать, чем занималась в течение дня. Если же действительно возникнет потребность писать, буду писать по-немецки.]

Сегодня пойдем на «Дикую утку» Ибсена. Помню, как мы в Вене ходили в театр. Хорошо помню.]

¹³⁴ Кто знает? (фр.)

ЧЕТВЕРГ 12 НОЯБРЯ 1942 г., ОСЛО

В порыве поэтического «вдохновения»:

НА РАБОТЕ

В бледном свете из окна стоят возле пустых бутылок баночки с красками, смеясь, глядят на тебя: совершенное по форме выражение неумолимой, окончательной пустоты твоей жизни. За занавесками из розовой гофрированной бумаги... картонки... картонки... Солнца нет, только лампочка, белая, круглая, светится, старается примирить. И дымок сигареты, который знает, что этого не произойдет.

КРАСКЕ

Красная кровь потечет у еврея, когда ты его ударишь.

Отвернись в сторону, скоси глаза, смотри в другое место. Тыльной стороной руки сотри кровь. Иди дальше, не оборачиваясь. Красная кровь польется из ран, нанесенных тобой в борьбе за отечество, свободу и право.

Лишь красная струйка из сердца или лба покажет, куда ты попал. Никто не спросит об умершем. Он сам безмолвен, так что тебе ничего не грозит. Красной кровью истекает тот, кто обрел мир, смирив себя.

Изможденные, серые мужчины и женщины падают наземь со скамеек в скверах, меж тем как из порезанного запястья каплет кровь. Никто не скажет, что ты повинен в этой смерти.

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне вспоминается вечер. Сумрак в комнате, и ты перед зеркалом, моложе, передо мной. Ты, мама, была в платье в белую крапинку. Мы прижимались к твоим длинным ногам и говорили: мама, какая ты красивая! Ты улыбалась. И папа стоял в глубине комнаты. Молодой и совершенно не такой, как в ту пору, когда умер. Он ждал, а ты, ты стояла перед зеркалом. Помню, мы оставались дома, а вы уходили. В театр. Как мы упивались этим словом. На улице было темно... щелкал дверной замок. И мы оставались одни. Вы ушли.

МАМЕ

Порой я жду тебя. Я и моя усталость, моя пустая жажда чего-то иного, нежели эта моя жизнь. И ты приходишь. Всегда приходила. Гардина колыбалась от дуновения, запах словно бы от дождя напоминал мне о детстве. Тихие голоса с улицы долетали до слуха. Смех девчонки, жалобный детский плач... Я вижу, как небо на востоке налилось багрянцем. И погасло. Ты ушла, а я сижу в удивленье. Лоб на ощупь такой прохладный.



*«Донау» выходит из гавани Осло 26 ноября 1942 г.
Фотография сделана тайком Георгом В. Фоссумом*

ЭПИЛОГ

...Исчезнувшая

Здесь дневник Рут Майер заканчивается. Толстая тетрадь, начатая в январе 1941 г., в ноябре 1942-го исписана полностью. Если она начала новую, то, вероятно, при аресте взяла ее с собой.

Документально подтверждено, что Рут Майер назвалась еврейкой, отвечая на «Анкету для евреев в Норвегии», заполненную в Лиллестрёме 4 марта 1942 г. В Осло она попала в компетенцию полицейского округа Санкт-Хансхёуген, когда осенью 1942 г. поселилась в пансионе на Далсбергстиен, 3. Известила ли она об этом полицейское ведомство, не установлено.

15 ноября 1942 г. она не числится в списках евреев полицейского округа. Но спустя пять дней уже фигурирует в новых списках. Облава состоялась 26 ноября. 300 полицейских, хирд и гестапо участвовали в акции. Столичные такси были реквизированы.

В том же пансионе проживала Нана Моум. Она рассказывает, что арест происходил грубо и бесцеремонно. Двое норвежских полицейских отволокли австрийку вниз по лестнице к машине, где на полу уже лежала горько плачущая девушка. Девушки из пансиона разбудили друг дружку и наблюдали эту сцену. Кто-то сказал: «Мы можем сохранить твой золотой браслет до твоего возвращения». Рут ответила: «Я никогда не вернусь».

Это свидетельство очевидца официально опровергает прежнюю версию, что Хофму в момент ареста находилась у Майер. Однако Хофму, должно быть, очень скоро узнала об облаве.

Арестованных привезли в ословскую гавань и погрузили на борт военного транспорта «Донау», превращенного в плавучую тюрьму. Есть фотография с набережной, где на краю безмолвной толпы, которая наблюдает за буксировкой транспорта от причала № 1 у набережной Американских Линий, можно угадать подругу Рут Майер. Транспорт отчалил во второй половине дня и в открытом море попал в сильный шторм, отчего плавание задержалось на сутки.

Последние слова Рут Майер – несколько строчек из письма, украдкой вынесенного с «Донау» и процитированного Гунвор Хофму: «Думаю, хорошо, что так вышло. Почему мы не должны страдать, когда вокруг столько страдания? Не тревожься обо мне. Пожалуй, я не хотела бы с тобой поместиться».

Oslo, 3. mai 1947.

Dear Judith Suschitzky

Several times I have tried to write to you, but always in vain. It is so difficult to write in this case, because words seem to be nothing.

In a way I think I know you very well, because Ruth has told me so much about you. She loved to talk about you. About the rest of her family too, but especially about you and your mother. She talked about your mutual childhood, about the school, your passionate love for theatre, your enthusiasm for the actors (Think?) I don't remember his name.

I cannot say anything to help you. But I want you to know that Ruth was not so lonely in Norway as you perhaps think, she had friends who were very, very fond of her, friends who are full of thankfulness that they have known a such human being as Ruth. Ruth was a such great personality, full of understanding and goodness. Of course she had her "faults" as some persons love to say. Her slight negligence of things which meant nothing to her, brought her several times into troubles.

First time ^{we} met each other was in 1940 at the "Arbeidsdienst" which at this time was not "nazistisk". After we left this, we worked in the country, then we took a job together in a flower-shop in Trondheim, and the last year we were busied in Oslo as ornamental painters. The afternoons Ruth spent at "Kunst og Håndverkskolen" in Oslo, to learn drawing. And she loved to go in the streets to find out things to draw and paint. I have some Water colours of her, perhaps you will like to have some of them?

Ruth lived in a boarding-house, she left Strøms, as you perhaps know. She could not stand to live upon peoples charity, without work, without money, you know how that is.

November 1942 she was sent away with together with the other Jews in Norway. It was on Thursday, I remember it too well. She was very calm. It seems to me, that she had chosen her way: I must be with the Jews. And she wrote in her last letter, when they still were on the ocean: Ich glaube dass es gut so ist wie es gekommen ist. Warum sollen wir nicht leiden wenn so viel Leid ist? Sorg dich nicht um mich. Ich möchte vielleicht nicht mit dir tauschen."

These words, so full of characteristic, beautiful maturity has followed me these years as a light.

ЯН ЭРИК ВОЛЛ
Дневники Рут Майер

Издатель *М. Гринберг*

Зав. редакцией *И. Аблина*

Издательский редактор *А. Литвина*

Художественное оформление *Г. Златогоров*

Компьютерная верстка *И. Пичугин*

Корректор *Т. Калинина*

Мосты культуры, Москва

Тел./факс: (499)241-6871

e-mail: office@gesharim-msk.ru

Gesharim, Jerusalem

Tel./fax: (972)-2-624-2527

Fax: (972)-2-624-2505

e-mail: house@gesharim.org

www.gesharim.org



9 785932 733225

Издательство «Мосты культуры»

ЛР № 030851 от 3.10.2010

Формат 70 x 100/16

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ.л. 25.

Подписано в печать 12.11.2010. Заказ №

Электронный вывод и печать в ППП Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6